Сэмюел Дилэни

18+



ПОБЕГ ИЗ НЕВЕРИОНА
ВОЗВРАЩЕНИЕ
В НЕВЕРИОН

Побег из Невериона. Возвращение в Неверион

Сэмюэл Рэй Дилэни

Аннотация
Сэмюел Рэй Дилэни. Побег из Невериона. Возвращение в Неверион
Побег из Невериона
Повесть о тумане и граните
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Повесть о лицедее
1
2
3
4

5
Повесть о чуме и карнавалах или неформальные заметки о модульном исчислении, Ч. 5
Постскриптум
Возвращение в Неверион
Игра времени и боли
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Повесть о сплетне и желании

Аннотация

Неверион – это мир патриархальных ценностей и жгучих желаний, мир бесстрашных женщин и мужчин, странствующих в вечном поиске.

Здесь происходит бесконечное коловращение реалистичных мифов и вздорных слухов. Здесь правит бал чума, забирающая всех без разбора. Здесь пробуждаются зловещие старые боги, ревниво охраняющие врата между правдой и ложью, между внутренним и внешним, между «да» и «нет».

В этой стране немало героев и злодеев, и одна из значительных фигур Невериона – великий борец с рабством Горжик Освободитель, печальный старый человек, сполна вкусивший горечи славы и сладости утрат… Он – плоть от плоти этой волшебной земли, и о его проникновении в Неверион, в мысли, в память, в судьбы тысяч людей расскажут эти страницы.

Сэмюел Рэй Дилэни
Побег из Невериона. Возвращение в Неверион

© Samuel R. Delany, 1979, 1983, 1988, 1993
© Перевод. Н. Виленская, 2023
© Издание на русском языке AST Publishers, 2023

Побег из Невериона

Посвящается Фрэнку Ромео,
Роберту Браварду, Камилле Декарнен,
Майку Элкинсу,
Грегори Фраксу, Роберту Моралесу, Майклу Пеплоу
и, конечно, Айви, распечатавшей файл і

Нет такого понятия, как абсолютно корректное значение слова: его делает невозможным та самая некорректность метафорической перестановки, которую оно пытается исключить. Некорректность перемещаемости значения и бесконечных синтактических ссылок за пределами, очерченными корректным значением, – величина материальная. Поэтому навязывание однозначного, самотождественного значения, выходящего за пределы сериальной перестановки, является метафизическим или идеалистическим. Его политический эквивалент – это абсолютистское государство (будь то диктаторское или либеральное), препятствующее перемещаемости власти революционным путем. А политический эквивалент перестановки – силы, которую деконструкция противопоставляет абсолютистским философиям тождественности, – это постоянные, многочисленные революции, открытость материальных сил, препятствующих навязыванию власти.

Майкл Райан Марксизм и деконструк-

ция

Повесть о тумане и граните

Вряд ли можно считать случайностью, что дебаты ведутся вокруг криминальной истории – ограбления и его развязки. В каждом из этих текстов присутствует система правосудия, и действия власти налицо, вопреки отсутствию литературного мастерства.

Барбара Джонсон Критическое различие

1

Несколько мгновений великан спал мирно, но потом на его лицо упала капля, три капли, двадцать капель.

Его ноздри раздулись, ресницы дрогнули. Голова перекатилась по камню.

— Уйди, одноглазый чертенок! Уйди! — прохрипел он. Лежащая на груди рука поднялась, будто отстраняя что-то. Вокруг нее обмоталась цепь.

Эти возгласы и дребезжание цепи разбудили маленького человечка, прикорнувшего под бо-

ком большого. Он привстал на колени, и пальцы великана тут же вцепились в его узкие плечики.

— Успокойся, хозяин! — прошептал маленький. — Свет мой, господин мой, любовь моя, жизнь моя!

— Я сон видел, Нойед…

— О чем, хозяин? Что тебе снилось?

Голова маленького заслоняла луну, окруженную ореолом. Крестьяне при виде его предсказывают, что через пять дней пойдет дождь, но так не всегда бывает — заволокут тучи небо, и все на этом.

— Мне снился ты, Нойед.

— Я, хозяин?

— Да, только гораздо моложе, как в давние времена. Грязный и перепуганный, ты лежал на земле, а я вместе с другими…

— Хозяин?

— Либо ты, Нойед, знаешь то, чего я никогда не пойму, а сказать мне не хочешь, либо я знаю то, что, вопреки всей своей борьбе с рабством, никогда не решусь сказать.

— Хозяин… — Нойед уткнулся лбом ему в грудь.

— Погоди-ка. — Горжик нащупал ошейник, слишком большой для тощей шеи Нойеда. —

Не надо тебе больше это носить, пора вернуть его мне. — Он разомкнул петлю, но маленькие пальцы Нойеда судорожно, чуть не до кости, вцепились в его запястья.

— Что такое? — Волосы Нойеда пахли псиной и мокрыми листьями.

— Не забирай его у меня!

— Почему?

— Ты сказал, что один из нас непременно должен его носить…

— Здесь да, но днем его ношу только я, как символ существующего в Неверионе рабства.

— Не надо!

Сухой лист трепетал на перилах, словно собираясь слететь с крыши навстречу чьим-то глазам, обращенным вверх.

— Чего не надо?

«Он слышит голоса всех, кто умолял отдать им его ошейник», — думал маленький.

«Я мог бы поймать этот листок и спасти его от тысячи грозящих ему опасностей», — думал большой.

— Это украшение не для тебя, хозяин. Оставь его мне! — Листок упорхнул прочь. — Позволь быть твоим знаменосцем. И это тоже… — Нойед потряс цепь с позеленевшей астролябией на гру-

ди Горжика. — Завтра ты встречаешься с бароном Кродаром при Высоком Дворе, зачем тебе это? И еще вот… — Он коснулся ножа на бедре Горжика. — Ходи голый, хозяин. Твоя нагота скажет о тебе больше, чем любые доспехи и украшения.

— Почему ты так говоришь?

— Смотри, хозяин! — Нойед перекатился на живот. — Смотри!

Горжик приподнялся на локте.

Часть зубцов у края крыши обвалилась, и между ними виден был двор. У пристройки, вокруг костра, стояли люди — как с оружием, так и без.

— Мы лежим на крыше твоей ставки, а это твои сторонники. После сегодняшней победы ты всего на шаг от того, чтобы стать самым могущественным человеком в Неверионе.

— Нет, Нойед, — хмыкнул Горжик. — В Колхари и тем более в Неверионе моя власть ничего не значит. Победу мы одержали случайно, и плохим я был бы мятежником, если бы чрезмерно ею гордился.

— Но ты *можешь* стать самым могущественным из всех. И чтобы это случилось, кто-то — да хоть бы и я — должен верить, что это возможно. Ходи голый, хозяин. Пусть твое бесстрашие послужит тебе защитой, а мне позволь носить… нет,

позволь мне *быть* твоим символом.

— Я не понимаю тебя, Нойед.

— Посмотри вон туда. — Нойед теперь показывал не на мужчин и женщин, собравшихся у костра, а вдаль, где при луне чернели холмы. — Видишь, там туман собирается. К рассвету он затянет весь Колхари и будет держаться, пока солнце его не выжжет. Спустись в этот туман нагим и слейся с ним воедино. Без признаков, по которым люди тебя узнают, ты станешь для них невидимым — по крайней мере, таким же бесплотным, как этот туман. Твоя власть — невеликая пока, но растущая — станет безграничной и вездесущей. Вот чего ты можешь достичь, став невидимым, отринув все свои знаки отличия. Ты будешь проходить по всем городам империи, как туман, в то время как я…

— Что за чушь, Нойед! — засмеялся Горжик. — Видно, несчастья, перенесенные в детстве и юности, здорово тебя подкосили, раз ты несешь такой бред.

— Нет, не бред! Без одежды, оружия и украшений ты сможешь проникать всюду, а если тебе нужно срочно быть где-то, используй меня! Я в твоем ошейнике буду стоять где прикажешь, как твоя воплощенная воля, и ты освободишься

для более важных дел. Ошейник сделает меня невидимым для рабовладельцев, как сделал тебя, знатным господам будет напоминать о бедственном положении рабов, а простым труженикам — о существовании зла, на которое они предпочли бы закрыть глаза. Разве я, кривой заморыш, плохой представитель Горжика? — засмеялся Нойед. — Ты носишь ошейник, потому что был когда-то рабом — я тоже им был. Ошейник способствует твоим плотским желаниям — и моим тоже, как ты мог убедиться. Мы с тобой очень похожи, хозяин, так почему не использовать меня как замену? Почему не двигать меня, как фигуру в игре власти и времени, посылая меня, слугу твоего и шпиона, туда и сюда? Позволь мне быть твоим заместителем на гранитных улицах городов, позволь сделать тебя невидимым. Я буду твоей маркой, ты — моим содержанием. Я буду твоим знаком, ты — моим значением. Ты освободишься, станешь действовать быстрее, достигнешь большего.

— Нет, Нойед, — потому что я знаю то, чего ты не знаешь. А может, и знаешь, но обманываешь меня.

— Хозяин, я буду руками и ногами твоими, поясом твоим и клинком, словом твоим и мудростью.

Буду везде, на широких улицах и в укромных дворах. Позволь только носить твой знак.

— Говорю же: нет. Хватит чушь городить.

— Клянусь моей любовью к тебе, к рукам твоим и ногам, к твоему рту, и глазам, и ушам: это не чушь, а мысли разбойника, бродяги, убийцы, которые я долго вынашивал.

— Вздор, вот что это такое. Впрочем… завтра мне идти ко двору, и в твоих словах, возможно, есть доля правды…

И когда великан и заморыш сошли во двор, к стоящим у костра людям, ошейник так и остался на шее Нойеда, а на Горжике больше не было ни астролябии, ни ножа, ни меча, ни пояса — он раздал или бросил все это, спускаясь с крыши.

2

Несколько лет спустя молодой контрабандист вел своего вола, запряженного в почти пустую повозку, по окраинным улицам Колхари.

Светила ущербная луна.

Этот крепко сбитый парень мог показаться увальнем, деревенщиной — он не слишком пообтесался с тех пор, как сбежал из деревни в город. Но многие находили его довольно пригожим,

несмотря на рябые щеки и лоб. Такое лицо могло принадлежать как крестьянину, так и принцу, но натруженные руки, потрескавшиеся ступни и холщовая повязка на обозначившемся уже пивном пузе ясно давали понять: нет, не принц.

Улица, по которой грохотала его повозка, считалась границей между Саллезе, кварталом зажиточных купцов, предпринимателей, разбогатевших ремесленников, и Неверионой, где стояли фамильные особняки аристократов, — но с недавних пор эта граница утратила свою четкость. Некоторые семьи богатых дельцов жили в одном доме на протяжении трех поколений, а то и титулы получали, выдав свою младшую дочь за чьего-то старшего сына, семьям же аристократов зачастую приходилось пускаться в коммерцию.

Лунный свет лишал красок листву и стволы деревьев.

Сколько еще до рассвета, часа два?

К перекрестку что-то ползло. Бледное, медленное, огромное, как дракон.

Туман, пришедший с холмов, заполнил весь город и приник к морю холодом осеннего поцелуя.

При своем последнем посещении Неверионы в лунную ночь контрабандист видел крыши господских домов до самого Высокого Двора и

черные гребни холмов, но теперь и то и другое заволокла жемчужная пелена.

Туман, подступая и слева и справа, клубился вокруг повозки, словно призрачный океан.

Контрабандист оглянулся через плечо. Он, как вы понимаете, много путешествовал и часто оглядывался вот так, думая: «Неужто я прошел весь этот путь?» Пройденное им расстояние рождало и страх, и гордость в его душе. Но сейчас улица позади казалась не столько улицей, сколько двором; туман, поглощая расстояния и сзади и впереди, поглощал заодно страх, гордость и все прочие чувства. Контрабандист, шлепая босыми ногами по мокрым листьям, казался сам себе маленьким и очень одиноким.

Впереди выступили из тумана зубцы на крыше высокого здания. Контрабандист знал, что этот дом, как и несколько соседних, пустует, но о нем ходили легенды. Он приблизился, чтобы получше рассмотреть фасад с обвалившимися изразцами и обломки терракотовых статуй.

Дом когда-то принадлежал южному вельможе, барону Альдамиру. Лишившись власти на юге, барон стал сдавать свой городской особняк другим знатным жильцам, отчего дом пришел в полное запустение. В конце концов его снял мятежный

Горжик Освободитель, вознамерившийся искоренить рабство во всем Неверионе. Его часовые стояли у ворот и расхаживали по крыше, всадники подъезжали к воротам и выкрикивали обращенные к предводителю послания.

Говорили, что Освободитель, настоящий великан с виду, сам был когда-то рабом на императорских обсидиановых рудниках у подножия Фальтских гор и даже свободным продолжал носить рабский ошейник, поклявшись не снимать его, пока рабство не будет отменено указом сверху или восстанием снизу.

Позже стали говорить, что его склонность к решительным мерам не слишком беспокоила государство: рабство начало понемногу рушиться еще четверть века назад, когда Дракона изгнал из Высокого Двора Орел в лице малютки-императрицы Инельго, справедливой и великодушной владычицы нашей. Вельмож, купцов и чиновников куда больше тревожила его внешность: внешний вид многое говорит о возможностях, особенно если знаешь, что внешность может быть как правдива, так и обманчива.

Все покушения на жизнь Освободителя заканчивались провалом, но однажды случилось вот что. Безработные бедняки, подкрепленные

солдатами из личной стражи придворных (их хозяева предпочли остаться безымянными, как боги-ремесленники), напали на дом Освободителя ночью, в месяц хорька, когда город окутывает туман.

С этого места историю рассказывали по-разному. Одни говорили, что Горжик, заслышав приближение толпы, бежал со своими сторонниками из Колхари в Фальты. Быть того не может, говорили другие: нападение было внезапным и обошлось без шума. Скорее всего толпа ошиблась домом из-за тумана, и Горжик, услышав это, успел бежать. Третьи утверждали, что дом был правильный — тот самый, перед которым стоял сейчас контрабандист, — а неверными оказались сведения, что Освободитель находится здесь: тот скрывался совсем в другом месте.

Все рассказчики, однако, сходились в одном: когда захватчики вломились в дом, он был пуст. Часовые у ворот и на крыше отсутствовали. В комнатах не было мебели, в кухне мусора. Бродяги, возможно, перелезали иногда через стену и разводили костры во дворе, но обгорелый хворост вполне мог остаться в кострищах с прошлого месяца или прошлого года. Как предводитель мятежников со своими писцами, офицерами,

солдатами, провизией и оружием умудрился исчезнуть из огражденной стеной усадьбы, предупрежденный самое большее за час (а скорей куда меньше), не оставив следов?

Это был еще не конец истории, но тут ее опять рассказывали всяк на свой лад. Освободитель продолжает действовать по всему Невериону, как на юге, так и на севере, говорили одни. Освободителя больше нет, да и не было никогда, заявляли другие. Был только чудаковатый свободный гражданин, носивший из прихоти рабский ошейник, бродивший по Старому Рынку на Шпоре и разглагольствоваший в тавернах. Да и это был подставной Освободитель, утверждали иные, такой же ложный, как и его мнимая ставка. Великан в ошейнике — это один из его помощников, а настоящий Освободитель мал ростом и крив на один глаз; раньше он был хитроумным разбойником (а может, и рабом) и ошейник носил по неким извращенным плотским соображениям. Да нет же, возражали им: великан — это настоящий Освободитель, а одноглазый — один из его приспешников. И оба носили ошейник, добавляли те, кто якобы видел их. Носили в разное время по разным, вполне здравым, причинам. От одного пьяного солдата контрабандист слышал, что

никакого одноглазого вовсе не было; солдат этот служил под началом у Горжика в императорской армии. «Это просто сон такой ему снился. Я это помню не хуже, чем очаг своей матери. Мы стояли ночью на часах у его палатки и слыхали, как он бормочет во сне про какого-то одноглазого». «Не было как раз великана со шрамом, — говорил калека-карманник, бывший будто бы в одной шайке с одноглазым. Как-то ночью у костра, в пещерах Макалаты, он рассказал нам про большого десятника со шрамом, который был к нему добр, когда его в юности схватили работорговцы. Просто байка такая». Однако, какую бы непреложную истину ни отражали или ни искажали многочисленные рассказчики, все сходились в одном — как и в том, что дом Освободителя той туманной ночью был пуст: как раз в такую ночь, когда размываются все границы и контуры, Освободитель (если он существует) и нанесет свой решающий удар.

Возчик и вол снова двинулись сквозь туман. Контрабандист знал больше этих противоречивых историй, чем можно ожидать от человека столь низкого положения. Будь он способен записать или прочесть эти истории, мы назвали бы его даже историографом Горжика, но он был

неграмотен, как и большинство тогдашнего населения.

Скорый на улыбку, но не речистый, он и сам себя выставлял полным недоумком, подтверждая это собственными историями (преувеличенными, конечно). Случайные знакомые находили его приятным и сразу же забывали; лишь немногие помнили, какие разумные, в самую точку, вопросы он задавал. И уж совсем немногие разглядели бы в этом парне с широкими запястьями, толстенными пальцами и пивным брюхом человека одержимого.

Где бы ни заходила речь об Освободителе — в городских тавернах, на рынках Колхари, на захолустных постоялых дворах и в пустынных оазисах, — он весь обращался в слух, а после выспрашивал рассказчиков, основываясь на собственных суждениях и на том, что услышал раньше. Трижды ему приходилось доказывать, что он не шпион Высокого Двора, желающий очернить знаменитого борца с рабством. Как-то ночью ему пришлось спасаться бегством из лесного лагеря в восточной Авиле после спора с бывшим работорговцем, потерявшего брата и близкого друга в схватке с громадным разбойником, говорившим по-городскому, и его приспешником-варваром.

«Щенок желтой масти, и оба глаза у него, богами клянусь, были в целости! Называли себя освободителями, а сами обыкновенные рабокрады!» Другой на месте нашего контрабандиста давно бы бросил свои расспросы, но он по роду своих занятий научился не слишком бояться опасностей, подстерегающих его на пути.

Постепенно он понял также, что предмет его одержимости — не безобидная сказочка, а целый ворох противоречивых возможностей и переменчивых ценностей. Он собрал достаточно доказательств, чтобы как опровергнуть, так и подтвердить, что Высокому Двору следует опасаться Освободителя.

Источник его интереса к Горжику был, однако, совершенно невинным — что, возможно, и оправдывало его упорство в достижении цели.

Была одна девушка, славная куропаточка…

Она когда-то путешествовала на юг с ним и его другом, коренным колхарийцем, рожденным в трущобах Шпоры; тот нес сплошную похабщину, веселившую, впрочем, его спутника на темных лесных дорогах. Парни возили в Гарт волшебные товары со Старого Рынка; богатые южане давали за них хорошую цену, но с налогом, взимаемым императорскими таможенниками, магия обо-

шлась бы любителям намного дороже.

Он позабыл ее имя, поскольку девушки их сопровождали не раз. У кого же он ее встретил? Ей почему-то нужно было уехать из города, но он забыл почему. Его друга-сквернослова она невзлюбила сразу. Как-то утром, неподалеку от Еноха, когда наш крестьянский парень еще дремал у прогоревшего за ночь костра, она сказала, что пойдет за водой, — это он запомнил даже спросонья. Вскоре колхариец нашел пустой кувшин на пеньке, в двух шагах от их лагеря. Они поискали ее, подождали, гадая, что с ней могло случиться — может, работорговцы схватили? Она ведь уже уходила однажды, напомнил горожанин — без нее только лучше.

Они поехали дальше, и больше крестьянин ее не видел.

Теперь он, пожалуй, и не узнал бы ее, встретив на улицах Абл-айни или Кхакеша, но одни ее слова ему крепко запомнились.

В первый день своего путешествия они сделали привал, как только выехали из города. Девушка, сидя на бревне, играла с цепочкой, на которой носила странное украшение с варварскими знаками по ободу. Он забыл ее лицо, но коричневые пальчики на бронзовом диске врезались ему в

память до зубовного скрежета.

«В городе я встретила одного человека, — говорила она, — чудесного человека. Друзья его называли Освободителем. Мы вместе ходили по Старому Рынку — он хорошо знает и рынок, и Колхари, и весь мир. Много о нем говорить не надо, это опасно, но я встретилась с ним еще раз, в большом старом доме, который он в Неверионе снимал. Ты бы тоже подумал, что он чудесный, я знаю. Он храбрый, добрый, красивый, совсем как ты, хотя у него шрам на лице. Он подарил мне…»

На этом воспоминание обрывалось. Что подарил: нож, который она всегда носила за поясом, прикрывая складками платья? Само платье? Украшение на цепочке? Пригоршню железных монет, которые бережливая горянка тратила скупо? Она много чего говорила, а он не слушал — скоро она привыкла, что он не откликается на ее слова. Любила поговорить, как и его друг-горожанин, — то-то они и не ладили. Только такому, как он, молчуну хорошо с болтунами — друга, к слову, он уже год как не видел. Лишь много позже, когда девушка ушла, а нападение на дом Освободителя обсуждалось от Элламона до Адами, контрабандист вспомнил ее рассказ — тут-то и зародилась в нем его мания. «…Чудесный! Храбрый, добрый,

красивый, совсем как ты! Он подарил мне…» Удивительно, что он и это запомнил, пораженный тем, какого она о нем мнения, — но теперь ее слова всегда добавлялись к тому, что говорилось об Освободителе. «Мы вместе ходили по Старому Рынку… большой старый дом в Неверионе…» Вслух он об этом не поминал и лелеял свое сокровенное знание, подкрепляя его постоянными расспросами. Иногда он, впрочем, вставлял в разговор замечание девушки про шрам на лице; про шрам говорили многие, многие другие называли Горжика одноглазым, некоторые приписывали ему и то и другое, некоторые всё отрицали. Но она была первая, и потому он относился к ее словам как к истине, которую окружал другими историями, добиваясь наибольшего правдоподобия, — однако другая, пытливая часть его духа, упорно роющаяся в чужих воспоминаниях, даже самых нелепых (поблекших от времени или раздутых воображением или самохвальством), придавала им такое же значение, как и словам позабытой девушки.

За эти годы у него было еще три женщины, одна моложе его, две постарше. Только молодая как-то терпела его рассуждения насчет Освободителя, но и ее ненадолго хватило. Не потому ли он так

легко расставался с ними?

Хотел бы он знать, сохранила ли та пропавшая горянка свой интерес к Горжику.

Он снова повернул за угол, и дом, то ли принадлежавший Освободителю, то ли нет, скрылся в тумане.

3

Очень скоро он разглядел в тумане ворота. За все свои ночные посещения этого дома он так и не понял толком, кто из вельмож им владеет, — впрочем, он приходил не к хозяину.

Городской стражи можно было особенно не опасаться, но контрабандист все-таки огляделся и вроде бы различил в отдаленной стенной нише копье.

Услышав за дверью «псст», он придержал вола.

В глазке мерцал желтый свет.

— Пришел, значит. Хорошо. — Лампу поставили на полку, скрежетнуло железо, из двери убрали сперва одну доску, потом другую. — Ну и туман, — сказала старуха. — Самая погода для дурных дел. Я-то знаю, насмотрелась. Хотя вашему брату туман только на руку, верно? Надеюсь, он уйдет за тобой на юг, а мы опять будем видеть луну и солн-

це. Помог бы, что ли, малец, — проворчала она кому-то, — да уж ладно, сама управилась. Тащи мешок, только тихо, не разбуди девку, что вчера наняли — ей про наши дела знать не надо. — Позади нее что-то зашуршало, и старуха, снова цыкнув «тихо ты!», протянула контрабандисту мешок. — Забирай и ступай. Ступай, говорю. Ты знаешь, что делать. Доставишь его в то же место и получишь такую же плату.

— Можно мне теперь на улицу выйти, бабушка? — пропищал позади невидимый варваренок. Темная щека под капюшоном старухи, на которую падал свет, показывала, что никакого родства между ней и мальчиком быть не может. — Никто меня не увидит, — продолжал мальчуган, — я мигом…

— Еще чего! — прошипела женщина. — Так я тебя и отпустила в такую-то мглу. Сейчас на улицах кого только нет — и воры, и убийцы, и прочие лиходеи, вроде вот этого. — От улыбки ее лицо сморщилось еще больше. — Ну же, бери.

Контрабандист взял мешок из ее руки, почти такой же крупной, как его собственная. Еле удерживая двумя руками груз, который она держала одной, он свалил его в повозку — мешок брякнул — и прикрыл старомодными трехногими горш-

ками, связанными вместе за ручки. Согласно недавнему указу Высокого Двора, незапечатанные сосуды не могли использоваться в магии и потому налогом не облагались. Дверные доски вернулись на место, засов задвинули.

— Пойдем-ка, — глухо произнес старушечий голос, — давай руку… — Огонек в глазке стал уменьшаться и скоро совсем пропал.

Луна плавала в тумане мутным пятном. Контрабандист потуже натянул верх повозки и повернул вола в обратную сторону.

Стало быть, он из тех лиходеев, что рыщут в туман по улицам. В тяжелом мешке лежали мелкие, плоские, с круглыми краями предметы — ничего примечательного. Он снова везет контрабанду на юг, от одних незнакомых людей другим, не зная, что именно везет, — ну, разве догадываясь.

На первых порах он обычно смотрел, что там в мешках: соль, серебро, драгоценности, волшебные амулеты, а то и запечатанные, позвякивающие сосуды-буллы, заменявшие в те времена товарные накладные. Но среди контрабандистов бытовало поверье, что чем меньше ты знаешь о своем грузе, тем лучше для клиента, а в конечном счете и для тебя, и наш парень из уважения к старшим заглядывал в мешки лишь

в самом конце поездки. Как-то раз он забыл посмотреть, потом стал забывать все чаще и чаще, потом совсем перестал. Теперь он вспоминал об этом как об ошибках молодости — выходит, он больше не молод? Ну да, если подумать, он очень долго занимается этим промыслом. Может, он потому и любопытствует обо всем, что касается Освободителя, чтобы не любопытствовать о том, что поближе. На юг по поручению этой старухи он ехал уже в третий раз. Сначала его к ней направил собрат по цеху: «Повернешь туда-то, потом туда и приедешь к дому в такое-то время…» Он мог честно сказать, что не знает ни ее имени, ни кому она служит, не знает, для кого она это делает: для себя, для хозяина или для кого-то еще. «Я ничего о тебе не знаю, рассуждал контрабандист, говоря сам с собой, — но и ты обо мне ничего не знаешь, старуха. Не знаешь, что говоришь с человеком, у которого в жизни есть страсть и цель. Отсюда можно камнем добросить до дома Освободителя, но тебе невдомек, что я знаю об этом прославленном доме и этом герое больше кого бы то ни было, кроме разве его одноглазого подручного — больше всех в Неверионе, если мои выводы, конечно, верны».

«А мне-то что, — отвечала она; он слышал ее

столь же ясно, как если бы она сидела в его повозке. — Это поможет тебе в работе? Сделает тебя храбрее, умнее, проворнее, осторожнее?»

«Эх, бабка, — возражал со смехом контрабандист, — ты, я вижу, из тех, кто судит о людях только по их работе, как будто в жизни больше ничего нет».

Он шел, шевеля губами в тумане, приводя воображаемой собеседнице один довод за другим, обмениваясь с ней репликами, то гневными, то уступчивыми. Иногда в спор вступали старухин варваренок и пропавшая девушка с гор.

… Человек со страстью и целью такими же высокими в своем роде, как цель Освободителя, а может, и выше: они охватывают все его прошлые и нынешние деяния, но при этом свободны от чувств, ведущих к ошибкам и поражениям; со страстью и целью, которые, при всем своем беспристрастии, не имеют ничего общего с мелкими делишками, обманом и лестью, составляющими нашу с тобой повседневную жизнь.

Но он уже повернул в Саллезе — Невериона осталась позади.

Он оглянулся на дом Освободителя: споря с воображаемыми противниками на предмет героических преданий, он умудрился пройти мимо

главного средоточия этих легенд; теперь дом бесследно скрылся в тумане, а может, пропал навсегда.

Контрабандист подумывал вернуться, перелезть через стену и поразведать, добавить ко всему слышанному что-то из первых рук, лично осмотреть пустые комнаты, по которым ходил, возможно, Освободитель.

…И что? Это сделает тебя храбрее, умнее, проворнее, осторожнее? (Бабка опять взялась за свое.) Нет, не время сейчас лезть в легендарный дом, бросив повозку с контрабандой на улице. Можно ли найти следы Освободителя в месте, давно разграбленном злобными мародерами? Он вернется в Колхари через несколько недель, когда туманных ночей будет еще предостаточно.

4

Город смыкался вокруг, окружая его стенами из песчаника и дощатыми дверьми. Лунные блики на мокрой мостовой говорили о недавнем дожде, хотя на контрабандиста не упало ни капли.

Старик с большой заплечной корзиной, прикрепленной пальмовой веревкой ко лбу, перешел через дорогу и скрылся в тумане.

Из двери вышли три человека, потом еще два. Один держал лампу, заправленную дешевым, дающим красный свет маслом. Переговорив, они опять вошли в дом, только одна женщина побежала куда-то, а мужчина крикнул ей вслед с порога: «Да, беги и скажи ему, что меня послали сюда за… — Контрабандист не расслышал, за чем; это, возможно, касалось знахарства, и без колдовства уж точно не обошлось. — Я скоро, мигом!» Туман не давал рассмотреть, как эти люди одеты и какое положение занимают. Мужчина говорил, однако, как чужеземец и был, похоже, родовитее обитателей этих мест.

Контрабандист понимал, что никогда ничего не узнает об этих людях. Их история, может статься, не менее занимательна, чем легенды об Освободителе, но это всего лишь безликие тени; он знал, что забудет их очень скоро, как и все, с чем встречаешься в городе.

Он повернул с Черного проспекта на Мостовую, сходящую к Шпоре. Луна играла с туманом на стенах домов. Он собирался выйти из Колхари по одной из южных дорог ранним утром, когда везут товары на рынок, — так оно безопаснее.

За час до восхода рыночные дворники зажгли факелы у въезда на мост; один уже прогорел до

головешки и сильно чадил.

Контрабандист с трудом различал непонятные надписи на стенках моста. Хорошо, что туман мешает видеть эти каракули, которые прибавляются с каждым днем. Первые надписи, с год назад, делали школяры, приходившие сюда из школ в пригородах; потом они стерлись, и стали появляться какие-то новые знаки. Их, на рассвете и на закате, думая, что никто их не видит, чертили не только школяры, но и дворяне, и варвары, пользуясь красной глиной и горелыми деревяшками. Другой контрабандист, городской сквернослов, пытался научить друга их разбирать, но тот хоть убей не мог ничего запомнить. С досады они рассорились, и их дружбе пришел конец, хотя время от времени они виделись. Колхариец говорил, что здесь записаны ругательства верблюжьих погонщиков, включающие в себя женские детородные органы, мужское семя и кухонную утварь.

Наш парень, не умея прочитать эти знаки, старался не замечать их — они лишь отвлекали глаз от более важных вещей.

В лунные ночи факелы обычно не выставляли, и рыночная площадь за мостом, еще пустая, была хорошо видна — вплоть до фонтана и воды

в нем. Теперь они горели из-за тумана, порой совсем затмевавшего луну. Повозка въехала на мост, и слабый огонек, осветив на миг горшки под холстом, отошел назад. Еще немного, и моста впереди вовсе не стало видно.

Контрабандист тянул вола за собой; мост, само собой, никуда не делся, но ему, признаться, было не по себе.

В полдень на площади выкликали новости глашатаи малютки-императрицы. Там, кажется, помост есть? Он давно уже не слыхал глашатаев.

Из тумана проступили плиты мостового настила.

Какой-то мальчуган у перил дергал себя за волосы. Одна сандалия у него потерялась, остались только тесемки на грязной голени, другая еле держалась.

Контрабандист, проходя, отвел глаза от помешанного и снова погрузился в туман.

Днем и вечером мост служил не только для въезда на Старый Рынок: здесь торговали телом. Но вскоре после заката и закрытия рынка, способствующего их промыслу, шлюхи обоего пола уходили вместе со скоморохами, укротителями медведей, акробатами и музыкантами. Они ведь тоже, говорил контрабандисту его приятель ли-

цедей, развлекают публику, только по-своему.

Когда последний гуляка переставал созывать друзей, последний мужчина в годах, перебравший пива и сидра, переставал искать утешения и последние старухи убредали к себе на Шпору, мост мог показаться пустым, но кое-кто на нем еще оставался. Они были там, конечно, и днем, но оставались незаметными в общей сутолоке: сумасшедшие, бездомные, страдающие бессонницей.

На рынке за мостом еще затемно собирались путники, чтобы за пару монеток уехать с обратными возчиками в одну из ближних провинций. Некоторые владельцы повозок возили не столько товары, сколько людей, и малютка-императрица распорядилась поставить на рынке навес и бревенчатые скамейки для удобства отъезжающих.

Застланная туманом луна освещала разве что четверть неба.

Итак, здесь правили торговля телом, безумие и путешествия. У каждой ипостаси были свои часы, но молодой контрабандист ходил через мост в разное время и знал, что и то, и другое, и третье присутствует здесь всегда, пусть и в малом числе. Сам он относился сейчас к путешественникам, раньше одно время приторговывал собой и както провел здесь целых три недели, находясь на

грани безумия. Он вспоминал, как поспорил с тем лицедеем, а потом они вместе поужинали; вспоминал вкус подгнившей морковки, которую подбирал с мостовой; разговоры о том, каких мальчиков предпочитает тот или иной барон; рыжую девушку, носившую воду из колодца неподалеку. Вспоминал и говорил мысленно, вытесняя все прочие голоса: «Я, возможно, знаю про Освободителя то, что он и сам не помнит. Но кто еще знает, что я это знаю? Никто. Ни безумцы, блуждающие здесь ночью, ни шлюхи и сводники, промышляющие днем, ни заговорщики с красной лампой».

Приближаясь к рынку, он сперва услышал, а потом и увидел мальчишек-варваров на ведущей под мост лестнице (под навесом для путников, как маленькие луны, горели факелы). Мальчишки были голые, и один бегал то вверх, то вниз.

Контрабандист придержал вола; его обогнали женщина с узелком и старик, шедшие до сих пор сзади.

Варвар лет четырнадцати присел перед ними на корточки; его светлые волосы отливали серебром при тусклом неверном свете.

— Куда путь держите, люди добрые? Не хотите сказать? Ну и зря. Я за вами не пойду, не ограблю

вас, ничего вам дурного не сделаю. Зря вы меня боитесь, добрые горожане!

Пара молча шла дальше.

Контрабандист, потрепав вола по костистой холке, стал спускаться по лестнице. Что за сборище такое? Только карманники воруют большой компанией. Под лестницей были пробиты в камне канавки: здесь справляли нужду мужчины, а женщины делали это на другой стороне. Парню помнились другие лунные ночи, когда мост отбрасывал на берег густую тень. Бывало, он и спал здесь, прислонясь спиной к изрисованному камню.

В эту ночь тени не было — только мглистый свет. Здесь были другие варвары, моложе и старше тех, наверху. Один старик как раз говорил мальчишке:

— Что ты здесь делаешь в такой поздний час, малыш?

— Я тебе не малыш, — отрезал белокурый отрок.

— Ага, — подтвердил другой, еще меньше. — Он знает, что почем.

Контрабандист поддернул набедренную повязку и направил струю в канаву. Варвар, стоящий поблизости, то ли еще не начинал, то ли уже

помочился. Свои белесые волосы он заплетал в толстую косу за ухом. Такие косицы часто встречались в Колхари, хотя, как правило, не у варваров: их носили солдаты императорской армии, опустошившие в свое время земли, из которых теперь прибывало все больше белокурых южан.

Сразу за ним, куда уже не достигал свет, виднелась совокупляющаяся пара, но кто ее составлял — две женщины, двое мужчин, мужчина и женщина, — оставалось только гадать. Контрабандист надеялся на первое, предполагал второе (учитывая свой опыт), а вслух бы сказал, что третье, хотя бы из уважения к предрассудкам того времени, — но тут же добавил бы, посмеиваясь, что и те, и другие, и третьи наверняка делают это лучше, чем он.

Он поправил повязку на чреслах. Все телесные отправления доставляли ему странное удовольствие еще в детстве, а в зрелости добавились и другие радости.

Поднимаясь обратно, он услышал:

— Куда идешь, колхариец? Ну же, скажи! Боишься, что я увяжусь за тобой? Что ограблю? Что побью? А ты не бойся!

Идущий по мосту высокий мужчина в белой

тунике с темной каймой на рукавах не обращал ни малейшего внимания на юного варвара. Если он так одет, у него должен быть свой выезд, а он идет с мешком за спиной, чтобы сесть в чужую повозку. Видать, тога ему пристала не больше, чем коса тому варвару.

— Ты чего дурака из себя строишь, варвар? — спросил другой парень, подходя к первому. Тот отскочил назад, ухмыляясь.

— Я просто спрашиваю добрых горожан, куда они…

— Потому что и впрямь дурак, да? — сказал второй и захватил его за шею согнутой в локте рукой.

— Пусти! — захрипел любопытный. — Пусти, варвар бешеный!

Второй уволок его вниз по лестнице, а контрабандист тронул с места вола и пошел дальше.

С женской стороны поднимались, оживленно болтая, пять девушек. Тоже варварки, но в городе, как видно, не со вчерашнего дня.

— Гляньте-ка, сколько парней! — хихикнула шедшая позади. Один из подростков крикнул что-то им вслед на своем языке. Одна, очень кстати, спохватилась, что забыла что-то внизу, и все прочие устремились за ней.

У перил сидела еще одна девушка лет пятнадцати-шестнадцати, с завязанным лозой узелком. Рубаха у нее на плече порвалась, на щеке виднелось пятно, а может, синяк. То ли путница, то ли нищенка, не понять. Если нищенка, то должна была сильно постараться, чтобы вызвать такие сомнения.

Бормочущая старуха тащила мешок с тряпками, черепками, деревянной шпилькой и кожаным ожерельем из провинции, где отродясь не бывала (контрабандист знал, что в нем, потому что такие мешки часто рвались у него на глазах).

Человек в тоге обращал на нее не больше внимания, чем на любопытного варвара. Девушка отвела глаза.

Мост кончился, повозка въезжала на рынок.

Желающие уехать сидели на скамейках под факелом, возницы понемногу съезжались. На кирпиче у деревянной стенки навеса спал человек в овчинных обмотках — такие носят рабочие, разбирающие дома на снос. Подошвы новые, не потертые, а набедренная повязка грязная и дырявая. Может, и он нищий — а нет, так пьян беспробудно.

Дворник поливал площадь из ведра и ширкал метлой. Один ручеек, должно быть, лизнул спя-

щего: тот вскочил, плюхнулся на скамью и снова заснул, показывая грязную шею под аккуратно подстриженной бородкой. У каждого своя история: и у него, и у человека в тоге, и у девушки в рваной рубахе. Ярлык «притворщик» или «нищий» навесить легко — в жизни все намного сложнее.

Торговцы еще не начинали ставить свои ларьки.

Контрабандист завел вола туда, где стояли другие упряжки. Постояв так часок, они поедут вместе с другими обратными возчиками — не с первыми и не с последними.

Он обмотал вожжи вокруг козел, надел торбу с сеном на шею вола. Вол облизал ему пальцы и захрустел. Контрабандист хотел было сесть под навес, но решил, что на одном месте, где его могут запомнить, лучше не оставаться — лучше пройтись.

Он вступил на мост, все еще застланный туманом, и снова услышал: «Варвар, чего дурака валяешь?», а потом и увидел всю кучку. Чуть дальше от них кто-то сидел на перилах.

5

Контрабандист не сразу рассмотрел, кто — мужчина или женщина, взрослый или ребенок.

Плечи узкие, колени широко расставлены, ступни упираются в камень.

Потом он увидел худое лицо, одинокий моргающий глаз, завязанный тряпкой другой, застрявшие в узле волосы, железный ошейник.

— Доброе утро, — сказал человек в ошейнике — теперь стало ясно, что это мужчина. — Что делаешь на мосту в такой час?

— Да так, гуляю, — улыбнулся контрабандист. Он не раз уже видел людей в ошейниках. Рабы в Колхари встречаются редко — разве что в свите какого-нибудь провинциала, но вкусы клиентов, приходящих на мост, очень разнообразны. — Тебе-то что?

— Рынок еще не открылся. Самое время в постели лежать, в обнимку со своей половиной.

— Моя работает на господской кухне в Неверионе. — Он сам удивлялся, как легко частицы жизни складываются в такую вот ложь, а иногда и в сны. — Мы с ней не часто видимся.

Ладони незнакомца были обмотаны кожаными

тесемками — так принято в одной провинции, контрабандист не помнил в какой.

— С кем же ты тогда любишься? — напрямик спросил он.

В памяти контрабандиста всплыли три женских лица. Одна моложе чуть не вдвое и почти черная, две другие лет на десять старше, светло-коричневые. После пустого года они внезапно вошли в его жизнь (старшая почти три месяца протянула) и захлестнули ее потоком страстей. Он уже месяц никого из них не видел и не сказать чтоб соскучился. Куда лучше, когда девушка служит на чьей-то кухне.

— А с кем придется, — сказал он.

— Так, может, со мной пойдешь? — Человек спрыгнул на мост. Такие же тесемки оплетали и его икры.

Иногда мысли складываются на языке дольше, чем на письме, а наш контрабандист писать не умел. Сейчас он обдумывал то, что, несомненно, пришло в голову и нам с вами. Извращенцы в ошейниках встречались в Неверионе довольно часто — всякий, кто промышлял на мосту, быстро это смекал. Ошейник мог означать что угодно, в первую очередь то, что желания его носителя в число самых распространенных не входят. Да и

это было не более верно, чем предсказание дождя по окруженной ореолом луне. Контрабандист знал также, что у калек и слепцов точно такие же нужды, как и у всех остальных: паралитик или глухонемой может иметь столь же утонченные желания, как судья или полководец. Те, кто может себе это позволить, слепые и кривые в том числе, покупают на мосту, как и все остальные. Пример — вот этот одноглазый, сильно смахивающий на разбойника.

А ошейник, кстати, часто носил как Освободитель, так и его одноглазый помощник.

— Пойдем, если недалеко, — сказал контрабандист, — а то и под мостом можно.

— За деньги или за так? — спросил одноглазый. — Там внизу, у отхожих канав, битый час стоит варвар с косой за ухом. Если б я хотел за железяку, заплатил бы ему, но я не хочу.

Контрабандист прибегнул к испытанному средству и прикинулся полным недотепой.

— Значит, и мне не заплатишь? На этой неделе я таскал бочки в гавани, на прошлой пытался тут поработать, на позапрошлой работал в горах — чистил одному трактирщику погреб. Не знаю уж, что у меня хуже выходит. — Эти три недели были, конечно, такой же выдумкой, как

и кухонная девушка. — Тут на мосту мне порой давали пару монеток, но последнее время я мало с кем разговаривал. — Чистая правда. — Колхари — город одиноких. Я пойду с тобой за компанию, а ты мне что-нибудь дашь — идет?

— Если «что-нибудь» значит «ничего», то пошли.

— Эй, погоди! — Контрабандист догнал кривого, шагавшего к рынку. — Что уж так-то… Потом сам решишь, чего я стою — знаю, что немного, так я много и не прошу. Ты откуда сам будешь? Откуда пришел на эти мокрые камни?

— Задаешь такие вопросы в такую ночь, на этом мосту? — Единственный глаз смотрел с веселым недоверием. Так смотрят на пятнадцатилетнюю варварку, спьяну выдающую себя за благородную деву.

Контрабандист потупился и с застенчивой улыбкой потер мочку уха.

— Ну, может, у тебя золотишко водится…

— Золотишко? Ха! Не настолько ты молод.

— …Или пара железяк, — продолжал наш парень как ни в чем не бывало. — Очень бы ты меня выручил. Я ж теперь не работаю, а девушка не часто меня навещает. Думает, поди, что любовник я неважнецкий. С мужчинами у меня вроде

бы лучше получается — стараюсь, во всяком разе. — «Может, я уже не так молод, — думал он, поглядывая на одноглазого, — но на твоем месте тоже не торговался бы». — Моя девушка не знает, что я хожу сюда, да и не надо ей знать. — Всем женщинам, с которыми он спал начиная со своих шестнадцати лет, контрабандист рассказывал про свои похождения с мужчинами, и они слушали как завороженные — можно было и без предварительных ласк обойтись. Не рассказывал, только если это мог услышать другой мужчина. Трем последним он рассказал, и что же? Разве они не восхваляли его нежность и сноровку в любовных трудах, разве не просили его остаться? Младшая, чтобы привязать его к себе, отдавалась ему во всех позах, какие знала, старшая делала это куда искусней, да еще и деньги ему предлагала. Он сильно оскорбился, но взял, вспомнив, должно быть, про мост, — и все равно ушел. Средняя нравилась ему больше всех, но у нее были дети, хозяйство — его она терпела только ради утехи. Виду, правда, не подавала, но по-настоящему в нем не нуждалась. Веснушек ни у одной из них не было, а без этого, как он с растущей горечью понимал, с женщинами любиться все равно что с мужчинами или животными.

Он переходил от одной к другой, весьма довольный собой (как животное), но потом каждая узнала о существовании двух других.

Тут и слезы, и крики, и обвинения, из-за которых провинциальному приставу впору взяться за кнут! Младшая была очаровательной дурочкой, мать семейства обращалась с ним жестко, а все три вместе… Он скучал по ним, а теперь вот снова рассказывал о своей любовной несостоятельности, как будто прятал за ней какую-то важную истину.

— Я пойду с тобой, — повторил он. — Я это не часто делаю и не слишком в этом хорош — но если моя не узнает, то и страдать не будет. Она ж далеко отсюда, в Неверионе.

Одноглазый в своей кожаной юбке шагал себе дальше, будто ему и дела не было до любви. Они прошли мимо юных варваров. «А мне-то куда идти?» — спросила какая-то женщина, и один из парней указал ей на противоположную лестницу. Кривой обогнал контрабандиста на три шага, на шесть, на девять.

Тот поспешал за ним. Поредевший туман позволял уже различить фонтан посреди площади. Вода лилась в чашу, растекаясь через край по канавкам. Жительницы пустыни — одна светила

другим факелом, и ожерелье на ее шее сверкало — ставили свой лоток.

— Знаешь, — сказал контрабандист, догнав наконец кривого, — я как-то встретил тут одного южанина. Варвара, не старше меня. В ошейнике, как и ты. Я ему приглянулся и пошел с ним, как иду с тобой. Он сказал, что в своих местах, на юге, был принцем, а потом его взяли в рабство — по-настоящему. Схватили у него дома, на юге, увели на север, в Элламон, и там продали. А освободил его тот, о котором все говорят, знаешь? Горжик Освободитель? Который хочет искоренить рабство? Варвар сказал, что они вместе сражались с рабовладельцами на западе. — На одноглазого контрабандист намеренно не смотрел. — Я ему говорю: «Освободитель, должно быть, замечательный человек». А он знаешь что мне ответил? «Ненавижу его, — сказал. — Он освободил меня из рабства, но не освободил вот от этого». Это он про ошейник, смекаешь? «Он сделал только половину работы, и я за это убью его, если смогу!» Что ты на это скажешь?

Одноглазый обращал на него не больше внимания, чем коренной горожанин на дразнилки варваров.

Они пересекли площадь.

Контрабандисту в самом деле случалось говорить и с варварами, и с людьми в ошейниках, и с рабами, и даже с работорговцами. Из этих бесед, из наблюдений, из обрывков историй об Освободителе и его друге-варваре, ставшем после врагом, он вынес убеждение, что этот варвар — не выдумка, и хотел проверить свой вывод на комто, могущем это подтвердить; однако у фонтана ему подумалось, что история о варваре, в сущности, мало чем отличается от прочих побасенок.

— Того варвара в ошейнике я давно уже не видал, — сказал он. (А если по правде, то не видал никогда.) — Должно, случилось с ним что-то неладное. Говорят ведь: тот, кто не появляется больше на Мосту Утраченных Желаний, помер, как только его перешел. Может, его убили. Я слыхал, будто Освободитель где-то на Шпоре убил варварского принца, напавшего на него. Но не всему верь, что слышишь.

Одноглазый молчал, и контрабандист повторил еще раз:

— Да, давно я его не видал, того варвара. А ты что про него думаешь, про Освободителя то есть?

Единственный глаз глянул на него с тем же веселым недоверием.

— А ты?

Контрабандист, легко скользивший по волнам лжи, вдруг очутился совсем близко от правды. «Почему бы и не сказать», — подумал он, но горло у него сжалось, сердце заколотилось, все тело покрылось холодным потом, будто его в сырую могилу скинули. Ни дать ни взять как в тот миг, когда он набрался духу заговорить со смуглой веснушчатой девушкой, поставившей ведро на кромку колодца; тогда он чувствовал, что ее отказ или резкое слово повергнет его наземь замертво столь же верно, как карающая рука безымянного бога. Но после многочисленных посещений моста он научился одолевать ужас, покоряясь ему, признавая его своим господином. Пренебречь этим внутренним вызовом значило бы признать, что в мире, созданном безымянными богами, не может быть ни страсти, ни цели. Он глотнул воздуху и сказал:

— Я считаю Освободителя величайшим человеком в Неверионе. Для меня, чего бы ни стоило мое мнение, он еще более велик, чем малютка-императрица Инельго… — Он искал каких-то особенных слов, но довольствовался общепринятыми: — …Справедливая и великодушная владычица наша.

— Выходит, ты думаешь, что Освободитель, если

бы Неверионом правил он, был бы справедливее и великодушнее императрицы? — фыркнул кривой. — А еще полагаешь, что я и есть тот самый Освободитель или его одноглазый сообщник?

— Нет! — вскричал контрабандист, испытав, однако, странное облегчение после этих слов.

— Думаешь, что легче выпросишь пару монеток, если скажешь, что Освободитель велик, а я его ближайший помощник? Что ж, не ты первый с такой дурью в башке. Да только тебе это не поможет.

Одноглазый остановился. Они были уже на Шпоре, на замусоренном дворе с колодцем посередине — контрабандист не понимал толком, как они здесь оказались.

— Меня и другие за твоего Освободителя принимали. Можно, конечно, прикинуться, что я и впрямь он, а ты — несчастный раб, мечтающий о свободе. Да только не хочу я. Не этой ночью и не с тобой. Какой из меня Освободитель? Притворимся лучше, что раб — это я. Несчастнейший из рабов, попавший на обсидиановый рудник у подножья Фальт, где и твой Освободитель будто бы трудился некогда в железном ошейнике. Грязнейший раб, наполовину слепой. — Одноглазый сел на обод колодца, и луна, проглянув из тумана, по-

серебрила ему глаз и плечо. — Что бы ты со мной сделал, будь я самым слабым, самым грязным, самым больным рабом на всем руднике? Боящимся дать отпор любому насильнику — стражникам, десятнику, прочим рабам? Представь меня в цепях, неспособным сопротивляться, будь даже у меня больше сил. — Его рука легла на плечо контрабандиста. — Знаю, в рудниках больше не пользуются цепями, в них только с места на место переводят рабов, да и то лишь на западе — но ты все равно представь.

То, что испытал контрабандист в этот миг, не было ответом на прикосновение одноглазого или на его выдумку. Он и раньше ощущал это: покалывание в пояснице, животе, бедрах, знаменующее победу над страхом и высказанную вопреки всему правду. А поскольку этот человечек, предмет его страха, не исчез со страхом вместе и даже приблизился, член под набедренной повязкой напрягся тоже.

— Лезь за мной, — шепнул одноглазый, перекинув ногу через обод колодца. — Не бойся, там скобы приделаны.

Полтора года назад контрабандист в последний раз занимался законным промыслом, а именно чистил с артелью других рабочих колодцы от

разного хлама: битых горшков, детских мячиков, поломанной мебели. От грязи тоже, само собой. Работал он на совесть, а скоро приобрел и сноровку. Ему нравились товарищи по артели, и десятник часто его хвалил: «Говоришь, что ты недотепа, а сам, как я погляжу, хороший работник, чуть ли не лучше всех». Даже прибавку ему сулил, но однажды контрабандист на работу не вышел. Одноглазому он об этом не стал говорить, однако про скобы в стенке колодца знал преотлично.

— Давай! — Кривой встал на первую скобу. — Колодец этот сухой уже много лет.

— Спускайся, я за тобой. — Видя, как уходит вниз перевязанная наискось голова одноглазого, контрабандист испытал гордость, знакомую всем, кто оказывает телесные услуги другим: эх, и ублажу я тебя!

Он полез следом, глядя вверх, на луну. Сломанная перекладина оцарапала ему голень. Устоит ли туман перед костяным щитом, подвешенным в небе безымянным богом войны? Не хотелось бы очутиться на дне колодца в кромешной тьме, пусть даже с несчастным рудничным рабом.

Скоро он ступил в воду, под которой, впрочем, тут же нащупал камень. Не такой уж, выходит,

и сухой он, этот колодец — вода затягивала три четверти его дна. В ней отражалась стенка и белые струйки тумана.

Одноглазый сидел на сухом выступе — кожаную юбку он уже скинул.

— Можешь делать со своим рабом все что хочешь. Бей, пинай, измывайся. — Эхо усиливало его голос — казалось, что разрешение наряду с наставлением дает не этот человечек, а сам город. Контрабандист подошел к нему по воде. Холод и затхлый воздух не уменьшили, а только усилили его возбуждение. Он сдернул и бросил набедренную повязку. Это все голос, крутилось у него в голове. Когда он раньше имел дело с мнимыми рабами в ошейниках, их пожелания и поправки только мешали ему; в конце концов он прятал свой вялый член в повязку и уходил, в который раз убеждаясь, что подобные извращения не для него. Но этот громовой глас ни в чем его не корил, не объявлял невеждой. Точно сам бог любви давал ему отпущение и вдохновлял там, где человек только расхолодил бы.

— Вот тебе! — Он пнул сидящего на корточках кривого в бедро — не сильно, чтобы не ушибить собственную босую ногу, — и добавил пяткой по заду, придерживаясь за стену. — А теперь дер-

жись! — Он уперся коленом в холодный камень и приступил. Раньше невольное сопротивление клиентов лишало его всякого удовольствия, но теперь все шло как по маслу: тело одноглазого охотно принимало его, а разница между холодом камня и жаром соития только способствовала наслаждению. Жар и уязвимость чужих тел поражали его каждый раз, чем бы он ни орудовал — членом, языком, пальцами рук и ног. Каждый раз это было внове и действовало сильнее, чем ему помнилось. И разве не память об этом (думал, не прерываясь, контрабандист), разве не желания всех продавцов, покупателей, искателей дармовых удовольствий дали мосту его имя? Он знал, что его тело не запомнит надолго этого вхождения в чужую влажную плоть и желание будет утрачено, как все другие желания.

Одноглазый отвечал ему чутко, то замедляя, то ускоряя ритм: «Хочет доставить мне удовольствие», — с удивлением понял контрабандист. При сделках на мосту это случалось редко.

— Ты который? — прошептал кривой. — Пятый, девятый, семнадцатый из тех, что покрыл меня после восхода луны? — И это снова был голос бога, не грозящий, не сравнивающий — поющий хвалу.

— Я лучший! — крикнул контрабандист, не зная, правда это или фантазия. И не все ли равно? Зачем ему соперничать с пятью, девятью, семнадцатью призраками, заполнившими колодец? Он сам по себе. Он упирался подбородком в холодное плечо своего любовника, слюна текла изо рта. Одноглазый повернул к нему голову.

— Да ты прямо жжешь меня! Хорошо, хорошо! — Далекий и бесплотный ранее голос стал близким и задушевным.

Контрабандист наяривал, держа ровный, как биение сердца, ритм.

— Погоди! — Одноглазый вдруг вывернулся и обратился к нему лицом. Живот, чресла, бедра контрабандиста сразу похолодели, точно сама жизнь покинула их. — Пойдем со мной. Там будет лучше, увидишь. — Одноглазый скрылся в проломе, контрабандист полез за ним и очутился в коридоре, через который, несомненно, и утекала вода из колодца.

Дыхание порождало эхо в узком туннеле. Контрабандист не сразу понял, что это дышит он сам, а не идущий впереди человечек. Он споткнулся и чуть не упал, но возбуждение не проходило, несмотря ни на что.

В голове откладывалось расстояние, но не

время. Пять или шесть поворотов, как вскоре выяснилось, они прошли очень быстро.

Забрезжил свет, и контрабандист увидел груду чего-то — мешков? В них, как он убедился на ощупь, что-то позвякивало.

В скальных нишах горели два факела. Повязка на глазу кривого, серая под луной, при свете огня играла разными красками: зеленой, синей, багровой. Он прицепил к лодыжке железное кольцо с цепью, встал, уперся руками в стену. Цепь легла на его ягодицы и обмотала ногу. Он тяжело дышал, тени перемещались по его выпирающим позвонкам.

Их тела снова соединились. Цепь, пролегая между ними, охлаждала их нарастающий жар. Капли, струящиеся со лба контрабандиста, затекали в усы и в рот — он мимолетно удивился их соленому вкусу.

Одноглазый вывернулся опять.

— Подожди, — сказал контрабандист, — я почти уже…

— Пойдем! — Одноглазый, гремя цепью, прошел в занавешенную шкурами арку.

Пот холодил грудь контрабандиста, волосы на ней встали дыбом. Почесываясь, он двинулся следом.

В этой комнате при свете одинокого факела громоздились перевернутые скамейки. Одноглазого не было, шкура на дальней двери покачивалась.

Тьма в туннеле способствовала возбуждению и мешала думать, но здесь, при тусклом свете, контрабандист вспомнил, что игры с мужчинами, особенно когда один подчиняется, а другой властвует, — не его стихия.

Так он думал, но чувство требовало вернуть то, что ушло вперед с одноглазым, — знать бы еще что.

Контрабандист задержался немного, размышляя, идти ли дальше. Что он может получить от другого и чего хочет от него тот? Стоят ли того новые сведения об Освободителе? Поразмыслив, он прошел в следующую дверь.

Сначала он подумал, что уперся в каменную глыбу, потом разглядел широкие ступени, ведущие вниз, во тьму.

Дюжина факелов далеко впереди почти не давала света. Где-то журчала вода. Контрабандист различил балконы по бокам, пересекающий пространство ручей, два мостика через него, огромную жаровню с горящими углями за ним. Вдали между факелами виднелся каменный трон с резной спинкой в виде какого-то зверя — орла,

дракона?

Одноглазый, волоча цепь, подходил к нему. Оглянулся через плечо, пошел дальше.

Видит ли он что-нибудь в таком мраке? Контрабандист сошел в темный чертог по сильно истертым ступеням. Сколько же им лет — пятьдесят или все пятьсот? Со стропил свисали веревки. Запах этого глубокого подземелья напоминал о зимнем море за пределами города, журчание — о летних долинах. Противоречивые ощущения все больше отбивали охоту к любовным делам.

Здесь чувствовалось движение воздуха, но туман сюда не проникал. На кой ему сдался этот недоросток в ошейнике? Но отток крови от чресел и покалывание во всем теле вызывали тоску — не по недоростку, а по утраченному желанию.

Он шел по земляному полу. Здесь было темней, чем у входа: свет, подобно пару, уходил вверх. Через двадцать шагов ступни нащупали деревянный настил первого мостика.

Внизу клубилась пена.

Одноглазый сидел на нижней ступеньке трона, вокруг виднелись шкуры или меха.

Если он в самом деле Освободитель или как-то с ним связан, о чем бы его спросить? Для начала — когда он родился. Одни говорят, что в месяц

барсука, другие — что в месяц собаки. Месяц своего рождения человек знает лишь с чужих слов, не всегда правдивых. Мать и тетка контрабандиста как-то спорили под сливовым деревом, кто он — барсук или летучая мышь. Можно спросить еще, как он попал в армию из обсидиановых рудников и когда потерял глаз — до или после. Контрабандист сошел с сырого дерева на пыльные плиты, пытаясь представить одноглазого офицером империи. Если же он только помощник Освободителя, надо спросить, давно ли они вместе: всего с полдюжины лет или еще в рудниках подружились?

От жаровни пахнуло горячим воздухом. Если к ней прислонишься, поджаришься враз. Цепь лязгнула и прошуршала по камню.

За жаровней сразу же похолодало опять.

Стало видно, что у одноглазого — он прилег теперь на бок — ступни черные, а ноги между кожаными ремешками чуть чище. Краски мозаики на полу оставались неразличимыми.

Контрабандист занес ногу на ступеньку, и одноглазый… забился в корчах!

Спина выгибалась, играя позвонками, лопатки вздымались и опадали.

— Освободи меня… — прошептал он.

Контрабандист, с трудом сдерживая смех, поднялся чуть выше. По спине, ягодицам и бедрам бежали мурашки.

— Нет, — произнес он, как лицедей, впервые вышедший на подмостки: реплика не выражала ничего, кроме страха перед публикой. — Нет. — Теперь он, по крайней мере, узнал собственный голос. — Зачем мне освобождать такого грязного, чахлого раба? Ха! — Смех наконец прорвался наружу.

— Освободи, хозяин… Всё в твоей воле: мучить меня, держать в рабстве вечно или освободить. Не все ли тебе равно?

Может, это жаровня не пропускает туман в подземелье?

— Низкий и похотливый раб, ты не заслуживаешь свободы! — Контрабандист, произнося это со всем доступным ему пылом, не до конца понимал, что, собственно, хочет выразить. — Ты мерзок, как помои в канавах Шпоры. Мерзок, как самая глубокая яма в императорских обсидиановых рудниках. — Он ступил на сиденье трона и провел рукой по восставшему члену, как по чужому; его плоть, казалось, изображала желание сама по себе перед новой его утратой.

Плечи человека, распростертого у подножья

трона, изогнулись, ягодицы напряглись, мускулы рук и ног обозначились.

— Освободи, хозяин. Всё в твоей воле. Так было всегда. Ты велик, я ничтожен — снизойди же к моему несчастному, исстрадавшемуся телу…

Гремя цепью, он перекатился на спину, подтянул колени к груди. Контрабандист удивился при виде его вялого члена. Может, это возраст дает о себе знать? Отлюбил свое одноглазый? Может, и похоть его наигранная, как все эти корчи и судороги, и он преотлично знает, что делает? Заманил парня сюда и теперь сам сотворит с ним все, что захочет!

Но одноглазый, будто подслушав его мысли, поднял голову и прошептал:

— Все, что хочешь, хозяин, что хочешь…

Его глаз впился в контрабандиста, лицо исказилось. Контрабандист держал в руке собственное естество, напрягшееся до боли. Слезящийся глаз внизу смотрел не мигая, во рту шевелился мокрый язык.

— Хозяин…

Все произошло внезапно. Жар хлынул от колен в пах, и он кончил. Сердце колотилось, в ушах бухало, правая нога тряслась, норовя подогнуться, в боку кололо. Никакой мысленный ряд — начи-

нается, мол, вот сейчас, ничего хорошего, да нет, все отлично — этому не предшествовал.

Удовольствие — если нечто столь сильное, не поддающееся словам, можно выразить этим словом — отхлынуло, как вода в отлив, оставив позади мокрый песок. Контрабандист перевел дух, прикидывая, как бы спуститься. Нежданное извержение вкупе с грохотом сердца пугали его. Он придерживался за пыльную шкуру на подлокотнике трона.

Дрожь в правой ноге не унималась.

Когда он кое-как сошел по ступеням, одноглазый ухватил его за лодыжку мокрыми отчего-то пальцами.

— Освободи меня!

Контрабандист вырвался, едва не упав, и зашагал прочь по плитке.

У жаровни он понял, что в подземелье есть еще кто-то.

От настенного факела зажегся еще один, и двойное пламя высветило голову и руку желтоволосого варвара, переходящего с факелом от одной ниши к другой.

Какая-то женщина подкатила к жаровне раскладную лестницу, влезла на нее, подсыпала свежих углей.

Контрабандист чуть не бегом перешел мостик. Два подростка, мальчик и девочка, вытряхивали шкуру, пыль стояла столбом.

Видели ли они его? Слышали ли? Поняли ли, что он делал, стоя на троне? Одноглазый-то на полу валялся, а его было видно куда как ясно. Почему это приключилось именно с ним? Что в нем такого особенного? Эти мысли перебила другая, деловитая: может, вернуться и снять все-таки с одноглазого цепь? Тот, не иначе, здешний подметальщик — пришел раньше всех остальных и воспользовался этим. Знал, что к чему…

Контрабандист стал подниматься по ступеням, не представляя себе, для чего этот подземный чертог служит. Может, их с одноглазым все-таки никто не видал, а если и видел, то не понял, чем они занимаются. Чтобы понять, присмотреться надо. Да, такого он еще не испытывал, но…

— Эй, — сказала женщина, разбиравшая груду скамеек, — ты разве не должен прибираться внизу?

— Нет… меня послали принести… — Он показал на дальнюю арку. — Вон оттуда! Я мигом! — Он прошмыгнул в соседнюю комнату и не увидел ни зги: все факелы, горевшие там раньше, погасли.

Задев ногой за цепь на полу, он пошел вдоль

стены. Женщина не откинула завесу, чтобы за ним последить. Он нащупал кучу мешков, думая: «Хорошо, что я не такой уж юнец, иначе пристрастился бы к таким вот утехам». Удовольствие было огромное, спору нет, но он уж как-нибудь без этого обойдется.

Мешки остались позади, он был уже в туннеле. От таких удовольствий и окочуриться недолго, но кое-что полезное он узнал. Узнал про тайное подземелье, про трон, про то, что наслаждению нет предела. А одноглазому он сказал чистую правду. Освободитель — самый великий в Неверионе человек.

Ему представилось, что за ним идет кто-то. Не Освободитель, не одноглазый, а варвар, прежний соратник Освободителя. Теперь он наверняка знал, что все истории о гибели того варвара выдуманы. Не стал бы тот покушаться на Освободителя из-за каких-то любовных неурядиц. Ради удовольствия, даже сопряженного с болью, можно убить — но убивать, чтобы избавиться от этого удовольствия? Если он и был, такой варвар, то дело с ним обстояло куда сложней, чем сам же контрабандист рассказывал одноглазому, собрав все байки и сплетни. Он в который раз убедился, что знает *правду* об Освободителе и его ошейни-

ке, хотя не может сказать того же о его кривом помощнике, тоже носящем порой ошейник. Не чудо ли, что правду всегда можно отличить от лжи, недомолвок и вымыслов? И почему его заявление о величии Освободителя кажется теперь столь банальным? (Мысль, столкнувшись с достоверностью, не остановилась на ней.) Может ли быть, что в пылу страсти само понятие правды отлепилось от его первоначального заявления, прилипло к новому и что эта новая «правда» — такое же сочинительство и такая же ложь, как все остальные истории?

Через несколько поворотов он стал опасаться, что свернул в какой-то боковой ход, но тут на мокрую стену лег отблеск света, и он вышел в колодец.

На смену ночи пришло серое утро. Поперек колодца наверху лежали пять жердин с привязанными веревками — раньше он их не видел.

Кожаная юбка одноглазого и его собственная набедренная повязка так и валялись на сухом камне. Один конец повязки, конечно же, полоскался в воде. Может, бросить ее? Наверху перекликались женские голоса. Можно, конечно, пройтись по городу голым на манер варвара, но такой кусок ткани стоит недешево: повязку

выбрасывают, только если она станет грязной до неприличия или протрется до дыр. Кроме окунувшегося в лужу конца на ней обнаружилось еще с полдюжины мокрых пятен. Контрабандист выжал ее, перекинул через плечо и полез вверх, переступив через сломанную скобу и другую, грозящую скоро переломиться.

Высунув голову из устья, он оглядел двор. Две девушки, перебрасывающиеся детским черным мячиком, сначала показались ему совсем юными — как он сам, когда сбежал в Колхари из деревни. Обе были в таких же повязках, которая холодила сейчас ему спину.

Варварка с коротко, еще по-летнему остриженными желтыми волосами врезала по мячу, колыхнув загорелой грудью.

— Ай-й!

Темнокожая колхарийка с перевязанной кожаным шнурком пышной гривой поймала мяч, пригнулась и подкинула его в воздух.

— Йахей!

Варварка, метнувшись навстречу, поймала его и кинула обратно.

Контрабандист вылез тем временем из колодца, прошел немного, оглянулся через плечо. От тумана осталась только легкая влажность в

воздухе. Утро было ясное, и солнце уже осветило восточную стену переулка, но на севере еще висела легкая дымка.

— Айя-хаа! — Варварка споткнулась; мяч свечкой взмыл вверх, а она села на камень, заложив руки за спину. Солнце легло на ее плечо, колено и грудь, и контрабандист с восторгом увидел, что и то, и другое, и третье густо покрыто веснушками.

Темненькая хохотала и трясла головой, перебегая из света в тень. Экое счастье привалило: парень, разглядев веснушки и у нее на спине, аж язык высунул, словно желая лизнуть одну из темных золотинок на соленой девичьей коже.

— Ты как, не ушиблась?

— Нет-нет, — ответила варварка. — Не видела, куда мяч улетел?

— Туда вроде бы.

— Ой, не-ет!

— Я слышал, как он в колодец упал, — подал голос контрабандист. — Всплеснул, там вода внизу.

Он сам не знал, что из чего родилось: речь из храбрости или храбрость из речи.

Девушки посмотрели на него. Улыбнулись.

— Правда слышал? — спросила одна из них. Он уже плохо различал их в потоке солнца, затопившем смуглое плечо одной, грудь и щеку другой.

Ответы? Правда? Все растаяло в солнце, в далеком море, в расколовшемся небе.

— Там совсем мелко, — сказала варварка. — Я спущусь…

— Еще чего! — воскликнула темненькая. — Лезть в пустой колодец? Кто знает, что там внизу? — И они снова расхохотались.

Контрабандист пытался заговорить снова, отпустить шутку, вызваться слазить самому, но губы и язык словно оцепенели, и девушки — варварка (он мог только надеяться, что она такая же шлюха, как и он сам) и порядочная колхарийка — ничего не услышали. Прошептать впервые «хозяин», должно быть, не легче, чем заговорить с женщиной, вызывающей у тебя желание более знакомого толка. Он двинулся через двор в переулок, по которому, сколько помнил, пришел сюда в темноте, и оглянулся опять. Они прекрасны, незатейливо сложилось в уме. Зачем пользоваться мужскими телами, когда в городе живут такие чудесные девушки? Но то, что он узнал об Освободителе, стоя на троне, будь то туманный сон или гранитная явь, было подарено ему телом другого мужчины.

6

В те времена, гораздо примитивнее наших, публичная нагота не считалась признаком безумия, бунтарства или служения искусству. Нагота, наряду с мозолистыми руками, относила человека к определенному классу общества, вот и все. Контрабандист, когда дела шли удачно, зарабатывал несколько больше бедных тружеников и потому находил даже кое-какую радость в обмане, идя голым к рынку по почти пустым утренним улицам. Немногочисленные прохожие, и мужчины и женщины, тоже были нагие.

Иногда он поворачивал обратно, определив по солнцу, что тот или другой переулок не приведут его к рынку, но наконец дошел. Три четверти торговых ларьков уже стояли на площади, остальные спешно воздвигались. Торговцы переговаривались, ранние покупатели с корзинами и мешками уже бродили между рядами.

Охрана порядка тогда тоже не достигла современного уровня: наш приятель преспокойно оставил на площади вола и повозку с контрабандой, собираясь прийти через час (события в подземелье заняли несколько меньше времени).

Императорские досмотрщики рыскали здесь, правда, в любое время, но за последние годы в городе открылось несколько новых рынков поближе к морю, и всюду они поспеть не могли.

Многие повозки уже разъезжались. Час еще куда ни шло, но дольше было бы опасно даже и в те времена.

Контрабандист шел мимо ларьков с дешевыми украшениями, диковинными плодами, крестьянскими орудиями и утварью. Его рыжий вол уже съел все сено и мотал головой. Ранние путники уехали, недавние сидели под навесом и ждали. Пьяный так и лежал на скамейке.

К контрабандисту подошел парнишка, тоже голый.

— Тебе не на юг, часом? Возьмешь меня за пару железок?

— За пару монет сможешь проехать только несколько стадий. — Контрабандист застеснялся собственной наготы рядом с этим стройным юношей — школяром, не иначе — и намотал на себя повязку, еще не просохшую. А может, он и не школяр вовсе. После недавних приключений контрабандист был склонен взвешивать все и вся.

Во-первых, парень ходит голый, как беднейший из варваров, хотя сам не варвар. Его черные

волосы заплетены сбоку в косу, но видно, что он и не солдат тоже. На ногах кожаные обмотки, как будто он с битым камнем имеет дело — но, может, он учиться ходит по такой осыпи. Бородка у него далеко не такая ухоженная, как у пьяницы под навесом. Ладони тоже кожей обмотаны, как у одноглазого, но это не значит, что он из тех же краев — подсмотрел, небось, у кого-то, и самому захотелось. Может, он расскажет про эти тесемки больше, чем одноглазый, который скорей всего их с самого детства носит.

— У мастера учишься? — спросил контрабандист, почесывая вола между рогами. — Близ Саллезе?

Юнец, явно думавший, что в голом человеке школяра никто не признает, смущенно потупился.

— Пока только готовлюсь. Делаю вощеные доски и глиняные таблички для старших. Начну заниматься с весны, когда читать буду лучше.

Похоже было, что пьяный вот-вот свалится со скамьи.

— Заметил ты, сколько вокруг моста пьяных, сумасшедших, голодных? Если раньше они и работали где-то, то теперь точно нет, — с сочувственным вздохом промолвил контрабандист.

— Мой мастер то же самое говорит. В Колхари, не считая школы, настали трудные времена.

Контрабандист, слыхавший это из года в год, засмеялся и хлопнул школяра по плечу.

— Лезь в повозку — хоть немного, да подвезу. — Как человек добродушный, он не хотел обижать мальчишку; школяры, как известно, часто терпят насмешки от рабочего люда, а то и с прямой враждой сталкиваются. В Колхари говорили, что школяры, не имея своих богов, норовят дать имена всему остальному. — Если сломаемся, поможешь толкать.

Пока школяр усаживался, контрабандист еще раз посмотрел, все ли в порядке. Старухин мешок лежал на месте, надежно спрятанный за горшками.

— Хайиии! — Он сел на козлы рядом со школяром, тряхнул вожжами, пристроился за тремя другими повозками — как раз то, что надо.

В этот миг он увидел в торговом ряду своего знакомца, в ошейнике и с завязанным глазом. Вид у него был усталый. То, что погнало контрабандиста из подземелья, теперь утихло; коротышка, скорей всего, опять шел на мост, чтобы завершить действо, для него далеко не новое и не сулящее особых услад.

— Эй, одноглазый! — крикнул контрабандист, ни от кого не скрывая своих ночных похождений. — Ну что, дашь мне монетку?

Одноглазый обернулся к нему и совершил нечто поразительное: сдернул с лица повязку и выставил напоказ два совершенно здоровых глаза.

— Не дашь, значит? — Контрабандист отчего-то порадовался, что он едет, а коротышка идет пешком. — Ладно! Авось еще увидимся на мосту! — Вол шагал в одну сторону, человечек в другую. Контрабандист пихнул локтем школяра. — Мог бы ты подумать, что… — Но откуда парнишке знать о его изысканиях? — Ладно, не важно. Я часто болтаю всякую чушь.

— Ты его знаешь?

— Да… он задолжал мне немного денег.

— Раб?

— Ну, видишь ли…

— А, так он из этих.

Они помолчали. «Ты учишься у мудреца в Саллезе, — мысленно говорил контрабандист, — но понятия не имеешь о том, чему я научился там, на мосту. А не мешало бы поучиться».

Школяр, опять же в мыслях, ему отвечал: «Думаешь, ты один такой ученый? Не знаешь разве,

что школяры часто ходят на мост разжиться парой монеток? Только не признаются, что они школяры, потому что клиенты таких не любят».

«И ты ходил, — подумал контрабандист, покосившись на паренька. — Нет, не похоже». «Нет, — подтвердил воображаемый школяр. Я ничего такого не делал — посмотри на меня, и ты убедишься». Но как можно убедиться в чем-то таком?

Парнишка — голый, но не варвар, с косой, но не солдат, в обмотках, но не рабочий, с кожаными тесемками на руках, но не из дальней провинции — с любопытством вглядывался в рыночную толчею. Контрабандист разглядел веснушки и у него на руках, но веснушчатые мужчины отталкивали его не менее сильно, чем веснушчатые женщины привлекали. Не мальчик, а какая-то ходячая ложь, оживший наяву сон.

Под этот мысленный разговор они выехали с рынка в просыпающийся город и потащились к южным воротам.

7

Седока контрабандист взял, чтобы сойти за честного возницу, но намеревался ссадить его

нынче же вечером — пусть поищет другого попутчика, едущего на юг. Звали школяра Кентон, хотя контрабандист не думал, что надолго это запомнит. Однако парень оказался компанейским и вечером хохотал над его рассказами. Историй в запасе было много: как его выгнали из артели лесорубов за то, что спал в рабочее время, как рассерженный крестьянин выставил его из заброшенного амбара (хотя он предлагал отработать свою ночевку), как поносил его гончар в Колхари, когда он, разгружая привозную глину, заляпал ею всю улицу; все это происходило от трех до пяти лет назад, но по словам контрабандиста выходило, что с тех пор и пары месяцев не прошло.

Такого благодарного слушателя стоило оставить еще на день-другой.

Назавтра, когда истории контрабандиста поистощились, школяр начал рассказывать о своем. На вопрос, что он думает о Горжике Освободителе, Кентон ответил так: «Горжик? Слышал такое слово. Оно иноземное, откуда-то с Ульвен, да?» Больше хозяин повозки его об этом не спрашивал и просто слушал краем уха его болтовню, поддакивая время от времени.

Человеческий голос слышать всегда приятно.

Школяр не спрашивал, отчего они едут около-

ными тропами, и охотно слезал, чтобы вытащить застрявшее колесо или помочь переправиться через ручей. На второй вечер он вызвался состряпать похлебку из сушеной трески и кореньев, сказав, что в школе постоянно на всех готовит. «Не потому ли он такой покладистый, что чует неладное и смотрит на это как на приключение», — думал контрабандист? Оно и к лучшему, хороший спутник ему попался.

— Вот я и на месте, — сказал Кентон на третий день и сошел у гостиницы, хозяйкой которой, как он много раз повторял, была его тетка. — Ты не такой, как другие, знаешь? Не говоришь, что школяры — никчемный народ, и не хвалишься, что ты сам — честный труженик. — Это он, опять-таки, уже говорил в самом начале пути; тогда контрабандист промолчал, а теперь сказал:

— Потому что честный труженик — это не про меня. — Не добавить ли «я честный контрабандист»? Нет, это было бы глупо. Они поухмылялись, глядя друг на друга, и школяр сказал:

— Ты мог бы заночевать здесь. Тетка тебя покормит, а ты с меня ничего не возьмешь за езду.

Контрабандист, вспомнив прижимистого «кривого», ответил:

— Я не тетку твою привез, а тебя. Гони три

железки, как уговаривались. Это вполовину меньше того, что запросил бы другой, но такой уж я дуралей. А если потом захочешь по дружбе меня угостить, твое дело. — Он давно смекнул, что монету школяр держит в своих обмотках.

— Знаешь, — сказал Кентон, вручая ему три монетки, — к матери мне еще целую стадию на запад шагать, так что тебе, пожалуй, тут и правда лучше не останавливаться. Я только поздороваюсь и пойду себе дальше…

— Счастливого пути, Кентон. — Контрабандист тронул с места вола.

— Спасибо. И тебе тоже!

«Честный контрабандист, — твердил он в уме. — Честней некуда. Когда-нибудь я скажу это вслух — не тебе, мой юный друг, так кому-то еще. Повезло тебе, однако, что честный лиходей содрал с тебя всего три монеты». Дорога была пуста. Слева на обочине что-то клевала курица, за правым поворотом лениво махнул хвостом спящий пес. Но кто знает, долго ли продлится такое спокойствие.

Солнечные пятна ложились сквозь листву на спину вола и на колени возницы. Час спустя он прервал воображаемый разговор со школяром, заметив, что небо между листьями стало серым, а

воздух похолодел и отяжелел. Синева затянулась тусклым кованым серебром.

Вдали сверкнула молния. Упали первые капли. Вол, нагнув голову, брел по дороге, быстро превращавшейся в грязь.

«Ладно, — сказал контрабандист призрачному Кентону (ему-то, бесплотному, дождь нипочем), — правда твоя, школяр. — Он слез и пошел пешком, смеясь во все горло. — Я отдал бы тебе твои три монетки за крышу над головой, чашку горячего супа и койку на ночь. Я хоть и честный контрабандист, а дурак, что не согласился. Никогда и не скрывал, что я круглый дурак. Ну, вот я и сказал это — ты доволен?»

Тот, видимо, был доволен: вскоре контрабандист, вытаскивая ноги из грязи, переправился через ручей без его помощи.

Дождь переставал иногда, но ненадолго.

Контрабандист снова сидел на козлах: здесь дорога была вымощена, хоть и неровно. Справа виднелась поливаемая дождем долина, но трудно разглядеть что-то, если вода хлещет прямо в глаза. Поди знай, верная ли это дорога. Надо ехать прямо на юг, а как узнать без солнца, не сбился ли ты с пути? Непонятно также, идет ли еще дождь или это деревья стряхивают остатки влаги

(ни старуха, ни девушка, ни пожилые крестьяне, чьи имена он давно забыл, не знали, как это понять). Он едет по незнакомой дороге, где может случиться и померещиться все что угодно. И бог, безымянный, но пособничающий контрабанде, не прочь поиграть в «да» и «нет». «Полно, — поправил себя ездок. — Ты едешь правильно, по верной дороге, только промок и замерз. Часто ли ты богам молишься? То-то». Молния сверкнула опять: дождь таки шел.

Сначала он увидел чью-то ногу, упершуюся в наклонный ствол, потом обнаженный меч, потом сквозь шум дождя прорезался голос:

— Эй, красавчик! Не подвезешь ли усталого путника?

— Полезай! Далеко тебе? — Он бы и плату потребовал, да дождь заливал в рот. Не разбойник ли это, часом? Меч, теперь спрятанный в ножны, был какой-то странный.

Одна мозолистая рука ухватилась за козлы, накренив повозку, другая сжала его плечо, и путник (или разбойник) угнездился с ним рядом.

— Ну и погодка, чтоб ее! Давай, погоняй! — Рука и бок седока дышали теплом среди холодной мокряди. — Куда путь держишь? — Лицо незнакомца закрывала тряпка с двумя дырами, в которые

смотрели ярко-голубые глаза. Разбойник… то есть разбойница… улыбалась.

Может, мужчина все-таки? Мало ли что груди, у мужиков они тоже бывают. Но нет: он точно знал, что рядом с ним сидит женщина. Глотнув дождевой воды, он закашлялся — и хорошо, иначе мог бы ляпнуть что-то неподобающее.

На седьмом примерно ухабе она наконец отпустила его плечо и теперь держалась за сиденье обеими руками, глядя вперед сквозь прорези своей маски, струи дождя и бушующие под ветром листья.

Через полчаса дождь опять перестал, но она все молчала, и контрабандист решительно — плохо понимая, в чем причина такой решимости — спросил:

— Ты из этих мест?

— Разве я похожа на уроженку этой мокрой печальной земли? — Она фыркнула — будь она мужчиной, контрабандист принял бы это за смех. — А ты откуда будешь? Едешь, похоже, из самого Колхари. Что везешь? — Голубые глаза под маской моргнули. — Этого ты мне не скажешь, ведь верно? Я тебя не виню, хотя могла бы подсказать, где что можно сгрузить. Понимаю кое-что в твоем ремесле. Меня зовут Вран. — Она

протянула руку, и контрабандист пожал ее, переложив вожжи в левую. — А тебя? Хотя нет. — Ее маленькие, утолщенные в суставах пальцы были жестче, чем у него. — Вы, здешние красавцы, такие плотные, что так и хочется вас потискать, слишком скромны, чтобы назвать случайной попутчице свое имя. Так оно и должно быть в вашей странной земле, где женщины так забиты, что даже не верится.

Веснушек, насколько он видел, у нее не водилось. Назвать ей свое имя? Зная, что не сделает этого, он испытал прилив дружеских чувств.

— Так ты иноземка? Я с вашим братом мало дела имел, но ты, как видно, находишь странными самые обычные для нас вещи. Правда?

— Моя родина — Западная Расселина. Что странно, так это что вы сами не смеетесь над тем, что делаете.

— Над чем, к примеру? — спросил он, готовясь услышать какую-нибудь нелепость.

— Взять хоть тебя, — сказала она, серьезная, как сам дождь. — Ты, скорей всего, едешь, чтобы поддержать Освободителя, собравшего свои силы к востоку отсюда, в его правом деле. Я сама уже три месяца сражаюсь на его стороне, и это занятие при всем своем благородстве мне так

надоело, что я решила вернуться к своим здравомыслящим соотечественницам и посвятить себя нашим разумным делам. — Под маской прорезалась широченная улыбка. Деревья зашумели, дождь полил с новой силой. — Мой земляк, услышав это, самое малое усмехнулся бы, а ты сидишь открыв рот, и в твоей красивой бороде ни ухмылочки. С другой стороны, порой кажется, что наши мужчины только и умеют, что хихикать. Они смеются над чем попало, день и ночь напролет, как будто ни о чем не хотят подумать всерьез. Может, они и правы — так утверждают наши философы. Говорят, что раз мужчины не рожают, то и думать им незачем. Не хотелось бы тебя обижать, но признай, что это здравая мысль. Однако женщине, затерянной в этой странной и ужасной земле, порой хочется, чтобы плотный красивый мужчина повел себя хоть чуточку глупо. Могу поспорить, что ты едешь под дождем целый день и устал до смерти, поэтому дай мне вожжи и отдохни.

То, что контрабандист не сразу выполнил ее указание, озадачило ее не меньше, чем серо-зеленый край вокруг них.

— Ты говоришь, что Горжик Освободитель находится где-то здесь? На востоке?

— Я уже три месяца состою в его войске. Он расположился на землях принцессы Элины — она отдала ему под ставку свой древний замок. Он, то со своим одноглазым подручным Нойедом, то с ближайшими сторонниками, то и вовсе один, разведывает окрестности, чертит карты, намечает, как ловчее напасть на графов и баронов, которые еще держат рабов. Освободитель очень умен. Туда, где господа ждут атаки, он посылает одного-единственного шпиона, чтобы тот взбунтовал рабов. А в имения, где господа подсылают собственных шпионов следить за рабами и доносить, где предательство подтачивает все изнутри, приходит войско Освободителя. Куда как умно! Но знаешь, он тревожит меня. Он, конечно, человек достойный, и цели у него благородные, только не могу я сражаться под началом одного мужчины в рядах других. Пойми, — ее ладонь снова легла на руку контрабандиста, — я ведь не зеленая девчонка с грудками не больше двух горсток песка, которые мальчишка для забавы сыплет на грудь своему приятелю. «Мужчина не способен владеть мечом, — заявляют такие девочки. — Мужчина не может сравниться силой, ловкостью, честностью и храбростью с женщиной». Чего еще ждать от птенцов, не залетающих

дальше заботливого отцовского взора? Я так скажу: если мужчина способен драться, как женщина, уважай его не меньше, чем женщину. И не стану лгать: я бы дважды подумала, прежде чем скрестить своих двойняшек с мечами многих мужчин этой ужасной страны — хотя в наших казармах меня бы за это высмеяли.

Говорила она с акцентом, но не с варварским, которого стоило ожидать так далеко на юге. Никаких проглоченных слогов.

— Меня тревожит другое. Признав, что мужчины воюют не хуже женщин, ты все-таки чувствуешь себя неуютно, сражаясь бок о бок с ними, полагаясь на них, зная, что твоя жизнь зависит от их храбрости, преданности, чести и мастерства. Днем на привале и вечером у костра ты сталкиваешься с мелкой ревностью и враждебностью, которую они стараются прикрыть смехом и похвальбой. В них чувствуется та же обидчивость и неуверенность, что и в наших мужчинах, но наши хотя бы эти свои качества не скрывают и не пытаются их выдать за нечто разумное. Да, в этой стране я сражалась вместе с настоящими воинами, но женщина среди них всегда чувствует: они, занимаясь военным ремеслом месяцами и даже годами, могут быть настоящими воина-

ми не дольше недели, а их шутки и смех лишь прикрывают то, что они остаются подлинными сынами Эйвха и несут на себе клеймо Эйвха. Да, дело Освободителя правое, и я уважаю его больше всех, кого встречала в этой странной земле. Его я встретила давно, в весеннюю ночь, при ясной, без ореола, луне. И замыслы его тоже были ясными, как лунные лучи, пронизывающие тьму. Мне были близки его взгляды, хотя ясности в запутанных делах я доверяю лишь постольку-поскольку. Потом, в своих странствиях, я слышала о нем все больше и больше, и ничто не противоречило тому, что он в ту ночь говорил. Наконец я пришла к нему и предложила свои услуги. Вряд ли он меня вспомнил, но дело не в этом. И все это время здесь то дождь, то туман! Как боец, он не уступает женщине — а главное, в голове у него не драконье дерьмо. Я честно сражалась за него, но три дня назад прошел слух, что в этих местах были замечены наши женщины. Надоели мне чужие причуды и выверты, соскучилась по своим. Говорят, их видели в Винелете — туда я и направляюсь.

Контрабандист слушал ее со сдержанным недоумением — думаю, мы с вами отнеслись бы к ее словам точно так же. Высказывалась она прямо и

подробно, совсем не по-женски. Но он, при всем своем пренебрежении к школярам, сам был в некотором роде школяр и ответил ей так:

— Если этому слуху уже три дня, в Винелет идти не стоит. Я не слишком хорошо знаю эти места и не слишком бы полагался на то, что говорят парни вроде меня. Вопрос в том, куда идут твои подруги — на север или на юг? В трех днях пути на юг от Винелета лежит Аргини, в трех днях пути на север — порт Сарнесс. — Он знал эти города, потому что последние два года не раз доставлял туда грузы.

Женщина, отстранившись, оценивающе на него посмотрела (дождь, похоже, перестал насовсем).

— Ты не только красавчик, но и мыслишь красиво — в вашей стране это такая же редкость, как и в моей. — Складка ее губ говорила, что ему следует отнестись к этому как к похвале. Это он-то красавчик? Впрочем, с такой он не лег бы даже за деньги. Хотя… если за хорошие деньги… Даже из мужчин на мосту монету не выжмешь — разве повернется язык спросить плату с такой воительницы? А любопытно было бы… непривычно.

Ей бы еще хоть пяток веснушек…

— В это время года они, конечно, пойдут на се-

вер. И должны уже быть в Сарнессе, правда твоя. До него отсюда часа три езды.

— Неужто? — Он полагал, что не меньше суток, но география тогда складывалась исключительно из устных рассказов — почему бы и к этой женщине не прислушаться?

— Конечно. Вот доедем до перекрестка и сразу увидим Сарнесс, и корабли в его гавани, и Путь Дракона. Этот город очень красив с вершины холма на закате. Ты будешь об этом внучкам рассказывать, а я своих подруг разыщу.

Контрабандист со смехом тряхнул вожжами, но вол не прибавил ходу.

За последние пять лет он трижды видел хибары и склады Сарнесса и дважды заезжал в его сонный порт, чтобы попить там пива. Сидел за длинным столом с рыбаками, а море между плоскодонками сверкало на солнце. Потом садился хмельной в повозку, и вол тащил его на боковую дорогу, куда, как и теперь, лежал его путь.

Может, город и правда недалеко.

— Что ж, — сказала Вран три часа спустя, когда они стояли рядом у колеса, — этот город и впрямь красив, но сейчас, в сумерках, да еще и в тумане, не видать ни его, ни моря.

8

Кусты и камни, напившиеся дождя, и в самом деле выдыхали густой туман.

— Но если ты смотрел сверху на Колхари, — сказала Вран, — Сарнесс вряд ли тебя поразит. Однако и у этого города есть история, которая может быть тебе интересна.

— Да? — Мягкая, хотя и холодная, земля была приятна ногам.

— Ты же спрашивал меня про Освободителя? Жаль, Путь Дракона сейчас не видно — это хорошая примета. Да ты должен помнить его, если бывал здесь раньше.

Контрабандисту и верно помнилась, хоть и смутно, широкая пыльная дорога с севера на юг: с одной стороны город, с другой глубокая пропасть, где виднелись складские крыши, рыбачьи хижины, таверны — и море.

— Знаешь, когда-то дикие драконы весь Неверион населяли. До постройки Сарнесса скальный карниз, где проходит теперь дорога, служил им насестом — взлетая с него, они парили над океаном и на него же возвращались. Так, по крайней мере, гласят легенды. Сама я в это не верю,

потому как еще не встречала дракона, который мог бы найти место, с которого он взлетел. Это глупые животные — теперь они водятся только в Фальтах.

Контрабандист тоже слышал сказки об орлах и драконах, но живьем их не видел — только изображения на посуде — и полагал, что ни тех, ни других нет в природе.

— Когда мы в последний раз приезжали в Сарнесс разжиться провизией, Освободитель показал нам один склад и сказал, что однажды залез туда, когда промышлял контрабандой: заднее окошко было открыто. Залез и не знал, что выбрать: железные молоты, предназначенные для ульвенской верфи, или оберегающие от падения амулеты для енохских горняков. Сказал, что теперь уже и не помнит, что выбрал. Помнит только, как стоял там и думал — ну и сам склад, расположенный между пекарскими печами и боковой калиткой гостиницы. Все так и осталось на прежнем месте, хотя он сказал, что гостиница тогда была вдвое больше — кое-какие постройки они снесли.

— Раз он контрабандистом был, неудивительно, что выкинул это из головы. Небось и не взглянул ни разу на то, что вез.

— Если то, что я знаю о контрабанде, верно, правда твоя. А в самой высокой части Пути, если верить местным преданиям, безумная королева Олин когда-то предостерегла полководца Бабару. Моряки ульвенской флотилии, которой он командовал, слышали ее пророчество со своих кораблей. По ее словам, следовало дождаться некоего знака, заключавшего в себе птицу и дерево. Была у меня подруга, так она наизусть знала все островные байки.

И вздохнул орел,
И заплакал змей,
Как безумная Олин сказала!

Да… колхарийские ребятишки, играющие в мяч под этот стишок, вспоминают всю сказку, сами того не ведая. Но подруга уверяла меня, что на островах ее не рассказывают, несмотря на тех моряков. Здесь запомнилось, там забылось.

— А то, что забывается там, помнят здесь, — изрек контрабандист.

— Не всегда, — сказала Вран, испортив красивое изречение. — Только если повезет. Еще дальше, в дальнем конце города, Путь поворачивает на скалы. Одноглазый помощник Горжика рассказывал нам, как работорговцы похитили

их с братом у самого дома всего в сотне стадий южнее, а потом сбросили раненого брата с тех самых скал. Нойед тогда ослеп полностью, но говорит, что прежде они прошли через город, где накатывал на гальку прибой, смеялись дети, перебранивались ремесленники и прохожие. Он спросил тогда, как называется город, а несколько лет спустя понял, что начисто забыл его имя. Если это был и не Сарнесс, то очень похожий город, говорил он, и расположенный на Королевской дороге. — Женщина вглядывалась в туман так, будто только что раскрыла некую тайну. — Уж эти мне сказки…

— Итак, по твоим словам, шрам есть у Освободителя, а крив его помощник Нойед?

— Горжик настоящий великан, — нахмурилась Вран, — и у него шрам на левой щеке, а Нойед маленький, щуплый, и у него всего один глаз — но то, что он видит духовным взором, вполне возмещает потерю.

— Некоторые говорят ровно наоборот, — засмеялся контрабандист.

— Я три месяца воевала под началом Освободителя. И входила в число его лучших разведчиков.

— Но теперь ты его покинула. Я вот, к примеру, часто забываю, что делал еще вчера. Нельзя же

требовать от человека, чтобы он помнил каждое слово, сказанное кем-то другим, или как этот другой был одет…

«Впрочем, нет, — подумал контрабандист, поймав ее взгляд. — Она такими отговорками прикрываться не станет». Но он столько противоречивого слышал от разных, далеко не столь странных, людей.

— До чего ж вы, красавцы, все серьезные! — хрипло засмеявшись, бросила Вран, хотя он мог бы поклясться, что говорил шутливо. — А такие вот плотненькие красавчики перечат честной женщине на каждом шагу. Но, как говорят у нас, ум делает мужчин еще красивее. И вот тебе мой совет, хитроумный красавчик: через тридцать стадий эта дорога соединится с Путем Дракона, где, как известно, императорские таможенники так и кишат. У меня нет причин думать, что ты хочешь избежать встречи с ними: по всем приметам ты обыкновенный возница, разъезжающий между рынками — не считая того, что выбираешь ты пути поукромнее. Но если ты почему-то не хочешь встретиться с этими любопытными людьми, которым платит императрица, весьма здравомыслящая владычица ваша, езжай напрямки через земли принцессы Элины, а потом

сверни на проселок, что идет вдоль границы Гарта. Таможенники каждый вечер расходятся на пять сторон от Сарнесса и караулят тех, кто надеется прошмыгнуть под покровом тьмы. Если ты тот, кем не кажешься, мой совет избавит тебя от хлопот, а то и спасет твою красивую шейку. Послушаешь его — скорей доедешь туда, куда тебе надо. Нет, — вскинула руку она, — не трудись уверять меня в своей полнейшей невинности. Я ее под сомнение не ставлю и говорю просто так, в туман. Всего в стадии отсюда, с левой стороны, есть поворот на удобную полянку, где женщина — и мужчина тоже — может разбить себе лагерь. За последние три месяца я с дюжину раз наблюдала, как таможенники ее величества едут мимо нее, ни о чем не подозревая. Мне сам Освободитель ее показал: он останавливался там в свои контрабандные времена. Сворачивай с дороги между кипарисовой рощей и каменной осыпью, если, конечно, такому умному красавцу нужно укрытие… что за глупая мысль!

Она снова расхохоталась и пошла прочь, широко ступая по раскисшей земле. Повернула за куст и пропала из глаз на спуске к невидимому городу. Контрабандист, прищелкнув языком, тронул и зашагал в тумане рядом с повозкой.

Дорога была видна не дальше, чем на свою ширину: с тем же успехом они могли бы ехать напрямик по равнине. Казалось, будто они стоят на месте, а движется только земля под ними.

В голове вертелся слышанный в Колхари детский стишок. Вран прочла только последние его строки… сколько ж времени он припоминает все остальное? Четверть часа или полный час?

Вон те высокие тени справа не иначе кипарисы. Он приостановился, глядя вперед. Точно: вон она, осыпь.

— Хай-й! — Он остановил вола и подошел к обочине. Да, тут есть поворот. Тот, кто хорошо знает окрестности, наверняка и о нем знает, но таможенников обычно привозят к месту службы издалека, и вряд ли они разглядят что-то в таком тумане. Он повернул вола, проехал немного, вернулся назад, отломил ветку и затер следы копыт и колес, а потом и собственные следы. Серое небо стало теперь пурпурным.

Впереди, озаряя туман, мерцал бледный свет вроде лунного.

Контрабандист придержал вола и пошел дальше один. Это был, конечно, костер, размытый туманом. Возле него сидел на корточках человек.

Контрабандист спрятался за деревом.

Человек был большой, пузатый, заросший густой бородой, с волосами на спине и на ягодицах. К грядке стоящей рядом повозки притулился шалаш.

Привязанный к дереву осел ел из торбы, помахивая хвостом — только поэтому контрабандист его и заметил.

Над огнем стоял четырехногий горшок — из него валил пар, примешиваясь к туману и дыму. Такой сосуд, в отличие от горшков в повозке контрабандиста, мог сгодиться и для магии.

На руках незнакомец носил бронзовые браслеты, на щиколотках — деревянные и железные, на шее — несколько шнурков и цепочек. В ухе торчал резной колышек. Он уложил на рогульки палочку с наколотым куском мяса, капли сока зашипели на камне.

Контрабандист, стараясь дышать неслышно, наблюдал, раздумывал, вспоминал.

Предполагалось, что его отцом был кто-то из двух мужчин. Один время от времени заявлялся к матери, часто пьяный, орал, требовал еды и денег, без приглашения укладывался спать — мальчик к семи годам возненавидел его. Второй жил в дальней деревне, но часто проезжал на муле мимо поля, где работали тетка и мать. Он

останавливался поиграть со своим возможным сынком, шутил с ним, катал на муле, забирал к себе домой с разрешения матери — но потом, как правило, на несколько месяцев пропадал. Как раз потому, что их было двое, ни один не жил с матерью постоянно. Самыми яркими картинами детства, которые контрабандист помнил плохо и старался не вспоминать, были как раз они: один работает в поле, другой ест, сидя под деревом; один стоит на солнце, другой спит на соломе у чужого амбара. Мальчик радовался, когда уходил один, и печалился, когда уходил другой, но главным было не чувство, а мысль, переполнявшая все его существо и относившаяся к обоим: какой он большой! Их огромность подавляла его, низводила до козявки, копошащейся в траве под ногами.

Сейчас, скрытый за деревом и туманом, он испытывал примерно то же самое, глядя на человека у костра. К этому примешивался еще и голод: он охотно бы поел мяса и похлебал из горшка.

И тут незнакомец сказал:

— Чего стоишь в темноте, выходи-ка на свет.

Контрабандист весь покрылся мурашками, но сказал себе, что это просто от неожиданности.

— Да, погреться бы не мешало. — Сам он зара-

нее решил, что костер ни в коем случае разводить не будет.

— Так веди свою животину с повозкой сюда и посиди со мной. — Незнакомец повел рукой с ополовиненным средним пальцем. Рассеченная когда-то нижняя губа срослась неровно, начинавшийся от брови шрам уходил в бороду. На правом глазу сидело бельмо. На волосатом боку высветились три рубца: в свое время он подвергся бичеванию, как раб или преступник. — Давай, веди своего вола.

Контрабандист поспешил назад, в темноту, спрашивая себя: возможно ли это? Говорят, он иногда ходит в разведку один.

Ветка царапнула о повозку. Нащупав повод, он двинул вола вперед.

Листья чернели пятнами в освещенном костром тумане.

— Я, может, и ошибаюсь на твой счет, — усмехнулся контрабандист, снова выйдя на свет, — но ты, похоже, хорошо здешние места знаешь.

— Только потому, что знаю эту полянку, известную всем контрабандистам от Еноха до Авилы? — Незнакомец хмыкнул и проткнул еще один кусок мяса палочкой, приготовленной, пока контрабандист ходил за повозкой.

— Я, к примеру, о ней не знал, пока одна очень странная путница не сказала мне, как ее найти.

На деревянной тарелке у костра лежал большой шмат сырого мяса с остатками шкуры, а рядом — нож длиной с ляжку.

Контрабандист привязал вола к тонкому деревцу рядом с ослом.

— Ты, видно, привык распоряжаться.

— Потому что я малость постарше тебя? — Незнакомец протянул ему мясо на палочке. — Или ты принимаешь меня за таможенника, сидящего тут, чтоб кормить молодых воров?

— Нет, на таможенника ты не похож. — Присев на корточки по ту сторону костра, контрабандист пристроил свою палочку рядом с вертелом незнакомца. — Глаз, что с бельмом, у тебя зрячий?

Незнакомец ухмыльнулся. У него не хватало двух зубов сбоку, а тот, что рядом с дырой, сильно подгнил.

— Достаточно зрячий, но если не хочешь меня разозлить, не подходи ко мне справа. Он отличает день от ночи, свет от тени, а вблизи и улыбку от хмурой мины отличить сможет. Ну, а от другого и вовсе ничего не укроется. Зачем тебе это знать?

— Да просто, наверно, многие думают, что ты на этот глаз слеп. Может, и одноглазым тебя

называют?

— Называют иногда, да я и не против. Знавал я одного карлика в Кхаки, так его Заморышем звали. Другой, из Венаррского каньона, был в полтора раза выше меня, ручищи-ножищи что стволы древесные, грудь и живот как две пивных бочки — он у нас звался Кабаном. Прозвища не в обиду дают, надо ж как-то назвать человека.

— Но ты говоришь, что этим глазом кое-что видишь, поэтому одноглазым тебя могут назвать только те, кто знает не близко — близкие так не скажут. А в Неверионе правит не только императрица, изобильная и щедрая владычица наша.

— Чьи таможенники сильно докучают таким, как мы с тобой, а? — Незнакомец снял с огня вертел, понюхал мясо. — К чему ты спрашиваешь? Принимаешь за таможенника меня? Что ж, тем, кого встречаешь в пути, доверять и верно не следует. Но здесь, поверь мне, бывают только контрабандисты — это тебе любой скажет.

— Может, ты был контрабандистом… когда-то прежде? А еще раньше ошейник носил?

— Какой еще ошейник? — нахмурился незнакомец.

— Такой, к которому прилагаются вот эти рубцы. Рабский.

Незнакомец вонзил зубы, здоровые и гнилые, в мясо и стал жевать, заливая бороду соком.

— Знаком тебе Колхари?

Контрабандист кивнул.

— Так я и думал. Говоришь по-городскому. Знаешь мост, ведущий через речку в старую часть города, Шпору? Там еще рынок есть?

Контрабандист кивнул снова.

— Когда я был твоих лет, даже моложе, и впервые в город пришел, то уже носил на себе шесть рубцов от кнута — наградил один пристав. Я был парень озорной еще до того, как бродяжить начал. А средство успокоения у них одно — кнут, будь ты раб или свободный крестьянин. Но когда я шел через мост — ты ведь знаешь, что на нем происходит?

Контрабандист кивнул в третий раз.

— Я встретил там человека тех же лет, что и я теперь. Красивого собой. Посмотришь — человек как человек, такой же, ты да я, но дом, куда он меня привел, был роскошный. Собственный выезд, пара лошадей и кучер на козлах — на мост этот кучер, конечно, его не возил. Свои грязные делишки он скрывал ото всех. Так вот, у него был ошейник, какой рабы носят. Он то на мою шею его надевал, то на свою собственную. И мы

с ним… ну, ты понимаешь, о чем я, иначе бы не спрашивал, так? Платил он хорошо, пригоршню железных монет каждый раз, да и золотые перепадали. Говорил, что я вылитый раб со своими рубцами. Но это было давно и ничего для меня не значило. Теперь я этим больше не занимаюсь. Встречались тебе такие?

— Бывало.

— Их полно на той канаве. Говорят, что с тех пор, как появился Освободитель, они открыто щеголяют в своих ошейниках, ничего не стыдясь. — Он откусил и прожевал еще кусок мяса. — Говорят, и Освободитель тоже из них.

— Но по-настоящему ты рабом не был?

— А хоть бы и был, так что? Ешь давай, пережаришь — весь вкус пропадет.

Контрабандист снял свой вертел с огня, сок тут же потек на пальцы.

— Раб — не человек, не мужчина. А вот если человек бывший раб, то тем больше для него чести, ты не находишь?

— Тот, кого я считаю самым великим человеком в Неверионе, был когда-то рабом. — Теперь это прозвучало не так убедительно, как раньше — может быть, потому, что перестало быть правдой? — Его войско стоит где-то неподалеку — к

востоку отсюда, я слышал.

— Чье войско, Освободителя? Да, кое-кто говорит, что он одноглазый и со шрамом, вроде меня. Не знаю, правда ли, но тебе-то что за дело? Видел ты его когда? И узнал бы, если б увидел?

— Мне говорили, что он храбрый, добрый, красивый — как мы с тобой, — усмехнулся контрабандист. — Я рябой, у тебя шрам и бельмо, чем не красавцы.

— А сам ты что можешь сказать? Только то, что он великий герой? — Незнакомец помолчал и сказал: — Был я рабом, ты прав. На императорских рудниках у подножья Фальт. Там меня и разукрасили, но теперь я свободен и борюсь, чтобы освободить всех остальных рабов. Вот для чего я здесь. Теперь, когда ты знаешь, кто я такой, на что ты ради меня готов?

Жар костра передался контрабандисту и прокатился по всему его телу. Ему вспомнилось подземелье, где один голый человек стоял над другим, простертым у его ног. Нет, прочь, прочь: ему совсем не хочется быть ни на одной, ни на другой стороне этой любострастной игры. Воспоминание, как ни странно, и впрямь ушло, а радость узнавания наполнила его целиком, изгоняя сомнения.

— Мне говорили, что ты носишь ошейник — то есть носил его там, на мосту. Но ты сказал, что только…

— Разве в таких вещах признаются первому встречному?

Контрабандист замотал головой.

— Впрочем, я тебе не солгал. Порой твои юношеские игры настигают тебя в зрелости, скажем так.

— Твое войско стоит у замка принцессы Элины?

— Да… в разных местах окрест нас. Такой, как я, не ходит один, это слишком опасно. Мои люди сидят и там, — он показал за плечо контрабандисту, — и сям, и вон там. Ты это знай, я честно предупреждаю. За нами неусыпно следят. Вот откуда я узнал, что ты здесь: они мне подали знак. У меня служат только лучшие, готовые жизнь за меня положить. Ежели выкинешь что дурное, уйти не надейся. Если ты шпион кого-то из баронов-рабовладельцев, даже и не думай на меня руку поднять.

— А если б я был таможенником? — заухмылялся контрабандист.

— Молод ты для таможенника. Так я и поверил, что императрица пошлет такого вот сопляка

против… против взрослого мужа? Ты просто нахальный проходимец из Колхари, везущий контрабанду на юг.

Контрабандист рассудил, что наблюдатели должны сидеть совсем близко, иначе костер в таком тумане не разглядишь.

— Я тоже хотел бы сразиться за тебя, только чтобы недолго. Боец из меня неважнецкий, да и на юг мне надо. В тумане, правда, не видно, куда едешь — на юг ли, на север, с меня бы сталось. Но если недолго, то я готов — вот только зачем я тебе? Тебе нужны люди преданные, побывавшие в рабстве и готовые сражаться с ним насмерть. Я видел бараки, где раньше жили рабы, видел каменные скамейки с железными кольцами, где ели свою похлебку пятьсот человек в дождь и в вёдро. Но теперь там рабов больше нет, и даже оковы на столбе для бичевания заржавели. В городе я говорил со стариками в таких же, как у тебя, рубцах — они помнят рабство. Говорил и с молодыми, бежавшими с запада — ох и злые же. Охотно верю, что в рабстве люди ожесточаются. А в детстве, с поля, где работали моя тетка и мать, я раз в год видел вереницы несчастных изможденных людей, прикованных к доскам; их гнали работорговцы в кожаных фартуках — один крас-

ноглазый, другой с заячьей губой, третий кашлял хуже своих невольников. Взрослые пугали нас ими, говорили, что они сразу нас заберут, если мы хоть чуть-чуть отойдем от дома. — Поджаренное мясо оказалось вкусней, чем думал контрабандист. — На себе, как ты, я рабства не испытал, но готов послужить твоей с ним борьбе. Поверь мне: сидеть с тобой у костра, беседовать, принимать твое угощение — для меня великая честь. Буду хвастаться этим, греясь на солнышке у тростниковой хижины, ежели до старости доживу. Но, будучи предан тебе, я не до конца предан твоему делу, потому что сам в рабстве не побывал.

— Выходит, двенадцати невольничьих ям тана Варнешского как бы не существует? Да, у него больше нет девятисот рабов, как у его отца ранее, но та единственная яма, куда загоняют на ночь человек девяносто, по-прежнему смердит так, что тебя вырвало бы, подойди ты к ней близко. Меня и то вырвало, хотя я человек привычный. Говоришь, работорговцы проходили мимо твоей деревни только раз в год? Стало быть, ты никогда не въезжал с ямсовых полей в лесные селения, где говорят только на варварском наречии, да еще таком скудном, что даже известных тебе пятидесяти слов не могут понять. Ты можешь

лишь догадываться, что прошлой ночью здесь побывали работорговцы. Отцы, оплакивая похищенных сынов и дочерей, бьются лицом о стволы пальм и скалы, женщины сыплют песок в горшки с вечерней стряпней — они будут есть это еще неделю после набега. И знаешь? Я был в таком селении не пятнадцать лет назад, не пять, не год, а не далее четырех месяцев, всего в двухстах стадиях к западу. И сделалось мне там не менее тошно, чем от смрада варнишской ямы шесть лет назад. — Человек со шрамом отгрыз еще кусок мяса — этак у него скоро вовсе зубов не останется.

Контрабандист вытер о плечо собственную, залитую соком бороду.

— Я знаю, что рабство существует. И убеждаюсь в этом, когда тебя слушаю, и готов сражаться против того, что ты испытал на себе. Я не думаю, что в рабстве есть что-то хорошее, не поддерживаю его. Если б меня кто спросил, я повторил бы то, что сказал ты семь лет назад при встрече с бароном Кродаром, вызвав его ярость: «Рабство — это злая насмешка над любым, кто смотрит на солнечный свет, дышит воздухом и смеет мечтать о свободе, о любви, о праве самому распоряжаться своей судьбой; кто хотя бы на миг понадеялся,

что виновников этого ужаса ждет тюрьма и справедливая казнь». Эту твою речь повторяют на всех неверионских рынках, часто искажая ее, но я докопался до истинного смысла того, что ты говорил, и не забываю этого смысла. Как можно забыть, если ты видел рабов, видел людей в ошейниках на Мосту Утраченных Желаний и даже уходил с ними? Я знаю о рабстве, но не испытал его на себе. Несколько раз я помогал бывшим рабам, и старухам и мальчишкам, отважным и безнадежно наивным, потому что знаю — очень хорошо знаю, — каково оказаться одному в большом городе. Несколько раз отказывал в помощи тем, кто пытался нажиться на том, что осталось от рабства. Знаю, это не то же самое, что взяться за оружие, и сражаться на твоей стороне, и разбивать оковы. Такой человек, как ты, не может доверять такому, как я, и прав ты будешь, если мне не поверишь.

— Но рабам ты помогал, а работорговцам нет? Это больше, чем сделал я… больше, чем *способен* был сделать. Может, если б таможенники были столь же суровы с контрабандистами, как неверионские господа со своими рабами, то и ты бы за оружие взялся, а?

Контрабандист засмеялся, кивнул, откусил

— все сразу.

— И то, что я знаю о твоих подвигах, будет укреплять меня в каждом бою. Сколько глаз следит за нами теперь — десять, пятьдесят, полтораста? — Сам он думал, что в лесу может укрыться не больше семнадцати человек. — Я часто думал, что скажу тебе, если вдруг тебя встречу. Думал, что язык мой завязнет во рту, как повозка в ручье… или как при разговоре с веснушчатой девушкой, которую я хочу так, что никакими словами не выразить… и отказ ее все равно что камень, ломающий ось. Однако вот я сижу и разговариваю с тобой, и говорю, поверь, то, что думаю. Правду? Не сказал бы, но так близко к правде, как только может надеяться вор, лжец, лиходей — так называет меня старуха, знающая обо мне не больше, чем я о тебе, хотя в чем-то она права. И если она вправе судить о человеке, которого мало знает, то и я тоже!

— Могу поспорить, что ты и впрямь лиходей, — усмехнулся его собеседник.

— Есть знак, который называется крестик, — продолжал контрабандист. — Я только его и знаю — один мой друг говорил, что им обозначают, в том числе, и неграмотных. Школяры ставят его на картах в местах событий, которые называют

историческими — я видел, как они разглядывали такую карту в таверне на Шпоре, потому как цены в Саллезе, где они учатся, не по карману им. Иногда я вижу эти крестики на опоре моста у отхожих канав: варвары к ним добавляют свои каракули вроде тех, что находишь на всех южных развалинах. Ну так вот: в этом месте мой путь скрестился с твоим. Отсюда ты пойдешь сражаться за то, во что веришь, а я — заниматься своей контрабандой. Эта встреча ни тебя, ни меня не изменит, но станет поворотной точкой всей моей жизни!

— Ты и сам как школяр глаголешь! — засмеялся человек со шрамом.

— Но тебе до этого дела нет. Послушай: ты накормил и обогрел меня в эту туманную ночь. Такого я ни от кого на свете не ждал бы, а меньше всего от тебя. Если обо мне кто и вспомнит, так лишь из-за этого. Я сам помню тридцать-сорок мужчин и женщин — честно говоря, скорее пятнадцать — потому только, что ты сделал для них еще меньше, чем для меня. Одна женщина, воевавшая за тебя, сказала мне, что ты иногда здесь бываешь. Потому я сюда и пришел, только за это ее и запомнил, хотя она иноземка и большая чудачка. Зовут ее Вран…

— Да, я знаю ее!

— Глупо, конечно… но ты и представить не можешь, какая это для меня радость! — Что-то подумают незримые соглядатаи о его излияниях? Да пусть себе думают что хотят! — Вот что главное: радость. Встретить наконец человека, который для тебя значит больше всех остальных — на что еще я мог…

— Погоди-ка. — Человек прислонил к камню палочку с недоеденным мясом и взялся за нож. — Говори, что везешь.

— Но зачем тебе…

— Затем, что ты везешь контрабанду из Колхари в Гарт. Говори сей же час.

— Да что тебе за…

— По-твоему, освобождение рабов обходится дешево? Я забираю для своей кампании все, что могу. Так что у тебя в повозке?

Контрабандист откинулся назад, упершись кулаками в мокрую землю.

— Ну же. Тебя послушать, так ты должен гордиться, что мне помогаешь.

— Не знаю я, что везу! — В повозке под холстом, кроме горшков и мешка, лежало еще и оружие: клинки как длиннее, так и короче того, что держал в руке этот человек; две дубинки, одна с

железными шипами, другая без; короткий лук и колчан с девятью стрелами, каждая с острым кремнем на конце (еще пять, вымоченные в дорогом масле, лежали отдельно — если их поджечь, не погаснут даже в полете); пять грифельных ножей и еще три из разных металлов — только один слегка заржавел, несмотря на смазку; но все это было упрятано поглубже, на всякий случай.

Человек тяжело, будто вол, поднялся — и перепрыгнул через костер, звякнув ножными браслетами.

Контрабандист простерся навзничь на мокрых листьях, а человек с ножом встал над ним.

— Вставай, поглядим, что у тебя там. — Он дернул контрабандиста за руку, больно. — Пошел! А кобениться будешь, враз перережу глотку!

Горящий позади костер освещал половину бороды, половину рассеченной губы, колышек в ухе.

— Хорошо-хорошо, забирай что хочешь! — Две картины накладывались одна на другую в его уме, не желая обрести ясность. — Разве ж я пожалею что для своего героя? Дай только встану. Мешок я везу, вот что! — Лезвие царапнуло ему подбородок. — Не надо! Думаешь, я против, что ты его заберешь? Чудо, что безмозглый болван

вроде меня и досюда-то доехал! — С одной стороны ему представлялись города — не Колхари и не тот, что в Гарте, — где ему придется затаиться не меньше чем на год, чтобы недовольные получатели не разделались с ним по обычаю тех жестоких времен. — Для меня честь отдать твоему делу все, чем я владею, поверь! — Другая картина касалась людей Освободителя, засевших в лесу. Только и ждали, поди, как контрабандист с товаром подъедет. Это женщина в маске послала его сюда! И наврала, конечно, и про шрам, и про глаз… Ловко его навела.

— Вставай, показывай свой мешок! Мои люди мигом тебя продырявят, коль дурить будешь! Медленно. — Лезвие чуть отступило от горла, но продолжало порхать рядом, временами касаясь его.

Как только контрабандист встал, грабитель заломил ему руку за спину, а нож уперся в поясницу.

— Шагай к повозке.

«Может, сумею ухватить нож поменьше, — думал контрабандист, — а там…»

— Сейчас достану. — Он взялся за повозку свободной рукой, и нож тут же вонзился рядом.

— Отрезать их, что ли, ручонки твои шалов-

ливые? Думаешь меч или дубинку достать? Я один палец потерял уже из-за таких штукарей. Я, парень, тем же промыслом занимался дольше, чем ты на свете живешь. Медленно давай и без глупостей.

Контрабандист залез под холстину, вытащил из-под горшков мешок.

— Вот! Сказал ведь, что по доброй воле отдам! Ой!

Грабитель, отшвырнув его прочь, взял мешок, вернулся к костру, проткнул ножом мешковину.

— Ну-ка посмотрим, что у нас тут!

Из мешка со звоном посыпались диски величиной с ладонь. При свете костра стало видно, что по ободу они украшены причудливыми варварскими письменами. Посередине торчали винты, прикреплявшие, как видно, к верхнему диску что-то еще.

Мысли контрабандиста несколько прояснились. Он, привыкший отделять один от другого противоречивые рассказы об Освободителе, видел перед собой две разновидности своего ближайшего будущего.

Первая была проще некуда: человек этот в самом деле Освободитель, с людьми в засаде или без оных, и то, что говорили его противники, правда:

он обыкновенный разбойник и себялюбивый негодяй, какие бы там цели он якобы ни преследовал. Контрабандист понимал, что в таком случае весьма скоро умрет: грабители с большой дороги не отпускают свою жертву, чтобы она могла потом отомстить.

Вторая была ненамного сложнее: никакой он не Освободитель, а такой же контрабандист, поддакивавший некоторое время бредням молодого болвана, и только благодаря нелепости этих бредней молодой болван еще жив. Никаких сообщников в засаде у него нет, но молодой болван так и так недолго протянет.

Обе возможности разнились только тем, что в первом случае у грабителя могли быть помощники. Понять, какая из них вернее, было не легче, чем разобраться в историях о том же Освободителе.

На бегство контрабандиста подвигли не страх и не храбрость, а сознание того, что только так и возможно спастись. Ему и так везло до сих пор — видно, разбойник попался неопытный, Освободитель он или нет.

Контрабандист пригнулся и нырнул в туман.

Оттуда тут же выступили люди с мечами, ясно давая понять, которая из догадок была правди-

вой. Беглец споткнулся, упал и перевернулся на спину, желая видеть, что произойдет с ним в последние мгновения его жизни.

— Ты! — крикнул разбойник-Освободитель.

Первый воин молвил знакомым женским голосом:

— Можно ли так обращаться с умным красавчиком! — Еще миг, и его меч — странный какой-то меч — чиркнул по лицу грабителя. Тот, даже не вскрикнув, лишь захрипев, выронил нож и мешок и схватился за глаз. Сквозь пальцы — особенно там, где одного не хватало — хлестала кровь. — Видишь мой меч? — спросила его Вран. — Он двойной, не то что ваши. И оба лезвия обоюдоострые. Не поверишь, как хорошо он режет. Первым делом я отчикаю тебе яйца, одно за другим, потом нос, потом, глядишь, ухо. Пока все это будет падать, я возьму твой член в руку и отделю от тела. Потом дойдет очередь до сосков — я вскрою заново все раны Эйфха, не сомневайся! Если, конечно, ты не предпочтешь убежать. Тут у меня шесть бравых женщин и еще шесть двойных клинков, притом они куда злее меня. Просто звери лютые, и каждая владеет мечом куда искусней, чем я. Вот эта не иначе сожрет все мною отрезанное, а та… даже говорить не хочу,

что способна она сотворить с мужским телом — да не мечом, а грязными своими ногтями, которых у нее десять! И хитрых жирных слизняков вроде тебя она особенно любит.

Контрабандист, все еще лежа навзничь, видел, что мечами вооружены только пять женщин, а шестая, с волосами светлее, чем у всех остальных, безоружна. Все они были повыше Вран, гологрудые, как и она, но маску, кроме нее, ни одна не носила.

— Ну так как, намерен бежать? Может, мы тебя и поцарапаем малость, пока преследуем, зато ты избежишь мучений, унижения и неминуемой смерти — ведь не станем же мы отпускать тебя, чтобы ты потом отомстил; а муки, которым мы тебя подвергнем, только варварам впору. Смерть покажется тебе избавлением. Да что с тобой говорить, ты и сам настоящий варвар! Так что для начала — палец на руке? На ноге? Яйцо? Ноздря? — Вран приставила к его бедру меч, как он сам приставлял раньше нож к горлу контрабандиста.

Последний был уверен, что грабитель даже и не слышит ее речей, — но прикосновение металла побудило его метнуться в лес мимо двух других женщин. Те с гортанным смешком взмахнули ме-

чами, намеренно промахнувшись на целый фут.

Беглец врезался плечом в дерево, упал на одно колено, попытался встать, не сумел, попробовал снова и наконец поднялся.

Женщины сопровождали его попытки лающим смехом.

Вран встала над контрабандистом — ее меч, который он теперь хорошо рассмотрел, целил ему в ухо — и протянула руку.

— Вставай, красавчик!

Он снова уперся пятками в мокрую, не дающую опоры землю.

— Это Освободитель? — спросил он с отчаянием, зная, что она его не поймет. Он хотел отвести меч в сторону, но она взяла его большую руку в свою, маленькую и жесткую, и вдвинула меч в лохматые ножны.

— Кто, он? Разрезанный надвое червяк, извивающийся в грязи? Впрочем, когда заживет его глаз, он будет похож на Освободителя больше прежнего. — «Потому, что шрам останется, — подумал контрабандист, чьи мысли перемещались из тумана на лунный свет и обратно, — или потому, что глаз с бельмом совсем вытечет?» — Правду говорят у меня на родине: мужи не должны другим мужам доверять. Вы смотрите друг другу в

глаза, улыбаетесь, поддакиваете любой лжи и обману — а как только один отвернется, другой так и норовит вцепиться ему в спину когтями. Это он-то Освободитель? Малый не лучше всякого желтоволосого парня, торгующего собой на столичном рынке? Гнуснейший из воров? Может, даже контрабандист… но нет, ни один контрабандист и ни один продажный парнишка не может так низко пасть. Хотя кто знает… вот заглянем в его повозку, авось найдем что полезное для тебя. Ну, вставай же!

Его рука дрожала в ее ладони — не от страха, а от перенесенного ужаса: ничего подобного он еще не испытывал.

— Поднимайся, красавчик. Не хочешь разве посмотреть, что тебе перепало от старого мордоворота?

Он снова попытался встать и снова не смог.

— Надо было убить его! — Женщины — половина из них уже убрали мечи в ножны — усмехнулись в ответ. — Что, если он вернется?

— На этот счет не волнуйся, — сказала Вран. Она потянула его за руку чуть сильней, опять безуспешно. Боясь расплакаться перед этими чужеземками, он вдруг понял, что начал бояться, как только она села к нему в повозку, но страх

этот до времени таился в своего рода тумане. Однако на ее лице даже при слабом свете он не мог прочесть ничего, кроме терпения, заботы и ласки. — Ты спасен, ничто тебе не грозит. Вставай.

Если б она угрожала ему страшными муками, как недавно грабителю, он бы не ужаснулся сильнее, но этот новый ужас тут же и прошел — всему есть предел, как видно. Контрабандист остановил его усилием воли, не слишком отличным от того, к которому прибег в колхарийском подземелье, запретив себе поддаваться чувству, способному его сокрушить. Вран все с той же мягкостью тянула его, уговаривала и наконец подняла — привыкла, надо думать, обращаться с мужчинами, ведущими себя точно так же.

Он прислонился к ней в близком к параличу состоянии.

— Все хорошо, — убеждала она. — Беспокоиться больше не о чем.

По сравнению с подругами она была совсем маленькой. Раньше, когда он ее вез, она ему такой не казалась.

— Тебе сильно досталось, но теперь все прошло. — Она то и дело говорила что-то другим женщинам на своем языке, и они смеялись — не над ним ли? А, все равно.

— Надо было все же убить его, — повторил он, утвердившись немного на ногах; таково было правило, принятое в те жестокие времена относительно таких, как этот человек и он сам. — Грозились ведь, отчего ж не убили?

Женщина постарше резко бросила что-то (насчет природного мужского жестокосердия, не иначе). Может, даже поддержала его.

Вран ответила ей столь же резко, а ему мягко сказала:

— Разве мы варвары, чтобы убивать всех встречных мужчин? Цивилизованные женщины так себя не ведут.

— Он не вернется, будь спокоен, — сказала безоружная светловолосая женщина, осматривая палочку-вертел с остатками мяса. — Он слишком напуган, слишком сильно ранен. Притом нас много, а он один.

Говорила она, как уроженка Ульвен. Зная островитян несколько лучше, он приободрился и попытался выпрямиться. Слабость, которую он испытывал среди этих женщин, доставляла ему, помимо прочего, странную чувственную приятность.

— Убить? — продолжала Вран. — Чудной ты мужчинка. По-твоему, мы убиваем всех самцов,

какие нам подвернутся? Мы ж не чудовища. Впрочем, в этой странной и ужасной земле, где мужчины тщатся занять место женщин, ты должен быть наслышан о пауках, богомолах и прочих тварях, чьи самки так делают.

— Зачем же тогда… — он отошел от нее, — зачем вы сюда пришли? Из-за меня?

— Хочешь знать зачем? — снова усмехнулась она. — Из-за красоты твоей, вот зачем! Встретила я своих подруг в Сарнессе и сразу сказала: не поверите, какой красавец подвез меня, когда дождь шел. Пойдемте, и я покажу вам красивейшего из сынов Эйфха!

Та, что как будто понимала его язык, фыркнула и отвернулась, будто ожидая появления чего-то крайне мерзкого из тумана.

— Какая женщина — а они все настоящие женщины — не соблазнилась бы?

Другая воительница, отошедшая в темноту, вернулась и гневно что-то произнесла. Вран, как видно, отмочила в ответ какую-то соленую шутку, потому что остальные заухмылялись.

— Когда следы твоих колес оборвались недалеко от указанного мной поворота, мы сразу поняли, что ты повернул сюда. В эту берлогу, где ищут убежища все воры и головорезы между

Енохом и Вархешем, опасаясь императорских стражников. Я и говорю девочкам: пошли посмотрим, где он лагерь разбил. Пришли мы и видим, — она чуть ли не застенчиво потупила взор, — что там есть еще мужчина, тоже собой недурной, хотя с тобой не сравнить. Мы и затаились, чтобы послушать, о чем вы меж собой говорите, когда нас не стесняетесь. Вдруг, думаю, ты и про меня вспомнишь… Но у вас тут только и разговору, что про Освободителя — и ты, видно, не сильно от других отличаешься…

— Пойдем уже, Вран, — прервала островитянка. — Незачем здесь оставаться.

Та лишь отмахнулась и продолжала:

— Скоро мы поняли, что твой товарищ — дурной человек. Не такой, как ты, посадивший к себе в повозку усталую путницу по доброте сердечной. — Она легонько коснулась его щеки. Ее глаза в прорезях маски казались черными при свете костра.

Одна из женщин подбросила дров в огонь. В волосах Вран сверкнуло что-то синее, а женщина, по всей видимости, тоже сказала, что им пора.

Контрабандист боялся один уходить в туман, но и с ними не хотел оставаться. Он бесцельно бродил по поляне, не зная, на что решиться.

9

Они, однако, задержались на целый час: уходить ночью в лес — это не за дверь выйти.

Контрабандисту не терпелось пуститься в путь, но он не знал, насколько тяжела рана грабителя, и не хотел бы снова встретиться с ним один, да еще в тумане, когда тот разживется сообщниками и получше вооружится.

Поэтому он ждал, когда и женщины двинутся.

Причиной задержки, похоже, стал спор между двумя воительницами: немолодой, с обвисшими плоскими грудями, и совсем юной, у которой только сосочки торчали над ребрами.

Вран и другие сопровождали их перебранку шутками, на которые спорщицы огрызались.

Островитянка стояла в стороне от прочих, подле осла; тот время от времени вынимал морду из торбы, но ни звука не издал с тех пор, как его хозяин стал грабить контрабандиста. Волосы у нее, кажется, были рыжие, а где рыжина, там и веснушки. Контрабандист подошел поближе, просто чтоб посмотреть.

Он полагал, что она примерно его ровесница, но вблизи разглядел морщинки у глаз, увядшие

плечи, а в волосах, и впрямь рыжих, сквозила уже седина. Стало быть, она старше его лет на десять, а веснушки если и есть, то в неверном свете костра их не видно. Чтобы хоть что-то сказать, он спросил ее:

— Кто они? — Она нахмурилась, и он добавил, кивнув в сторону остальных: — Эти женщины?

— Мои подруги, — кратко ответила она. — По крайней мере, одна из них. — Это относилось к Вран; та, стоя к ним спиной, снова достала меч и усердно полировала его куском замши.

— Она твоя подруга? — Переспрашивать было глупо, но он никак не мог сосредоточиться на том, что ему говорить и что делать.

— Ну, сейчас у нее только ты на уме, — улыбнулась рыжая, — а я подруга старинная. Последние пять лет я ее разыскивала, а недавно, встретив ее землячек, решила, что с ними скорей найду — или она нас найдет. Так и вышло, но она только и твердила про умного красавчика, который ее подвез. Повезло тебе, что мы пошли вместе с ней!

Контрабандист смотрел на узкую мускулистую спину за костром, на синие бусины в волосах, на два клинка в отблесках пламени. Он не заметил особой близости между Вран и рыжей и не сказал бы, что она питает какую-то особую склонность к

нему самому — а ведь она ему жизнь спасла!

Одержимая она, что ли?

Ему не верилось, что предметом этой одержимости может быть он. Эта туманная ночь сделала его ничем, пустым местом — разве можно быть одержимой ничем?

— А другие? — спросил он рыжую.

— Страшноваты — во всяком случае, на мой взгляд. Я убеждаю себя в том, что они просто уроженки другой страны, где все делается не так, как у нас. Но как только я внушу себе, что на самом деле они хорошие, одна из них оборачивается и делает что-то такое… впрочем, они, наверно, тоже находят меня странной и страшноватой.

— Что ж ты от них не уйдешь?

Рыжая поглядела по сторонам.

— Устала путешествовать по Невериону одна. От защиты отказываться негоже, особенно в такой вот туман. Кроме того, я только что свою подругу нашла, а она уж верно не останется с ними надолго. Она скучает по ним, когда они далеко, а вблизи они ей быстро надоедают. Скоро мы с ней снова будем вдвоем — если то, что было пять лет назад, что-то значит.

Спор у костра возобновился. Вскоре плотная женщина, понимавшая как будто по-неверион-

ски, сердито сказала что-то по-своему, бросила ветку, с которой обдирала кору, и подошла к контрабандисту и рыжей.

Вол шарахнулся, чавкнув копытами по грязи. Осел знай хрустел сеном.

— Иди, пожалуйста. К повозка этот разбойник. Возьми своя доля. Быстро. Чтобы мы взяли своя. — Она крепко взяла контрабандиста за руку и повела — он только теперь смекнул, что ждали они, выходит, его. И спорили как раз из-за его бездействия.

Он дважды пытался заговорить, рассказать смешную историю о том, как медленно до него все доходит даже и на родном языке и в какие неприятности он попадал по этой причине.

— Вот помню, как-то раз… — Но только Вран и рыжая понимали его настолько, чтобы оценить плоды его сочинительства. Да и сочинить ничего толком не получалось — эти возникшие из тумана незнакомки привели его в полный конфуз.

Женщина, выдернув подпорки, убрала шалаш у повозки. Внутри обнаружились меховое одеяло, еще один горшок, воткнутый в землю нож, куски веревки. Пахло здесь кислым, как после ночевок самого контрабандиста в особо долгих поездках.

Сама повозка была покрыта кожей с красивым

тиснением. Женщина откинула ее, оборвав все тесемки, кроме одной.

Контрабандист ожидал увидеть внутри примерно ту же поклажу, что у себя под холстиной, но при виде того, что лежало под кожей, ему вспомнилась старуха, волочившая мешок по мосту.

Горшки, шкуры, веревки — ну, и оружие тоже — вполне могли вывалиться из таких вот мешков.

— На! — Женщина достала из груды сильно побитый горшок. — Хочешь?

Контрабандист помотал головой.

— Мы тоже нет. — Она швырнула горшок через плечо и вытащила нарядный клинок фута полтора длиной, с резной костяной рукоятью, окованный драгоценным, возможно, металлом. — Дурные ваши мечи. Только один край острый, другой нет. Один… один лезвий. Дурной меч для мужчин. Один, как член без яйцы. Хочешь?

— Нет! — твердо заявил он.

— Хлам, — ворчала женщина, роясь в повозке. — Что хочешь? Мы искать.

— Нет, мне надо только… — Он чувствовал себя новичком-лицедеем, который, выйдя на подмостки, начисто забыл свою роль.

— А это хочешь?

Он даже смотреть не стал. Его мешок лежал у костра; он подошел и стал собирать выпавшие диски, не глядя на них, не желая их видеть.

Эта женщина, которая сейчас вовсе на него не смотрела, напомнила ему вечно недовольную мать.

Нечаянно он все же взглянул: каждый предмет представлял собой три диска, скрепленных вместе. Верхний — простой ободок с крестовиной, средний — какие-то завитушки с мелкими дырочками, нижний — что-то вроде карты, вокруг которой крутились два верхних. Такие же знаки, как на ободе, встречались ему в варварских землях… этими штуками моряки, что ли, пользуются. Они как-то со звездами связаны… в памяти всплыло слово «астролябия» — вот как они зовутся. Кто-то — друг-лицедей, кажется — показывал ему такую на шее моряка в гавани. И давно пропавшая горянка — он вспомнил теперь — носила такую на шее! Но магия, заключенная в них, оставалась для него тайной.

Тень упала на диск у него в руке, и рядом присела Вран.

— Давай помогу. — Она подавала ему астролябии, он запихивал их в прореху. Мешок меж его колен тяжелел. — Вот, значит, что ты на юг

везешь. Красивая варварская работа. Непонятно, как они на севере оказались, но нам до этого дела нет. А обратно в Колхари что повезешь?

— Ничего, — нахмурился он.

— Неужто пустой поедешь?

— Мне хорошо платят за поездку на юг.

— Так ведь оттуда на север тоже много чего можно взять. Ты поспрашивай. Северные заказчики тебя не накажут, если разживешься лишней монетой.

В другое время он объяснил бы, что если по дороге на север его остановит досмотрщик и ничего незаконного не найдет, то при следующей ездке на юг тот же таможенник может пропустить без досмотра. Но сейчас он сказал лишь:

— Ладно, подумаю.

— И не забудь, что я тебе говорила про земли принцессы Элины.

Женщина, осматривающая повозку грабителя, что-то крикнула. Вран ответила ей и спросила:

— Ты точно ничего оттуда не хочешь?

Он хотел только кожаную покрышку, но даже это у него не было сил сказать.

— Нет, — вымолвил он, думая про себя: «Курак ты, дурак».

Женщина у повозки произнесла нечто явно

нелестное для него. Другие, смеясь, подошли к ней и стали разбирать то и это.

Он поднял свой дырявый мешок, глядя, не закатилась ли куда пара-другая астролябий.

— Дай-ка мне. — Вран забрала у него мешок, зашвырнула в его повозку, затолкала поглубже, накрыла холстиной. Надо бы сказать ей спасибо — отчего же он молчит? Откуда в нем эта пустота, из которой хоть убей ничего не выжмешь?

— Спасибо, — процедил он с вымученной улыбкой. — Все, мне пора…

— Поехали с нами, — вдруг предложила она. — Так тебе безопасней, а то и веселей будет.

— Куда это с вами?

— Э, не забивай лишним свою умную головку, красавчик.

— Надо же мне знать куда.

— Ну, вот он опять. Не твоя забота.

— Да не могу я! Спасибо, что позвала… и что спасла, конечно. Я ж недотепа, со мной у вас хлопот будет больше, чем с тремя мужчинами, вместе взятыми. Всегда таким был, таким и останусь, хоть плетьми меня бей. Защита мне пригодилась бы, спору нет… но у меня ведь свои дела.

Вран и проходившая мимо женщина понимающе хмыкнули.

— Поеду я… вдруг злодей этот где-то в кустах засел. — «Было бы чего бояться, это ж мужик», — подумал он ни к селу ни к городу. Их, вот кого он боится! (Спроси ее про покрышку…). Но они ведь его спасли? — Надо ехать. Не задерживай, сделай милость!

— Милость? — Вран, больше не улыбаясь, склонила голову, будто покорившись судьбе. — Едем с нами!

Он ощутил разом испуг, гнев и обиду. Что он может ей сказать? Только «нет». Вспомнив, что испытывал то же самое с тремя своими последними женщинами, он поступил с ней так же, как с ними, хотя эта воинственная кроха вызывала в нем еще меньше желания, чем мужчины, порой уводившие его с моста: взял ее лицо в ладони (она удивленно захлопала глазами под маской) и притянул к себе. Она, как и другие при расставании, не поддалась. Он обнял ее, и это, как и в трех других случаях, было все равно, что обнимать дерево или камень. Самая последняя, юная дурочка, точно так же сопротивлялась ему — неужели все женщины на свете и впрямь одинаковы? Он попытался вспомнить, как она села к нему под дождем. Ее намерение прибегнуть к мужской помощи было, по его мнению, признаком жен-

ской слабости, и держалась она с ним игриво и забавно, хотя и странно. Теперь же, с приходом ее подруг, стало ясно, что ни в какой помощи она не нуждается и слабости в ней ни на грош. Ее кажущаяся женственность была иллюзией (только в ней или во всех других женщинах?). Его опыт как с женщинами, так и с мужчинами говорил ему, что слабым она считает как раз его. Чувствуя в ней ту же удивительную, невероятную силу, что и в тех трех, он отпустил ее еще раньше, чем их. Сердце у него билось сильней, чем он ожидал, дыхание пресекалось. Страх, вот что это такое! Сколько женщин в его стране вот так же покидает своих спасителей, наскоро поблагодарив их? И откуда у этих чужеземок такая сила? Простые понятия, в которых он жил, не позволяли ему ложно заявить «от меня» (как и любому его современнику, ищущему источник собственной силы), и поэтому он чувствовал себя тревожно и неуверенно, как юная девушка.

Вран улыбалась, как и все остальные.

— Поеду, — пролепетал он. — Пора…

— Хуп-а! — крикнула одна женщина, и повозку грабителя с оставшимися пожитками дружно перевернули.

Контрабандист заметил, что пострадала не

только повозка: камни вокруг костра раскидали, горшок опрокинули, тарелку разбили, мясо затоптали в грязь.

— Идем? — сказала, обращаясь не к нему, женщина, знающая здешний язык.

— А как же осел? — спросил он, распутывая поводья обоих животных, чтобы отвязать своего вола.

— Оставим здесь, — ответила она. — Для него. Он вернется — ему надо. Верно?

С этими словами она извлекла свой двойной меч и рубанула осла по шее — чуть голову ему не снесла. Осел с булькающим звуком припал на передние ноги, наткнулся на вола, на женщину, повалился набок. Его ребра трижды шевельнулись и затихли совсем.

— Вот. — Женщина убрала меч в ножны. — Оставим ему. Он найдет.

Осел фыркнул вдруг в свою торбу, взбрыкнул ногами и умер. Вол обошел его. Кровь брызнула контрабандисту на ногу — он не стал вытирать.

Сердце у него колотилось. Ужас стоял вокруг стеной, как туман.

Вран опять отошла, но рыжая не сводила с него глаз. Он перевел дух так шумно, что Вран оглянулась. В ноздри ударил запах свежей убоины. Вол

замычал, не глядя на труп; хозяин взял его под уздцы и повел прочь, приговаривая успокаивающие слова.

Женщины, считая и Вран, потолковали о чем-то; тощая обмакнула длинную палку во взятый из перевернутой повозки горшок и сунула в огонь. Когда палка занялась, женщина подняла факел повыше и закидала костер ногой.

Бок вола был весь в ослиной крови. Женщины, переговариваясь, уходили в туман, контрабандист двинулся следом. На том месте, где он поначалу оставил повозку, факел осветил лошадиный глаз и пятнистую шкуру, послышалось ржание, зашуршали копыта. Женщины, отыскав своих спутанных лошадей, садились на них; контрабандист остановился, гадая, не бросят ли его одного в темноте. Потом голос Вран сказал откуда-то сверху:

— Не беспокойся, мы шагом поедем. Следуй за нами.

Они и правда ехали медленно достаточно долго, чтобы вывести его на дорогу. От первого факела зажгли еще два, дешевое масло сильно чадило.

Вран подъезжала к нему трижды — то одна, то со спутницей.

— Куда вы теперь? — спросил он ее в третий

раз.

— В Западную Расселину! — разделяя общее веселье, сказала она. — Мы наконец-то покидаем Неверион.

Убившая осла женщина прокричала что-то в ночь, размахивая факелом.

— Там нам хорошо будет, — объясняла Вран. — Створки Расселины имеют такую же форму, как наши внутренние клинки. Оказавшись внутри, — она хлопнула в ладоши, — мы снова попадем в область цивилизации и здравого смысла. Оставим позади эту безумную страну с ее рабами и освободителями, страну, где якобы правит императрица, а на самом деле — злокозненные мужи, которых невозможно застать на месте. Хочешь со мной, мой умный красавчик?

— Нет! Я не могу!

Она объехала его повозку кругом и ускакала вперед. Верно ли судила о своей подруге рыжая, едущая вместе со всеми? Еще через пару стадий он залез на козлы, щупая сзади и под сиденьем. Не достать ли на всякий случай что-нибудь из оружия? Он решил не делать этого и потащился дальше, вдыхая и выдыхая туман. Факелы впереди превратились в размытое розовое пятно, но возгласы и смех еще слышались.

Не окликнуть ли их, обеспечив себе защиту, хоть и пугающую? Он чувствовал себя покинутым, брошенным.

Он представил, как стоит на троне в том подземелье, а Вран лежит у его ног, скованная. Или наоборот? Перебирая в уме разные картины, он ждал прилива желания, могущего открыть ему причину пережитой этой ночью тревоги.

Но кладези его тела оставались безмолвными, будто их вовсе не стало.

Нет, решил он. Эти фантазии слишком близки к правде (пусть и непознанной), чтобы представлять себя или ее в цепях.

Пусть себе едут. И она в том числе.

Вздремнул он, что ли? Повозка все так же дребезжала в рытвинах, но света впереди больше не было.

Его окружала тьма — он ничего не видел дальше вожжей.

Не обратился ли вол в крылатое чудище, влекущее его по небу или по морю?

Может, остановиться? Прилечь прямо в повозке, дождаться, когда в нее заглянет солнце… или окровавленное лицо со шрамом?

Или ехать дальше во мрак, не позволяя себе уснуть?

Вопросы утомляли его, и он стал сочинять историю. «Ты не поверишь, — говорил он воображаемому слушателю, — сколько времени я убил на погоню за Освободителем — как последний дурак, ищущий героя, который придал бы смысл его жизни. Он был моей страстью и моей целью! И вот как-то ночью, едучи на юг, я повстречал его у костра при дороге. Герой? Обыкновенный разбойник! Он накормил меня, усыпил мою бдительность видимостью дружбы, а потом попытался убить! Хотел повозку мою угнать, будто бы ради своего дела! Это точно был он. Раньше я встретил его человека, и та — то есть тот — сказал мне, где его можно найти. Шрамы у него есть, это верно, но он не одноглазый — всего лишь бельмо на глазу. Еле я ноги унес. Обычно он без своих людей ни на шаг — они или рядом, или в лесу сидят и ждут его зова. Мне повезло, что на этот раз он решил пойти на разведку один. Он врал, конечно, что не один, но я его ложь разгадал. Полоснул его по лицу одним из клинков, что вожу в повозке, — как раз по здоровому глазу пришлось. Я не видел, ослеп ли он целиком — он сбежал. Я опрокинул его повозку, зарезал его осла, а поклажу даже не тронул. Там покрышка красивая была, кожаная, но я и ее не взял — такой уж я дуралей. Он за

мной не стал гнаться — то ли из-за раны, то ли просто боялся».

«Смотри, как бы он после тебя не догнал, — говорил невидимый собеседник. — Знаю я этих душегубов с большой дороги…»

Ну, я же все-таки выбрался оттуда в темноте и в тумане, таком густом, что ни звезд, ни луны, а то и солнца не видно было. Казалось бы, человек, которого весь Неверион чтит (я знаю, потому что со многими говорил и сам чтил его раньше), казалось бы, такой человек должен достойно себя вести. Ты не ждешь, что он подкрадется к тебе в ночи и приставит нож тебе к горлу, как вор в колхарийском переулке…»

«А он что, так и сделал?»

«Нет, — отвечал наш контрабандист, снова оглядевшись по сторонам, — но непременно сделал бы, если б представился случай. Теперь, после встречи с ним, я знаю, каков он. Этот человек использует то, что дураки вроде меня в него верят. Я это знаю из первых рук. Мог ты себе представить, что Горжик Освободитель, всенародный герой — обыкновенный головорез? Я-то, глупец, думал, что он хочет избавить народ от страданий, а он попросту караулит на каждом перекрестке и…»

Контрабандист содрогнулся, глядя вперед так,

будто там вдруг выросла каменная стена. Он и верно был дураком, слушая мудрецов и учителей Невериона. Правда — немеркнущий свет, говорят они? Правда — это мрак, куда страшно заходить одному и где таятся всевозможные ужасы.

Правда в том, что сам он — испуганный невежда, затерянный в безлунной туманной ночи.

Он заплакал, почти беззвучно, но дружественный голос в уме, не обращая на это внимания, отечески-ворчливо сказал: «Я слышал многих людей, не одобрявших Освободителя. Он, говорят они, думает только о себе, как и все остальные. Признайся, что в наши тяжкие и опасные времена предполагать такое только разумно».

Контрабандист отвечал сквозь слезы: «Теперь-то я понял, что он лжец, убийца и вор, ничем не лучше тебя или меня. Теперь я сужу о нем по себе».

«Нет, не стану я про это рассказывать, — решил он. — Никогда, никому».

Прежде всего, это глупо. Он высморкался и сплюнул. Всякий, кто хоть что-то знает про Освободителя, выдумщика сразу разоблачит. Он, конечно, дурак, но не настолько же.

Он ехал по темной дороге, продолжая рассказывать свою историю себе самому.

10

Два босоногих солдата тащили по неровному полу бревно. Длинный кряхтел, коренастый помалкивал. Обменявшись кивками и парой слов, они закинули свою ношу в широкий очаг — шире, чем они оба, если сложить их в длину.

Искры и дым поднялись столбом. Горжик, сидя за дощатым столом, поднял глаза от карты.

Солдаты отряхнули руки — один о волосатые ляжки, другой о гладкие, — отдали ему честь и вышли.

Коренастый был женщиной, варваркой.

Одно из потолочных стропил — год назад, а может и сто — сломалось, упершись одним концом в пол. Закопченная мозаика между шестью уцелевшими стропилами от этого нисколько не пострадала, а к косому теперь крепили факелы, вешали на него оружие и занавески — кстати, можно сказать, пришлось.

Один боец, стоя под факелом, осматривал свой меч — двойной, что ли?

«Нет, — подумал Горжик, — померещилось из-за игры пламени». Или из-за пива, которое он решил не пить, но все-таки выпил.

Нойед, сидя на другом конце стола в своем железном ошейнике, смотрел не в огонь, а на стену у очага.

— Я вижу сны… — сказала принцесса, покачиваясь на бревенчатой скамье. — Знали бы вы, что мне снится, одноглазая моя обезьянка, мой великий Освободитель. — Волосы у нее поредели так, что на солнце сквозь них сквозила кожа, одежда пообносилась. Она сидела близко к огню, и лицо ее блестело от пота, между тем как солдаты, чьи голоса и смех доносились до них, часто жаловались на сырость и холод. Ее сморщенная, со старческими пятнами рука потянулась к тяжелому кубку с усадебным сидром, крепким как водка — и промахнулась. — Мне снилось, что мы с тобой, Горжик, заблудились детьми в чертогах Высокого Орлиного Двора и ищем дорогу по хлебным крошкам, как голодные крестьянские дети в старинной сказке.

— У нас не было общего детства, моя принцесса, — усмехнулся краем рта Горжик. — И голодать вам не приходилось.

Она нашарила-таки кубок, поднесла к губам, выпила.

— Почем ты знаешь, Освободитель? Ты-то уж верно не голодал. Всем бы рабам такие мышцы,

какими ты щеголял во дворце — поневоле задумаешься, правду ли рассказывают о рабстве. Нойед другое дело: на него глядя, всему поверишь.

Бревно, подброшенное в огонь, на поверку оказалось сырым — оно шипело и плевалось, будто коря сухие дрова за их смоляные слезы.

Горжик рассеянно вел пальцем по карте; намеченный им путь, когда он отвлекся, свернул куда-то не туда, как заблудший в тумане путник.

— Нойед, ты на что так уставился?

Тот вздрогнул.

— На камни, хозяин. Видишь эти камни у очага? Я все думаю…

— Он думает, размышляет, прикидывает, — сидр выплеснулся из кубка, — а я все больше грежу…

— Вон из того стыка все время ползет туман. Это сырость превращается в пар или он снаружи сочится?

— Спроси принцессу, это ее замок. — Голоса солдат стали громче. — Чего они не поделили на этот раз? Уж эти мне варвары, что мужчины, что женщины. Им бы заодно быть, а не кидаться друг на друга за каждую мелочь.

— Заодно, говоришь? Ах, мой Освободитель. Я потому лишь тебя и поддерживаю, что не обязана

быть с тобой заодно. Да, я снабжаю тебя деньгами, кормлю твоих людей и плачу им, принимаю вас в своем доме — и горжусь этим. Мужчина может многому научиться, лишившись женской поддержки, — спроси любого из своих варваров, они тебе скажут, — но ты, боюсь, никогда не научишься. Да, это мой замок, верно. И новое крыло, между прочим. Посмотри вверх — там есть крыша! Вас всех я разместила в маленьких покоях, пробитых в стенах старого чертога без кровли, и сама тоже в таком живу…

— А что, если дождь пойдет, госпожа? — заволновался Нойед.

— Дождь? В это время года, обезьянка, в Неверионе дождей не бывает — только туман. — Принцесса взмахнула кубком, пролив еще больше сидра. Ее речь становилась несвязной. — Сиди тихо, не то велю тебя зажарить на вертеле и съем, как Безумная Олин своих сыновей — тогда, правда, дождь лил ливмя…

— Хозяин! — Нойед взобрался на стол с ногами. — Когда мы уйдем из этого замка в другой…

— Я грежу… — бормотала принцесса. — В своем старом, холодном замке на краю Невериона я грежу о благородстве, величии, истине. Мне снится, что своими скудными средствами я помогаю

великому человеку в его благородном деле. Его человеколюбивые устремления вновь вселяют цель и страсть в эти древние камни. Я буду любить и почитать его за преданность истине, он будет любить и лелеять меня за преданность ему. О, мои грезы… Хорошо бы выйти из них живой, но и в противном случае жаловаться не стану. Если же, помимо жизни, приобрету еще что-то, буду полагать себя счастливейшей из женщин. Я достаточно стара, чтобы знать, что у снов есть начало, наивысший миг и конец — все, что делает истории странствующей сказительницы не слишком жизненными, но зато интересными. Я начала этот сон с твердым намерением досмотреть его до конца хотя бы ради того, чтобы увидеть, с чем он меня оставит. Порой я думаю, что жизнь следует подвергать сомнению и вопрошать — как сны, как сказки, как планы, как обманы, если угодно, — но не следует слишком круто менять ее на середине пути, иначе ты рискуешь так и не разгадать ее тайн. Если вы, мой великий Освободитель и мой одноглазенький, должны уйти из моего сна, чтобы смотреть свои — уходите. Я уж как-нибудь выдержу, оставшись одна при своем.

Солдаты за косой балкой гремели оружием и

смеялись. Среди них расхаживал офицер со стопкой пергаментов, дружески беседуя с одними, приказывая что-то другим.

Горжик поднял свою кустистую бровь, а Нойед, обняв колени, спросил:

— Как вы научились видеть столь мудрые сны, госпожа моя?

Принцесса молчала, уставившись в кубок.

Офицер подошел к ним и бросил на стол пергаменты.

— Взгляни на это, Освободитель, если не раздумал еще уходить.

— На краю Невериона, — забормотала принцесса, — ты строишь планы идти куда-то еще, но куда?

— Чем дальше от столицы, тем сподручнее воевать — не вы ли так говорили, моя принцесса? — сказал Нойед. — Да, мы планируем идти дальше, мечтаем об этом…

Горжик проглядывал пергаменты один за другим.

— Что ж, все хорошо. К нам подошли подкрепления и с востока, и с запада, императорские же войска здешние места еще плохо знают. Когда мы начинали, я не думал, что у нас что-то выйдет, но пока мы успешно сдерживаем ополчение,

набранное местными пивоварами и невеликой знатью. У них нет хорошо обученных воинов кроме тех, что сумела прислать им малютка-императрица. Многие ли из них способны читать карту, не говоря уж о том, чтобы ее составить?

— Освободитель… — произнес офицер. — Часовой сказал, что задержал очередного контрабандиста, норовившего проехать через земли принцессы.

— Контрабандист? — Принцесса отставила кубок. — Что ему делать на моих землях? Я их сюда не пускаю…

— Может, это шпион, хозяин, — сказал Нойед. — Теперь их будут к нам засылать все чаще и чаще.

— Мы имели с ними достаточно дела, чтобы знать, как себя уберечь. Приведи-ка этого человека сюда, чтобы мы могли допросить его и подвергнуть сомнению. Но прежде, — проревел Горжик, поднявшись из-за стола, — я приказываю очистить чертог!

Солдаты, привычные, видно, к таким приказам, пришли в движение.

— Вас, принцесса, я тоже попрошу удалиться.

— Почему это? — недовольно спросила она.

— Если это шпион, ему не нужно знать, кто я.

Принцесса встала, захватив кубок.

— Не понимаю, к чему такая секретность. Мои отец с дядей вели свои кампании совсем по-другому.

— Я человек публичный, принцесса, а это значит, что люди наделяют меня определенными чертами и приметами. Нашему незваному гостю я предпочитаю показаться нагим, безоружным и неприкрашенным.

— Но…

— Солдат у нас так мало, что они вполне могут затеряться в покоях и коридорах вашего замка, но наш контрабандист уйдет отсюда, полагая, что у меня вовсе никого нет. Разве что часовой, который его схватил. Допустим, потом ему встретится человек, сражавшийся против нас; тот будет говорить, что у меня много людей, а контрабандист — что нет. В пылу спора один увеличит число моих солдат вдвое, втрое и вчетверо, а другой, даже и про часового забыв, начнет говорить, что я веду войну в одиночку. Я, принцесса, взял за правило никогда не присутствовать в тех местах, которые мне приписывает молва, и уж подавно не собирать там все свои силы. Эту стратегию я усвоил много лет назад, служа барону Альдемиру на юге. Чтобы сбить врага с толку, надо напустить

побольше тумана.

— Но все-таки кое-где ты присутствуешь, — заметил Нойед.

— Что делать, времена нынче трудные, — хмыкнул Горжик. — Прошу вас уйти, принцесса, а вы, — он повысил голос, — пошли вон немедля! Ты, Нойед, останься.

— Да, хозяин.

С крыши капало. Контрабандист сгорбился, прижимая к груди мешок.

— Заходи давай! — Солдат пихнул его в спину. Он ухватился за стену — та крошилась под пальцами, словно высохший ил, — откинул занавеску и очутился в комнате, пересеченной косой балкой от пола до потолка.

Один человек сидел за столом у горящего очага, другой пристроился прямо на столе среди кружек, кубков и пергаментов.

Поняв, что его ведут к Освободителю, контрабандист подумал и почувствовал примерно то же самое, что при встречах на поляне и на мосту в Колхари. К любопытству, радости и предвкушению примешивались страх, недоверие и гнев на то, что его предали.

Теперь, памятуя о двух прежних встречах, он ни слова не произнес, думал и чувствовал нечто

новое.

«Отныне ты войдешь в число тех, кто говорит, что их двое», — сказал он себе. Один большой, со шрамом через всю щеку, другой маленький, одноглазый, в рабском ошейнике. Хотя совсем недавно держался другого мнения.

Да и так ли это? Он прищурился, чувствуя себя далеко не таким растерянным, как в те два раза. Хорошо ли ты рассмотрел их при этом неверном свете или приписываешь двум этим людям напраслину, как школяр, украшающий своими каракулями стенку на Шпоре? Будь осторожен. Удостоверься. Ты знаешь больше многих других, но не позволяй своим познаниям тебя одурачить.

Большой встал и обошел вокруг стола — совершенно голый, не считая кожаной сетки на причинных местах. Волосы над ухом были заплетены в косу, перевязанную шнурком.

Маленький остался на месте, упершись острым подбородком в колени.

Контрабандист все так же щурился, пытаясь разглядеть их при свете пляшущего огня, но огонь и пристальное внимание только мешали ему.

У великана и впрямь шрам на щеке… а может, и нет…

У маленького один глаз моргает, а другой то ли отсутствует, то ли завязан, то ли это тень так падает…

— Ты — это он? — выговорил контрабандист.

— Кто, Освободитель? — засмеялся большой. — А сам ты как думаешь? Что ты видишь вокруг?

Контрабандист, водя глазами по сторонам, вскинул мешок чуть повыше.

— Где сотни его солдат? Где дюжины вестовых и писцов? Где шпионы? Где все его войско, с которым он освободил тысячи рабов, заставив трепетать саму малютку-императрицу с ее министрами? Признайся, что ты видишь всего лишь трех человек в пустом замке.

— Или только двух? — вопросил маленький с резким смешком. Большой говорил как колхариец, этот совсем иначе. — Ты не видишь никого. Ни единой души. — Ошейник на нем точно был. — Это лишь иллюзия — так безымянные боги принимают порой человеческий облик. И замка, где ты будто бы стоишь, тоже нет. Это прихотливый ночной туман в какой-то миг принял форму человека, которого кое-кто называет Освободителем, и замка, и часового, который якобы привел тебя в этот замок. И я, говорящий эти слова, тоже тебе примерещился. Тебе лишь

кажется, что перед тобой Освободитель — это морок, туман, колдовство осенних ночей…

Большой поднял руку, и маленький тут же умолк.

— О чем ты хочешь спросить меня? Хочешь знать, кто я? Где ты находишься? Что с тобой будет дальше? Говори же. Мы, создания осенних ночей, не такие уж страшные.

Контрабандист, набрав воздуху, перехватил мешок одной рукой, а другой указал на стол.

— Эти… эти кожи. — Только они и казались вещественными в этом чертоге. — На них пишут, не так ли?

Большой кивнул. Так шрам это или тень?

— Ты умеешь читать?

— Умеет, умеет, — хихикнул маленький. — Не то что я. Верно?

— Нет, — замотал головой контрабандист.

— Совсем не умеешь? — Большой подступил ближе, сощурив зеленые глаза. — Бьюсь об заклад, ты можешь разбирать знаки, изображающие женские детородные части, мужское семя и кухонную утварь, что испокон веку выцарапывают на городских стенах — я слышу по твоему говору, что ты долго жил в Колхари.

— Да, — соврал контрабандист. — Их я знаю. —

На миг он перенесся в тот жаркий полдень, когда его друг писал эти знаки палочкой в грязи на берегу Кхоры, пытаясь хоть чему-то его научить.

— Он, как и все в этой стране, понемногу учится читать и писать, — бросил через плечо большой. — И тебе бы не худо, Нойед.

Значит, маленького зовут Нойедом! Тогда большой… Нет, не будем спешить.

— Для чего они тебе, эти знаки?

— Чтобы запоминать, что у меня есть, что мне нужно, что я сделал, что должен сделать, где я был и где еще не бывал, что видел и что еще должен увидеть. Память часто шутит с тобой шутки: подумал о чем-то другом — и забыл.

— Да уж, знаю!

— А как запишешь нужное, можешь думать о чем угодно. Не надо ничего вспоминать, когда все уже записано на пергаменте. Еще любопытнее, когда пишешь сразу словами, но сам я пользуюсь старым торговым письмом, возникшим еще до того, как с Ульвен пришло нынешнее. И отец мой им пользовался, работая в гавани.

«Значит, ты из Колхари», — подумал контрабандист. И про отца ему что-то такое помнилось…

— Но почему ты об этом спрашиваешь? — нахмурился великан. — Раз ты умеешь разбирать

лишь то, что на стенах пишут, какая тебе разница, какой грамотой я владею? Скажи лучше: что такой, как ты, думает о новом письме?

— Ненавижу его! — выпалил, не иначе со страху, контрабандист. — Школяры только и знают, что на стенках калякать. Я сначала думал, что это они друг другу послания оставляют, чтоб мы, остальные, не могли разобрать. Оставляют у всех на виду и думают, что они умней нас. Ненавижу школяров и их письмена! — Как его звали, того парнишку, которого он подвез? Многие думают о школярах то же самое, но ему-то зачем выкладывать, что думает он? Однако он уже начал и остановиться не мог. — Ни за что на свете в школяры не пошел бы. Я рад, что могу назвать себя…

— Честным тружеником? — подмигнул Горжик. — А может, контрабандистом? Мой человек задержал тебя, когда ты пытался проехать по землям принцессы — спасаясь от таможенников Сарнесса, разумеется. Я хорошо их знаю, и мне они тоже не друзья. Жаль, что ты не признаёшься, могли бы потолковать по-товарищески. В молодежи, будь ты карманник или гончарный подмастерье, я прежде всего ищу честность, но редко, увы, нахожу. Что ж поделаешь, если ты таков, как большинство неверионцев.

Чертог показался контрабандисту очень высоким, когда он вошел, но этот человек доставал головой до самых стропил.

— Ты раб своего времени, подобно многим другим, и упрекать тебя за это нельзя. Как и за то, что ты всячески пытаешься в эти времена выжить. Что это у тебя? — Он протянул руку. — Дай посмотрю.

Контрабандист отступил, прижимая к себе мешок.

Горжик фыркнул — да-да.

— Полно тебе, покажи. Куда ты везешь свою контрабанду, на север или на юг? — Горжик подошел, загородив собой свет, и схватил мешок.

— На юг! Из Колхари в Гарт. Свет еще не видал такого никчемного недотепы, как я, да ты и сам это видишь. Освобождение рабов стоит недешево, понимаю… Ладно, бери.

Когда великан с мешком в руке повернулся к огню, шрам у него на щеке стал хорошо виден. Его толстые губы сжались.

— По-твоему, я хочу тебя обокрасть? — Он развязал мешок с прорехой, зашитой недавно крепкой лозой, запустил туда руку и достал маленький черный мячик. Нахмурился, пошарил внутри, достал целую пригоршню. — Ты это везешь на юг?

Один мячик укатился. Нойед, спрыгнув со стола, подобрал его и вернул в мешок, великан протянул мешок контрабандисту.

— Забирай и уходи. Прочь, я сказал.

Контрабандист стал неуклюже завязывать горловину.

— Я бедный, неудачливый… — Маленький человечек стоял рядом с большим, как его короткая тень. Одного глаза у него точно не было — на его месте зияла впадина, словно ему таким вот мячом в лицо залепили.

— Хозяин? — прошептал он.

— Убирайся, пока я не передумал! — гаркнул большой.

Контрабандист сглотнул, прошел под косым стропилом, откинул занавесь. Солдата, который его привел, больше не было. Он заспешил по коридору, освещенному факелами, стараясь вспомнить дословно разговор с Освободителем и его одноглазым помощником — или маленький Нойед и есть Освободитель, а большой ему помогает?

А шрам?

А нехватка глаза?

Итак, он их видел, верно? Если это, конечно, не игра пламени и не остатки ужаса, испытанного в

тумане — который и теперь струился рядом, словно сами здешние стены не из камня строились, а из пара. Можно ли доверять своей памяти? Или чему бы то ни было? Зачем он солгал о том, куда едет, зачем сказал, что немного умеет читать? Маленький говорил большому «хозяин». Сказал ли он хоть одно правдивое слово, во имя безымянных богов? Может, то, что он видел — только обман, порожденный его желаниями, розысками, надеждами?

Освободитель не разбойник, не душегуб.

И один из них носит ошейник.

Но это он и так знал, еще с той ночи на мосту в Колхари.

Встреча с ними обоими не рассеяла тумана предположений, в котором он начинал свое путешествие — ну, разве чуть-чуть прояснила. Выхода из тьмы на свет, которого он мог ожидать от подобной встречи, не случилось. Он так и остался при запутанных, пугающих, сомнительных утверждениях, сходящих по воле безымянных богов за правду.

То останавливаясь, то ускоряя шаг, благодарно прижимая к себе мешок, он вышел из замка в туман, где стояла его повозка.

Принцесса, придерживаясь за стену и напевая

что-то под нос, шла им навстречу по коридору.

Оба полагали, что она их даже и не заметит.

— Итак, хозяин, мой план…

— Твой сон, обезьянка? — Принцесса остановилась, по-прежнему не глядя на них — и хорошо: при дрожащем свете факела великан со шрамом и одноглазый коротышка казались сущими демонами.

— Мой план себя оправдал! Нам удалось увести твое войско в ту часть страны, где рабство еще в силе и нужна большая сила, чтобы его побороть. Мы с тобой, хозяин, — и вы тоже, — Нойед, показывая, что не забыл о принцессе, взял ее за руку, еще тоньше, чем его собственная, — мы произвели настоящий переворот!

Горжик кивнул, принцесса осталась безучастной.

— Не знаю, входило ли это в мои мечты… — сказал Горжик.

— В твои планы, — поправила его принцесса, как мать ребенка, неправильно выговаривающего слова.

— Мы с тобой, Нойед, видели рабство глазами рабов и свободных людей. Вы, моя принцесса — глазами дочери рабовладельца. Мы, и втроем и по отдельности, спорили о нем тысячу ночей

при свете огня до зари. Все мы знаем, что рабство могут побороть новые способы обработки земли и возделывания ямса. Чеканка монеты тоже полезна. Неплохо также, чтобы погода пятьдесят лет подряд стояла теплая, но не засушливая. Тогда наемный труд станет выгодней рабского. Но рабство, вопреки всем этим выкладкам, все еще существует где-то. Где именно? Как бороться с тем, что даже найти нельзя?

Принцесса посмотрела на два лица, где свет соперничал с тенью — одно выше, другое ниже ее.

— Чтобы вывести страну из рабства к свободе, нужны прозорливость, решимость и преданность делу, — провозгласила она четко и вполне трезво, будто хорошо знала, о чем говорит. — Люди, привыкшие к одной жизни, не перейдут так просто к другой из-за одной лишь хорошей погоды, Освободитель. Ты посвятил себя самой благородной на свете цели: служению своей стране и своему времени.

— Мы говорим, что человек — раб своего времени, но это может быть такой же сказкой, как и то, что человек — хозяин его. Хуже чем сказкой — ложью. Меня, каким бы ни было время, привела сюда, возможно, одна лишь мечта. Как и императорские войска: в Колхари они не желают биться

со мной, это верно, но министры упорно шлют их сюда, мечтая победить меня на границе.

— Мы *должны* дать им бой, хозяин! — Нойед отпустил руку принцессы. — Должны победить. Потом мы пойдем дальше, за пределы Невериона. Ты же не думаешь, что зло, с которым мы боремся, ограничено плохо очерченными границами этой страны? Мы воюем с дурным сном угнетения и лжи, пробуждая людей для свободы и правды!

— Да-да, — сказала принцесса. — Это и моя мечта тоже, я ее узнаю. И когда она обещает вот-вот сбыться, ты, обезьянка, уже мечтаешь покинуть меня!

— Нет, госпожа моя!

— И меня, и Неверион. Тебя манит хаос, невообразимый для просвещенного человека. Не спорь. Если это должно войти и в мою мечту, пусть войдет.

— Я не это хотел сказать, гопожа…

Но она уже уходила, мурлыча что-то под нос.

11

Двое мужчин поднялись на крышу как раз в тот миг, когда луна прорвала туман, посеребрив крепостные зубцы.

Замок плыл в тумане, как по морю, лишь кое-где проглядывали верхушки деревьев.

— Я вижу сон… — прошептал Горжик. Нойед присел у его ног.

— Что же тебе снится, хозяин?

— Если бы знать. Когда я был в рудниках — когда мы оба там были, — я, попользовавшись тобой, уснул на моей соломе, и мне приснилась свобода. Мне снилось, как я стремлюсь к ней, как ее завоевываю, как дарую свободу всем рудничным рабам — даже тебе, Нойед. Теперь я вижу, что этот сон недалеко ушел от принцессиных, хотя был куда более жарким. А ты уже и тогда не покидал моих снов. Другие рабы не знали о них. Я не мог им ничего рассказать, даже думать не мог о том, что мне снится — у меня и слов таких не было. Мог только грезить. Неожиданно получив свободу, я стал способен бороться за свободу других, но теперь меня преследовали другие, темные сны. Мне снилось, как мы всемером — рабы, стражники и я, раб-десятник — надругались над беспомощным больным мальчиком. Ты говоришь, что не помнишь этого, и поэтому я все еще не могу рассказать тебе мои сны.

— И теперь мы мучим друг друга лишь для того, чтобы я вспомнил забытое? Вспомнил то, что ты

называешь правдой и во что я не верю, потому что помню, как был с тобой в рудниках?

Горжик прислонился к парапету спиной.

— Ты ведь не из тех, кто легко прощает, Нойед.

— Да, хозяин, я человек мстительный.

— И не получил тайного удовольствия от насилия, учиненного над тобой.

— Это было мучительно и ужасно, хозяин. Поверь мне.

— Отчего же ты, дуралей, любишь и поддерживаешь того, кто открыто признаётся, что был в числе насильников — кто, больше того, ночь за ночью повторяет это насилие то под видом хозяина, то под видом раба?

— Я не могу побороть все зло в этом мире, хозяин, и потому борюсь лишь с тем, что знаю и помню. То, что случилось той ночью в рабском бараке, давно быльем поросло. Никто не подглядывал за нами и не записывал имена. Остались только сны и воспоминания, твои и мои. То, что тебе это снится, значит лишь, что ты человек. Но ты ведешь себя глупо, хозяин, становясь рабом этих снов. О насилии я помню, хозяин, — проронил Нойед устало, будто уже не раз повторял это в ответ на то, что не раз слышал. — Мог ли я забыть? Но это было давно, и я не помню, чтобы

меня насиловал ты. Я и других, если на то пошло, вряд ли узнал бы, если бы снова встретил; время стерло их лица из памяти, как ты стираешь с пергамента неверно написанный знак. Ночь была темная, я был болен. Может, ты другим мальчишкой когда-то попользовался и спутал его с Нойедом? Или спутал с чем-то другим драку, в которой получил шрам. Ты ведь не скрываешь, что не однажды юнцов насиловал. Сам я помню лишь твою доброту ко мне, раз за разом. Может, тот десятник со шрамом по имени Горжик, то и дело спасавший мне жизнь, был не ты, а кто-то другой. Я твоих воспоминаний не оспариваю, хозяин, — не оспаривай и ты моих. — Нойед отвел от Горжика свой единственный глаз. — Я не простил твоей жестокости, хозяин, — я ее позабыл. И тебе это кажется жестоким.

— А что, если ты когда-нибудь вспомнишь это, Нойед? Что, если это всплывет в твоей памяти, как позабытое название улицы, на которой ты некогда жил, — всплывет и разбудит тебя среди ночи? Что, если вот в такую же лунную ночь, увидев мое потное лицо над собой, ты вспомнишь тот давний шрам…

— Я лежал тогда на животе и ничего не видал.

— Но если вдруг…

— Такая уж у нас с тобой игра. Если вспомню, то либо прощу тебя, либо убью. Занятная игра. Но что мы можем поделать, пока я не вспомню? Моя забывчивость тебя терзает, не так ли?

— Так, Нойед.

— Значит, эта забывчивость и есть мое мщение. Ты же знаешь, я никого не прощаю, даже любимых. Будь мне свойственно прощать, я солгал бы, сказал, что все помню, но прощаю тебя. — Нойед раскрыл свой ошейник и положил на камень. — То, что мы вместе делаем — это явь. Если ты сооружаешь из этой яви свои страшные сны, и вспоминаешь их, и рассказываешь о них — это твое и лишь твое дело. Я слушаю тебя, но простить не могу, потому что не умею судить. — Нойед помолчал и сказал: — На юг, значит?

А Горжик засмеялся, радуясь, что он заговорил о другом.

— Он врал, хозяин, но ты его вывел на чистую воду. И отпустил, но теперь этот контрабандист много о тебе знает.

— На юг такое не возят. — Горжик, кряхтя, присел на корточки рядом с Нойедом. — Он, конечно, возвращается в Колхари, но этой братии ни в чем нельзя верить. Не удивлюсь, если он ни одного правдивого слова нам не сказал — ему что прав-

да, что ложь, все едино.

— Но ты-то правду от лжи всегда отличишь, хозяин. В этом твоя сила.

— Какая там сила, Нойед. Над такими, как он, я не властен — потому и прогнал его. Будь это кто почестнее, я предложил бы ему примкнуть к нам, но для него наша борьба ничего не значит.

— Однако число тех, для кого она значит все больше и больше, растет. Когда я в последний раз был в Колхари по твоему поручению, я встретил одного парня на Мосту Утраченных Желаний — да, именно там! И он тут же произнес твое имя — я не называл его, он первый сказал. Он думал даже, что я — это ты, вообрази только! Ты его герой, он старается узнать о тебе все, что можно. Считает тебя самым великим человеком в Неверионе, выше императрицы ставит! Он не то что наш недавний знакомец: это смышленый юноша, не иначе школяр. Бьюсь об заклад, что таких много и в Колхари, и в Сарнессе, да и во всей стране. Ты не знаешь о них потому лишь, что в нашей туманной империи развелось слишком много самозванцев, притворяющихся тобой, подражающих твоей страсти, ведущих людей к ложной цели. Но когда люди слышат правду о твоих деяниях, они прозревают…

— Правду ли? — махнул рукой Горжик. — Ты говоришь это лишь для того, чтобы утешить меня. Да, я верю, что в Колхари ты встретил такого парня — может, и не одного. Один сказал тебе то, другой это, третий, которого ты и в глаза не видал, добавил полную несуразицу. Из всего этого ты и сложил свою сказочку, но если б я поверил в *нее*, то был бы несчастнейшим из… Поддаться выдумкам очень легко, Нойед, я сам такие истории сочинял. На юг он едет!

Они смотрели друг на друга и усмехались. Разомкнутый ошейник лежал между ними. Туман опять затянул луну.

— Ты, хозяин, хорошо знаешь таких, как он.

— Знаю как самого себя, потому что сам таким был — только случай помог навсегда таким не остаться.

— Ты говоришь это о каждом воре и разбойнике, о каждой шлюхе, которые нам попадаются. И о каждом купце тоже, и о принцессе, и о министре — а потом заявляешь, что это источник всякой подлинной силы!

Горжик только засмеялся в ответ.

— Ты грезишь о власти, хозяин! Из чего ты сооружаешь такие сны? Где ты им научился? Нельзя нам здесь оставаться, уходить надо. Мы

должны оставить принцессу, оставить Неверион, унести твои мечты, твое знание, твою силу за пределы этой скованной страны и наконец исправить царящее в мире зло!

Пока туман заволакивал луну, они так и сидели на крыше, мечтали каждый о своем и смеялись.

Нью-ЙоркЯнварь 1984

Повесть о лицедее

Граница и ее переход взаимозависимы, какими бы интенсивными они ни были: не бывает абсолютно непреодолимых границ, а переход не имеет смысла, если граница состоит из иллюзий и теней. Но может ли у границы быть своя жизнь вне зависимости от акта, нарушающего и отрицающего ее? И, соответственно, не исчерпывается ли существование трансгрессии пересечением границы?.. Отсюда следует, что граница и переход соотносятся не как черное с белым, запретное с легальным, открытое пространство с замкнутым. Их соотношение имеет скорее форму спирали, разрушить которую не так просто. Трансгрессию можно сравнить с молнией, от начала времен придающей плотность и густоту отрицаемой ею ночи, освещающей ночь изнутри сверху донизу и в то же время обязанной ночи своей яркостью, своей раздирающей, уравновешенной уникальностью…

Мишель Фуко О трансгрессии

1

Ну, вот и отыграли. Заходи же. Сам я, сдается, играл блестяще. Осторожно, мой юный друг, переступи через это. Не такой уж и юный теперь, говоришь ты? В моих глазах тебе все еще двадцать лет и всегда будет двадцать. Сюда, сюда. В тесноте, да не в обиде. Душно тут? Сейчас люк на крыше открою, будет нам и воздух, и свет.

Присядь-ка на эту полку, застланную красивой тканью, под крылом чудища — да, того самого, которое убивает герой. Это случается в самом начале спектакля, поэтому его закидывают сюда, пока барон и крестьяне во второй сцене поют эту кошмарную песню о непокорном море, а публика — и лицедеи тоже — ощущает невиданный прилив благородства. Шум, который мы производим, таща чудище сюда, легко сходит за гул прибоя.

А взгляни-ка на этот меч. Тут-то видно, что он деревянный, но когда героиня выхватывает его из ножен героя, чтобы вонзить себе в сердце, даже взрослые мужчины — я сам видел — кричат: «Нет! Не надо!», а олух этот отбирает у нее меч, и целует ее в грудь, и умоляет простить его за измену.

И тут все рыночные девчонки, стоящие в первом ряду, начинают рыдать.

Хотя нет, сегодня вот не рыдали. В Колхари публика искушенная, этим ее не проймешь — на провинциальных рынках дело иное. Здесь скорее оценят мое…

Нет! Не нужна мне ни похвала твоя, ни хула. Ты оставил своих учеников и пришел из самого Саллезе, чтобы посмотреть наше первое представление — может ли быть похвала выше этой?

А теперь придвинься поближе: не хочу, чтобы нас слышали те, кто копошится снаружи. Мы-то с тобой друзья давние. Я знаю, ты был рожден принцем, но отказался от своего титула задолго до того, как основал свою школу, желая, чтобы к тебе относились как к простому горожанину. И стал поистине необычайным в глазах всех, кто знает тебя.

Однако в прошлом сезоне к нам, когда мы представляли на юге, примкнул один престранный человек. Не знаю уж, что в нем нашел наш хозяин: он старше меня и раньше никогда не играл на сцене. Сразу же пошли слухи, что старик этот — знатный южный вельможа, впавший в немилость у министров малютки-императрицы, гордой и разумной владычицы нашей. Он скакал

на подмостках, весь в перьях, и бил в барабан, как и все мы, но это еще не самое забавное. Весьма скоро он нас покинул, и я сожалел об этом; как комик он порой затмевал меня, но вне сцены был мне приятен.

Так вот: маленькая флейтистка, что нынче открывала представление и правит лошадьми, когда мы в дороге, тут же заявила, что тоже происходит из знатного рода. А молодой комик, играющий слуг, сказал в подпитии, что у него самого титула нет, но воспитывался он вместе с одним северным графом и обучен хорошим манерам — не хочет ли хозяин распустить слух, что в труппе есть и другие аристократы? И хозяин, во всем остальном здравомыслящий человек, согласился на это! Дальше — больше. Не прошло и месяца, как наш конюх сделался герцогом, а три пышнотелых молодки, играющие ведьм в утренних спектаклях и похищенных дев в вечерних, — фрейлинами разных титулованных дам. Даже героиня оказалась дальней родственницей малютки-императрицы, то ли герцогиней, то ли графиней. Титулы открывались, как язвы на теле чумного. В довершение всего я, лежа как-то на той самой койке, где ты сидишь, среди дребезжащих зверей, птиц, мечей и доспехов, вспомнил о тебе,

друг мой, и о твоем титуле.

Вспомнил и подумал: раз он все равно им не пользуется, будет ли он против, если я присвою его титул себе, хотя бы на время?

Очень рад, что тебя это забавляет!

Говоришь, что можно? Ты просто делаешь поблажку старому лицедею — если б до тебя дошло, что я им пользуюсь, ты бы, наверно, не был столь снисходительным. Но я пришел в себя еще до следующего спектакля. Если мой друг не захотел быть принцем, сказал я себе, подводя глаза синей краской и золотя губы, с чего же мне называться им? Пусть те, кто и в господской усадьбе никогда не бывал, воображают себя невесть кем, а я имею честь быть другом настоящего неверионского принца! Я обедал с тобою в твоих садах, представлял перед твой семьей и друзьями, а ты приходил ко мне — и мы, взаимно восхищаясь друг другом, усмехались как два несмышленыша. Больше того: ты говорил обо мне юношам и девицам, которых отдали тебе в обучение богатейшие купцы Колхари. Ты всегда был так добр ко мне! Слезы на глаза наворачиваются, как подумаю. Не надо мне от тебя ничего, кроме дружбы.

Не поддамся общему безумию с титулами, сказал я себе тогда.

А ты скажи, что я был нынче великолепен! Хотя нет, постой.

Твое доброе мнение для меня очень ценно, и хвалу я люблю не меньше кого другого. Но я ведь не даю тебе советов, как учить молодежь — не советуй и ты мне, как заставлять публику плакать или смеяться. Я тебя знаю, ты горазд поучать.

Видел я, видел: ты лишь улыбнулся слегка в конце третьей сцены, когда все кругом со смеху покатывались. Мы-то с тобой понимаем, что шутка эта невысокого пошиба и даже улыбки едва достойна; это моя уступка хозяину, который думает, что для зрителей простого звания такие как раз и нужны. Слышал я также, как ты хохочешь во время той сцены с кубком, когда отец героини просит налить вина. Половина публики совсем ничего не заметила, другая половина разве что усмехнулась, но тебе я скажу, что отрабатывал этот жест месяцами! Узнал ли ты восточного графа, у которого я его перенял? Впрочем, нет. Не нужно связывать мое искусство с кем-то другим. Оценить этот жест вкупе с оторопелым видом, который грим лишь усиливает, значит оценить самую суть моей игры.

Ты ее оценил, я слышал.

И рукоплескал как и все остальные, по крайней

мере в конце.

Другой критики мне не надо. Если бы я теперь, когда мы одни, выпрашивал у тебя новых рукоплесканий, нас обоих это бы только унизило.

Ну, а публике вроде бы понравилось все целиком.

Ты о том лысеющем пузане, что стоял чуть в стороне, хохоча и хлопая всему, что я делаю? Заметил, значит, его.

Говоришь, я предпочитаю такую критику?

О, ты несправедлив к стареющему актеру. Дело в том, что он тоже мой друг. Ходит на все мои столичные представления и от души, безо всякой критики, восторгается нами. Пару раз, когда к нам приходило новое пополнение, и репетировали мы мало, и публика, чувствуя это, почти не смеялась, он хлопал так же громко, как и всегда, сердито глядя на других зрителей, — но замечал это я один. Он, сдается мне, идеальный зритель, и других нам не надо. Я знаю его почти столько же, сколько тебя — лет пятнадцать уже? Или двадцать? Думаю, что двадцать, а то и больше!

Мне делает честь твоя дружба, а ему, кажется, делает честь моя. Его рукоплескания меня не меньше от этого радуют, но ты поймешь, если я скажу: он восторгается не потому, что высоко це-

нит нашу игру, а потому, что он мой поклонник. И не отрицает этого, что, в свою очередь, делает честь ему. Знакомство с одним из актеров побуждает его каждый раз отбивать ладоши. В каком-то смысле он рукоплещет себе самому за то, что знает меня, или, говоря великодушнее, нашей дружбе — былой дружбе, если быть честным. В те дни, когда нам хлопает он один, мне особенно приятно припоминать, что он, при всей своей очаровательной наивности, далеко не глуп для человека своего круга. Ты сам не раз говорил, что грех не в невежестве, а в глупости. Когда мы с ним познакомились, он, как и ты, был юношей, почти мальчиком. Как мы встретились, спросишь ты?

Он родился в деревне западнее Колхари, а лет в семнадцать-восемнадцать убежал в город. Я встретил его там, где обычно встречают таких юнцов: на Мосту Утраченных Желаний близ Старого Рынка.

Многие мальчики — и девочки тоже — попадают туда в еще более юном возрасте.

Почему он так долго медлил? Не знаю, хорошо ли ты его рассмотрел, но лицо у него рябое. В Колхари он пришел, когда его язвы или оспины уже зажили, а раньше на него, полагаю, было страшно смотреть.

Был ли он красив в молодости? Нет. Он и тогда был плотен и грацией не блистал. В городе он налетел на пиво, как мухи на мед — я пользуюсь этой расхожей фразой, поскольку и в его истории ничего нового нет. На первых порах я подозревал, что он сопьется, подобно многим другим. Не говоря уж о разных беззаконных делах, куда юноша в наши переменчивые времена может впутаться и сложить свою голову. Позже, когда он начал отлучаться из города, я так и ждал, что вскорости увижу на нем рубцы от кнута императорского пристава или услышу о паре лет каторги. А нет, так узнаю, что в одну из холодных дождливых ночей он умер где-нибудь под забором.

Но ничего такого не случилось, как видишь.

Отчасти, быть может, благодаря мне — хотя нам не следует льстить себе мыслью, что мы кому-нибудь помогли. Будем лучше признательны тем, кто помог нам самим.

Скажу лучше, что он доставил мне немало радости в свое время. Он был и остался добродушнейшим из людей — если о ком-то и отзывается дурно, то лишь о себе.

Благодаря его доброте я и по сей день говорю, что мы с ним друзья, хотя бы в память о былой дружбе.

Чем он занимается?

По твоим расспросам я вижу, что ты и сам не прочь познакомиться с ним, а потому скажу тебе самую малость: он сам доскажет остальное, если захочет.

Определенных занятий у него нет.

Живет он как может, то в Колхари, то где-то еще, работает недолго то там, то сям.

А, так ты не хочешь заводить с ним знакомство?

В таком случае он контрабандист. Давненько уже.

Да, такой уж у меня друг. Правда, когда он ушел с моста и стал промышлять то тем, то другим, мы с ним обменивались лишь кивками да парой слов — всегда доброжелательно, впрочем. И он тогда уже постоянно ходил на мои спектакли. Всегда стоял чуть в сторонке, а хлопал и кричал громче всех. В этом он ничуть не отличается от себя нынешнего.

Он тоже, думаю, делает это в память о былом, если не по привычке. Раз в год — последнее время скорее в полтора года, а то и два — он после спектакля подходит ко мне. Случается это так редко, что я всегда приглашаю его к себе. Он сидит там же, где ты теперь, свесив свои ручищи между

колен. Мы разговариваем. Он улыбается. Я рассказываю ему что-то о своей жизни, он мне о своей.

Двадцать лет прошло, я сказал?

Значит, мы с тысячу раз кивали и махали друг другу при встрече (он, при его ремесле, бывает в городе не чаще меня), но говорили не больше десяти раз.

В первые годы, когда я еще думал о нем как о юноше, он порой приходил ко мне с девушкой, а то и с двумя. Знакомил меня с ними, гордясь, что у него такой знаменитый друг. Я находил это забавным, а он из вежливости долго не задерживался, так что никому вреда не было.

Лет пять… нет, скорей семь назад он, сидя на твоем месте, рассказал, что живет с вдовой где-то под Колхари и что у них с ней двое детей. Лишь тогда я понял, что давно уже не видел его.

После этого я пару раз замечал его в публике — однажды с молоденькой курчавой варваркой, крапчатой, как перепелиное яичко. Уверен, что это не та вдова, а какая-нибудь шлюшка с моста.

Ко мне они не подходили, что меня, признаться, только порадовало.

Как-то раз мы с ним пошли в гавань, где он, как ни странно, поставил мне кружку сидра, а сам выдул целый жбан пива и поведал, что нажил

состояние на рассказах об Освободителе — ну, знаешь, об этом главаре, про которого столько толковали лет десять назад, когда твой дядюшка разгромил его ставку? Мой приятель знает обо всех его битвах и стычках, знает все истории и сплетни, что ходят о нем. Собирал все это годами и держал в памяти — кто бы подумал, на него глядя, — но с Освободителем, по его словам, встречался всего лишь раз. Узнав это, я убедился в том, что с самого начала смутно подозревал: есть в нем нечто особенное, хотя эта особенность не принесла бы ему успеха на рынках нашего общества, будь они старыми или новыми. То, что интересно в юноше, не вызывает интереса в мужчине. Но мой особенный мальчик вырос в особенного мужчину: редкий твой ученик представил бы столь подробный и красочный отчет о столь, казалось бы, бесполезном предмете.

Ставку Освободителя взяли пятнадцать лет назад, говоришь? Ну, тебе лучше знать, это ведь по соседству с тобой.

Когда он приходил в последний раз, я спросил его о семье, и он сказал, что уже год не видел ни вдову, ни детей.

Тогда-то я и понял, что больше не думаю о нем как о юноше. Славный плотненький парень с

годами попросту разжирел. Признайся, что я сохранился гораздо лучше его, будучи на двадцать лет его старше. Притом он лысеет, а мои волосы лишь слегка поредели. Да, он теперь совсем взрослый и столь же близок к средним годам, как я, что уж там скрывать, к старости.

Нет, не думаю, что сейчас он преуспевает так же, как прежде. Мне больно говорить так о том, кого я так долго считал ребенком, но его упадок — одно из тех маленьких потрясений, посредством коих безымянные боги напоминают нам о смерти.

Спасибо им, что я еще представляю, кое-как пою, кое-как пляшу и могу сыграть старика так, чтобы рассмешить публику.

Да, можно сказать и так. Наша с ним дружба и правда прошла тот же путь, что и наша с тобой. И все-таки, несмотря на все твои затруднения — не говоря уже о моих, — вы оба спустя двадцать лет пришли на наше первое представление здесь после успешных гастролей в провинции.

Так я в своей себялюбивой манере хочу выразить, что глубоко, хоть и по-разному, ценю вас обоих и знаю, что вы меня тоже цените.

Да, меня тоже удивляет, что вы с ним не встретились раньше, но ведь жизнь у вас совсем

разная. Ты у нас принц, учитель, философ, а он простой вор.

Стало быть, и удивляться тут нечему.

Рассказать тебе о нем побольше? Изволь.

2

Грузный муж, которого ты видел сегодня, пришел в город, как многие деревенские парни — и, как многие, оказался на мосту. Он мечтал продать свои услуги какой-нибудь графине, которая поселит его в своих покоях при Высоком Дворе и представит кругу своих знатных друзей на приватных ужинах. Он проявит свое незатейливое сельское обаяние, рассказывая забавные истории из жизни простонародья; после трех кружек пива он становился прекрасным рассказчиком и умел, прежде всего, посмеяться над собой, без чего никто на нашем ухабистом пути долго не выживает.

Ему мечталось, что знатные дамы оценят его мужественный, хотя и рябой, облик; что он случайно окажется на балу, где перемолвится парой слов с самой малюткой-императрицей, достославной владычицей нашей, вызвав тем гнев и ревность собравшихся там господ; что этак через

полгода его патронесса, заведя другого любовника (молодого аристократа, чья надменность пробудит в ней нежные воспоминания о днях и ночах с селянином), обеспечит оному селянину офицерский чин в отдаленном краю, где он испытает множество приключений и станет богат…

Однако через некоторое время — не так скоро, в чем он, по его же словам, винил свое тупоумие, — он понял, что мечты эти столь же эфемерны, как лунные блики на воде под мостом.

В первые дни на мосту, как он мне со смехом рассказывал, один мужчина привел его к себе, где он предался любви с надушенной страстной женщиной — его молодой женой, по словам заказчика. Такая работа пришлась ему по душе, но на другой раз она ему выпала только через три месяца, когда пожилой человек отвел его к своей сорокалетней любовнице — мне, кстати, было столько же, когда мы с ним встретились.

Против женщин в годах мой приятель ничего не имел, но дама отлучилась куда-то. Они долго ждали в богатом доме заказчика, пили сидр и беседовали. Затем мужчина извинился, заплатил ему половину условленного и отправил восвояси.

Больше на первых порах женщин ему не дово-

дилось обслуживать.

Над замусоренными водами Шпоры основными его клиентами, которые платили ему сущие гроши — а порой он соглашался только на ужин или ночлег, — были мужчины: писцы, ремесленники, рабочие, купцы, армейские офицеры, рыночные торговцы, возницы и те, что скрывали свой род занятий.

Знатные дамы порой проходили мимо под зонтиками, в сопровождении служанок и компаньонок; они направлялись на рынок, где кто-то из их знакомых видел нечто диковинное, но на мосту ничего не покупали: в Колхари это не принято.

Если ты помнишь, я в те дни, когда еще не проявился мой комический дар, работал все больше с другими актерами, обучая их и натаскивая.

Как мы с ним познакомились?

Я, проходя со Шпоры в более зажиточные кварталы, несомненно не раз замечал его наравне с другими парнями, хлебавшими пиво и окликавшими женщин: «Эй, ягодка, я ж вижу, что тебе приглянулся!»

Замечал и скорей всего думал, что на свой лад он хорош, но потом решал, что он вовсе не в моем вкусе и не стоит даже улыбаться ему. Как-то я

увидел, что с ним говорит пожилой торговец зерном, и услышал, как парень его называет «отче».

Этот старикан явно был его постоянным клиентом — я так и не набрался смелости спросить, сам ли он придумал так называть старика или купец того требовал, но в тот миг убедился, что этот юноша привлекательней всех на мосту. Глупец ты был, шептала мне ревность, что до сих пор не проявил к нему интереса.

Те, кто никогда не пользуется продажной любовью, полагают, что мы — те, кто пользуется — делаем это, избегая душевных мук, сопряженных с любовью высокой, и боясь быть отвергнутыми предметом своей влюбленности. Они чувствуют моральное превосходство над нами оттого, что сами охотно идут на такие муки; они думают, что эти страдания очищают их непостижимым для нас образом и закаляют подобно ледяной воде горных ручьев. Им неведомо, что купля-продажа отнюдь не отменяет любовных страданий и даже делает их еще более жгучими; с каждой новой сделкой мы увеличиваем возможность снова их испытать.

Назавтра после его свидания с тем стариком я снова его увидел. Я шел задумавшись и лишь за шаг от него понял, что это он. Но однажды

вечером, когда солнце висело в желтых облаках наподобие медного гонга, народу на мосту почему-то собралось втрое меньше обыкновенного. Он, обнаженный, стоял спиной к перилам, положив на них локти, упершись одной ногой в парапет. Пивной мех лежал рядом.

Я посмотрел на него.

Он улыбнулся.

Я хотел отвести взгляд, но не отвел.

Когда я шел мимо, все так же не сводя с него глаз, он вдруг протянул мне свою мозолистую крестьянскую руку и сказал просто: «Здравствуй, как поживаешь?»

Мы обменялись рукопожатием. Я спросил его о том же, он предложил мне теплого пива — и я, решительно предпочитающий сидр, выпил.

Сначала мы просто беседовали. Теперь я знаю, что он, будучи о себе очень скромного мнения, радовался всякий раз, когда к нему хоть кто-нибудь подходил. Но искренняя радость женщины или мальчика при виде клиента — редкостная приправа для их товара. Вскоре я уже задавал откровенные вопросы относительно стоимости разных услуг, давая понять, что я солидный клиент, а он столь же откровенно и разумно отвечал мне.

Договорившись, я предложил пополнить его мех, за что он был благодарен.

С тех пор я знавал юношей моложе и вместе опытнее его: они делали свое дело, брали плату и уходили. Я нисколько их не виню, но всего за пять лет до того теплого вечера мог бы поклясться, что уж я-то никогда не стану платить за любовь! По-своему я был столь же неопытным покупателем, как он продавцом. Покупать и продавать что-то другое нам, конечно же, приходилось — я лишь пытаюсь передать тебе всю меру нашей невинности. Меня удивляет лишь, что неопытность не помешала ему сразу понять, что больших денег он от меня не увидит.

Впрочем, более изощренный наблюдатель, привычный к сделкам такого рода, мог бы сказать, что наша дружба — если это можно так назвать — началась с довольно щедрого предложения. Я тогда неплохо заработал, представляя в одном частном доме — не у тебя ли?

Ну конечно. Ты это помнишь, а я позабыл.

Мне совестно рассказывать, на что пошли деньги, которые твой дядя не поскупился отсыпать…

Хотя ты прав — спустя столько лет…

Так вот: на деньги, которые мне отсыпали твои родичи, я напоил его допьяна, накормил досыта,

дал несколько монет сверх того и снял ему дешевую комнату, заплатив за неделю вперед.

Насладился им и вернулся на ночь в свою повозку.

Утром я стучался к нему. Он сонный, впускал меня. Мы сидели на его кровати и разговаривали.

Говорил больше я — он по утрам был не особо общителен, хотя всегда брал с меня слово, что я и завтра приду, как будто звук моего голоса был ему приятней наших любовных утех. Он слушал меня прилежно — во всяком разе, притворялся, что слушает.

Я, что бы он ни думал обо мне как о любовнике, пришелся ему по душе. Оно и понятно: ведь он, впервые за много месяцев, ночевал три ночи кряду под той же крышей.

Я привел его к нам. Он был таким деревенщиной, что никогда не заходил дальше фонтана посреди рынка и не знал, что мы испокон веку ставим наши повозки на другой стороне площади!

Я дал ему посмотреть спектакль из повозки с декорациями, и вот тогда он заговорил.

Он случайно заметил, что из угла скалится один из наших драконов — как тот, под которым

сидишь теперь ты — всполошился и вспоминал потом об этом раз двадцать: дурак-де я был, что испугался такого чучела. Но по его ухмылке я видел, что это был приятный испуг. Я часто расспрашивал его, с кем он спал раньше, и рассказывал ему о своих похождениях. Да, у него были свои прихоти в этом деле — кажется, он любил конопатых женщин…

Прихоти были и у меня, и он им подчинялся безропотно. «Хочешь, так давай. Главное, чтоб тебе хорошо было». Я не знал тогда, как редко это можно услышать от столь юного существа, и принимал все как должное. А после полагал, что мои причуды теперь известны всем на мосту — но оказалось, что он и словом о них не обмолвился; такая сдержанность сделала бы честь и человеку куда более высокого рода. Поэтому и о его предпочтениях не стану распространяться. Скажу лишь, что они были безобидными, даже милыми, и меня трогало, что он мне доверился.

К тому времени он переспал всего с семью женщинами: шесть были деревенские девки и молодки, седьмая — жена того мужчины, что нанял его на мосту. «Какое совпадение! — сказал я. — У меня за всю жизнь тоже было только семь женщин, а ведь я вдвое старше тебя».

Подобно многим пришельцам из сельской глуши, он, помимо грез о знатной даме (или господине), которые будут содержать его в праздной роскоши, мечтал о сыне, о жене — именно в таком порядке — и, пожалуй, о паре любящих дочек. Они будут жить в маленьком домике — в таком же, как я со временем понял, где он жил и трудился до прихода в Колхари. В этом месте я обычно вставлял: «Подбери себе, кроме того, такое занятие, чтоб не бывать дома месяцев восемь в году, и будет совсем хорошо».

Он смеялся, но, думаю, оценил мой совет, когда сошелся с вдовой — и вскоре выбрал себе как раз такое занятие.

Случалось, что он тосковал по дому; я выслушивал его, не совсем понимая, и как-то сказал: «Так почему бы тебе просто не съездить туда?»

«Нет, это слишком далеко. Я в город четыре дня шел».

Я заметил ему, что четырехдневный пеший путь можно проделать в повозке за полтора дня. Кроме того, я знал, как зовется его деревня, и она вовсе не так уж далеко находилась. Четыре дня он не иначе шел потому лишь, что то и дело сбивался с дороги. Но когда он неделю пробыл на моем содержании, я стал чувствовать себя

ответственным за него. Мне это, во-первых, не очень-то нравилось, а во-вторых, я просто не мог себе такого позволить на обычные лицедейские заработки; щедрые даяния, как в доме твоего дяди, мне не часто перепадали.

Поэтому вечером накануне того, как за его комнату следовало снова платить, я предложил ему ранним утром пойти на рынок, найти возницу, едущего в нужную сторону, и заплатить железную монетку за дорогу в его родную деревню. Он по наивности своей не знал даже, что это возможно. Теперь такие поездки вошли в обычай, но тогда малютка-императрица, кажется, не велела еще поставить навес для путников. Приходилось ходить по всему рынку и спрашивать обратных, кто куда едет — но многие тем не менее это делали.

Итак, чуть свет я пришел к нему, растолкал, и мы отправились. Второй же спрошенный мной возница направил нас к третьему, радушному и дородному — точно такому, каким мой друг стал теперь. Он охотно брался доставить парня в родную деревню, что была ему по дороге.

«Вот и хорошо, — сказал я, вручая возчику две монетки. — Будешь дома завтра к полудню».

«Завтра? — откликнулся тот и вернул мне одну

монету. — Доедем нынче же к вечеру! Я честный труженик и лишнего брать не стану».

Мой приятель захлопал еще не проспавшимися глазами, услышав, что его дом так близко, и они покатили с рынка, где ларьки еще только ставили.

Комната была оплачена до заката — обычай, которого мне очень не хватает теперь, когда хозяева норовят выставить тебя уже в полдень, — и я час спустя вернулся туда с новым приятелем, постарше и поопытней прежнего. Я тогда, как мне помнится, привязался к нему куда больше, чем к юнцу, которого отправил в деревню. Мы с ним предавались страсти, пока я не спохватился, что опаздываю на представление — грех, случившийся со мной всего трижды за всю мою жизнь. Теперь же я не могу вспомнить ни имени, ни лица того, ради кого согрешил.

3

Моего селянина не было в городе три-четыре недели. Не знаю, как и когда он вернулся: у него хватило такта и разумения не разыскивать меня сразу по возвращении. Он, при всем моем дружелюбии, понял, что я отсылал его навсегда

— именно его чуткость и побудила меня снова искать с ним встречи. Около месяца спустя я неожиданно увидел его на улице, издали, а через пару дней чуть было не столкнулся с ним на мосту. Он разговаривал с молодым варваром и пожилым клиентом, который явно хотел их обоих. Меня он не видел или притворился, что не видит. Я счел за лучшее не прерывать их.

Еще через несколько дней я шел на уличный праздник, где мы представляли. Некоторые из наших уехали туда с повозками еще утром. Мне не обязательно было идти через Мост Утраченных Желаний: я мог бы свернуть на север к неприметному мостику, ведущему в анклавы, где жили разные народности и где нас в праздники всегда тепло привечали. Но я, влекомый памятью о прошлых удовольствиях, пошел привычным путем.

Он стоял на том самом месте, которое я всегда связывал с ним. Мы обменялись улыбками, и я невольно замедлил шаг, еще не решив, стоит ли мне это делать.

«Здравствуй! Как поживаешь?»

На миг я усомнился, помнит ли он меня.

«Хорошо, а ты как съездил?»

«Хорошо, просто здорово!»

Он повидался с тетушкой. Конечно же, он меня

помнит. Нет, мать не так сильно обрадовалась ему, как он надеялся. Там были какие-то раздоры перед его уходом; он совсем о них позабыл и вспомнил, лишь когда повозка подъехала к знакомым полям. Тем не менее пару вечеров он с деревенскими друзьями провел. Он рассказывал об этом, поглядывая на меня с любопытством. Не помню, обсуждали ли мы в тот раз вопрос расстояния, но мне почему-то кажется, что он уже сделал свой вывод. Путь, пройденный им за четыре дня, измерялся не в стадиях и лежал скорее в области воображения; теперь, пообтесавшись немного в городе, он иначе судил о его величине. Вновь этот путь можно было преодолеть лишь по воле безымянных богов, потому-то он и вернулся.

«Куда ты теперь?» — спросил он. Я сказал ему про спектакль.

«Можно и мне с тобой? Надоело торчать тут, трясти своей индюшачьей шеей, — он оглядел себя, голого, — и ждать, когда какой-нибудь старикан, беззубый и вонючий, позарится на нее».

«Я там работать буду».

«Полно, возьми меня. Я не стану мешать».

Я согласился, но дал понять, что денег он от меня не получит. Он столь же откровенно ответил, что много слышал о столичных уличных

праздниках, но боится идти туда в одиночку — а с другом не страшно, притом что друг этот принимает в празднестве самое прямое участие.

«Эй, пивом не угостишь?» — окликнул он другого парня, когда мы отправились. Тот схватил свой мех, хлопнул им по бедру и, к моему удивлению, сердито зашагал прочь.

«Я у него утром старикана отбил, который всегда к нему ходит, — ухмыляясь, объяснил мой приятель. — Просто я нынче первый пришел. Вернулся и говорю ему: вот сколько мне старик дал. Соврал, конечно, — он пихнул меня локтем, — столько никто не дает, но он мне поверил. Теперь думает, что я у него всех клиентов отбивать буду». Я хотел было возразить, но он перебил: «Так ему и надо. На прошлой неделе, как кто ко мне подойдет, он тут как тут и ну хвастать: я то да се умею и долго продержаться могу. Я лишь отплатил ему той же монетой».

После этого он высказался о происхождении своего соперника и о том, как тот справляет нужду. Его простецкие выражения неприятно поразили меня, да и обеспокоили: соперник, судя по его внешности, обитал в том самом квартале, где устраивали праздник.

Когда мы пришли, там уже жарились барашки

на вертелах, пелись пьяные песни, из окон вывешивались разноцветные стяги, дети носились туда-сюда, родители перебранивались. Мой спутник жался ко мне: по его понятиям, здесь жили одни чужаки, которых его дома учили бояться.

Первое время он просто стоял в темном углу у наших повозок и пялил на все глаза. Потом, когда я начал помогать с декорациями, он отцепился от колеса, за которое ухватился, и стал всех спрашивать, не надо ли чего принести или подержать — к героине и к той обратился. Она послала ему воздушный поцелуй на бегу, и он, хотя и не сразу, его вернул.

Меня это слегка настораживало, но нашим он пришелся ко двору, и его стали посылать за тем и за этим.

Он осмелел и начал иногда отлучаться. Час спустя я, играя на гонгах и цимбалах, увидел его в толпе. Он что-то жевал — то ли угостили его, то ли сам стащил.

Жевал, ухмылялся и подмигивал мне — а я ухмылялся в ответ, продолжая играть.

Ночью, когда пришло время разбирать подмостки и гасить лампы, он снова пришел помогать. Я видел его то с доской на плече, то с охапкой масок в руках. За вечер он умудрился напиться — оно и

неудивительно, когда тебе наливают на каждом углу, — но усердия в нем от этого не убавилось.

На ночь он остался в моей повозке. Две маленькие танцовщицы, квартировавшие со мной вместе, ушли с какими-то матросами посмотреть их корабль при луне. (Явились они только два дня спустя и получили от хозяина нахлобучку.) Мы спьяну занимались любовью, и кто-то из нас во время этого точно уснул.

Среди ночи он вдруг всполохнулся и вывел меня наружу. Луна светила вовсю. Он, еще не протрезвев, уверял, будто что-то слышал, а потом встал у какой-то облупленной стенки и стал с невероятной силой мочиться. Обмочил ноги себе и мне, оросил свои колени и руки — мог бы и не вставать, то на то вышло.

Наутро, однако, он поднялся как ни в чем не бывало, только окосевший слегка.

Мы с ним проводили повозки обратно на рынок и пошли к мосту. На полпути я сказал: «Здесь мы с тобой расстанемся. Мы хорошо повеселились, и даже голова у меня не слишком трещит».

«А у меня так очень. — Его нечесаная бородка торчала клочьями, словно у какого-нибудь пожилого клиента. — Надо прилечь под мостом, в тени, и еще поспать». Я собирался сделать то же самое,

как только приду на рынок. «Не дашь ли пару монеток? — продолжал он. — Не за то, что было ночью, это бесплатно, но я ведь вам помогал».

На это мне сказать было нечего. Я сунул ему железку и ушел.

«Мы ведь скоро увидимся?» — крикнул он вслед. На мосту в этот час было тихо, и мне показалось, что его вопрос прокатился эхом не только с одного берега на другой, но и по всему городу.

«Да, конечно».

Мы, помнится, даже условились с ним на завтра, но кто-то из нас обещания не сдержал.

В чей же это дом меня позвали неделю спустя? Не в ваш: я точно помню, что репетировал тогда с женщиной, сочинявшей чудесную музыку — из-за нее-то я и оставил потуги сделаться трагиком, — а мы с ней никогда не представляли вместе в вашем саду. Точно: это было у баронессы, вашей знакомой. Ты тоже присутствовал? Это вполне возможно.

Короче говоря, в тот же вечер, возвращаясь через мост из Неверионы, я услышал: «Здравствуй, как поживаешь?»

Еще пара пива, еще пара монет. Комната в другой гостинице, подешевле — мне указал ее другой мой любовник. Несколько следующих

дней я сидел у него на кровати, и мы говорили о том же, что в прошлый раз.

Сын. Жена. Хозяйство.

Однажды я признался, что был женат, почти восемь лет. До того, как стал лицедеем — по крайней мере, до того, как стал играть в этой труппе. У нас были два сына и дочь. Я был превосходным отцом, ни над одной ролью так не работал. Но теперь с этим покончено: пусть это был мой лучший спектакль, больше я в нем не участвую.

Он посмеялся и спросил: «А ты тогда уже занимался этим с мужчинами?»

«Да, куда больше нынешнего. Я ведь был молод — около твоих лет, когда мы женились».

«Она знала об этом?»

«Конечно!»

«Ты ей сказал?»

«Еще до женитьбы. Можно ли вступить в брак с женщиной, не сказав ей самого важного о себе?»

«И что она на это?»

«Поначалу это ее возбуждало. — По его ухмылке я видел, что даже семь его женщин успели открыть ему эту диковинную истину. — Но когда появились дети, ей наскучило».

«А дети знали?»

«Когда дело уже шло к концу, который мог быть

куда более мирным, двое старших, думаю, стали подозревать. Выкрикивалось много разного с целью побольнее меня задеть. Жена у меня, видишь ли, тоже одаренная женщина. Она до сих пор живет в Йенле — то есть я так думаю, представлять мы туда не ездим. Может делать что угодно: дома строить, подмостки ставить, горшки лепить. И от приключений была не прочь, хотя и дулась частенько. Я был привязан к ней и достойно с ней обращался, а мне для этого — как и многим, думаю — требовалась изрядная доля честности».

«Почему ж тогда вы расстались?»

Труднее всего ему, наверно, было понять, что все пары расстаются (о счастье!), когда одна половина начинает видеть в другой плаксивое, жалкое, злое, паралличное животное, неспособное более быть разумным мужчиной или разумной женщиной в том виде, в каком нас создали боги.

«Так сколько же у тебя было женщин?» — спросил он и стал рассказывать какую-то нелепицу о победе, одержанной им в ночь карнавала. Раньше он потому-де не говорил, что боялся моей ревности. Тогда он еще не успел захмелеть и, уложив свою красавицу на кучу листьев у какой-то хижины на задах, кончил чересчур быстро… На середине рассказа он вспомнил, однако, что мы с

ним тоже по-своему обязались быть честными, и признался, что *видел* там одну женщину. Старше его и не слишком пригожую, но что-то в ней было. Она стояла на углу и ела взятый из сетки плод. Он подумывал подойти и заговорить, а потом попросить, чтобы я покараулил, пока они с ней будут миловаться в моей повозке!

Вот почему он вернулся и так старательно помогал нам.

Несколько раз он бегал посмотреть на нее. Она там стояла довольно долго, как будто ждала чего-то (как будто к чему-то прислушивалась, сказал он — у него случались такие поэтические наития). Но он так и не решился заговорить, а на пятый или шестой раз увидел, что она ушла — одна или с кем-то другим.

Экий дурень, сокрушался он — ни слова не сумел вымолвить.

Поэтому для нас обоих ответ оставался все тем же: семь.

Не помню, кто из нас спросил о том, что само собой напрашивалось: а сколько мужчин? Должно быть, все-таки я. Мы сидели на кровати в его каморке с голыми стенами и скошенной тростниковой крышей, подсчитывая в уме. Я, помнится, называл поначалу малые числа, желая

его поддразнить — двадцать пять, пятьдесят. Он насчитал с полдюжины только в детстве, а в городе у него было не меньше сотни: двадцать пять он обслужил в первую же неделю, что провел на мосту.

Смеясь, мы сошлись на том, что у обоих счет пошел на сотни, хотя мне уже сорок, а ему и двадцати нет. Я, не помню уж почему, решил его поддеть и сказал: «Ты, я вижу, совсем как я. Мужчины нравятся тебе больше женщин. Мне-то уж точно: и раньше нравились, и всегда будут».

«Нет! — возразил он. — Женское тело гораздо приятней мужского. Мужчины — это просто игра, я всерьез их не принимаю и схожусь с ними, только когда женщины рядом нет. И потом, они мне за это платят».

«Что ж, — я снова не удержался от смеха, — когда-то и я так думал, хотя чувствовал по-другому. Лежал с женщиной и думал о мужчине, который подарил бы мне наслаждение. Проделывал это дважды в неделю на протяжении восьми лет — нет уж, слуга покорный. Правда, когда с мужчиной спишь, частенько думаешь о другом мужчине. А ты о чем думаешь, когда с женщиной спишь? Или с мужчиной — со мной, к примеру?»

«Да ни о чем», — ответил он удивленно.

«Ну еще бы», — проронил я.

«Иногда представляю, как мужчина занимается этим с женщиной, — признался он наконец. — Но ты ведь любился с мужчинами, даже когда был женат?»

«А о ком я, по-твоему, думал, выполняя супружеский долг? Я уже говорил тебе, что мужское тело возбуждает меня куда больше женского и дарит гораздо большее облегчение. И когда ты будешь делить ложе с женщиной, как у вас в деревне предписано, это не изменит нашего с тобой сходства. И не странно ли, — притворно нахмурился я, — что два человека со столь разными чувствами делают в точности то же самое?»

Он снова стал возражать. Мы спорили с четверть часа; он сильно разгорячился и дошел до прямых угроз, а я старался подогреть его еще больше и наконец заявил:

«Что бы ты ни делал, ни думал, ни чувствовал и ни любил, учись жить с теми противоречиями, которые проглядели, создавая тебя, безымянные боги. Горшок с потрескавшейся глазурью остается приятным на вид, хотя годится не для всякого дела. У каждого есть изъяны. Нас для того и послали сюда, чтоб посмотреть, как мы с ними справляемся».

Тогда я, однако, начал слегка тревожиться: он в пылу спора перевернул кровать и бил кулаком по стенке.

«Только это и важно, — продолжал я. — Успокойся. Завтра мы покидаем город, позволь угостить тебя на прощание».

Я повел его ужинать в портовую харчевню, где столы стояли на дробленых ракушках, светили подвешенные высоко лампы и было видно вечернюю суету в гавани: люди шли с факелами, катили бочки, грузили тюки.

«Бывал здесь раньше?» — спросил я.

«Нет!» — Он смотрел во все глаза, держа кружку двумя руками.

«Ну вот, давно пора было».

Мы наелись досыта и напились допьяна. Он впервые видел наш знаменитый порт. Вся эта бурная жизнь немного пугала его, и волновала, и вызывала улыбку.

О нашем споре он, казалось, забыл.

Все здесь говорило о путешествиях, о торговле, не столь подпорченной алчностью и обманом, как у него на родине. Здесь, в отличие от порочных кварталов, которые он только и знал во всем Колхари, веяло чистотой. Уверен, однако, что сознание огромности города, где он уже научился

тому, что ему и не снилось в родной деревне, глубоко его потрясло.

Ночью я оставил его в гостинице спящим — таким пьяным я его еще не видал.

Это и собственное мое беспокойство отбило у меня охоту к прощальным нежностям, от которых он был, похоже, не прочь (хотя, быть может, я себе льщу). Он казался сущим демоном, пошатываясь при свете глиняной лампы, поставленной мной на хлипкий угловой столик, но вскоре закрыл глаза и рухнул частью на кровать, частью на пол; я его не без труда уложил как надо, задул лампу и вышел.

Утром наши пестрые повозки покатили из города. Проводить нас он был, конечно, не в силах — провалялся, небось, с похмелья весь день. Комната его была оплачена только до завтра, и он, должно быть, вернулся на мост.

Но между нашим расставанием и возвращением туда мой друг, как я узнал позже, лишился разума.

Да, вот так.

С ума он сходил тихо, без буйства. Весь первый день бродил по мосту из конца в конец. Это как будто не слишком отличалось от его прежнего поведения, но когда другие парни окликали его,

он молча проходил мимо, злобно на них поглядывая. Возможным клиентам не улыбался, не клал руку на плечо, не отпускал шуток насчет соперников. Вышагивал до конца, поворачивался и шел обратно.

Женщины порой принимали за клиента его самого и кричали: «Эй, миленький, позабавимся вечерком?» Они всегда говорят «вечерком», даже когда пристают к тебе утром. Но он не отвечал, как обычно, что это она-де должна ему заплатить.

Так почти всю ночь и ходил.

Под утро он стал останавливаться и наконец сел спиной к перилам, то закрывая, то открывая глаза.

Утреннее движение разбудило его, и он снова начал ходить. К обычным для моста звукам — ругани возниц, болтовне прохожих, перебранке девок со сводниками — присоединились десятки, сотни, тысячи других голосов. Ему казалось, что над узкой речкой слышны все голоса Колхари — сердитые, умильные, просящие, алчные, растерянные, убеждающие; сплетаясь в какофонию, они спорили о торговле, похоти, путешествиях и безумии, будто больше в столице и говорить было не о чем. Все они висели над мостом, по которому

он снова ходил из конца в конец.

Углядев яблоко, раздавленное воловьим или верблюжьим копытом, он подобрал его и съел. Съел упавшую с телеги, вывалянную в грязи морковку. Больше есть было нечего, да и к лучшему: когда он жевал, голоса слышались хуже, а он пришел к убеждению, что они обсуждают некую тайну, способную принести ему неслыханное богатство, славу и власть — могущество, которое повергло бы в прах саму императрицу с ее министрами.

Он ел мало и мало спал, почти ничем не отличаясь от прочих безумцев на Мосту Утраченных Желаний. Порой он шагал в такт с голосами и так сильно стискивал зубы, что лицо у него кривилось и по плечам пробегала дрожь. Натыкаясь на кого-то, он таращил глаза и злился, что его отвлекают от столь важной задачи. Иногда и ругался — по крайней мере, в первые дни. Позже, когда люди стали шарахаться от него, это случалось редко, и он ничего вовсе не замечал.

Что это была за напасть, откуда она взялась и что лежало в основе его безумия, ведомо лишь безымянным богам. Мне уж точно неведомо. Возможно, причина кроется в тяготах его жизни, в которые мог внести свою долю и я; возможно, мои

попытки быть ему другом и мое себялюбие в равной мере надорвали то, на чем он держался. Могу сказать лишь одно: через пятнадцать, двадцать или двадцать пять дней безумие миновало.

Лежа нагишом у перил, он очнулся в пятый раз за четверть часа — или за пять часов.

Рядом разговаривали трое мужчин. Один бритоголовый, с нарисованными вокруг глаз крыльями и драгоценными камнями в ушах. Другой длиннопалый, в холщовой тунике, похожий на писца. Третий был коренастый мастеровой с запыленными руками и ногами — на поясе у него висел молот, как у солдата меч.

«Помните, как Ванар ходил сюда за мальчиками?» — говорил бритый.

«Как же, — отвечал мастеровой, — я его часто видел, и говорили о нем постоянно. Но меня он ни разу не брал, не знаю уж почему».

«Вот какие ему были по вкусу, — указал бритоголовый на юношу у перил. — Чем грязней и безумней, тем для него желанней. Как забредет такой на мост, Ванар тут же его и подцепит».

«Неправда твоя, — возразил мастеровой. — Он высматривал желтоголовых варваров, что толкутся у рынка. — У него самого голова была вымазана чем-то черным вроде болотной

грязи. — Такого бедолагу, как этот, он мог напоить-накормить, от дождя укрыть где-нибудь — я сам видел, — но для утех брал только желтоволосых южан».

«Я раз видел, как он уводит пухлую такую горяночку, — сказал писец с варварским почему-то акцентом. (Мой безумец следил за ними, не поднимая головы.) — Хороший был человек Ванар, хоть и нравный. Думаю, таким и был его настоящий вкус. Бывало, он и мальчиков забирал — но, может, просто чтоб поговорить с ними или помочь. Все о нем хорошо отзываются. Грустно это, знаю, но он не пользовался бы такой репутацией, если б девушек не любил. А их здесь куда больше, чем мальчиков».

«Нет-нет, дорогие мои, — заспорил бритоголовый. — Вы сюда в те дни только захаживали, я помню, а я постоянно здесь находился и в гильдии состоял. Насмотрелся на эту заросшую канаву больше любого из вас и знаю, зачем он ходил на мост».

«Забавно было смотреть, как он тут разгуливает, — хмыкнул мастеровой. — Я знал, конечно, что он богат, но как узнал, что он граф, чуть без памяти не упал».

«Граф, говоришь? Наследным сюзереном он

был, вот кем! Ты, должно быть, слышал, как его кличут графиней. И таскалась сюда эта графиня, словно ее дома в Неверионе никто не ждал».

«Ну, — вставил писец, — если ты богат, как господин Ванар, кое о чем можно не беспокоиться».

«Этот мост всякое повидал. — Лысый потрогал уши пальцами в перстнях. — В том числе и такое, о чем лучше не говорить. Помните, как…»

Они отошли прочь, и тут безумец понял, что все это время слышал только их троих. Он знать не знал, кто такой Ванар, и не узнал никогда, но ты, я вижу, улыбаешься. Возможно, они и впрямь говорили о Ванаре, однако есть немало других, побудивших бы тебя улыбнуться. Он слышал их и понял, о чем они говорят. Вокруг было тихо, не считая тарахтящей, запряженной ослом тележки. Великая тайна, которую он так жаждал узнать, уже прозвучала.

Оказалось, что это обыкновенная банальность наподобие «ты — это ты, и более ничего». Впрочем, не совсем так. Когда он после пытался передать ее мне, то так и не вспомнил, что слышал — хотя, похоже, для того и рассказывал, чтобы вспомнить. Истина была куда проще — такая простая, что, раз услышав, сразу забываешь ее и больше о ней не думаешь.

Но голоса, изрекши ее, умолкли.

Костяшки его пальцев почернели от грязи, ладони были немногим чище — их линии походили на проведенные чернилами знаки.

Щека на ощупь казалась не менее грязной. На голени и щиколотке обнаружились ссадины — он смутно помнил, что кто-то его оттолкнул, и он ободрал ногу о тележное колесо.

Он поднялся на ноги. Болело все от плеч до колен, из носа текло в усы. Прихрамывая, он дошел до конца моста и двинулся дальше, на рынок.

4

Встречные старались на него не смотреть, но пялились, отойдя подальше. До какого же скотского состояния он дошел, о безымянные боги? При этой мысли он ухмыльнулся и пошел дальше, к фонтану.

Вода там струится в чашу из естественной трещины в скале, да ты и сам это знаешь — сколько раз останавливался попить, идучи с нашего представления.

Там уже собралась очередь из пяти человек. Стоявшая впереди молодая женщина с зеленой повязкой на неровно подстриженных волосах,

взглянув на него, придвинулась вплотную к чистильщику сточных канав перед ней. Вставший сзади продавец фиг с почти пустой корзиной на шее отошел назад.

Мой друг зажмурился, перевел дух и снова заулыбался. Женщина, поспешно напившись, ушла. Он опустил руки в родниковую воду и сразу покрылся мурашками, как ощипанный цыпленок, но храбро помыл лицо, подмышки, руки до локтей, шею, грудь и приступил к тому, что пониже пояса.

Грязная вода стекала на кирпичи.

Продавец фиг, две женщины и мужчина терпеливо ждали, когда он закончит, но метельщик со своим орудием на плече выругался и ушел прочь между двумя рядами. В левом продавали садовый инструмент и пряности, в правом посуду и мед.

Под конец мой приятель прислонился к чаше и, поднимая ноги поочередно, вычистил грязь между пальцами. Продавец фиг сдался и тоже ушел, женщина посмелее подошла напиться. Ее суровый взгляд заставил парня погодить с омовением. Под ногами у него, где кирпич протерся до природного серо-зеленого камня, собралась целая лужа. После купания он дважды обежал вокруг рынка, оттопырив локти, чтобы просушить бока

и подмышки, и снова вышел на мост.

Его окликнули двое знакомых ребят. Он помахал им. Его вдруг охватило чувство причастности к этому месту, к каменной жиле, где толчется весь город, чье эхо прокатывается от гавани до Высокого Двора.

«Эй!» — крикнул торговец зерном, часто водивший его в свою житницу, где закатные лучи падали на солому сквозь дыры в крыше.

Он обернулся, с улыбкой подошел к старику, глядевшему на него как-то странно, положил руку ему на плечо, прикрытое бурой тканью.

«Ты ведь еще здесь побудешь? Я мигом, отче, дождись меня…»

«Уж и не знаю, — ответил тот. — Что это с тобой творилось на прошлой неделе? Я тебя видел… ну, может, и не тебя…»

«Подожди меня, отче! Я знаю, вид у меня сейчас неважнецкий, но ты дождись. Если дашь мне пару монет — хотя не надо! — (Старик пошел было прочь.) — Просто дождись меня, и мы славно проведем время в твоем амбаре. Я скоро!» — И он припустил в дальний конец моста.

«Куда так спешишь, милок? — спросила худышка с накрашенными глазами, подвязашая груди шарфом. — Не хочешь ли позабавиться?» Она на

него даже и не смотрела.

«Охотно, мой цветик, — ответил он. — Сколько дашь?»

«Тебе? — близоруко прищурилась она. — А ну убирайся. Я не с тобой говорю, а с приличным мужчиной».

«Зря ты так, цветик мой. Я, может, и не сильно приглядный сейчас, но побудешь со мной и внукам будешь рассказывать. Хотя нет… тебе это не по карману».

Женщина, фыркнув, отвернулась и крикнула другому прохожему: «Здравствуй, милок, как дела?»

Парень, довольный собой, побежал дальше.

На Мостовой был двор, где рядом с колодцем стояло несколько ведер. Первую грязь он смыл, но она будто въелась в него, и он сомневался, можно ли ее смыть водой.

Тем не менее он опустил в колодец ведро на веревке, вытащил и опрокинул над головой.

Он уже немного просох, и потому ему показалось, что вода здесь еще холодней, чем в фонтане.

За первым ведром последовало второе и третье. Он остановился на пятом, насквозь промочив бороду и усы. С другой стороны колодца на него

серьезно смотрела, поставив на обод полный кувшин, плотно сбитая девушка в холщовом платье, с россыпью веснушек на руках. Она откинула с лица прядь волос…

«А ну домой! — позвала ее старуха из-за пальмовой занавески соседнего дома. — Нечего бездельничать, работы полно!»

Девушка, держа кувшин на бедре, повернулась и пошла к дому. Чтобы удержать равновесие, она помахивала другой рукой, как чайка крылом.

Женское тело…

Он опрокинул на себя осташихся полведра.

Мужское тело…

Нет, он предпочитает женское. Мужчин у него было много, а женщин мало, но приходится смириться и с этим противоречием. Если через год или через десять лет его предпочтения переменятся, он смирится и с этим — хотя если они не переменились за время, проведенное им на мосту, то вряд ли это случится! Его трясло от легкого ветерка. Рука с россыпью веснушек покачивалась, маня его прочь от колодца, прочь со двора, прочь с моста, прочь из Колхари, на самую границу Невериона. Должна же эта граница где-то существовать? Раньше он не думал об этом, но теперь понял, что когда-нибудь убежит — вдоль

по улице, через мост, по дороге, через лесные дебри; возможности шире, чем видит глаз, они беспредельны.

Побег из Невериона столь же возможен, как его бегство из дома в Колхари, как бегство из безумия в это новое здравие.

Он вернулся на мост.

Торговец уже ушел, не иначе с каким-нибудь варваром, но погода стояла теплая, и клиенты шли косяком.

Три недели спустя (а может, три месяца?) он, лежа на сеновале, где солнце сквозь кровельную прореху светило ему в левый глаз, он сказал купцу, чья седая голова покоилась на его животе:

«Отче, ты ведь можешь мне дать еще что-нибудь?»

«Чего тебе еще?» — сонно откликнулся тот.

«Дай мне работу. — Он с усмешкой взъерошил редкие волосы старика. — Не могу же я всю жизнь торчать на мосту и показывать свое гусиное горлышко мужикам, что охочи для забав не хуже мальчишек где-нибудь за амбаром. Я горазд работать».

«Пить ты горазд, вот что», — засмеялся купец.

«Нет, отче. — Он прищурился от солнца. — Я больше столько не пью. Ты уже месяц меня пья-

ным не видел».

«Здесь у меня нет работы. Есть люди, что возят мой товар в Винелет, но ты для этого не годишься — вдруг тебя кто узнает».

«Я умею править волами — они ведь на волах ездят? И охотно бы поехал на юг».

«Есть, правда, один груз, — сказал купец, поразмыслив. — Зерно, но и еще кое-что, понимаешь? Ехать придется укромными дорогами, где таможенников поменьше».

«Поеду там, где велишь».

«Ты всегда казался мне парнем надежным, притом тебя все будут принимать за простого батрака».

«Так я и есть батрак! Небольшого ума, безобидный, все больше помалкиваю. Этакий дружелюбный олух. Ну что такой может везти, окромя зерна? Пойдем-ка пивка попьем. Я доставлю твой воз с зерном куда и кому ты скажешь».

«Ну что ж, пожалуй. Своих постоянных возчиков я не хочу посылать, у них семьи. Если боги выполнят свою работу, все должно пройти гладко, но кое-какая опасность есть».

Превращение из продажного мальчика в контрабандиста далось моему другу столь же легко, как давались все прочие, поделившие его жизнь

на множество «до» и «после». Работа на мосту, как видно, так его закалила, что предстоящие опасности уже не пугали. Я часто гадал, кто — собрат по ремеслу или один из клиентов — рассказал ему о жизни контрабандистов. Приходило ли ему в голову, что купец выбрал для этой миссии не самого надежного человека, а просто кого не жалко?

Впрочем, не важно. Он благополучно совершил и эту поездку, и еще несколько.

Через некоторое время после нашего возвращения из провинции я увидел его в публике на дневном представлении. Стоя с краю, он хлопал и кричал с таким пылом, будто сознавал свою особую связь с магией, с чудом, с безумством нашего дела. Когда мы начали разбирать подмостки, я поманил его; он с широкой ухмылкой затесался среди нас, еще не снявших грим и костюмы, здоровался то с героиней, то с конюхом, а после пришел ко мне в фургон и рассказал кое-что из того, о чем я уже говорил.

Я принял его рассказ близко к сердцу, ужасаясь его падению и восторгаясь последующими успехами — ни дать ни взять купец, чье дитя приносит отличный отзыв из твоей школы. И к безумию своему, и к удаче он относился с умеренной благо-

дарностью человека, которому посчастливилось. Уверен, что память о необъяснимом безумии все еще пугала его, когда городские шумы внезапно сливались с внутренними голосами, что звучат в каждом из нас. Если он в разговоре со мной не выражал страха, что безумие может вернуться, то потому лишь, что был, в конечном счете, большим храбрецом. Однако мне, хотя я его храбрости нисколько не умаляю, казалось также, что он считает себя персоной чересчур незначительной для нового прихода безумия — главное, пить поменьше. Его радовало, что он теперь горожанин, что он знаком с лицедеем, что лицедей этот приглашает его после спектакля к себе и ему есть о чем рассказать.

Как я сам отнесся ко всему этому?

Самым низким манером. Я прикидывал, не предложить ли ему остаться еще ненадолго… за обычную плату, конечно… и проделать кое-что из того, что мы обычно проделывали. И опасался, что он обидится. Мне думалось, что он пришел на спектакль, и хлопал, и со мной сидел отчасти и потому, что считал меня причастным к своему чудесному преображению.

О своем сумасшествии, в отличие от истории, как испугался нашего бутафорского дракона, он

никогда больше не вспоминал. Но в следующие наши встречи это вспоминалось мне всякий раз, как он рассказывал мне что-то смешное о своем новом противозаконном занятии. Быть может, наши персонажи в ярких одеждах и блестках, распутывающие хитроумные интриги на сцене, освещенной то солнцем, то лампами, казались ему неким подобием его многоголосого помешательства? Не думал ли он, что вся наша труппа постоянно обитает в том хаосе, куда он столь неожиданно впал, и что он своими рукоплесканиями воздает должное *нашей* храбрости? В конце концов, однако, я отбросил эти мысли как вздор, нашептываемый желанием и самым разумным из нас.

Когда он в тот раз ушел, я долго бродил по рынку и по мосту, любопытствуя, не преувеличил ли он своих достижений. Что, если он стоит на своем обычном месте в надежде заработать пару монет? Тогда уж я не буду стесняться. Убедившись наконец, что его здесь нет, я сказал себе, что меня попросту обуяла похоть и я могу утешиться с любым другим юношей.

Тем не менее на веселый ужин за нашим общим столом я вернулся один. Так мы оба совершили переход из любовников в друзья. Но это, клянусь

краем одежды твоей царственной кузины, таинственной владычицы нашей, все, что я могу тебе о нем рассказать.

5

Да, прекрасная мысль. Выйдем из душного фургона и прогуляемся. Только недалеко: мне скоро надо будет вернуться на вечернее представление. Может, останешься?

Да, понимаю: тебя ждут в школе. Удивительно, как это ты выбрался нас посмотреть и со мной побеседовать. Было бы черной неблагодарностью требовать чего-то еще.

Однако, после всех рассказов о другом моем давнем знакомце, хочу спросить: а помнишь ли ты, юноша, как познакомились мы? Не говори только, что тебе уже сорок: я, шестидесятилетний, вправе называть тебя юношей.

Да, я был среди гостей на том празднике, что устроил для тебя дядя в честь твоего возвращения из поездки по нашей загадочной, великолепной стране.

Думаешь, это произошло там? Скажи тогда, как я получил приглашение? В то время я не знал еще никого из вашего круга, кто взял бы меня

с собой.

Ты сам пригласил меня, вот как.

Неужели не помнишь?

Мне, право же, кажется, что боги создали для каждого из нас разный город: мы не только по-разному его видим, но и по-разному помним, что и когда случилось в наших столь разных жизнях.

Было это на узкой улочке неподалеку отсюда — я-то все как сейчас помню. Тут, в третьем от нас переулке, была шорная мастерская, и работала в ней маленькая женщина с жесткими руками и твердым голосом, с глазами как у моей жены, хотя в остальном они совсем не похожи. Смеялась она так, точно была вдвое больше. Заказчики любили ее: работала она на совесть и дело свое вела честно, но жилось ей нелегко. Муж у нее умер, а сын, почти уже взрослый, был дурачком. В хорошую погоду он сидел на лавке у мастерской, пускал слюни — туловище как груша, головенка как боб — и вечно играл с веретеном. Крутил его так и этак, гладил, что-то ему говорил.

Ага, дурачка ты помнишь.

Утром я часто ходил поглядеть на него, на нее, на ее покупателей: возницы, шорники, контрабандисты и дураки в наших спектаклях не

редкость, а я люблю, чтобы моя игра была достоверной. Однажды, когда солнце пекло вовсю, но над морем, как железные опилки, копились тучи, я заметил молодого человека, наблюдавшего за мастерской, как и я. Туника на нем, хоть и простая, была слишком чистой для обитателей здешних мест, а судя по красивому темному личику, опушенному молодой бородкой, ему и двух десятков не минуло.

Всегда стараясь еще и поговорить с теми, за кем наблюдал, я спросил его, что он поделывает этим погожим утром. Не помнишь, что он ответил? Ведь это был ты.

Начинаешь припоминать, говоришь? Могу лишь догадываться, что помнит мой контрабандист о нашем знакомстве, какие слова и образы сохранила, правдиво или ошибочно, его память. Не удивлюсь, если совсем ничего: он тогда был бездомным и от пива не просыхал, но ты-то, друг мой?

«Что ты тут делаешь? — спросил я его в первый раз, как ни странно, но следующий мой вопрос был толковее: — А сколько берешь?» Не стану вдаваться в подробности: запрашивал он много, но уступал охотно.

Ты мне ответил вот что: «Я хочу стать мудрецом

и пару шагов к этому, как говорят, уже сделал. Но порой я опасаюсь, что мои познания целиком зависят от способности долго наблюдать за одним листком, зеленым сверху, сероватым с исподу, с желтыми прожилками и гусеницей на нем. Боюсь, что эта моя способность роднит меня вон с тем существом, пускающим слюни на лавке, и не очень-то много значит, что бы там люди ни говорили».

Ага, проняло! Ты смеешься!

Это самое ты и сказал. Не совсем обычный был юноша.

Твой ответ поразил меня не меньше, чем ответ того другого юнца. Скоро я узнал, что люди уже и тогда были о тебе высокого мнения. Удивительно, что ты с таким смирением к этому относился.

Самолюбие и заносчивость, говоришь ты? Скорее честность и рассудительность — именно это поразило меня тогда. Думаю, твои свободы и твои ограничения просто совпадали с моими интересами и нуждами. Мы довольно долго беседовали. Ты только что вернулся из годичной поездки по Невериону, где осматривал монументы и прочие достопримечательности, прославленные в легендах. А поскольку я бывал в тех самых местах и мог рассказать пару историй, которых ты еще не

слыхал — чему ж удивляться, я сорок лет странствовал по тем землям, что ты объехал за один год, — то ты и принял меня за умного человека. Любопытно тебе было и то, что я лицедей.

Ты сказал мне, что завтра твой дядя устраивает в твою честь праздник. Не хочу ли я прийти? И в тот же вечер, к моему изумлению, твой слуга принес приглашение прямо ко мне в фургон — товарищи мои так и ахнули.

Ты помнишь об этом смутно, но раз я так говорю, то, значит, все так и было? Точно так же обстоит дело с многоголосицей, повредившей разум моего друга-контрабандиста. Свой рассказ о ней я составил из его скупого отчета, из наблюдений за другими безумцами и — что уж скрывать — из собственных заигрываний с безумием.

В итоге получилось воспоминание о том, чего, по крайней мере со мной, никогда не случалось.

Что до самого праздника, где, как ты думал, и состоялось наше знакомство, то его я, в свою очередь, помню смутно. Раз я не представлял там, то, наверно, скучал. Помню, как ты подошел к воротам и вроде не сразу вспомнил, кто я такой, но тут же и улыбнулся. Мы с тобой прохаживались вдвоем и разговаривали, не помню о чем. Ты назвал туда много разношерстных гостей, к

испугу своих родных. Я не слишком смущался, поскольку мне уже доводилось бывать в таких домах и садах, но с любопытством наблюдал, как смущают всех остальных, исключая тебя, собранные тобой чудаки.

Рад, что рассказы о твоей юности все еще тебя забавляют. Я тоже находил тебя забавным — и трогательным. Видел в тебе частицу себя, несмотря на разделяющее нас расстояние.

Встречаясь в толпе гостей, мы возобновляли беседу. Ты хотел, чтобы я выступил на будущих праздниках, и этот замысел потом расцвел пышным цветом. Ты был щедр тогда — и остался таким, я знаю. Не будь этого, встреча с другим юношей на мосту могла и не состояться. Все остальное ты наверняка помнишь. Наша с тобой дружба, в отличие от той, про которую я тебе рассказал, была свободна от любострастных желаний и крепла гораздо дольше, сохранившись и до сего времени.

Ты наверняка помнишь, как мы с тобой ходили по городу и наблюдали уже не за дурачком и посетителями шорницы, а за другими горожанами в разных кварталах.

Я рад, что помнишь.

Должен ты также помнить наш нескончаемый

спор, никогда не покидавший наших мыслей надолго, как не покидает мыслей бедняка лишний грош.

Ты утверждал, что повадки и манеры других людей, собранные мной в поездках, чтобы убедительнее играть, ничего на самом деле не стоят: мои грузчики, графы, возчики и воришки на сцене выражаются так изысканно, как в жизни не стал бы говорить ни один граф или вор. А если бы и стал, то лишь подражая нам, лицедеям. Тут ты, конечно, был прав: я очень убедительно играл полоумных, но оба мы знали, что бедолага, сидящий у шорной мастерской, неспособен нести бред, так потешающий моих зрителей, как бы мастерски я ни пускал слюни и ни крутил в руках веретенце.

Сходным образом ты мог бы сказать, что я вложил в уста молодого человека, о котором тебе рассказывал, чьи-то чужие речи; как бы искусно ни воспроизводил я его слова, твоя проницательность наверняка подсказала тебе, что он попросту не мог говорить так. Даже если бы он сам, слушая мой рассказ, узнавал бы себя и хлопал в ладоши.

Ты говорил в ту пору, что я как будто представляю на сцене не живых людей, а безымянных богов, по чьему образу все мы сотворены; что

присвоенные им человеческие имена для них оскорбительны.

А я возражал на это, что те же повадки и манеры, собранные тобой, ничего не стоят, пока твои рабы и хозяева, рабочие и бродяги молчат; пока они не выскажут вслух свои или даже твои тайные страхи и желания, пока ты не придашь их речам важный для тебя смысл, ты ничего о них не узнаешь. Молчание ни о чем не говорит ни богам, ни их грешным созданиям, какими бы именами ни называть тех и других.

Это ты помнишь?

Что ж, хорошо, что ты хоть с чем-то согласен.

Однако за время, прошедшее между теми нашими спорами и твоим нынешним посещением, я придумал ответ намного лучше того. Да, я вкладываю в уста своих персонажей собственные слова и мысли. Но говорят они не за кого-то другого, а обращаются к кому-то другому во мне, в тебе, в моем друге-контрабандисте — разве что он вдруг взбеленится и вместо обычных рукоплесканий освищет меня за нелепые выдумки о его жизни. Они ведут разговор с действительной жизнью, спорят с ней, возражают ей. Окликают человека на мосту, чье безумие и желание, постоянно меняясь местами, создают в них самих

местность столь же опасную, как на всякой спорной границе. Любой монолог на сцене следует толковать как многоголосый спор лицедея с жизнью и ее образами — как борьбу между связной речью и всем остальным, борьбу с желанием, никогда не осуществляющимся полностью, но вечно манящим.

Да, понимаю, тебе пора.

Я слишком долго испытывал твое терпение во имя нашей дружбы и наших прежних речей. И вторгся, как теперь вижу, в области, принадлежащие только тебе. Но ты же знаешь, как болтливы старики, даже не такие уж дряхлые. Мне и самому пора, не то я опоздаю к началу спектакля.

Что-что?

Хочешь снова прислать своих школяров посмотреть нас, как прошлой весной? Ты слишком добр к стареющему комедианту! Говоришь, для них это великое удовольствие? Полно тебе.

Но я, повторю еще раз, знаю тебя давно, и ты уже не раз это делал, так что удивляться тут нечему. А вот я тебя удивлю. Мы готовим новый спектакль — его ставлю я. Он будет уже готов, когда придут твои ученики. Они увидят на сцене таких же школяров, дураков, лицедеев, трактирных служанок, дельцов, учителей, торговцев, шорников,

мужних жен, философов, гуляк, шлюх, принцесс. Все они строят козни друг против друга, поют, танцуют — то в твоей школе, то на Старом Рынке. Будь уверен, что у нас на подмостках они скажут друг другу больше, чем когда-либо в жизни. Знал бы ты, как внимательно я наблюдал за всем этим людом. Они проявят небывалое красноречие и покажут, кто чего стоит. Ты понятия не имеешь, какие чудеса там будут оглашены! Действие, думаю, будет вертеться вокруг похищения некой бесценной магической вещи. Нам известно, кого наняли, чтобы перевезти ее в телеге с зерном, но кто же похититель?

Вот в чем тайна!

Этого я еще не придумал, но все мои зрители, даже ты — посмей только отрицать, — порадуются, когда тайна будет раскрыта, герой вознагражден, злодей наказан кнутом…

Спрашиваешь, как нам вернуться к мосту?

Есть путь короче, вдоль речки. Тебе туда, а мне сюда, обратно на рынок. Ты уж прости, но я спрошу: неужто рассказанная мной история так на тебя повлияла? Старому развратнику вроде меня приятно думать, что молодой человек столь высоких мыслей хочет найти на мосту веселую деваху только что из деревни или сурового парня

с гор…

Но ты хмуришься. Прости, молодой господин, я не хотел… это всего лишь шутка! Мы ведь старые друзья… но я вижу, что перешел некую черту, ничуть не желая тебя обидеть.

Разве тогда, в провинции, я присвоил себе твое благородное имя? А ведь искушение велико было. Одни безымянные боги знают, который из твоих голосов я сейчас использовал, чтобы подшутить над твоим безупречным образом жизни!

Как я мог помыслить, что после сегодняшнего спектакля ты захочешь перенять мои низкие обыкновения, порожденные дурным воспитанием и беспутной жизнью на задворках приличного общества, в дальних провинциях и городских трущобах?

Прошу тебя, не обижайся на шутку старого лицедея!

Я хотел лишь сказать, что по пути со Шпоры в Саллезе всем приходится пересечь дорожку безумия.

Нью-ЙоркФевраль 1984

Повесть о чуме и карнавалах или неформальные заметки о модульном исчислении, Ч. 5

Наш век – это еще и век аллегорий…

Аллен Мандельбаум Предисловие к «Аду» Данте

«Если ты веришь в это, – сказал наставник, – то можешь поверить во что угодно. Все было совсем не так…»

Джоанна Расс Экстра(ординарные) люди

Равносильно ли это признанию, что место мастера пустует не столько в результате его кончины, сколько вследствие нарастающего отрицания его трудов? Чтобы убедиться в этом, надо всего лишь удостовериться, что происходит на освобожденном им месте.

Жак Лакан Функция языка в психоанализе

1. На — й улице, сразу за Девятой авеню, через железнодорожные пути перекинут мост. На ма-

шине вы можете и не заметить, что через него переехали. По бокам у него бетонный парапет чуть выше пояса. На нем можно сидеть или прислоняться к нему, опершись локтями.

Тротуаров на мосту практически нет, покрытие выщерблено. Парапет потрескался, арматура кое-где обнажилась, ржавчина запятнала галечную облицовку. Не будь этой детали, относящейся к двадцатому веку, мост вполне мог бы сойти за доисторическое сооружение.

За последние полдюжины лет я часто переходил его как днем, так и ночью и ни разу там не видел ни единой живой души.

Ширина у него подходящая, но длину надо удвоить.

Затем по нему следует пустить пешеходов, которых мы видим на пересечении Восьмой авеню и улицы, которую мой друг-музыкант называет «Сорок придурошной»: продавцов валиума и косяков, проституток обоего пола, людей самых разнообразных занятий. Помещаем на одном конце итальянский рынок, который мы с Тедом видели в Аквиле, на другом любой деловой район Ист-Сайда, и вот вам Мост Утраченных Желаний.

Как раз под ним в знойную июльскую ночь Джои унюхал в одной из куч мусора первый

труп.

2.1. Старуха погрузила руки в миску. Дрожжевое тесто тянулось и липло к стенкам. За окном горничная выбивала ковер, заглушая мерными ударами птичий щебет.

Ларла, новая кухонная девушка, вбежала, вытирая руки о тряпку. Над очагом на медном противне остывали золотистые утренние булочки.

— Отнести их господину Ванару?

— Не станет он их есть, — сказала старуха. — Захвати воду, а молока не давай, у него понос. Принесешь, только если он будет настаивать.

Булочки уплыли вверх по лестнице, и старуха опять принялась месить.

2.2. Болезни не должны становиться социальными метафорами, пишет Зонтаг в своей работе «Болезнь как метафора». Ее анализ социальных моделей рака уже цитировался при обсуждении СПИДа. Подобные метафоры, как правило, толкуют буквально, что порождает множество ложных понятий и прямых суеверий (часто утверждающих в общественном сознании сами метафоры), и здоровое отношение к болезни становится невозможным как психологически (с точки зре-

ния больных), так и социально (с точки зрения окружающих).

Болезнь. *Dis-ease.* Плохое самочувствие.

Здоровье. Английское *Health* происходит от старогерманского *heilida* — «цельный».

Метафоры борются и при этом приспосабливаются друг к другу.

Может ли цельный человек плохо себя чувствовать?

Ответ «да» будет совершенно правильным с точки зрения современной медицины.

Теперь поставим вопрос по-другому: может ли цельный человек быть больным?

Сказать «да» значило бы ответить сразу на два почти противоположных вопроса. То, что вопрос можно деконструировать таким образом, показывает, как плохо мы себя чувствуем по отношению ко всему, что можно определить как болезнь.

2.3. Мастер, навестив Топлина в школьном госпитале, сидел в своем кабинете на нижнем этаже школы и смотрел, как падают сквозь ставни косые вечерние лучи. «Делать нечего, — думал он, поглаживая подлокотник кресла. — Мальчика придется вернуть домой».

Слишком это прилипчиво.

Жаль. Способный мальчик, хотя и не всегда

примерного поведения, к тому же атлет. Дружит и со школярами, Кветти и Бозаром, и с учителями, Кентоном и Гизником. Приветлив с двумя застенчивыми девочками, только что приехавшими из Авилы — Ларни и Калле.

Мог бы пойти далеко, научившись обуздывать свой неукротимый дух.

Но теперь он лежит в лихорадке, с опухолями на шее, в паху и подмышках. Мастер знал, что такие признаки ведут к смерти.

Такой красивый мальчик…

В прошлом семестре случилась неприятная вещь.

Один сказал другому, другой третьему, третий шепнул Мастеру, что Топлин торгует собой. Мастер не был ханжой. Он знал, как влечет подростков к любовным играм, и даже находил это влечение здоровым, если оно не заходит чересчур далеко. Но подобных слухов в школе он не мог допустить.

Когда он вызвал Топлина и сказал, по возможности деликатно, в чем его обвиняют, мальчик смешался и начал все отрицать — однако самое его замешательство изобличало не только смущение, но и вину.

«Если тебе нужны деньги, поговори с мате-

рью, — сказал в конце концов Мастер. — Она женщина разумная и не откажет тебе. Но мы не можем позволить, чтобы наши ученики бегали по Мосту Утраченных Желаний, как темные варвары, и делали то, на что не всякий варвар способен».

При этих словах в мальчике произошла перемена. Он овладел собой и воскликнул: «Зачем бы я пошел на мост, если бы вздумал продаться? Во-первых, я собой не торгую, а во-вторых — не знаете разве, что в этом распутном городе для таких дел есть и другие места?»

Мастер, не ожидавший столь дерзкого ответа, счел за лучшее пропустить его мимо ушей. Размышляя об этом позже, он бормотал «гордый дух», тогда же сказал: «Это всего лишь сплетня, Топ, и путать ее с правдой негоже — это унизило бы и тебя, и меня. Но чтоб я больше ничего такого не слышал, иначе у тебя будут крупные неприятности».

«Не услышите», — заявил Топлин.

На том всё и кончилось.

С лужайки долетали голоса и смех школяров. Мастер размышлял о магии, болезнях и власти.

2.4. СПИД, строго говоря, не инфекция, поскольку вызывают его не бактерии и не вирус. На

данный момент (23 февраля 1984) он является загадочной *неспособностью бороться с инфекцией*. Он связан с сексом — «извращенным» сексом, и с кровью — препаратами крови, как выражаются медики. Организм внезапно перестает быть целостным и не желает излечиваться. Это состояние жаждет метафор для определения своей неустойчивости, своего упорного нездоровья, своей концептуальной турбулентности.

2.5. Прошлым летом, когда у одного пожилого бомжа заподозрили СПИД (он потерял около сорока фунтов за месяц) и проститутки с наркодилерами совместными усилиями поместили его в больницу, Джои сказал мне в «Фиесте»: «СПИД — это когда организм не поддается лечению и даже порез или простуда могут тебя убить...?» Вопросительный знак — слишком сильное обозначение для его легчайшей вопросительной интонации, однако он все же ждал моего подтверждения.

Как бы это объяснить... Вопрос относился к тому, что нас объединяло, а не к отсутствию сколько-нибудь положительного ответа.

Это отсутствие когда-нибудь заполнят метафоры — его, мои, еще чьи-то.

Потом выяснилось, что у бездомного не СПИД, а рак легких.

3. Главное, возможно, найти наилучшую метафору и с ее помощью стабилизировать мысли, образы и схемы, которые *в конечном счете* будут полезны — самим больным, тем, кому они дороги, даже тем, кто только слышал о них. Само собой разумеется, что вещи, полезные в конечном счете, не обязательно полезны сейчас. То, что полезно в конечном счете, как раз и выводит в осадок сиюминутные стратегии, поспешные символы, клише, легкие ответы всякого рода.

3.1. Сравним СПИД с цветком, озаренным солнцем, манящим и восхищающим всякое наделенное чувствами существо. Я сам говорил еще недавно: «СПИД следует рассматривать скорее как средство расширить сознание, чем как болезнь». «Брехня, — отвечает больной СПИДом. — Общение, дружеская поддержка, то, что тебе открылось, — все это, может, и расширяет то, что мы *знаем* о СПИДе, но сам СПИД — это капец. Дорогостоящий, болезненный, смертельный капец».

Сравним СПИД с бичом сатаны, Гневом Хана, самым ужасным, что может случиться не только с жалким гомиком, который это сполна заслужил, но и со всей распущенной, аморальной, обреченной нацией, которая, при всем своем

упадке, этого *пока еще* не заслуживает! (В скольких радиопередачах я это слышал?) Затем оратор переводит дух и продолжает по возможности ровным голосом: «Но зачем же сравнивать, если это неправда?»

Вот почему метафоры на шкале от одного сравнения до другого никуда не годятся. Нужна метафора или система метафор, где присутствует как сдержанность, так и некоторая сложность.

СПИД — это вилка включения социальной машины, деталями которой являемся мы все: и больные СПИДом, и нет, и автор метафоры.

Шаг в правильном направлении? Это верно, только если вы готовы пройти много дальше.

Это сравнение раскритиковать потруднее, но тоже возможно: детали у машин могут быть как основными, так и вспомогательными, как центральными, так и периферийными, как работающими, так и сломанными, как годными, так и негодными. А детали упомянутой выше машины — это просто метафоры, расположенные по старой шкале; сложность сравнения с машиной лишь маскирует его структуралистскую простоту. Мне только интересно — и я готов принять в качестве ответа как «да», так и «нет»: есть ли во всем этом хоть что-то, могущее помочь нам

осмыслить то, что уже окрестили «чумой гомосексуалов»?

3.2. Новая болезнь СПИД понемногу просачивается в крупные города. Кое-кто видит в этом метафору разврата, коррупции, разложения, характерных для больших городов в целом. (В конце концов, «метафора» — перенос значения, влекущий за собой дополнительный смысл — есть такая же метафора, как и «болезнь».) Но что еще интереснее более заинтересованным гражданам, так это стратегии, используемые людьми, чтобы не думать об этой болезни. Связь между фактами заболевания и этими стратегиями — как многие заметили, а кое-кто и сказал — отнюдь не метафорична.

4. Она бежала между прилавками с кожами и тканями, между перемежаемыми солнцем навесами; новость распирала ее изнутри, крики торговцев оглушали снаружи. Набегающие друга на друга слова дрожали на языке и ждали, чтобы их огласили.

Увидев ее первым, он схватил ее за плечи и повернул к себе.

— Нари! — Он не хотел сделать ей больно и усмехался во всю свою варварскую физиономию

поверх каштановой бороды.

— Садук, он опасно болен! — выпалила она. — Я не знала… мы не знали…

Усмешка пропала с лица Садука.

— Кто, Ферон?

— Да, ты еще утром про него спрашивал. Мы его не видели всю неделю, а в последний раз он говорил, что очень устал, и вид у него был просто ужасный… Когда ты утром ушел, я заглянула к нему в мастерскую — там закрыто, и сосед-лавочник говорит, что на Полумесяце его уже несколько дней не видать. Я к нему домой, а он не открывает!

Растерянность Садука сменилась чем-то средним между огорчением, гневом и страхом.

Он снял с плеч Нари сперва одну руку, потом другую.

— Он исхудал вдвое после нашей последней встречи! Суставы и шея опухли, на ноге и на боку страшные язвы, глаза слезятся. Руки держит кверху из-за боли в подмышках!

— Но что…

Нари смотрела куда-то вбок, Садук посмотрел туда же.

Двух прохожих, идущих под руку, привлекла горячность, с какой она говорила. У старшего

была выбрита голова, накрашенные глаза обоих делали еще заметнее светлые ресницы и серые глаза младшего. Когда они прошли мимо, Нари взглянула на Садука, зная, что ему вспомнилось то же самое. Вспомнилось, как Ферон, с теми же крыльями вокруг глаз, с кувшином сидра на пальце и уже слегка под хмельком, приходил к ним после работы в красильне.

«Что ж ты так по улице ходишь! — укорял его Садук. — Тебя примут за шлюху с Моста Утраченных Желаний!», а Ферон принимал удивленный вид и говорил: «Да я к нему и близко не подхожу! Мало ли в городе других мест!» Потом он показывал Нари какую-нибудь яркую ткань с вплетенными в нее металлическими нитями, а Садук сандаловым ножом извлекал из кувшина пробку.

Она заранее качала головой, предвосхищая ответ на вопрос Садука, но он все же спросил:

— Что с ним такое?

— Островитянка, что живет по соседству, носила ему воду и помогала мыться — я ее встретила, когда уходила… — Нари, очень стараясь говорить потише, изъяснялась теперь не шепотом даже, а жестами — Садук с трудом улавливал смысл по движению ее губ: — *Она говорит, что это чума!*

Говорит, что уже видела… что уже видела это на островах, в детстве. Это убило множество…

— Нари!

Вокруг них, сверкая и переливаясь, будто лоскут, что крутил над головой Ферон в комнате Садука и Нари, раскинулся Новый Рынок. На востоке спускались к морю ряды недавно построенных складов; на юге, в немощеных улочках вроде Гончарного ряда и Рыбачьего ряда располагались мастерские ремесленников; на западе лежал ее величества городской сад, где матери гуляют с детьми, а школяры учат свои уроки, где Нари часто рассказывала разные истории Садуку, а иногда и Ферону, прогуливаясь с ними вечерней порой; на западе деловой квартал, Черный проспект и анклавы разных народностей; там никогда не затихает движение, и тянется эта часть города от Шпоры с ее зловонием и плачем маленьких варварят до обсаженных пальмами улиц Саллезе и Неверионы, где темнокожие, в темных одеждах аристократы и богатые купцы прохаживаются у фонтанов и водопадов за стенами своих усадеб.

4.1. Двадцатитрехлетняя Нари родилась в Адами, в осеннем месяце барсука. Родители перебрались в Колхари, когда ей было два года, через

пару лет после восшествия на престол малютки-императрицы Инельго. Она была единственным ребенком, что довольно редко случалось в той стране и в то время. В семнадцать, когда Нари, как сказали бы в другую эпоху, стала «интересоваться сексом», ей страстно хотелось сына (контроля над рождаемостью тогда не существовало). Дочь, порой сама себе удивляясь, она решительно не хотела. Ее заветным тайным желанием был желтоволосый мальчуган-варваренок — вещь почти невозможная, ибо сама она была коричневая, с густой черной гривой, и ей часто говорили, что ее можно принять за девицу знатного рода.

«Если рожу девочку, — как-то сказала она подруге (ее сверстницы рожали как мальчиков, так и девочек почем зря), — то и жить-то не стану! — Подруга только посмеялась, но Нари, пораженная силой собственных чувств, продолжала: — Отдам ее другой женщине и покончу с собой…» Хотя зачем это делать, если нежеланный ребенок уже пристроен и можно попытаться еще раз?

Лучшей ее подругой была девушка постарше, варварка Мьесе, уже имевшая трех сыновей от разных мужчин и ожидавшая четвертого ребенка от желтоволосого бездельника, надеясь, что будет девочка. На паях с двумя другими хозяевами она

владела третью «Кракена» в Чаячьем переулке, где делала всю работу — Нари, видя это, иногда ей помогала на кухне.

Однажды вечером, когда дождь лупил по крыше таверны и обе подружки сидели по обе стороны стойки с кружками пива, лениво вытирая и перекладывая слева направо вымытую посуду, Нари взяла с Мьесе слово: если ее новое дитя будет мальчиком, а Нари в этом году родит девочку, они поменяются.

Назавтра Нари показалось, что Мьесе начисто забыла про их уговор — или притворяется, что забыла. Ей это досаждало.

Она переспала уже с несколькими варварами, но все никак не беременела.

В девятнадцать Нари встретила Садука, в двадцать они стали жить вместе. Родители с горя, а Мьесе искренне сказали ей, что этот парень им по душе. Он был уж точно лучше ее прежних варваров — Тарига, Кудьюка и Бедога. Намного больше походил на настоящего, по мнению Нари, варвара и пользовался своей внешностью куда меньше, чем следовало ожидать в ту эпоху.

Нари начинала задумываться, уж не бесплодна ли она, но не говорила об этом ни с кем, даже с Мьесе.

После года совместной жизни это и Садук заподозрил. Они поговорили, и он, чему Нари не слишком удивилась, сказал, что не так уж это и страшно.

«Знаешь, — говорила она, уткнувшись ему в подмышку в комнате, освещенной луной, — я всегда думала, что хочу сынка с желтыми волосами. Думала, что при такой жизни у меня все равно будет ребенок, хочу я того или нет, так пусть уж такой. — Ферон, навестив их, уже ушел, им было хорошо вместе. — На самом-то деле я детей не хочу, ни сынков, ни дочек. Они миленькие, когда с ними возиться не надо, но младшее чадо Мьесе, которое я хотела обменять на свое, просто с ума меня сводит, а он самый хорошенький варваренок на свете — кроме тебя, конечно!»

Садук хмыкнул ей в волосы.

«Я потому и бросила там работать, чтоб не нянчиться с ним».

Нари иногда работала прачкой вместе с варварками на Шпоре; теперь у нее была своя прачечная, и двое ребят, мальчик с девочкой, забирали белье в стирку в самом Саллезе и разносили выстиранное. Они целиком обстирывали одну из школ в том квартале, и дела шли весьма успешно.

4.1.1. Если бы ортодоксальный фрейдист сере-

дины двадцатого века рассказал Нари о «зависти к пенису» (что объяснило бы ее желание иметь непременно сына) или о «сублимации» (что объяснило бы ее успехи в работе), Нари, примитивное дитя своего суеверного времени, это наверняка бы заинтриговало и показалось правдоподобным.

Эти басни и тогда уже были в ходу, особенно среди варваров.

4.2. Двадцатипятилетний Садук был средним из трех братьев. Кудьюк, на два года старше его (не тот воришка, с которым одно время встречалась Нари), уже шесть лет как ушел из Колхари и, скорее всего, плохо кончил; в семье о нем почти не упоминали. Намук, на год моложе, жил на Шпоре, перебивался с одной черной работы на другую и пару раз попадал в беду, но его это не слишком заботило. Все трое родились в Колхари, Садук — в месяц щегла. Отец был варваром с юга, мать, наполовину варварка, сама родилась в столице.

Оба жили в Колхари еще до воцарения малютки-императрицы и испытывали весьма смешанные чувства по поводу недавнего притока южан.

Садук шил на Новом Рынке сандалии, и в прошлом году ему посчастливилось: его обувь

пришлась по вкусу саллезским школярам. Как-то вечером, отвозя в школу выстиранное Нари белье (ей не хватало разносчиков), он увидел во дворе школяра, обутого не просто в подошвы с ремешками, а во что-то вроде кожаных мешочков, какие носят каменных дел мастера.

«Можешь сшить такие?» — спросил его другой парень, знавший его как башмачника. «А то, — ухмыльнулся Садук. — Приходи ко мне на Новый Рынок, в кожевенный ряд». Наутро он, придя пораньше, изготовил сразу две пары такой обувки: кожи на нее уходило больше, зато не приходилось возиться с переплетениями и пряжками, необходимыми для модных сандалий.

Топлин прибежал к нему, как только открылся рынок.

За следующие три месяца Садук продал школярам больше ста пар таких башмаков. Раньше он работал на хозяина, который по старости редко появлялся на рынке, теперь завел свой ларек и нанял еще трех работников.

В мастерской Садука школярам не приходилось сталкиваться с насмешками, а то и с открытой враждой в отличие от других мест, где делали рабочую обувь.

4.2.1. Садук сильно обижался на родителей за

то, что они назвали его и братьев самыми расхожими варварскими именами. Варваров, которых представляли лицедеи на рынках, всегда звали Кудьюк или Садук, а лет в шестнадцать он увидел на сцене сразу трех братьев-варваров — Кудьюка, Садука и Намука, парней здоровенных и до того глупых, что они даже эти имена не могли толком выговорить и пошучивали насчет несуществующего четвертого братца, Юк-Юка. Вся прочая публика хохотала и хлопала, но Садук смотрел на них, стиснув губы и сжав потные кулаки. Всякий раз, как его называли Кудьюком, он мог лишь гадать, путают они его с братом или всех варваров так зовут.

Тогда же, в шестнадцать, он попытался поменять имя на что-нибудь приличное и сказал, что теперь будет зваться Фероном. Что тут началось! Его высмеивали все — и варвары, и темнокожие горожане. Все сразу понимали, зачем он так поступил, и издевались немилосердно. Пришлось ему отказаться от этой затеи. Ну что ж, Садук — хорошее варварское имя, и Нари, когда он на него жаловался, говорила, что не хотела бы звать его как-то иначе.

4.2.2. Прожив вместе полгода, Садук и Нари повстречали юношу, которого звали как раз

Фероном. Разговорившись со смуглым зеленоглазым парнем, пришедшим на рынок с рулонами своих тканей, Нари привела его к ларьку Садука, и какая-то женщина, купив пару сандалий, пожелала купить и отрез Ферона на шарф. А захотите его постирать, госпожа, сказали они со смехом, приходите вот к ней…

Они и сами дивились тому, как скоро стали друзьями.

Садук никогда не говорил ни ему, ни Нари, как девять лет назад пытался поменять имя — ведь друга ближе Ферона у него в Колхари не было.

4.2.3. Если бы тот же ортодоксальный фрейдист рассказал Садуку о «подавленной гомосексуальности» как движущей силе цивилизации (я лично нахожу эту теорию ложной), Садука, примитивное дитя своего суеверного времени, это бы наверняка заинтриговало и показалось правдоподобным.

Такие басни ходили уже и тогда, особенно в высших кругах Колхари.

4.3. Откуда же он взялся, Ферон, со своим красивым северным именем?

Его ткацкая и красильная мастерская помещалась недалеко от Нового Рынка. Он со своими

подмастерьями, которые часто менялись, работал больше и Садука и Нари, покупатели у него были немного повыше рангом, но зарабатывал он чуть меньше, чем прачка и башмачник вместе.

Отец его работал на строительстве Нового Рынка (завершенного пять лет назад после трех лет работы), а Ферон носил ему на стройку обед.

Глядя на землекопов и тачечников, мальчуган часто думал: «Этого я не сумел бы, разве что ведра бы для них выносил».

Мать, зачаровывавшая его своими песнями, шутками, эксцентричными взглядами и бьющей ключом энергией, заболела и умерла, когда ему было четырнадцать. Он сильно по ней скучал, но…

Его отношения с отцом стали намного лучше. Раньше родители вечно из-за него спорили, но когда Ферон сам стал хозяйничать, как будто был не сыном, а дочкой (они с отцом все время шутили на этот счет), отец и сын, можно сказать, сдружились. Однажды, припоминая родительские ссоры, Ферон понял вдруг, что укоряли они не его, а друг друга — каждый полагал, что другой плохо сына воспитывает.

Теперь, когда матери не стало, споры, хоть это и нечестно, утихли сами собой.

4.3.1. Если бы фрейдист рассказал Ферону о «зависти к пенису» и «сублимации», тот скорее всего ответил бы так: «Ну да, я им тоже завидую — а у меня ведь свой есть, и не сказать чтобы маленький. А сублимировать мне незачем, видят боги».

Если же фрейдист изложил бы ему теорию подавленной гомосексуальности как движущей силы цивилизации, то скорее всего услышал бы следующее: «А с чего ты взял, что я ее подавляю?»

4.3.2. Есть в Фероне нечто незавершенное (а поскольку существует он только на словах, можете быть уверены, что незавершил его я — и, значит, должен заполнить пробелы).

Но тут возникает вопрос, где искать материал. В прошлом? В будущем? На берегу, захлестываемом прибоем воображения? В горячих песках интеллекта? В эфемерной конструкции «здесь и сейчас», исчезающей мгновенно и тем не менее создающей историю?

4.4. Выйдя из дверей, Мастер прищурился от яркого солнца. Щурился ли он так, когда был моложе? И не странно ли, что глаза от яркого света закрываются сами собой, а уши от шума — нет?

Школяры, перекидываясь мячом на лужайке, вопили вовсю.

Мастер жмурился, улыбаясь. Он всегда улыбался в присутствии своих школяров.

Топлин сейчас бегал бы в самой гуще играющих…

Можно ли услышать, что его с ними нет? Трое ребят пробежали слева от Мастера, один справа. Он, уверявший, что различает всех учеников по шагам, даже стоя за углом, никого из них, к своей радости, не узнал. Но тут, словно в ответ на эту радость, пришло…

Ничто. Отсутствие. Пустота внутри. Чем бы ее заполнить?

Работой? Страхом заболеть? Полетом мысли? Тревогой за Топлина, чья разгневанная мать час назад забрала его в свой дом с претензией на роскошь в не слишком роскошном квартале?

Отсутствие не входило в круг его знаний. Мастер открыл глаза и тихо прошел среди молодежи, что резвилась в свете — конечно же — его мудрости.

4.4.1. Если бы любой теоретик середины двадцатого века ознакомил Мастера с теориями «подсознания», «переноса», «подавления» или «детской сексуальности» (эти теории я нахожу в принципе верными), Мастер, скорее всего, не отнесся бы к ним серьезно, хотя подобные басни

в то время уже ходили.

У Мастера слишком много своих теорий, тщательно разработанных; он надеется даже, что они заинтересуют людей грядущих времен, как бы туманно (или мощно?) он ни представлял себе это грядущее. Однако и он есть примитивное дитя своего суеверного времени, и — несмотря на его удивительно тонкую интуицию, — те самые теории, что пытаются разрешить самые сложные задачи его времени, становятся непонятными уже в следующем поколении, не говоря уж о грядущих тысячелетиях.

4.5. Безымянная старая кухарка — трещины на ее лбу и щеках со временем назовут синдромом Турена-Соланта-Голе, или пахидермопериостозом — остановилась перед кожаной завесой у входа в кладовую. Только что рассвело, и она еще не будила новую кухонную девушку. То, что Ларлу приходилось будить чуть не каждое утро, говорило не в ее пользу, зато она, в отличие от некоторых других, осталась работать в доме, где хозяина постигла столь тяжкая хворь. Думая о господине Ванаре, старуха, как пожилая женщина того времени, размышляла о магии, о болезнях, о власти и чувствовала… отсутствие чего-то?

Ей казалось, что чего-то недостает ей самой, но нет.

Это мой протестующий голос пытался пробиться к ней сквозь века. Невозможность достучаться до этой женщины лишь делает еще более явными мои собственные провалы, незавершенности и отсутствия. Я довольствуюсь тем, что она не похожа на нашу экономку миссис Бембри, приходившую готовить, убирать и сидеть с детьми. (*На круглом коричневом лице той не было ни единой трещинки.*) Отец так и представил ее нам — миссис Бембри, — когда мне было четыре года, а сестре чуть больше двух. Иначе было нельзя, если черная семья нанимала черную прислугу в сороковых.

ОТЕЦ (*мама молчит*). Как вас зовут?

МИССИС БЕМБРИ. Кора.

ОТЕЦ. Нет, имя ваше?

МИССИС БЕМБРИ. Да Кора же.

ОТЕЦ. Полное имя.

МИССИС БЕМБРИ. Кора. Миссис Кора Бембри.

ОТЕЦ. Сэм, Пегги, это миссис Бембри. Она будет помогать нам по дому, а иногда и за вами присматривать.

МИССИС БЕМБРИ. Вы можете звать меня Корой.

ОТЕЦ. Мы вас будем звать миссис Бембри.

Так мы ее лет десять и звали. Думаю, миссис Бембри и безымянная кухарка обе верили в магию — и я, право, не знаю, которая верила больше.

4.5.1. Под какую бы теорию подвести эту доисторическую женщину? У нас, как в городах, так и в сельской местности, где в сервисе работает куда больше народу, чем на производстве, термин девятнадцатого века «прислуга» совсем не подходит для современных горничных и экономок, поваров и садовников, почтальонов и доставщиков, официантов и продавцов, управляющих домами и дворников, госслужащих и секретарей, не говоря уж о нянях с проживанием. Но он по-прежнему дорог нам, этот термин — хотя бы потому, что он исторический (а значит, и ностальгический). Безымянная служанка — самый незначительный персонаж в нашем повествовании, но ее незначительность маскирует незавершенность, беспокоющую автора не меньше, чем в случае Ферона.

4.6. Полседьмого утра. Я встал, когда и полшестого еще не было. Сижу в гостиной, пью кофе, читаю вразброд Мандельштамов, Осипа и На-

дежду, Цветаеву, Пастернака, уже две недели готовлюсь к погружению в русского Йейтса, Анну Ахматову; все, лишь бы не переписывать «Повесть о тумане и граните», которую должен сдать в понедельник.

Сегодня суббота, 14 января 1984. Моей дочери исполняется десять лет. В раннем детстве она бегала стриженая, но три года назад настояла на том, чтобы отпустить Длинные Светлые Волосы. Через час, а то и через несколько минут она встанет. Вчера вечером мы с ней смотрели мультик про Чарли Брауна. Тогда ставни были открыты, теперь закрыты — на улице еще темно. Пожарная сирена ненадолго заглушает движение; слышно, как хлюпают шины по снежной слякоти. Тед, как обычно, оставил пылесос у двери из гостиной в столовую — половина на красном ковре, половина на зеленом.

Вчера, обнимая ее за плечи, я пошутил, что в последний раз смотрю телевизор с девятилетней дочуркой, и сбегал к компьютеру в кабинете — что-то исправить, что-то переформатировать.

— Знаешь, — сказала она, когда я вернулся, — а я помню, как мне семь исполнилось!

Я посмотрел на нее, подняв бровь.

— Это уже после праздника было. Бумага от

подарков валяется на полу, а я стою и думаю: наконец-то! Неужели мне уже семь?

— Здесь или у мамы? — спросил я. Мне просто хотелось лучше это себе представить.

— Вроде бы здесь, но я не уверена.

И тут я понял, что ее седьмой день рождения не помню совсем — хотя про пятый мог бы настрочить страниц двадцать.

Я с изумлением осознал, что у этого микрочеловечка, десять лет как ставшего частью меня, есть своя внутренняя жизнь; я всегда знал, что она есть, хотел, чтобы она была, но как-то мало замечал ее проявления.

На твидовой обшивке дивана раскиданы «Соловьиная лихорадка: русские поэты в революции» Р. Хингли, блокноты, «Живаго», «Мандельштам» Кларенса Брауна, томики переведенных стихов того же поэта. Скоро она встанет, развернет подарки, пойдет на урок верховой езды. На собственно праздник к ней придут с ночевкой подружки. Десять лет — великая перемена. Вспоминаю свои: теперь я буду писать свой возраст двузначной цифрой!

Странно после стольких лет снова взяться за русских.

Странно также, что я решил отказать в этом

моменте (я имею в виду домашний, а не литературный аспект) Садуку и Нари посредством закулисного биологического выверта. (Впрочем, эта история целиком посвящена закулисным биологическим вывертам.) Странно также, что десять лет назад, еще до рождения дочки, я, начиная неверионскую серию, никогда бы не подумал, что это странно.

5. — И барон Ванар тоже? — Министр приподнял ладонь, упершись в стол кончиками пальцев. — Скольких же людей в нашем городе постигла эта болезнь? Говорите, от нее умерло еще шестеро и ни один не выздоровел? — Скошенное окошко совещательной комнаты располагалось высоко, по столу скользили тени летящих птиц. — У людей чаще всего бывает головная боль, боль в животе, простуда. Но после пятидесяти возможны, конечно, и лихорадка, и потеря сил, и опухоли. Мы должны тщательно рассмотреть это и принять меры…

5.1. Джои — бостонский ирландец, проститутка и героиновый наркоман (когда может это себе позволить). Живет в основном на улице. Один из его четырех братьев покончил с собой из-за наркотической депрессии, когда Джои вышел

в магазин. В двадцать один или двадцать два они пытались промышлять вместе, но у брата не очень-то получалось. Придя домой с квартой молока и пачкой сигарет, Джои увидел, что он висит, привязав аккумуляторный кабель к кухонному светильнику, а под ним валяется перевернутый стул. Год спустя другого брата выбросили из окна четвертого этажа на глазах у Джои, и он напоролся на пику ограды. Парень задолжал кому-то деньги или наркотики. «Иногда я вижу этих гадов на улице. Они мне «привет», и я им «привет» — что я еще могу?» Еще двое братьев тоже умерли насильственной смертью. Джои оставил мать в больнице — «на кой я ей нужен, хотя иногда я ее навещаю. Она и теперь там», — и перебрался в Нью-Йорк. Он говорит, что наркота на улицах тут лучше, чем в Бостоне.

Раньше он занимался тяжелой атлетикой. «Весил сто девяносто восемь фунтов, сплошные мускулы. Выступал на соревнованиях, занимал вторые-третьи места. Можешь меня представить таким?» Теперь он весит не больше ста тридцати. С двенадцати лет он мыл посуду в бостонском дайнере, куда его пристроил двадцатипятилетний бойфренд, хозяин этого заведения, но в восемнадцать подсел на наркотики и стал для хозяина

стороват — пришлось уйти. В девятнадцать ненадолго женился на женщине старше себя. «Я тогда штангу тягал, она на меня и запала». Родилась дочка. Снова наркотики. Новый любовник, тоже штангист. Некоторое время Джои водил фургон с мороженым, даже управлял всем парком таких фургонов, как он говорит. К двадцати пяти все это — семья, любовник, работа — накрылось. Кто-то взорвал фургон(ы?) в котором(ых?) он развозил по борделям наркоту и наличные. К двадцати семи он более-менее постоянно поселился в Нью-Йорке. До переезда кто-то врезал ему в челюсть бейсбольной битой и вышиб почти все верхние зубы; за пару лет Джои пару раз посетил дантиста и удалил корни. Он говорит, что жить на улице в Нью-Йорке проще, чем в Бостоне.

Джои рассказал мне много историй, но чаще всего вспоминает то, что случилось с ним здесь на первых порах.

5.2. Один его друг-наркоман занял брошенную квартиру в наполовину сгоревшем доме района Адская Кухня. Ни электричества, ни отопления там не было, но Джои, оказавшийся зимой на улице, полагал, что его приятелю повезло. Как-то утром он пошел туда в надежде разжиться дурью. Замка в двери не было, Джои толкнул ее и вошел.

Приятель, голый до пояса, сидел на матрасе в кухне.

«Привет! — сказал Джои. — Как дела?»

«Пришел? — отозвался тот деловым тоном. — А я вот самоубиться собрался».

«Да? — Джои присел на корточки перед матрасом. — А как?»

— Ты пойми, — говорил он мне, — я думал, что он так шутит. Спал я тогда мало, не раздеваясь, само собой, соображал плохо, вот и спросил из вежливости, сечешь? У него жилье было, и наркота время от времени, и жратва — с чего ему-то так напрягаться?

Чувак ткнул пустым шприцем себе в вену и сказал: «Воздух».

— Если б он сказал «пузырь», я бы понял и что-то сделал, — объяснял Джои. (На наркотическом сленге это называется «пузырь в вену».)

«Говорят, что больно не будет». Чувак нажал на поршень — и ничего.

Джои подумал, что он просто колется, как обычно.

«Иногда надо пару раз повторить». Парень вынул шприц, набрал в него воздух, снова ввел и нажал.

«Эй, — сказал Джои, — это ж опасно».

«Ну да, так и задумано». Парень повторил процедуру в третий раз, выпрямился, точно ему молотком по спине съездили, и упал на матрас.

И полминуты не прошло, как Джои сюда явился!

Он попытался сделать другу искусственное дыхание изо рта в рот, хотя и видел, что тот уже умер — ни пульса, ни сердцебиения, ничего. Так и ушел, бросив друга с иглой в руке.

Те три года, что я его знаю, Джои каждые две недели страдает от ломки. Я видел его с рукой, перебинтованной от плеча до запястья: ночью он вступился за женщину, которую грабили на парковке, и его пырнули ножом. А недавно, не пересекавшись с ним три с половиной месяца, я увидел его во всем чистом, подстриженным, прибавившим фунтов тридцать, и руки у него стали вдвое толще от занятий в спортзале. Он говорит, что три месяца назад ушел с улицы, и клянется, что к героину с тех пор не притрагивался.

«Кокс, правда, могу нюхнуть, если кто предложит, но в то говно больше уже не вляпаюсь. Глянь на меня, я самый красивый во всей “Фиесте” — главное, улыбаться не надо».

5.2.1. В девятнадцать лет (повествует Мастер) я задумался о своем будущем, понаблюдал за

своими титулованными родичами и понял, что от титула толку чуть.

Еще недавно из-за него могли и убить. Я отказался от титула, и этот простой поступок породил басню, которая до сих разрастается и ходит по городу и пригородам совершенно отдельно от меня.

Были мгновения, когда моя репутация представлялась мне светом, озаряющим тьму, а я — огоньком в ее середине. Но чаще это нечто чудовищное, обитающее в одном со мной городе; сам я ни разу это чудище не встречал, но люди почему-то принимают его за меня. Оно бродит повсюду, искажает мои слова, приписывая мне глупости и банальности, объясняет ложными мотивами мои действия — я совершаю их по каким-то нелепым причинам и больше не узнаю, когда мне о них доносят.

Меня винят, разумеется, во всем, что творит это злобное существо. Не потому ли, решив основать свою школу, я не стал открывать ее в доступных мне усадьбах Неверионы, а открыл здесь, на краю Саллезе, где этот пригород смыкается с кварталом преуспевших ремесленников? Здесь, почти десять лет назад, в трех строениях с двором между ними, я стал принимать и обучать молодежь,

присылаемую родителями со всего города и даже из дальних мест.

Чудище частенько подбирается близко, но отказывается встречаться лицом к лицу: приходится ждать, когда мне о нем расскажут. Удивительно, однако, сколь дерзко оно проникает в мой ближний круг. Я снова и снова встречаю тех, кто находит его приемлемым, и это весьма огорчительно. Думаю, я с самого начала хотел уберечь свою родную Невериону от нелепости, в какую превращается всякое знание, удаляясь от знатока.

5.2.1.1. Вальтер Беньямин в своей книге «Париж времен Второй империи у Бодлера» приводит цитату из «проклятого поэта»: «Недалеко то время, когда все поймут, что литература, не желающая жить в братском союзе с наукой и философией, есть гибельная, самоубийственная литература». Ту же мысль, помимо Бодлера, высказывали и другие деятели девятнадцатого века.

5.2.2. Знатные юноши моего круга (повествует Мастер) между пятнадцатью и двадцатью годами посещают Высокий Орлиный Двор под покровительством обитающих там родичей. Мы остаемся там до трех месяцев — а те, кто получает долж-

ность в правительстве, до трех лет.

Вот моя история — я не рассказывал ее, пока не отказался от своего бесполезного титула.

Получив в семнадцать свое приглашение, я отказался от него, заявив, что мне нечему учиться в мрачных придворных покоях, и отправился в путешествие по Невериону. Вот вам и вся история: при дворе я никогда не был.

Я уехал на восемнадцатом году, проездил около года и вернулся на девятнадцатом.

Противоречие налицо, не так ли?

Позвольте рассказать, как я впервые услышал свою историю из чужих уст.

Через некоторое время после приезда я стоял у фонтана в саллезском саду, где богатые купцы и матроны чествовали кого-то (не меня, но мне почему-то полагалось присутствовать) и рассказывал некой графине в кожаном браслете с зелеными камешками на довольно волосатой руке (тоже, видимо, обязанной там находиться) о своих приключениях. «О, я вижу, что вы совершили! — воскликнула внезапно она. — Вместо визита ко двору вы решили поучиться у самой жизни! Замечательно! Императрице, просвещенной владычице нашей, следует поощрять к этому всех одаренных юношей!»

Лестный отзыв, подумал я, но правда ли это? Я так не считал, она наверняка тоже. Ее речь скорее напоминала рассказ какого-нибудь путешественника: самый обычный случай описывается цветистыми словами, благодаря чему запоминаются и слова, и сам случай. Я улыбнулся, мы заговорили о чем-то другом — я и понятия не имел, что только что слышал начало своей истории.

С год спустя я услышал ее целиком, в более или менее законченном виде. Меня пригласили произнести речь в другом доме — я тогда уже начинал задумываться о преподавании наук молодежи, хотя школу основал лишь лет через десять. Дымные головешки отгоняли мошкару, и хозяин дома представлял меня гостям, сидящим на скамьях и стоящим у столов, уставленных яствами и напитками:

«…И когда ему в семнадцать лет прислали традиционное приглашение ко двору, он объявил родителям, что не примет его, и потребовал, чтобы его вместо этого отправили в путешествие, где он сможет научиться гораздо большему. И мудрые родители, гордясь тем, что вырастили столь незаурядного сына, дали согласие…»

Я прекрасно знал, что такого разговора быть не

могло. Мать я потерял в девять лет — она умерла, когда гостила у родственников в Авиле. Отец весь мой шестнадцатый год тяжело болел и умер в беспамятстве; болезнь пошатнула его дела — потому-то, помимо прочего, и откладывался мой визит ко двору. А дядя, брат матери, великодушно приютивший меня после смерти отца, был, несомненно, только рад отправить меня подальше.

Замышляя свое путешествие, я даже не вспоминал о Высоком Дворе — и дядя, думаю, тоже.

Слушая этого почтенного господина, я вспомнил графиню: вместо того, чтобы на корню пресечь сплетню, зародившуюся в том другом саду, я дал ей расцвести пышным цветом. Притом оратор преподносил это не как нечто новое: он скорее напоминал своим друзьям, многие из которых были и моими друзьями, об уже известных вещах.

Благодаря его за хвалебные слова, я позволил себе лишь слегка их подправить. Он считал себя моим единомышленником и другом — не мог же я выставить его перед собравшимися лжецом либо глупцом. Те, кто знал нашу семью, и так должны были помнить, в каком возрасте я лишился родителей. Но даже мои поправки стали со временем частью истории: я, хотя и предъ-

явил-де свое требование родителям в столь юные годы, слишком скромен, чтобы в этом признаться — еще одно свидетельство моих высоких устоев.

И это лишь самая малая из досадных неточностей.

Повторяю: ко времени своего путешествия я уже потерял родителей, а приглашения ко двору не получал, да и не ожидал получить. Отчего, спросите вы? Оттого, что жил я не в провинции, а в столице, и у меня было (и есть) множество родичей при дворе. К пятнадцати годам я входил в Орлиные Врата много раз, проводил пару дней с графом, пару недель с герцогиней, навещал провинциального кузена, совершающего свой официальный визит, присутствовал на празднике в чью-то честь; выезжал на придворные пикники и катания больше раз, чем у меня и двух моих младших сестер пальцев на руках и ногах; проводил больше времени со своей четвероюродной сестрой, несгибаемой владычицей нашей (по крайней мере, в ее присутствии), чем многие придворные, годами живущие во дворце. Получил почти весь опыт и все привилегии, ради которых провинциальная знать вынуждена ездить в столицу, и официальным пребыванием при дворе мог с легкостью пренебречь. К моим семнадцати

годам весь двор и вся моя родня полагали, что я, в сущности, уже побывал там.

Дядя мой уж верно придерживался этого мнения.

Я, как признанный мудрец, забочусь о правде. Но стоит ли тревожиться о мелочах, что касаются тебя одного? Хорошо ли это — без конца думать о мелких искажениях моей личной истории, к тому же делающих мне честь?

Тем не менее они меня раздражают.

Десять лет спустя мои замыслы начали воплощаться в жизнь, и сливки нашего города, оказывавшие мне помощь, приходили поговорить со мной. Однажды я беседовал с просвещенным молодым человеком из успешной купеческой семьи. Мои знатные друзья все еще смотрят косо на мои связи в мире торговли, и моим друзьям в купеческой среде об этом известно. Чувствую, однако, что обе стороны питают ко мне уважение за наведение мостов между ними, несмотря на чьи-то личные предубеждения.

Мы с тем молодым человеком прогуливались по обсаженной пальмами улице, что ведет из Неверионы в Саллезе. Был теплый весенний вечер. Стены старой Альдамировой усадьбы горели медью за кронами пальм, небо на западе подер-

нулось серовато-лиловыми облаками. Высокий темнокожий юноша, часто ездивший по делам отца, хотел сравнить свои путешествия с моими, и я охотно ему способствовал. Мы шагали плечом к плечу в оранжевой закатной пыли, и он с приятнейшей улыбкой сказал:

«Вот что я слышал от одного моего приятеля. Когда вам в юности пришло время совершить традиционный визит ко двору, вы сказали родителям, что желаете вместо этого отправиться в путешествие. Так ли их порадовало это ваше решение, как все говорят? — Зеленые глаза на его коричневом лице говорили о трех-четырех поколениях предков-островитян, чьих имен он скорее всего не знал. — Меня ко двору пригласить никак не могли, — продолжал он, — но мой отец так привержен традициям, что и слушать бы меня не стал, если бы пригласили».

Я полагал, что этот купеческий сын ждет от меня слов относительно различий между знатью и купечеством Невериона. Он, безусловно, как идеализировал, так и презирал наше сословие, но в этот вечер готов был услышать, что знать к своим детям снисходительна несколько больше, чем его твердолобый деловитый родитель. Что за вздор, думал я. Этот мальчик слишком умен

для подобной чуши, даже если хочет, чтобы я ее произнес. Но ведь он не нашего круга. Он не знаком с баснями, отягощающими родовитые неверионские семьи, как грузила рыбачий невод. Скажи ему правду, и все тут — более благодарного слушателя тебе не найти. «Я тоже слышал эту историю, — сказал я с усмешкой. — К сожалению, она неверна. О моем визите ко двору даже речи не заходило — так бывает со многими молодыми аристократами, живущими в Колхари. Мои родители к достижению мной нужного возраста уже умерли, а у дяди, взявшего меня к себе, было слишком много своих забот, чтобы об этом задумываться. Не желая быть для него обузой, я предложил ему отправить меня в путешествие, за что он с благодарностью ухватился, хотя и любил меня. Официально я при дворе так и не побывал, хотя неофициально бывал много раз. Но сказка о храбром юноше, сознательно захотевшем поменять одно на другое и заявившем об этом родителям, к тому же покойным — это всего лишь сказка. Я попросту не заслуживаю похвал, столь щедро изливаемых на разумного, но не существующего в природе юнца».

В улыбке моего спутника не было и намека на то, что он мне не поверил или чего-то не понял.

Мы обсудили местоположение школы (его отец только что согласился продать мне два дома в Саллезе, замолвить за меня слово владельцу третьего и все три подновить); обсудили, как полезно школярам путешествовать, поговорили о любознательности и необходимости теоретических знаний в повседневных делах. Потом вернулись к его повозке, и он подвез меня до моего дома.

Дня три спустя ко мне вбежал мой секретарь. Косые лучи солнца сквозь ставни падали на его взбудораженное лицо. «Хозяин, про вас рассказывают ужасные вещи! Говорят, будто школа будет не в Неверионе, а в ремесленном квартале, будто вы, говоря с купцами, отрекаетесь от своего рода. Говорят даже, будто вы оболгали своих родителей, утверждая, что они не благородного сословия! Аристократы, поддерживавшие вас, возмущены тем, что вы потакаете купеческим предрассудкам, сами же купцы думают, что вы их принимаете за глупцов!»

Я, конечно же, растерялся и понять не мог, откуда взялись эти россказни. Еще три дня я осторожно расспрашивал и купцов, и вельмож и узнал, что будто бы рассказал одному юноше из купцов, что мне *не позволили* отправиться ко двору оттого, что мои родители умерли! Такова, как

объяснил я доверчивому сыну купца, *традиция* у столичных аристократов! Но тот, кому упомянутый купеческий сын (несомненно, тот самый, с кем я гулял под пальмами) все это пересказал, сам был аристократом; зная, что подобной традиции никогда не существовало, он разоблачил мою ложь. Оба они не могли понять, что толкнуло меня на столь нелепые речи.

Я кое-как исправил дело, поговорив со своими знакомыми, но этот случай все еще напоминает мне, как плохо понимают друг друга люди разных сословий.

Ибо по городу до сих пор бродит чудище, в котором, как все полагают, я должен признать себя.

«Я» — это юноша, отказавшийся от приглашения ко двору и предложивший своим родителям (или дяде, по мнению некоторых) вместо этого отправить меня в путешествие.

Теперь «я» не желаю говорить об этом примечательном поступке из скромности — или отрекаюсь от него в своекорыстных целях. Именно этот «я» живет в этом городе, заведует школой, учит детей, пользуется уважением или подвергается порицанию.

5.2.2.1. Цитата из Бодлера в контексте фэнтези производит совсем не такой эффект, как та же

цитата в контексте научной фантастики. И произвела бы совершенно другой эффект в жанре, который Тодоров называл «фантастическим» или у писателей натуралистической школы типа Золя или Синклера Льюиса. В обоих паралитературных контекстах Бодлер ведет горячий диалог с текстом. В обоих литературных контекстах он лишь одобряет или осуждает специфические нарративные тропы так называемого сюжета. Создание диалога за пределами этого полунемого суждения потребует недюжинного критического насилия.

5.2.3. Мои недоброхоты из квартала Невериона (повествует Мастер), в том числе мои родичи, говорят, что я, поместив школу там, где она находится, сделал образование ремеслом или торговой отраслью. Даже в наши неаристократические времена они находят это низким и возмутительным. Но что было бы, открой я школу в одной из усадеб Неверионы? Сделало бы это образование чисто аристократической привилегией?

5.3. — Итак, подведем итог. — Министр уперся пальцами в край каменного стола. — Сначала вы говорите, что все сто тридцать семь заболевших — мужчины? А потом смущенно опускаете глаза

и говорите, что не все? С бароном Ванаром я, конечно, знаком. Следует ли мне понимать, что часть заболевших мужчин в глазах многих мужчинами не считаются? Если так, то это поистине удивительная болезнь! — Небо за высоким окном горело, как серебро. — Наше положение, однако, не допускает ложной стыдливости. Мы должны тщательно рассмотреть это и принять меры…

6. отковырнуть ногтем темноту под корой желтое дерево под зеленым налетом медь под маслом серый грифель

ступить в корыто глубиной до бедра там плавают шкуры тычешь в них шестом серая жижа в которой стоишь удаляет шерсть потом смотришь на собственную безволосую ляжку Садук никогда не работал в дубильне а я проработал с полгода в семнадцать

Нари с подоткнутым мокрым подолом у стиральной лохани щелочь пронзительные женские голоса

соскрести еще что-то одна краска любит другую воткать проволоку в основу отбить до тонизны если порвется хоть где-то продать дешевле боль протыкается рукой и коленом под болью еще больше боли лечь поудобней когда болеешь такая же редкость как красота когда работаешь плохо

надо ли полагать что ты чуть выше своих друзей чтоб любить их входная завеса дождавшись лета покажет что мастерская не открыта и не закрыта

теперь уж не выше

в постели и еще где-то я следую за огненным пальцем выводящем что-то на боку глиняного сосуда когда мне шесть, миную годы переулки события они закручиваются в воронку пусть себе крутятся как тогда в семнадцать не хочу больше смотреть как умирает маленькая свирепая женщина моя мать в четырнадцать думал что лучше всего умереть как она когда уже устал умирать и поминутно идешь на сделку с болью чтоб дышать дальше под конец такие сделки всегда заключаешь

страх смерти это для здоровых умирание слишком много сил отнимает когда ты болен столько недель страх сменяется раздражением

солнечный луч в уголке окна как локон прекрасного дня что остановился передохнуть за окном голоса пахнет кашей и перцем на моей такой людной и живописной улице

я лежал у себя в комнате только когда болел но не так болеть так значит быть где-то еще

6.0.1. Шеннон отмечает, что английский язык

становится на 50 % редундантным (избыточным), когда мы имеем дело с образцами текста из восьми букв. Чем больше длина, тем выше редундантность: в предложениях до 100 букв она составляет примерно 75 %. Еще выше этот процент в случае целых страниц или глав, где читатель получает общую статистику текста, включая тему и литературный стиль. Это означает, говорит Шеннон, что бóльшая часть того, что мы пишем, диктуется структурой языка и более или менее нам навязывается. Для свободного выбора остается не так уж много.

Джереми Кэмпбелл
Человек грамматический

6.1. С каменного возвышения у Моста Утраченных Желаний, с помостов на Старом и Новом Рынках, на углах Черного проспекта, в гавани, на площадях анклавов императорские глашатаи с орлами на груди и спине возглашали:

— В Колхари чума. От нее, как полагают, умерли уже семьдесят пять человек, и из нескольких сот заболевших никто не выздоровел. Мы рекомендуем соблюдать осторожность и чистоту. Ее величество, отважная и благодетельная владычица наша, просит не собираться в больших количествах. Положение еще не бедственное, но

может стать таковым.

Люди на мосту, на рынках, на углах улиц слушали, поглядывали друг на друга и поскорей расходились.

6.1.1. «Когда чума овладевает городом, все привычные нормы рушатся. За улицами и сточными каналами никто не следит, нет ни армии, ни полиции, ни муниципальной администрации. Костры для сожжения мертвых складываются из чего попало, каждая семья хочет развести свой костер. Затем топливо иссякает, костры гаснут, из-за них начинаются раздоры, переходящие в массовые драки. Мертвые теперь лежат прямо на улицах, их обгладывают животные, всюду стоит густой смрад. Улицы забиты кучами мертвых тел. Больные, обуреваемые бредом, с воем выбегают из домов: болезнь охватывает весь организм, в тот числе и мозг. Те, у кого нет ни бубонов, ни бреда, ни болей, ни сыпи, гордо смотрятся в зеркало, презирая больных, — и падают мертвыми с чашками для бритья в руках.

Через ручьи вытекающей из тел жидкости цвета агонии и опиума перешагивают странные персонажи, облепленные воском, с носами как клювы, в очках. Обуты они в сандалии наподобие японских: высокая деревянная подошва и

вертикальная дощечка для защиты от заразных истечений. Они поют абсурдные литании, но все это им не поможет, и они падут жертвами чумы в свою очередь. Ребяческие ухищрения этих невежественных лекарей всего лишь обличают их страх.

Подонки общества, которым жадность, как видно, обеспечивает иммунитет, грабят незапертые дома, вынося добро, ставшее теперь бесполезным. Послушный сын убивает отца. Целомудренный человек занимается содомией. Прокаженный исцеляется. Скупой горстями выбрасывает золото из окна. Героический воин поджигает город, для спасения которого рисковал жизнью. Щеголь в своем лучшем наряде прогуливается вдоль кладбища. Эти абсурдные действия нельзя мотивировать ни отсутствием санкций, ни неминуемой смертью: ведь эти люди верили, что после смерти есть что-то еще. И чем объяснить эротическую горячку среди выздоровевших? Вместо того, чтобы бежать из города, они совокупляются с умирающими и даже с мертвыми, застрявшими в уличных грудах…»

6.1.2. Вышеприведенный *feuilletonage noire* Арто о чуме очень живо передал Кен Рассел в своем фильме «Дьяволы».

Эта «чума» имеет к современным эпидемиям такое же отношение, как бессмысленная агрессивная толпа, описанная Элиасом Канетти в «Массе и власти», — к двум наиболее обычным городским сборищам: Зрелищам и Протесту.

6.2. — Вы хотите сказать, — руки министра легли на колени, обтянутые парчой, — что среди трехсот пятидесяти больных, все из которых, как мы полагали, мужчины и притом мужеложцы, не менее семи женщин?! И пять детей младше четырех лет? — За высоким окном наливался кобальтом вечер. — Пока что у нас семьдесят пять смертей и ни одного выздоровления. Боюсь, что времени для приготовлений уже не осталось. Пора действовать. Позвольте предложить следующее, ваше величество…

6.3. — Интересная социальная выборка, — говорит Питер. — Я работаю в Кризисном центре для геев три дня в неделю и каждый раз принимаю больных СПИДом, но среди моих знакомых никто не болеет. При этом я знаю тех, у кого заболели восемь, девять, десять друзей. — На скатерти с бахромой, покрывающей круглый дубовый стол, стоят три хрустальных бокала с белым вином. — Тут надо помнить вот что. Всей этой статистике

по количеству сексуальных контактов в год на среднего больного со СПИДом — от шестидесяти до трехсот — доверять нельзя. Как тут вычислить среднюю единицу? Одни утверждают, что у них за всю жизнь было всего два контакта, и последний состоялся два года назад. Другие называют просто астрономические цифры, три-четыре тысячи в год. И те и другие, учитывая деликатность темы, могут как преувеличивать, так и преуменьшать по самым разным причинам. — Сейчас у нас июль 1983-го. Питер уже полгода работает волонтером в нью-йоркской клинике.

— Питер, — говорю я, — ты же знаешь, что означают триста контактов в год. В четверг идешь в подходящий кинотеатр и проводишь полтора часа в заднем ряду балкона, в пятницу по дороге с работы заходишь на двадцать минут в подходящий общественный туалет. В каждом месте можно иметь по три контакта с эякуляцией. Шесть контактов за два часа в неделю дают за год триста двенадцать контактов. Ты не хуже меня знаешь, что можно работать по восемь часов в день, вести активную социальную жизнь и даже к ужину не опаздывать, имея свои триста контактов в год. Так живут тысячи мужчин в этом городе. — (Я сам делал это больше дюжины лет,

совмещая жену, относившуюся к этому снисходительно, и ребенка с активной гомосексуальной жизнью — и уже шесть лет после развода продолжаю в том же духе.) — И это даже без походов в бани или в бар с задней комнатой, где можно поднять свои показатели вдвое-втрое. Мужчины-гетеросексуалы, освещающие СПИД в СМИ, просто понятия не имеют о размерах сексуальной активности, доступной геям в Нью-Йорке! Они понятия не имеют, составляя эту статистику, — говорю я, — что вполне приличного вида гей лет двадцати или тридцати может поиметь два-три контакта в метро, пока едет к врачу, чтоб на СПИД провериться! — Я сам удивился такой своей вспышке — как, думаю, и двое других за столом.

— Но мы также знаем, Чип (это моя кличка, полученная лет в десять), что многие геи — возможно, тысячи — могут пересчитать свои контакты за год по пальцам, — говорит Питер, накалывая на вилку ломтик жареной картошки. — Больные, с которыми я работаю, действительно жили на скоростной полосе, но у нас все еще нет надежного статистического прототипа сексуального поведения. Мой личный опыт указывает на внутривенные инъекции и пассивный анал — то, что называют анекдотической информацией. Опыт у

каждого свой, и все разные.

Солнечный свет, розоватый из-за витражного окна, открытого этим июльским утром, зажигает серебром стальные приборы.

6.3.1. В Неверионе, конечно, своя модель. Сколько-то лет назад эпидемия пришла на Ульвенские острова, и императрица, сострадательная владычица их, посылала корабли и лекарей, чтобы вывезти оттуда здоровых.

Власти Колхари, самого современного и прогрессивного из тогдашних городов, имели некоторое представление о чуме, но без текста Арто представляли ее на более примитивном уровне, нежели мы. Благодаря известиям с островов они знали, что такого в их городе нельзя допускать.

6.4. Ночью двадцатидвухлетнему Ферону (его уже не раз удивляло, что он дожил до таких лет) полегчало. Такое уже случалось, и чудесного исцеления он не ждал.

Лежа на соломе под одеялом, которое сам окрасил в оранжевые и голубые тона, он повернулся на бок (поясница болела, отвлекая от тошноты), вспомнил об отце, улыбнулся.

В семнадцать лет он работал в дубильне, а отец — на постройке Нового Рынка.

Каждую дюжину дней отцу давали выходной, и он отсыпался.

Ферону давали отдохнуть два дня из десяти.

Третий по счету его выходной совпал с отцовским, и накануне вечером они долго сидели при лампе, зажженной от углей в очаге.

На сильной коричневой отцовской руке лежали тени от волосков. Огонек лампы колебался, и они шевелились.

Отец шумно ел деревянной ложкой крупяную похлебку с перцем и салом, приготовленную Фероном.

«Давай завтра куда-нибудь сходим вместе», — сказал он.

«Давай», — ответил Ферон, не совсем понимая, что он имеет в виду.

Они легли спать. Ферон упирался пяткой в пальцы другой ноги, руки у него пахли чесноком и новой варварской приправой, корицей (отец с этим новшеством кое-как примирился), пахли корой, мокнущей в каменных корытах.

У входа на Мост Утраченных Желаний отец потеребил ухо, поросшее седым волосом, и спросил (Ферон побаивался тревожных нот в его голосе, зная, что за ними часто следует наказание):

«Ты раньше ходил сюда?»

Ферон, конечно, ходил через мост на Старый Рынок. Он знал, что отец не об этом спрашивает, но простое «нет» значило бы, что он хочет задобрить отца. Между тем он работал в дубильне, как взрослый, и уже вырос из этих уловок.

«Нет, — ответил он. — То есть да. Ходил».

Отец слегка улыбнулся. «Я тут подумал, что пора тебе побыть с женщиной. После смерти твоей матери я бывал здесь чаще, чем следовало, потом пореже, но знакомые у меня тут остались. Выходит, ты меня опередил… плохо я о тебе заботился, зато теперь ты знаешь, как это делается».

Усталость, накопившая за рабочие дни, не покидала их и в свободные, и сил как на признания, так и на отрицания не оставалось.

«Ты найди себе кого-нибудь, — сказал Ферон, — а через пару часов снова встретимся».

«Нет, — сказал отец, — пойдем вместе. Так дешевле выйдет, в одной-то комнате. — Они пошли через мост. — Выбирай, которая больше глянется».

Странность всего этого вызывала у Ферона улыбку, но где-то внутри колыхалась тревога. Странность и в то же время обыкновенность. Отец и сын, рабочие люди, пришли удовлетворить свои плотские нужды — высечь бы две эти

фигуры на камнях моста.

«Вот эта вроде бы славненькая…»

«Молоденькую хочешь? — усмехнулся отец. — А я так наоборот. Даже в твои годы выбирал кого постарше и прав был. Матушка твоя была на четыре года старше меня, да хоть бы и на четырнадцать…»

«Отец, — внезапно выпалил Ферон, — не нужна мне женщина. Если б я и стал кому-то платить, то мужчине, но все опять-таки наоборот: это мужчины мне платят». С ним это, честно говоря, случалось всего три раза, да и на это его подбил приятель, с которым он теперь почти и не виделся. У него кружилась голова от собственной храбрости (будто челнок запутался в основе и наконец выпутался), усталость прошла, подошвы и ладони покалывало.

Отец остановился.

День был ясный, но те участки кожи, куда не падало солнце, оставались прохладными. Рыжий парень гнал по мосту полдюжины коз — они блеяли, поглядывая по сторонам желтыми, с черным продольным зрачком, глазами. Одна уронила на камень кучку черных орешков. Две немолодых женщины на той стороне смеялись то ли над ними, то ли над пастухом. Проехала тележка,

запряженная ослом.

«Значит, мать-то права была», — промолвил отец.

Злится, должно быть, подумал Ферон, ожидая упреков, а то и затрещины.

«Я уже тогда понимал, что права, но говорил, что ты это перерастешь. Может, и перерастешь еще».

«Мне семнадцать, отец. Ничего уже не изменится. Да и не хочу я, — пожал плечами Ферон, — не хочу из этого вырастать».

Отец пошел дальше, он тоже.

«Ты все-таки попробовал бы с женщиной — может, и передумаешь. Тут хорошие есть. Не просто красивые, а веселые, даже добрые. Тебе как раз такая нужна, добрая, терпеливая, потому как ты юн и не уверен в себе. Раньше надо было тебя сюда привести, знаю».

«Пробовал уже, — сказал Ферон. — С женщинами. — Только с одной, собственно, и с ними был еще один парень. — Мне не понравилось, с мужчинами лучше — для меня то есть. Тебе вот женщины нравятся — а ну как кто-то сказал бы, что ты это перерастешь?»

«Ха! Ну, это вряд ли».

«Так что будем делать? Ты возьмешь женщи-

ну, я мужчину? — Мужчин, предлагавших себя, на мосту почему-то не было, одни бабы да девки. — И пойдем куда-нибудь вместе? Может, ты с мужчиной попробуешь? — Ферона разбирал судорожный смех. — Они тут дешевле женщин, не знал? Некоторые могут и с теми, и с другими. Будь ты из таких, еще дешевле бы обошлось».

«Ну уж нет. — Отец снова остановился и вскрикнул негромко, но будто от сильной боли: — Ай-й! Не хочешь со мной? Ну так проваливай! Ступай домой! Нечего тебе тут делать. Пошел вон, я сказал!»

Впереди блеяли козы.

Прошли в обнимку две женщины, следом третья.

Ферон повернул назад. Он злился и весь дрожал. На полпути к дому злости поубавилось, и снова пришла усталость. Шел он длинной дорогой, не как обычно. Свою дверь между конюшней и кирпичным двором он открыл, бормоча: «Слишком я устал, чтобы злиться. Слишком устал…» Так мать говорила — тоже, скорей всего, не всерьез.

Под его кроватью лежали ткацкие кросны. Он их вытащил и сел перед ними на земляной пол, поджав ноги. Начатая им ткань была шириной с его предплечье. Он работал сразу с десятью

челноками, используя пряжу разной толщины и разного цвета, то с узелками, то без, все время пробуя что-то новое.

Он ткал, пока за окном не стемнело. Потом заправил три лампы хорошим маслом, зажег их от углей в очаге, поставил две на стол, одну на пол.

«Если хочешь работать затемно, Ферон, — вечно твердил отец, — не трать масло попусту. Поднимайся на крышу и тки при луне». Ферон отвечал на это, что жжет лампы только пока луна не взойдет, — но иногда работал при них и заполночь, когда полная луна всходила и снова закатывалась. Доливал масла с полдюжины раз, даже не глядя в окно.

«Ферон, сколько раз тебе говорить…»

Сейчас луна, почти полная, еще не взошла.

Он продолжал ткать и не поднял глаз от работы, услышав, как прошуршала дверная завеса.

«Я принес тебе кое-что», — сказал отец.

Мотки пряжи — яркой, насколько мог разглядеть Ферон при свете ламп — посыпались со стола на пол.

«Ого!» — Он привстал на колени.

«На Старом Рынке купил. Не знаю, подойдут ли тебе такие цвета, но решил взять. — Отец потеребил ухо. — Недешево, знаешь ли».

Ферон встал — поясница и бедра у него затекли.

«Спасибо. — Он не знал, что еще сказать. — Есть хочешь? Я что-нибудь приготовлю…»

«Нет, я уже поел. Сготовь себе, если хочешь».

Ферон видел, что отец слегка пьян.

«Ну так как, сгодится тебе?»

«Да. Спасибо большое».

«Ну и работай себе. Я так и подумал — авось сгодится».

«Я прервусь ненадолго, — сказал Ферон и спросил, чувствуя, что это будет уместно: — Ты как, нашел себе женщину?»

Отец притворился, что не расслышал.

Оба сели за стол.

Несколько мотков распустилось. Отец подносил их к свету, чтобы лучше рассмотреть.

«Нет, — сказал он наконец. — Расхотелось. Вот пряжу тебе купил вместо этого».

Не такого извинения ждал Ферон. Он хотел, чтобы отец утешился с женщиной и сказал: «Ты прости, Ферон, я был неправ. Ты мой сын и будешь им несмотря ни на что. Ты думаешь так, я иначе, но это ничего не меняет. Прощаешь меня?» За работой он не раз представлял себе эти слова, но теперь понял, что отец никогда так не

скажет — не таков человек. А он слишком устал, чтобы этого требовать, да и не так уж хочет это услышать.

«Что с тобой такое?» — Отец опустил руку с мотком на стол.

Ферон потер влажные глаза двумя пальцами, сильно загрубевшими от дубильных работ.

«Ничего».

«Вон луна взошла, лезь на крышу. Нечего масло жечь».

«Да… Ладно. Спасибо тебе за пряжу. — Ферон прихватил один моток, не зная точно, какого он цвета.

Отец пробурчал что-то.

Ферон поднял кросны, челноки качнулись и щелкнули.

«Ты здоров ли?»

Отец кивнул. «Ты долго-то не засиживайся».

«Не буду».

Отец задул одну за другой две лампы — теперь горела только одна, на полу.

…Лежа в темноте семь лет спустя, Ферон вспоминал не смерть отца три года назад, а тот вечер. Вспоминал, как сидел на крыше и ткал, перебирая пряжу, обесцвеченную луной.

7. Женщина с северо-востока пишет мне:

«Больше всего в отношении СПИДа меня злит то, что мы, женщины, снова по доброте сердечной помогаем мужчинам. Где они были, когда мы боролись против того, что творила с женщинами система здравоохранения? Я злюсь, что снова приходится записываться в помощницы, особенно в такой ситуации, когда правые кричат “Бог ненавидит геев”, а меня ужасает и сама болезнь, и гомофобный капитал, который на ней наживают.

Прежде всего мы должны прояснить, что ханжи, рассматривающие СПИД как кару для грешников (или попросту полагающие, что геев не жалко), — это те же ханжи, которые боятся женщин, ненавидят их и хотят, чтобы мы знали свое место и даже пикнуть не смели. Это та же идеология, из-за которой большинство людей обоих полов и разной сексуальной ориентации терпят правительство, тратящее все больше миллиардов на военные игрушки и позволяющее кому-то наживаться на этом… Боюсь, что эту связь, как всегда, только радикалы улавливают…

Эпидемия ужасна сама по себе, но еще хуже то, что столько американцев видят в ней божественное подтверждение системы своих омерзительных ценностей и фантазий. НЕНАВИЖУ, когда

СПИД используют против секса вообще — даже больше, чем когда его используют против однополого секса. Негодовать из-за того, как другие люди получают свои сексуальные удовольствия, — это самый причудливый вывих во всей человеческой природе. Глупо же, особенно если не знаешь об этом ничего, кроме мифов. (Слышу уже обычные возгласы: “А как же насилие?”) Ни изнасилования, ни убийства я, само собой, не оправдываю!

Человеческая биология такова, что мы не только получаем удовольствие, удовлетворяя свое сексуальное возбуждение, но еще и страдаем, когда такого удовольствия недостаточно. По мне, всё это очень просто и к морали никакого отношения не имеет».

7.1. Совещания в палате Высокого Совета, совещания в нескольких низших палатах.

Совещания в тронном зале. «Она топнет ножкой, — заявил кто-то в одной из палат, — но барон Кродар сделает все по-своему». Ножка, однако, не топнула, и совещание с малюткой-императрицей Инельго длилось всего лишь треть времени, предсказываемого самыми сангвиническими придворными. Позже, впрочем, императрица вызвала свою престарелую визириню для приватного совещания. Издавались указы, рассылались

гонцы. Наконец один из гонцов вернулся, и одним погожим утром в месяц хорька императорские глашатаи возгласили на всех углах (они начали еще на рассвете и продолжали весь день, так что к вечеру об этом — как от них, так и из других уст — услышал весь город):

«Ее императорское величество малютка-императрица Инельго, милостивая и добросердечная владычица наша, разослала гонцов во все концы нашей империи, дабы человек, известный как Горжик Освободитель, прибыл в столицу и занял пост министра при Высоком Дворе, где он совместно с императрицей и другими ее министрами приложил бы свои дарования на благо всех сословий, высоких и низких, рабов и свободных людей.

Сей человек дал согласие.

В честь этого радостного события в Колхари будет объявлена карнавальная неделя; каждый из пяти дней все наемные работники будут трудиться не дольше шести часов, а весь шестой день посвятят отдыху и гуляньям. Так отпразднуют столица и вся страна прибытие Освободителя к Высокому Орлиному Двору!»

7.1.1. Это отвлечет их от чумного мора, сказал министр.

7.2. Несколько лет она разъезжала по всей стране и рассказывала истории — то в знатных усадьбах, то на городских рынках, то случайным путникам у вечернего костра. Платили ей за это по-разному: едой, ночлегом, деньгами, а порой она довольствовалась тем, что старик или молодая девушка радовались, печалились и дивились ее рассказам. Из усадеб и с рынков ее направляли в другие усадьбы и города, давая рекомендации на словах или на письме — так оно и шло.

Редкое общество не обижает своих артистов, и Неверион не был исключением. Норема вынесла свою долю обид, но не ожесточилась и скопила немного денег, на которые сняла себе в Колхари комнату, чтобы отдохнуть и поразмыслить. Подруга, нашедшаяся после долгих поисков, покинула ее снова — возможно, и навсегда. Но всего через три дня, прохаживаясь по Старому Рынку, Норема обрела другую подругу, давно потерянную, как она думала — богатую купчиху из Саллезе, у которой когда-то служила секретаршей.

Купчиха ее приветила и уже несколько раз помогала деньгами; жизнь, будь то к добру или к худу, снова складывалась неплохо вопреки ожиданиям.

А вот сосед ее, с которым она пару раз говорила и нашла его человеком приятным, тяжело заболел и слег. Норема носила воду из колодца и себе, и ему, обмывала его, кормила.

Когда вечер обивал окно яркой медью и небо темнело, Норема сидела на скамейке у глинобитной стены и думала…

7.3. Цитомегаловирус, африканская чума свиней, Т-лимфотропный вирус, модель гепатита Б, ретровирусы, лимфаденопатия-ассоциированный вирус, теория множественных факторов, амилнитрит, двойной вирус, генетическая предрасположенность, теория двух частей населения — ну и правительственный заговор, разумеется; только сегодня я узнал, что большинству заболевших где-то под сорок, а не двадцать с лишним, как я думал раньше — по возрасту они куда ближе ко мне, чем к моим более сексуально активным знакомым. На данный момент (март 1984), у нас 19 больных моложе 20, 831 между 20 и 30, 1762 между 30 и 40, 813 между 40 и 50, 330 старше 49 и еще 19, чей возраст не удалось определить.

158 из этого числа — женщины; а поскольку женщин со СПИДом усиленно маргинализируют как социально (большинство из них внутривенно колют наркотики и/или являются сексуальными

партнерами мужчин, которые это делают), так и статистически, можно поставить доллары против пончиков, что именно они окажутся в самом низу этой маргинальной шкалы. Может, мне следовало для пущего эффекта сделать Топлина, Ферона и барона Ванара женщинами?

Модифицировать возраст, пол, класс, чтобы уж окончательно затоптать их?

Когда говоришь что бы то ни было в такой ситуации, пресса мигом припишет тебе то, что ты вовсе не говорил (последний заголовок: УГАДАЙТЕ, ОТЧЕГО ЗАБОЛЕЛИ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК?).

Я мог бы написать краткий очерк по любому из вышеприведенных акронимов — как, полагаю, любой нью-йоркский гей, если он только не технофоб.

Теория ЦМВ пока что имеет смысл, но я возлагаю большие надежды на две части населения (группу риска, относительно небольшую, и относительно большую иммунную) — хотя бы чтоб с ума не сойти; интересуюсь также исследованиями по ЛАВ (как и все в этом месяце, наряду со «слишком хорошим, чтобы быть правдой» лечения саркомы Капоши дапсоном согласно теории кислотоустойчивых микобактерий); еще

мы ждем доклада Атлантского Центра по контролю заболеваний совместно с французским Институтом Пастера, официально подтвердившего ЛАВ как агент — все что угодно, лишь бы очнуться наконец от этого кошмарного периода нашей истории. С тем же нетерпением мы ждали результатов по АЧС полгода назад.

Как гласит старое китайское проклятье, «чтоб ты жил в интересные времена».

Из-за таких вот периодов, к слову, будущие поколения и перестанут читать великие книги вроде «Десяти дней, которые потрясли мир» Джона Рида — им будет неинтересно.

Но чтобы понять, как нам жилось тогда, нужно хоть немного вникнуть в эти наши акронимы и узнать о нашей одержимости ими, как возможными ключами к тому, чтобы жить и умирать по-людски.

7.4. Убежать не так-то легко (думает Норема). В молодости мир казался мне чередой бурных морей, и я переплывала одно за другим как со страхом, так и с радостным нетерпением. Теперь он превратился в череду невозделанных полей, через которые я бреду — города и леса преодолевать одинаково трудно.

Кто-то пробежал по улице с криком, стуча в

барабан. Они ведут себя так, будто наконец-то поймали своего Освободителя, помешали ему бежать, водворили в клетку, как дикого зверя. Достанет ли у него сил продолжать свое дело и при дворе, добиться, чтобы его услышали через гранитные стены? Сможет ли он разогнать туман этикета, традиций, обычаев, порвать самую ткань власти, которую отныне разделит? Сможет ли сделать хоть что-то в стенах цитадели, сковывающей любые движения?

Норема оглядела свою сумрачную комнату, деревянные фигуры у очага, расписные кувшины и недавние пергаменты с набросками сказок на столе — старые записи копились в углу.

Сколько подпорок для памяти! Тот глазурованный кувшинчик подарила мне милая старушка в Кахеше. Откроешь его в только что убранной комнате, и он очистит застоявшийся воздух. Открыв его три месяца назад, я вспомнила ту старушку, костяные кольца на ее перепачканных землей пальцах. «Игру времени и боли» я записывала, сидя на скалах у моря: «В солнечную гавань вошли корабли со стройными мачтами… дети в темных кустах повторяли волшебные стихи… утром королева приказала юной рабыне одеться знатной девицей…» Вот он, этот пергамент, на

столе. Что я вспомнила, взглянув на него этим утром? Что помню из того, что мне вспомнилось? Может быть, лучше спросить так: кто подарил мне эти слова? Я сама? Море? Скалы, где я сидела? Время? Или безымянный бог пишущих, столь скупо и столь щедро благословляющий тех, кто преобразует звуки песен в безмолвное слово?

В моих путешествиях на меня дважды, приняв за контрабандистку, нападали разбойники. Оба раза мне посчастливилось уйти с миром. Убедившись, что в моей повозке нет ничего, кроме покрытых знаками кож, они отпускали меня, пригрозив для порядка. В первый раз я продолжала путь через лес, преисполнившись благодарности; во второй, полгода спустя, покрытый шрамами злодей понял, что на кожах что-то написано, и стал швырять их наземь, рвать, комкать. Он загубил много пергаментов, а я сдерживалась и не просила его перестать — иначе он смекнул бы, как они много для меня значат, и причинил еще больше вреда. Продолжая свой путь, я ликовала гораздо меньше и с большей осторожностью выбирала дорогу.

Тогда я записала вот на этом пергаменте следующее, надеясь использовать это в одном из сказаний: «В растянутую мочку его уха был во-

ткнут колышек». Много раз перечитывала эту фразу, переписывала так и этак. Оставлять ли «растянутую»? Я помню, как нависала надо мной, сбитой с ног, эта мочка. Эпитет «растянутая» растягивает фразу, повторяет испытанное мной — так две танцовщицы совершают одинаковые движения в танце. Эта одинаковость говорит о том, что их танец отрепетирован. Все мы видели резные колышки в ушах у таких мужчин; может быть, употребить слово *против* моего опыта — так танцовщица отступает от своего отражения в зеркале? И убрать «растянутую»? И то и другое годится, но что же выбрать? Усиление или нечто обратное? Не думаю, чтобы Ферон столько раз распускал и ткал заново один-единственный ряд.

Надо подумать о чем-то другом кроме его страданий.

Когда он уже заболел, я как-то просидела у него часа три, пила чай и смотрела, как он работает. Он говорит, что чувствует себя человеком только когда может ткать. Я много раз видела, как ткут женщины, но именно его медленный труд навел меня на ту мысль. Пока его челноки сновали, меняя цвета, я подумала: вот что я делаю, сочиняя сказки! Бог — покровитель ткачей и плетельщиков неводов должен покровительствовать

также и сказителям. Наше искусство сильно отличаются от речей, какими простые парни возвеличивают себя в глазах своих девушек, чередуя правду и ложь, приплетая слышанное от других и выдуманное самими.

На улице поют и смеются. В моей молодости острова тоже посетила чума — не стану повторять, чего я тогда лишилась. Они веселятся лишь потому, что у них пока болеют только мужчины — хотя я слышала и другое, — притом, как все думают, мужчины вроде Ферона.

Но каково слышать этот смех умирающим, будь то мужчины или женщины?

В моем детстве на острове, что тогда был для меня всем миром, жили дикие племена. На их праздниках, называемых навенами, лучшие охотники и старшие жены рядились нищими, а нищим подчинялись, будто вождям. Женщины рядились мужчинами, мужчины женщинами, дети распоряжались родителями. Целебный обычай, сказка, сотворенная самой жизнью и содержащая в себе множество уроков на будущее. Таков и карнавал в Колхари. Иные назвали бы его чудовищным, но только не я. Я буду гулять и петь вместе со всеми.

Ибо в Колхари прибыл Освободитель…

Но при мысли о тех, кто отлучен от этого праздника, мне хочется бежать из этого города, из этой страны, готовой думать о чем угодно кроме своих страданий. Лишь последствия такого бегства останавливают меня. Чем отправляться в изгнание, не сочинить ли мне сказку? Здесь и сейчас, в этой комнате, в этом переулке? Соткать на словесном станке историю о небывалом побеге, стройную, как песню, радостную, как лето, — пока она не запутается неизлечимо и не будет уничтожена тем же, что ее породило: злые разбойники раздерут все пергаменты в повозке.

Славный получится праздник. Темный карнавал.

7.5. Официальная реакция на чуму в Европе описана Дефо в «Дневнике чумного года» (1722): «Правительство… устраивало публичные молитвы, назначало дни поста и покаяния, [поощряло видных членов общества] публично исповедоваться в грехах и молить Бога отвратить страшную кару, нависшую над нашими головами… Все пьесы, поставленные по примеру французского двора, были запрещены; игорные, танцевальные и музыкальные залы, сильно расплодившиеся и оказывавшие дурное влияние на нравы, были закрыты; шуты, кукольники,

канатные плясуны лишились заработков; людей теперь занимало совсем другое, и даже на лица простолюдинов легла тень печали и ужаса. Все ежечасно видели смерть и помышляли о могиле, а не о увеселениях».

Последние строки, возможно, представляют собой официальный отклик на предписание властей: ведь если увеселительные заведения и комедианты в самом деле «лишились заработков», зачем же «запрещать» их и «закрывать»? Даже в схеме Арто при запрещении «государственного» театра вместо него спонтанно возникали другие, символизирующие для автора рождение подлинного зрелищного искусства.

Неверион, не отягощенный микробиологией и акронимами, тем не менее имеет некое интуитивное понятие о заражении. Несмотря на подозрения жителей (или благодаря им) относительно официально разрешенного карнавала и вхождения в кабинет министров Освободителя, эта интуиция вызвала некоторый радикальный отклик.

Известно ли мне какой?

7.6. У сидящего за столом Ферона болели пах, спина и бока. Он не столько думал о своей мастерской, сколько тосковал по ней, но прогулка

до конца квартала, к которой он принуждал себя чуть не каждое утро, вновь убедила его в том, что три четверти мили по людным улицам ему не пройти. Куда подевался оголец, помогавший ему в мастерской за неделю до болезни? Вряд ли они увидятся снова. Теперь надо взять девчонку, никаких больше мальчиков — в мастерской то есть. Девочка оценит его остроумие, ее восхитит поток богатых клиентов, она чуточку влюбится в хозяина и будет работать не покладая рук. В мальчишек, даже в уродцев, которых брал из одной только жалости, он в конце концов всегда сам влюблялся или начинал их слишком сильно жалеть — и они, чувствуя это, лентяйничали. Нет, теперь только девочку…

Тут на Ферона словно холодным ветром повеяло: он понимал, что ему уже не поправиться. Он всего лишь приучает себя жить с болью, с немощью, с распадом своего тела.

Мотки пряжи на окне от солнца казались черными.

У дома остановилась повозка, кожаная завеса у входа откинулась.

Ферон думал, что это Норема ему воды принесла, но в дверях возник мальчик. Позади него виднелся человек постарше — знатный господин,

судя по парчовому одеянию, — и маячили еще какие-то люди.

— Прошу прощения, — сказал мальчик. — Ты Ферон, красильщик и ткач?

Ферон кивнул.

— Ты болен?

Ферон прищурился.

— Я тоже. Мы все. Меня зовут Топлин, я школяр из Саллезе. Был то есть школяром, пока меня не отослали домой. А рядом со мной господин Ванар. Можно поговорить с тобой?

— Да, конечно. Входите, прошу вас. Присаживайтесь…

8. Еще один парень, занимавшийся проституцией, лет двадцати четырех-двадцати пяти, был очень высокий (примерно шесть футов три дюйма), очень тощий, со светлыми курчавыми волосами. Ему тоже когда-то выбили передние зубы, и по бокам от его улыбки торчали собачьи клыки. Он, как и Джои, жил на улице, сидел обычно на ступеньках химчистки или болтался, руки в карманах, у магазина комиксов. Иногда просил купить ему что-нибудь на его деньги — пиво там или сэндвич: он, мол, слишком грязный, его не обслужат.

— Надо больше стараться, — дразнил я Джои. —

Думаешь, ты один такой беззубый торчок? Вон он, твой конкурент!

В конце прошлого июля, часов в десять утра, я встретил на Восьмой авеню Джои, в шортах и грязной бордовой майке.

— Привет, Чип, — сказал он, — поможешь комнату снять? Неохота сейчас ночевать на улице.

Я иногда давал Джои несколько долларов и водил его в «Фиесту» пива попить, если он выглядел более-менее презентабельно. В первые месяцы нашего знакомства, когда стояли сильные холода, я снял ему на неделю дешевую комнату. При этом я понимал, что должен перестать помогать ему, если хочу остаться его другом, и уже два года как перестал.

— Таких денег у меня нет, — сказал я.

— Ну пожалуйста. Уж очень тут стремно.

— Почему стремно?

— Помнишь парня, которого называл моим конкурентом? Беззубого?

— Помню, и что?

— Убили его.

— Да что ты!

— Прошлой ночью. И он уже пятый.

— За что? Что случилось?

— Э, мужик, последнее время у нас черт знает

что творится. Ты просто давно тут не был. Какой-то чувак бегает по улицам и убивает людей. Спящих, в дверных нишах и всюду.

Джои прошел мимо магазина комиксов и заколоченных окон старого «Хеймаркета». Несколько моих знакомых называют этот отрезок улицы, непонятно почему, «Миннесота-стрип»; все работающие магазины на нем в это время уже открыты, а другие закрыты насовсем.

— Недели три назад пошел я к реке ширнуться. Иду по путям под мостом, мимо мусорной кучи, и чую… Знаешь, как трупак пахнет? Когда уже несколько дней пролежит? Да еще на жаре.

— Да, — сказал я, — вообще-то знаю.

— Ну и вот. Я даже и доставать ничего не стал. И смотреть.

— И не заявил никуда?

— Не, но через два дня слышу — нашли. Девку одну порезали и скинули с моста прямо в мусор. А в ту ночь, когда я там был, на Тридцать восьмой распотрошили парня, в дверях спал. Потом еще двух убили, парня и девку — эти спали где-то под лестницей. И записку оставили: «Смерть бомжам!» Он не просто убивает, чувак, а прямо кромсает — потому и думают, что убийца один и тот же. Конкурента моего знаешь где убили?

Прямо вон там, на Сорок шестой. У ресторана, куда актерский молодняк ходит. Они с напарником тоже спали под лестницей. Часа в четыре утра напарник проснулся и сказал, что пойдет позавтракает, а беззубый — не, я еще посплю. Через час напарник вернулся, а беззубому уже яйца откромсали и сердце вырезали! Вот что он делает, псих этот. Никто теперь не ложится спать, все боятся.

— Господи, — сказал я.

— Кто может творить такое с людьми?

— Да-а… Как же он домой возвращается, весь в крови?

— Ну, он это уже пять раз проделал — если ту первую девку тоже он завалил. Ее тоже искромсали порядком, но не так, как других.

Несколько минут спустя, когда мы с Джои расстались, я увидел на южной стороне Сорок шестой улицы огороженный полицейской лентой участок. Тело уже увезли, но криминалисты то ли еще не приступали к работе, то ли уже закончили.

8.1. Под высокими сводами зала совета слышалось:

— …не к этому мы готовились, когда карнавал объявляли…

— …да, такие беспорядки…

— …и на улицах, и под землей тоже, я слышал…

Советники выходили, шурша подолами длинных одежд, слуги принимались за уборку.

Один из министров подошел к женщине в белом платье, с косами, туго заплетенными от самых корней волос. Она взглянула на него, и он убрал протянутую к ней руку.

— Мы все согласились на приезд Освободителя, ваше величество, — промолвил он с непривычным для него волнением. — Но известно ли вам, что в столицу приходят и другие люди, бунтовщики и смутьяны — не вместе с ним, но, несомненно, из-за него? Они приходят, чтобы омрачить дни веселья россказнями о той самой чуме, от коей мы вознамерились их отвлечь. Я едва смею говорить об этом при вашем величестве, но наши таможенники находят у въезжающих в город множество колдовских фетишей, и ходят слухи о пришествии некоего темного чародея; недавно под кожаным покровом одной повозки нашли модель Колхари со всеми его улицами, переулками и колодцами, от Шпоры до Высокого Двора — такие модели обычно делают при разбивке садов. Не к добру это. Говорят, будто одна женщина

зажарила и продала на Старом Рынке двухголовую козу; что в старую гавань, когда туман всего гуще, приходят кроваво-красные корабли; что зеленоглазые рыжеволосые дети, играя в мяч у колодцев, добавляют к известным стишкам причудливые имена, наводящие страх даже на мудрейших из мудрых. На совете мы этого не обсуждаем, но известно ли вашему величеству, что по выходе из зала все только об этом и говорят?

Малютка-императрица, которой вскоре исполнялось сорок семь лет — карнавал в ее честь устраивали в зимний месяц крысы, совмещая день рождения с годовщиной восшествия на престол, — ответила кратко:

— Да. Мне известно все, что происходит в моем государстве. — Слуги и служанки, ожидающие ее, опускали головы и подносили ко лбу кулаки. Подойдя к ним, она обернулась и молвила: — А слышали ли вы, что в городе снова поминаются древние боги и демоны: Адов Бородавочник, Гауин, Троица Седжсеннинга, Онин хар-Жотхет, Амневор, Кригсбенского Хряка — возможно, даже Длиабаллоха и Дуник Йенеднис?

Молчание министра простерлось из конца в конец зала подобно нитям от узла в середине; слуги и другие министры оглядывались. Наконец

он воздел руки в широких рукавах и возгласил:

— Вашему величеству должно быть известно, что имена эти не произносились в дворцовых чертогах с…

— …с начала времен, когда безымянный бог счета взял в левую руку день, а в правую ночь и стал жонглировать ими, — без улыбки завершила императрица. — Они не произносились в этих стенах с тех пор, как я в них поселилась, барон Кродар. Да и вне их не особо произносилось, поскольку эти боги не здешние. Что за имена называют дети? Не Длиабаллоха ли, не Амневор, не Гауин? В раннем детстве эти имена наводили на меня ужас. А после моего переезда на север, когда мне представили целую вереницу новых безымянных богов и пообещали, что они будут мне защитой от древних демонов, я ужаснулась заново. Кто ужасает вас теперь — старые или новые боги? — Императрица улыбнулась и оперлась на руку Кродара. — Посмотрите вокруг, барон. Если бы я назвала имена этих злых божеств десять, пятнадцать, двадцать лет назад, здесь все обратилось бы в камень. Но посмотрите. Прислушайтесь. Те, кто нас окружает, живут как раз в том мире, который мы надеялись сотворить. В мире, где имена богов, наводивших некогда

ужас на добрую треть населения, теперь стали такими же безобидными, как стишки играющих в мяч детей. Безымянные боги воздвигли стены молчания, и злые силы, заключенные в них, больше никому не страшны. — Она помолчала. — Мы полагаем, барон Кродар, что можем проявить определенную гибкость — и даже должны ее проявить, если не хотим оказаться слабой владычицей. Я посовещалась с доброй моей визириней. Она напомнила мне, что мать моего деда, а ее прапратетка, как вы, конечно же, помните… что эта женщина, почитаемая на юге и пользующаяся весьма сомнительной репутацией на севере, взяла тем не менее северных драконов под свое покровительство и тем прославила Элламон. Думаю, мы можем оказать такую же милость древним страшилищам — кто знает, вдруг это прославит и нас. На время карнавала, по крайней мере.

8.2. Квини, с которой мы дружим со школьных лет, работает врачом в отделении скорой помощи одной из лучших нью-йоркских больниц. Она пригласила меня на завтрак. В кофейне на Коламбус-авеню, где столы плиточные, а официантами работают будущие актеры, мы пили кофе с корицей, заедая его перенасыщенным специями

фруктовым салатом и бейглами.

— Чип, у меня бывает от одного до трех случаев СПИДа за одну ночь! Я читала, что во всем городе заболевают от пяти до шести человек в неделю, но у нас в ночную смену получается больше. Может быть, рейтинг растет. Я скоро начну с одного взгляда определять, есть у человека СПИД или нет, — он, чтоб ты знал, не красит. А ведь наше отделение не очень большое — те, кто подозревает у себя болезнь, обращаются чаще в Сен-Винсент, где открыли специальную клинику. Я очень за тебя беспокоюсь.

Я заверил ее, что резко сократил свои сексуальные контакты помимо постоянного. (В Нью-Йорке, где секс так доступен, моногамные отношения между геями скорей исключение.)

— Проблема в том, — сказал я, пока мы ждали официанта (ожидание длилось десять минут), — что вирус пока не выявлен, и неизвестно, сколько продолжается инкубационный период. Возможно, и до трех лет, есть такая теория. Я соблюдаю осторожность с февраля восемьдесят второго (разговор происходил весной восемьдесят третьего), но хоть убей не помню, что делал три года назад.

8.2.1. Знакомые, умершие от СПИДа? Питер, полгода назад говоривший, что не знает никого

из больных, кроме своих пациентов, сказал, что его бывший психотерапевт с тех пор заразился СПИДом и умер. Неделю спустя я сам прочел в «Нэйтив» некролог на него. А поскольку в этом месяце подают налоговую декларацию, Питер узнал, что и его бухгалтера постигла такая же участь.

Супруги из магазинчика, где я копирую свои рукописи — он черный, она коричневая, из Вест-Индии, — сказали мне, что владелец соседнего бутика тоже недавно умер от СПИДа. Подруга из Сан-Франциско пишет, что у ее домовладельца саркома Капоши, сопутствующая СПИДу.

Самое близкое попадание — это Джордж Харрис, известный мне как Гибискус.

В 1967, когда в «Незримом театре» на радио WBAI ставили мою пьесу «Звездная яма», младший, пятнадцатилетний тогда, брат Джорджа играл в ней двойную роль Ратлита/Ана, но связь между ними я установил много позже.

В начале 1970, моего второго года в Сан-Франциско, Линк сказал, что в коммуне, где он теперь живет, много интересных людей, в том числе Гибискус и Скрамбли. Они увлекаются театром и хотят ставить яркие, энергические спектакли. Значит, подход у них эклектический? Нет, весьма

строгий; впрочем, они могут взять что угодно и превратить это в захватывающее зрелище. Свой театр они назвали «Кокетки».

Кое-какие их постановки я видел и в Нью-Йорке, и в Сан- Франциско: «Дороти и волшебник из страны Оз», «Шанхайский жемчуг», «Младенцы на Бродвее». В сан-францисском кинокомплексе, где они выступали, произошло вот что: пока публика еще рассаживалась, щуплый юноша в белой комбинации, бордовой накидке и торчащих снизу баскетбольных кроссовках взобрался на золотой барабан, зажег петарду и воздел ее кверху, как дама на заставке «Коламбия Пикчерс».

Публика обезумела — как и актеры, резвившиеся на сцене несколько часов, как тигрята.

— Кто придумал эту штуку с «Коламбией»? — спросил я Линка.

— Гибискус.

После «Кокеток», насколько я знаю, остался только довольно занудный цветной фильм «Свадьба Триши» (дочери нашего тогдашнего президента) со ссылками на войну во Вьетнаме. Линк отметился там в роли реакционной мадам Нгу из Южного Вьетнама, отвечающей на въедливые политические вопросы «без комментариев». «Кокетки» были бандой веселых

импровизаторов, сплошные бороды и браслеты, но послевкусие от них оставалось скорее как от гораздо более строгих, в хаки и джинсе, актеров из «Гранд Юнион констракшн компани», благодаря которым в Нью-Йорке несколько лет спустя стало можно кое-как жить. «Свадьба Триши» — это серия говорящих голов, где женщины изображают мужчин и наоборот, то есть нечто противоположное обычной — шумливой, но с неловкими до истерики паузами — манере «Кокеток». Поэма Хэкер «Воображаемый перевод III» дает несколько стилизованный отчет об их представлениях. Рекс Рид, приезжавший их посмотреть в Сан-Франциско вместе — так, по крайней мере, шептались в публике — с Трумэном Капоте, написал потом рецензию, на удивление хорошо ухватившую если не интенсивность, то смак этого карнавального буйства.

С Гибискусом меня познакомили (где-то в Норт-Бич?) Линк и Скрамбли. Это был крупный бородатый блондин, этакий святой Себастьян двадцати с чем-то лет, в голубой хламиде, золотом ошейнике и маргаритками в волосах. Голос у него звучал чуть выше, чем я ожидал.

Но когда я пришел к выводу, что Гибискус, один из лидеров труппы — подлинный гений сцены,

он ушел из «Кокеток», как из коммерческого и переставшего быть интересным театра.

Вернувшись в Нью-Йорк, я поселился в отеле «Альберт» на Западной Десятой улице. С год спустя то же самое сделали и «Кокетки», заняв почти весь восьмой этаж, отчего и без того пестрый отель, приют рок-групп и всевозможных голодранцев, вступил в новую стадию хаоса, с вторжениями Ангелов Ада, трансвеститов из разных штатов — визиты Дивайнз и Холли Вудлоун стали сенсацией месяца — и университетских лидеров «Гей Либерейшн» из Джерси. Я спускался со своего десятого этажа к Линку, игравшего теперь мадам Чжин Слинг в «Шанхайском жемчуге», здоровался со Скрамбли, водил Линка и приезжавшего к нему брата ужинать в таверну «Кедр» на Университетской площади рядом с отелем.

Поднимаясь на лифте из «Ручной стирки Розмэри» (в «Альберте», между прочим, ночевал Авраам Линкольн, прежде чем произнести свою знаменитую речь против рабства в колледже Купер-Юнион), я то и дело сталкивался со здоровенными, как футболисты, черными проститутками в мини-юбках с красными, как рождественская гирлянда, губами; некоторые из них раньше были мужчинами, некоторые нет.

В тот период я потерял то, что прежде считал генетически неискоренимым в человеческом мозге (возможно, это был фактор выживания вида): мне стало безразлично, какого пола был раньше стоящий рядом со мной человек. В субботу и воскресенье утром лифт был залит мочой, в которой плавали блестки. На стенке как-то написали помадой:

Ищешь СТИЛИСТА?
НЕ звони Пэтти
515–4136
УСТАЛ УЖЕ!

На театральном этаже было весело, но чувствовалась усталость после спектаклей (как и у Пэтти). Каждый вечер в старом театре Андерсона на Второй авеню «Кокетки» в серии самых неравнозначных шоу гальванизировали всех, кого можно было гальванизировать. Я ходил на них раза четыре и водил туда уж не помню сколько друзей. «Войс» сделал о них обзор и неделю спустя дал умеренно восторженный отзыв. Да, это было трудное, требующее осмысления искусство, но я долго, глубоко внутри, был уверен, что нельзя понять, что такое искусство, не слыша, как Джонни, герой «Младенцев» — хрупкий, с белокурой бородкой, с зелеными тенями на веках, в сереб-

ряной парче, поет «Бродвейскую колыбельную», не попадая ни в ноты, ни в такт, то опережая аккомпанемент, то забегая вперед; публика вопит и хлопает, и он, сквозь настоящие слезы, восклицает: «Я не думал, что все будет так! Спасибо, Нью-Йорк! Спасибо вам всем!» И посылает воздушные поцелуи, и рассыпает блестки, а весь прочий состав выходит из-за кулис и отжигает «Лестницу в рай», вдохновленную, безусловно, первой частью «Концлагеря» (которую большей частью написал Линк, большой фанат Диша).

Шоу Линна Картера «Джуэл Бокс Ревью» — хотя у него есть своя магия — до такого никогда не дотягивало.

Это был эстетический опыт, создававший, по крайней мере на один вечер, иллюзию лишенной содержания формы — если точно, всех форм обольщения, освежающе лишенных самой материи обольщения, то есть моментов эстетической продукции, внушающей нам разными привычными способами, что форма и содержание есть единое целое. У содержания, само собой, должна быть какая-то форма. И форма, само собой, создает свое содержание или комментарий. Потому-то химеры кокеток», гоняясь одна за другой, и производят такой эффект, представляя нам подлинное

Искусство.

Гибискус, уйдя из театра, начал создавать в Нью-Йорке столь же инновационную труппу под названием «Энджелс оф Лайт». Если Роберт Уилсон и Ричард Форман — это наследники вагнеровского *Gesamtkunstwerk* с его глубокой серьезностью и затемненным зрительным залом, то Гибискус и его театры-коммуны демонстрируют подход, прямо противоположный вагнеровскому, то есть дионисийское начало в модернизме, ведущее к постмодернизму. (Пару раз на ранних сан-францисских спектаклях свет в зале не выключался вообще — никто, видно, просто не знал, как это делается. Но Гибискус, приказав за кулисами «Ничего, пошли!», преобразил этот технический ляп в море света, где все можно как следует рассмотреть.) До него это делал Чарльз Ладлэм, после него Этил Эйхельбергер, так что он определенно не одинок. Общность — вот к чему всегда стремится самоуверенность и бесстрастие такого уровня. У всех нас есть свои пантеоны — канонов больше не существует. Гибискус, помимо всего прочего был, вместе с Марией Ирен Форнес и Джудит Малина, одним из постоянных режиссеров Утопического радиотеатра Дилэни.

Два года назад в «Виллидж Войс» появилось

сообщение, что человек, чью руку я пожимал в Сан-Франциско — Джордж Харрис, он же Гибискус, умер от СПИДа. Раньше я читал только о «гейском раке», саркоме Капоши, и лишь эта статья впервые упоминала о других сопровождающих инфекциях (Харрис умер от пневмоцистной пневмонии).

8.3. — …что Освободитель вот-вот будет здесь.

Глиняная стена к вечеру остыла. Нари, приложив к ней руку, перевела взгляд с черного окна на свои тускло-красные от лампы пальцы.

— Так как, Садук, пойдем мы туда?

Он сидел на краю кровати, свесив руки между колен.

— Ты ведь не про карнавал говоришь?

— Ну, ты же слышал их.

— Кто ж не слышал. Нари, я не думаю, что нам надо…

— Это устраивается для всех, у кого больны родные и близкие.

— Ферон не родня нам.

— Ой, Садук!

Он перекинул ноги на другую сторону и сел к ней спиной. Нари при свете лампы пыталась рассмотреть родинку под его правой лопаткой и три веснушки на левой. Знает ли он, что они у

него есть? Красный свет все сровнял — позвонки, ямки между ними и мышцы.

— Я не знаю даже, где это будет, — сказал Садук.

— Две старухи с соседнего двора говорили, что где-то на Шпоре…

— Понятно, что на Шпоре, но где?

— Говорят, там есть таверна с большим подвалом. — Тень Нари легла на кровать и спину Садука. — Какое-то старинное подземелье, раньше там было… я не поняла что. Туда много народу пойдет, потому что и больных много — к завтрему, как карнавал начнется, узнаем, куда идти. Я хочу пойти, Садук.

На улице кто-то завопил, следом послышался смех. Под соломенным потолком трепетал желтый свет — кто-то шел мимо с факелом, пропитанным дорогим маслом, затмевая их дешевое красное.

Садук встал. Его глаза были посажены слишком близко для тяжелых черт, но Нари всегда говорила, что ей это нравится.

— Ладно, пойдем. — Он задул лампу. — Авось узнаем, где это.

Она потянулась к нему в темноте, заново дивясь, до чего он большой. Он обнял ее, поставив

лампу на стол.

8.4. Солнце хорошо высушило фрукты, разложенные Нари на крыше пару недель назад. Садук, умывшись холодной водой из корыта, вышел на улицу. Ее наполнял грушевый свет, перемежаемый абрикосовыми лучами солнца на стенах.

По переулку спускалась пухлая голенькая девчушка лет семи, опираясь на палку с насаженным сверху кошачьим черепом.

Садук сначала подумал, что на ней маска, но она просто углем намазала вокруг глаз.

— На карнавал собираешься? — спросил он умиленно. — Погоди-ка, я кое-что тебе дам.

Он вынес ей пригоршню сушеных абрикосов и слив. Девочка ждала, уперев в пыль свой посох. На груди у нее висела астролябия, свободной рукой она прижимала к животу три мраморных шарика и никак не могла принять подношение, не выпустив либо их, либо посох.

— Не надо мне их. Я на карнавал не иду.

— А это? — Он показал ей черный с оранжевым лоскут, который Ферон хотел выбросить, а Нари сохранила на всякий случай. — Дай повяжу тебе на плечи, как плащ. — Фрукты он спрятал в кожаный кошель у себя на поясе. — Тебе к лицу будет. — Так говорил Ферон, принося ему или

Нари образцы своего мастерства.

Девочка задумчиво прикусила губу — у Садука, присевшего на корточки, стали затекать ноги — и наконец сказала:

— Ладно, только я не на карнавал иду, а на пришествие Амневора.

Садук накинул на нее лоскут, завязал свисающими из ткани нитками и встал. Правую икру неожиданно свела судорога, но он удержался от гримасы, чтобы не напугать девочку. Однако… не имя ли древнего демона, которому поклонялись задолго до безымянных богов, вызвало эту судорогу? Что за глупость!

— Ты варвар? — спросила девочка.

— Да. — Боль сделалась нестерпимой — и вдруг прошла. Садук переступил с ноги на ногу.

— Кудьюк?

— Нет. Кудьюк — это мой брат.

Девочка кивнула.

— Тебе понравится карнавал. Отец говорит, что варвары любят карнавалы больше всего на свете.

— Да я ведь тоже… — Он чихнул, не успев сказать «тоже на карнавал не иду». Боль в ноге возобновилась. Садук повернулся и ушел, чувствуя себя крайне глупо. Может, вернуться и

спросить, куда это она собралась? Авось обойдется без новых судорог и чихания? Нет, недосуг. Надо пойти проверить, надежно ли заперты его будка и мастерская Ферона — во время карнавала всегда озоруют. Потом зайти к Ферону, спросить, не надо ли чего, поговорить с ним, если он в силах. Ферон попросил принести в его комнату один из малых ткацких станков. Сидеть и смотреть, как его исхудалые руки продевают челнок сквозь нити основы, из тени в свет, значит познать самую суть труда: все, что отняла болезнь, уходит в работу. Отчего Садук не чувствует этого, глядя, как Нари грузит мокрое белье на тележку? Отчего не чувствует, когда сам работает с кожей? Он оставит Ферону сушеные фрукты, но не скажет про пришествие этого… как его там.

8.5. «Набокова нельзя читать, как документ его времени», — пишет Энни Диллард в книге «Жизнь по беллетристике». Интересно, как еще можно читать первую треть «Лолиты», «Пнин» или предисловие к «Бледному огню». Неверионская серия, от первой повести до последней — это документ нашего времени, позвольте сказать, притом составленный очень тщательно. Вот кое-какая документация на предмет Джои.

8.5.1. Прошлым летом, когда мы с ним разго-

варивали, прислонившись к стенке «Макхейла» рядом с «Фиестой», мимо нас прошла грузная черная женщина в черном пальто, расшитом цехинами. Она вела за руку девочку лет шести-семи, в розовом платьице и с тугими косичками. Точно из гарлемской церкви вышли лет тридцать назад — может, они играли в одном из бродвейских театров? Девочка показала на Джои и спросила:

— Мама, это Христос?

Женщина смущенно улыбнулась, и они пошли дальше.

— И вот так все время, — ухмыльнулся сконфуженный Джои. — Они что думают — Иисус на беззубого торчка был похож?

Однажды Джои вызвался помогать кровельщикам на ремонте местной церкви. За это его кормили и позволяли ночевать в церковном подвале. Каждый раз при встрече со мной он подсчитывал, сколько заработал бы, если б ему платили по нормальным расценкам.

— Две тысячи баксов, вот сколько! Да где там, я ж долбаный Иисус.

8.5.2. В другой раз он рассказал:

— Один мужик, значит, приводит меня к себе. Ему сорок один. После того он ведет меня в ванную, ставит рядом с собой перед зеркалом и

говорит: «Тебе тридцать, а смотришься старше меня, на все шестьдесят». Я ведь так не выгляжу, нет?

Джои исполнилось тридцать в июле восемьдесят третьего. (А мне в этом апреле — сорок один!) Я как-то не замечал раньше, что он выглядит старше меня — но по его костистой физиономии вообще трудно определить возраст.

8.5.3. Примерно тысячу триста случаев СПИДа назад (общий итог приближался к трем тысячам) мы сидели в «Фиесте» с Луисом.

Рядом с нами на стойке лежала рабочая рубашка Джои в черно-белую клетку — сам он побежал за кем-то и должен был вернуться через минуту.

Луису двадцать три, он худой и похож на бандита. Наполовину ирландец, наполовину пуэрториканец, с историей точно как у Джои, так что пересказывать подробно не стоит: проституция, наркотики, жена на пару лет старше (живет где-то в Бруклине, выгнала его полтора года назад), ребенок. Зубов у него тоже недостает, но есть мост, который он время от времени цепляет языком и перекатывает во рту. Я знаю его года два, и половину этого времени они с Джои «напарники»: обмениваются клиентами, делятся наркотиками, тусуются вместе.

— Вы занимаетесь этим друг с другом? — спросил я как-то.

Луис пожал плечами:

— Я бы не против, но Джои не хочет. У него типа свои правила.

Они друг за друга горой, но под кайфом один охотно рассказывает, как обдурил другого. Постороннему такая перемена представляется эксцентричной и непредсказуемой.

— Насчет СПИДа не волнуетесь? — спросил я Луиса, пока мы ждали Джои. — Вы ведь оба работаете. — «Работают», на сленге тружеников секса, как мужчины, так и женщины. — Притом интенсивно.

— А че это вообще, СПИД?

— Ты что, правда не слышал?

— Слышать, конечно, слышал, но не знаю никого, кто бы его подцепил.

— Ты Джои спроси. — Мы с Джои пару раз об этом беседовали.

Луис языком водрузил мост на место.

— Ну, знаешь, у Джои теперь поважней заботы. По-моему, он плохо ест, вон худющий какой. Может, и подцепил как раз? Да не, мы просто плохо питаемся.

— Может быть, — кивнул я.

— А ты слыхал про убийства?

Похоже, геи-проститутки в Нью-Йорке ведут себя как ни в чем не бывало. Ходит даже анекдот, что СПИД — это болезнь среднего класса… да, как же. Однако думать об эпидемии думают — примеры этого встречаются то и дело. В порнушном кинотеатре за квартал от бара часто бывал шустрый латинский карлик — он усаживался на ступеньках балкона и болтал с геями. Мы с ним всегда здоровались. Несколько месяцев назад он пропал, и я почему-то решил, что у него СПИД. Как-то я спросил черного доминиканца, с которым часто видел его и которого, насколько я понял, звали Панама:

— Не знаешь, где Коротыш?

Тот поправил вязаную шапочку, блеснул золотозубой улыбкой и с сильным акцентом ответил:

— Так он в Перу свинтил, боится этой фигни со СПИДом.

…Джои, в своей майке и потрепанных джинсах, вернулся и сказал Луису:

— Ты у меня опять в черном списке, понял?

— Чего? Да брось! — Луис потряс головой. — Двадцать минут назад я его лучший друг, а теперь нет, выходит. — Он слез с барного табурета и пошел к двери, продолжая качать головой.

Джои сел, положив татуированные руки поверх рубашки.

— Знаешь, что я про этого гаденыша узнал?

И начал рассказывать.

8.5.4. — Я, может, и торчок, но не вор. С тринадцати лет меня ни разу не арестовывали! — Это я слышу от Джои то и дело. У меня он точно ни разу ничего не стащил; когда на столе или на стойке бара лежит какая-то мелочь, он всегда говорит: — Убери-ка, а то хватишься потом и подумаешь на меня. — Когда я выронил из кармана паспорт — самый ходовой товар на панели, — Джои догнал меня и вернул его мне.

В первую зиму нашего знакомства он умудрился съездить на месяц во Флориду. Мы вместе провернули его дорожную стирку, я проводил его на автобус, а когда мы случайно встретились после его возвращения, он сообщил, что его там арестовали «за проституцию».

— Смотрю я, значит, пип-шоу в Майами, а тут мужик этот подходит и спрашивает: «Дашь отсосать за двадцать баксов?» Я такой: «Давай!», и тут другой мужик меня арестовывает! Жаль, что не отсосал. У меня ведь больше не встает, знаешь, даже кончить не всегда получается — это от дури. Отстегнул бы коп двадцатку за вялый. Но я сразу

понял, что он не из тех — сразу! Видно было, что это коп! — При этом Джои, отсидев свои тридцать суток, продолжает заявлять, что с тринадцати его ни разу не арестовывали.

8.5.5. Как определить, является то или это документом своего времени? Возьмем, к примеру, «Модуляции» Ричарда Костелянеца: тонкие черные линии и кружочки переходят, слегка меняясь, с одной желтой странички на другую без текста, картинок и даже без цифр. Даже если вы не видите в этом намек или прямую ссылку на урбанистическое восприятие реальности — не менее ясные, чем на любой из картин Мондриана — то разве это не документ?

Определенный художник в определенное время интересуется определенными направлениями. Понимание специфики и комплексного значения, связанных с любой из трех величин (время, художник, направление), — это вопрос прочтения. То, что среднеосведомленный читатель, не слишком хорошо знакомый с Костелянецем, сразу определяет, что «Модуляции» — это продукт семидесятых, а не дадаистское произведение двадцатых годов, лишний раз подтверждает, что направления узнаваемы, поддаются прочтению и принадлежат истории.

Если вся человеческая продукция — не только эстетическая — имеет документальный аспект, когда осведомленный читатель ассоциирует ее с определенным местом и временем, не подвергает ли это опасности эстетические аспекты как таковые? Здесь на кону значительность направления. Как глубоко надо вникнуть в историю искусств, чтобы понять, что принадлежность определенной эпохе и историчность — совсем не одно и то же?

8.5.6. На вопрос, считает ли он себя геем, Луис ответил:

— Даже не знаю. Мне нравятся женщины, то есть раньше нравились — я уже два года с ними не сплю и не скучаю вообще-то. И мужики тоже нравятся. За последние годы переспал с целой кучей и крепко в этом уверен. Не хочу, правда, чтобы об этом кое-кто знал. Когда продаешь валиум, косяки и таблетки на углу Сорок второй, там членососов не любят — но как же это здорово, пососать! Особенно если под кайфом. И даже если не балдеешь, все равно хорошо. Понимаешь, о чем я? — Я кивнул, Луис ухмыльнулся. — Ясное дело. И когда тебе сосут, тоже хорошо, а? — Он пихнул меня локтем, я засмеялся. — В общем, не знаю. Может, я и гей. Как-то не задумывался об этом.

Джои на тот же вопрос ответил:

— Конечно! Уже лет двенадцать — я ведь тебе рассказывал.

8.6.1. Мне не очень-то хочется писать о некрасивом происшествии, послужившем моделью для следующей главы. Случилось это пару дней назад, в кино, где за несколько мест от женоподобных пуэрториканцев сидел гетеро, предположительно, сексуал маленького роста, с мускулатурой рабочего, пивным пузом, редкими волосами, в очках и с пуховиком на коленях. Непонятно с чего он начал их обзывать. Не хочется писать, и не буду — скажу только, что испытал гордость за наших.

8.6.2. В первое утро карнавала около дюжины дубильщиков шли по улице Мусорщиков, собираясь начать свой первый шестичасовой рабочий день вместо обычного десятичасового. Один из них пел высоким фальцетом и смешил друзей лицедейскими жестами. Двое — один белокурый варвар, другой местный житель — завязали волосы цветными шнурками, и длинные концы стегали идущих сзади. Такими шнурками традиционно повязываются на праздник абл-айнийские женщины. Идущим то и дело при-

ходилось обходить кучи земли по бокам улицы.

Один дубильщик нечаянно задел встречного — малорослого, подслеповатого, но с крепкими мышцами, пивным пузом и редкими волосами.

— Эй ты! — завопил тот, шарахнувшись в сторону. — Не трожь! Ты заразный. Вы все заразные. Хочешь, чтоб и ко мне зараза прилипла? Не трожь, говорю!

Двое принялись передразнивать ругателя, еще двое подступили к нему, заставив его поспешно пробежать мимо.

Затейник снова запел, но никто больше не смеялся.

Шагах в десяти за ними шла в свою прачечную Нари — колхарийцам на праздники требовалось, похоже, вдвое больше чистой одежды. Она вспыхнула, услышав слова коротышки, и обиделась за дубильщиков. Ферон однажды, когда они с Садуком принесли ему сыр, маринованные яйца и пряное мясо, сказал им: «Теперь вы знаете, в каких ремеслах больше — как бы это сказать — парней с тонкими голосами и умелыми пальцами. — Они сидели на крыше, где он временами ткал. — Это лицедеи, дубильщики и возчики, что приезжают ранним утром на рынок…»

«Да ладно тебе! — вскричал Садук, выковыри-

вавший ножом пробку из кувшина с сидром. — Неужто все эти здоровенные ребята, что тарахтят по утрам мимо моей будки…»

Ферон замахал руками, отметая его возражения.

«Знаете, когда я юнцом пошел работать в дубильню, отец без конца твердил всем знакомым и мне: “Не думайте, что дубильщики все такие”. Я поначалу ни о чем таком и не думал, но вышло, что старик мой был прав. Были там двое парней, которые в жизни не любились с мужчинами, обожали женщин и против нас, прочих, ничего не имели. Я, честно говоря, не понимал, почему они там работают. А после того, как мы с отцом повздорили на мосту, я слышал, как он снова сказал кому-то: “Если парень дубильщик, это еще не значит, что он *такой*”. Это он, думаю, меня выгораживал, но я тогда был наглый щенок и сказал ему: “Слушай, двое наших и впрямь не такие, но почему ты всегда защищаешь *их*? Ты их даже не знаешь. Почему не меня?” И знаете, больше он не говорил так. Я по нему скучаю. Ну что, Сади, скоро ты там? Не помочь ли тебе?»

С той стороны улицы Нари махала молодая толстушка-варварка. Она поступила в прачки недавно и потому пришла раньше всех. Хозяйка

и работница вместе прошли в калитку, ведущую на прачечный двор.

8.7. Бритоголовый костлявый Рональд с бирюзовым кольцом на пальце владеет не слишком процветающим антикварным магазином вместе с партнером, толстячком Роем. Летним вечером, когда на дверях висит табличка «закрыто», но внутри кто-то есть, можно зайти туда на мартини с водкой и пообщаться с соседями.

— Должен же я был сделать хоть что-то, — сказал однажды Рональд собравшимся. «Что-то» означало волонтерскую работу по уикендам в больнице для спидозников. Рядом с Рональдом на мольберте стоял байройтовский китч: Вагнер за роялем, одна рука на клавишах, из-под откинутой крышки исходит серое облако, где угадываются лебеди, рыцари, гномы, вороны, драконы, богини-воительницы в крылатых шлемах, Венера в позе Милосской, но без покровов, одноглазый скиталец и попавший в бурю корабль. Рональд качнулся назад (этикетка на подлокотнике качалки показывала 290 дол) и добавил: — Теперь у меня около семидесяти пяти пациентов. — То, что все они больны СПИДом, было ясно без слов. — И каждый из них регулярно колется внутривенно! Читали вы что-нибудь об этом в «Тайм» или

«Нью-Йорк Нэйтив»?

Еще один анекдот.

8.8. — Ты не на карнавал идешь, — с укором сказала Ларла, — а на Шпору, на то ужасное сборище. Я же слышу, ты всю неделю про это бубнишь. — Ларла неуклюже сгребла толстыми пальцами кружку, миску и тряпку. — На пришествие этого… даже и говорить не хочу.

— Амневора. Да, — подтвердила старуха, стоя в коричневом плаще посреди кухни.

— Но это же ужасно. — Ларла суетилась, кладя на место одно и хватая другое. — Это дурная вера. У богов нет имен. Я это знаю с детства, как и ты. А что ты можешь знать про этого Амневора?

— Я помню кое-что. Издавна. Что-то о смерти и времени. Смерть не умиротворишь курами, кошками и собаками, жертва должна быть…

— Не ходи, прошу тебя! Не делай этого ни ради меня, ни ради них. — Ларла поскребла одной рукой внутри плошки и подняла глаза к потолку. — Они ведь об этом толкуют? Все эти несчастные страдальцы, которых приводит наш господин? Там у него человек двадцать пять, и среди них две женщины. Они тоже больны? Женщины ведь как будто не заражаются, так я слышала. Страшно это, если мы тоже можем…

— Нет-нет, — сказала старуха. — Им Амневор ни к чему. Но мы, немногие, думаем, что он может смиловаться над ними, если мы постараемся. — Она пошла к двери, а Ларла, выронив все, что держала в руках, вскричала:

— Откуда ты знаешь, куда идти?

— Когда его милость посылал меня в дома других болящих, я говорила с многими и узнала о многом.

— Так он созвал болящих со всего города? — Ларла опять посмотрела вверх.

— Нет-нет, их куда как больше. Здесь те, что еще могут сесть в присланную за ними повозку.

Ларла опять посмотрела вверх.

— Думаю, они все же говорят о том демоне, что бродит по городу и омрачает наш карнавал, устроенный в честь Освободителя. Он должен быть в городе, иначе как он вам явится? И для чего бы еще они тут собрались? Говорят, что волшебник…

— Нет-нет, — в третий раз сказала старуха. — Их заботит лишь собственная смерть и то, как им дожить до нее. Амневор должен прийти ради нас, так мне сдается. — И она вышла, не глядя больше на Ларлу.

8.9. Видел Джои вчера вечером. Он говорит, что

совершено еще четыре нападения на бездомных — последняя жертва погибла позавчера. Мы с ним сидели у бара в почти пустой «Фиесте» с ее оранжевыми огнями и старым музыкальным автоматом. («Я то, что я есть» смолкло впервые за вечер.) Из-за неоновой пивной рекламы в окне ночь казалась еще темнее.

— В два часа ночи разговариваю на Девятой авеню с парнем, а через три часа слышу, что ему сердце вырезали в этом треклятом парке! Еще пять за три недели, а всего девять. Каждого покромсали, как дыню, твою-то мать. Я не считаю того бедолагу, что спал на скамейке, а четверо пуэрториканцев шли мимо, да и перерезали ему горло — просто так, ни за что! Их-то сразу поймали — думали, может, это они или какие-нибудь мелкие бандюки задумали нас всех перебить. Но нет, думаю, не они. Я теперь вообще по ночам не сплю, только днем, в парке. Просыпаюсь в пять-шесть вечера, а кругом офисные девчонки сидят и аплодируют. — Джои похлопал себя по татуированным бицепсам. — Глядите, проснулся мудила!

9. В первый вечер карнавала мать Топлина, сидя на краю кровати, поддерживала голову сына. Его рвало желчью в подставленный таз, потом

рвать стало нечем, но все его тело содрогалось от спазмов. Мать удержалась и не сказала, что зря он ездил к этому человеку: он болен и должен лежать в постели. Она уже сказала это, когда его привезли домой (но забыла), а теперь и вовсе незачем стало. Между спазмами мальчика трясло, искры перед глазами чередовались с тьмой.

Варварка, помогавшая матери по хозяйству, остановилась в дверях. Она пришла сказать, что Освободитель прибыл в город и вот-вот проедет мимо. Может, Топлин сядет у окна и посмотрит? Она скамейку ему подвинет, подушку положит… Но на улице уже слышались восторженные крики; женщина постояла в дверях, глядя, как корчится Топлин, вздохнула и пошла обратно на кухню.

9.1. Ко мне зашла расстроенная Сарена.

— Только что была у Герба в больнице, у него СПИД. Он ужасно выглядит, Чип, — не то труп, не то уже призрак. Я три месяца его не видала, не знала, что дело так плохо, и теперь совершенно потрясена. — Сарена южанка и часто употребляет слова вроде «потрясена». — Просто сама не своя.

Сам я с Гербом незнаком, хотя Сарена часто о нем говорила. День спустя она позвонила и сквозь слезы сообщила, что утром Герб умер.

Придя в следующий раз, она сказала:

— Это ужасно, но после Герба я боюсь тебя обнять и даже пожать тебе руку. Знаю, это, кажется, не настолько заразно, но вдруг…

Она не прикасалась ко мне еще три недели, а я тем временем читал о медсестрах, боящихся ухаживать за больными СПИДом, о совершенно здоровых геях, которым в гостях подают еду на бумажных тарелках и увольняют их с работы наряду с гаитянами — просто на всякий случай; в то же время самый главный в США человек, демонстративно пожимая руки больным на шоу Фила Донахью, заявляет: «Насколько нам известно в данный момент, СПИД — одна из наименее заразных болезней. Нет никаких свидетельств того, что он передается через прикосновения, пищу и воду. Единственные известные способы заражения — это многократные сексуальные контакты или обмен препаратами крови». А «Нью-Йорк Нэйтив» честно докладывает, что если у одного из пары любовников СПИД, вероятность заболевания другого составляет всего 10 %.

9.2.1. Понимаешь, Прин, не верю я во все это: в магию, чудеса и в богов, есть у них имена или нет. Я сочиняю свою музыку, и она делает людей счастливыми — или просто напоминает им о

каких-то счастливых мгновениях. Когда я была намного младше тебя, то видела порой в Гончарном ряду какую-нибудь амфору, выставленную сушиться, и ее очертания в лучах предвечернего солнце казались мне совершеннее самого красивого дерева. Или слышала сказку, показывающую в новом свете устройство нашего невыдуманного мира. Или смотрела представление с песнями, танцами и речами, создающее жизнь куда ярче действительной. Эти откровения называют порой сверхъестественными, но почему они менее естественны, чем то, что безымянные боги открывают нам в детском смехе, в закате над горной грядой, на берегу бурного моря?

Надо, однако, приготовиться, верю я или нет. Толстенький варвар, с которым ты столкнулась в дверях, и есть чародей, снявший подземелье для поклонения темному божеству. Чего он хотел? Да чтобы мы с тобой играли на его церемонии. Не так уж все страшно, Прин. Я давно его знаю, и он человек хороший. Знаю, ты веришь в такие вещи больше, чем я — потому, наверно, что много путешествовала, — мне-то служит защитой мое домоседство. И любопытно ведь посмотреть вблизи на его шарлатанство. Нам надо быть там пораньше, возьмем же наши барабаны, цимбалы,

арфы и флейты.

Да, я в это не верю, но отказать ему не могу. Он говорит, что моя музыка — тоже магия.

9.2.2. Прин с весьма немелодичным лязгом опустила мешок на пыльный каменный пол. Где-то очень высоко в тусклом дымном свете виднелись потолочные стропила.

— Куропаточка моя! — Чародей с белокурой бородкой, в голубом хитоне и золотом ожерелье, сам мог за куропатку сойти. В волосах у него торчали четыре увядшие маргаритки. — А где же твоя хозяйка?

— Скоро придет. Сказала, что репетировать будем долго, и хотела купить на Старом Рынке булок и колбасы.

— Ну что ж, она ведь хорошо меня знает. Это чудесно, что вы обе пришли. Пойдем, покажу тебе, где инструменты поставить. Замечательное место, не правда ли? Как ты думаешь, что здесь было раньше? — Прин, взяв мешок, поспешила за ним. — Ты уже здесь бывала?

— Да, однажды. Давно. Когда впервые попала в город.

— Вот как? — вскинул бровь чародей.

Меж двумя колоннами стекала вода, вливаясь в протекающий по залу поток. Чародей и Прин

перешли деревянный мостик.

На том берегу уже кипела работа. Одни катили большие рамы с натянутыми на них темными расписными шкурами, другие несли обернутые тканью шесты. Две женщины втаскивали наверх на веревках огромное полотно — оно колебалось, и Прин не разглядела толком, что на нем нарисовано. Трон в конце зала оставался в тени, но неподалеку горело несколько факелов: там копали какую-то яму, стоя по плечи в ней.

Заметив, как видно, что Прин смотрит туда, Чародей подвел ее к самому краю. Прин собралась уже спросить трех голых землекопов, чем они заняты, но тут один из них бросил кирку, встал на колени и стал разгребать земляную стенку.

— Что там у тебя? — спросил Чародей.

Из-под рук землекопа сыпалась земля и мелкие камешки. Наконец он отрыл что-то, отряхнул и поднял свою находку высоко, к свету.

Сверкнуло серебро, нисколько не потемневшее в земле. Да это же латная рукавица!

Чародей взял ее в руки. Рукавицу покрывали причудливые знаки, а кольца на ее ободе, как ни странно, легко поворачивались.

— Это она! — вскричал Чародей. — Нашли!

У одного землекопа вся спина была исполосо-

вана, не иначе кнутом — так наказывают рабов и преступников. Чародей надел рукавицу на свою довольно тонкую руку, порылся в складках и карманах своего одеяния и достал металлический диск на кожаном шнурке, не больше своей ладони.

Варварские письмена по краям, прорези наверху (это были, собственно, несколько дисков, скрепленных посередине).

Землекоп с рубцами на спине взял астролябию у Чародея и закопал в углубление, где раньше была рукавица.

— Ну, уж такого ты точно не видела, — сказал Чародей.

— Отчего же, я…

Но он уже командовал:

— Хорошо, теперь закапывайте! Засыпайте яму!

Двое землекопов вылезли и стали горстями ссыпать землю в яму. Третий, утрамбовав как следует стенку, тоже вылез и присоединился к ним. Лопату и одну кирку тоже сбросили в яму.

Люди вокруг останавливались и задирали головы.

По залу прокатился грохот, в котором Прин распознала эхо конских копыт.

— Что это? — прошептала она.

— Отряд Освободителя проезжает над нами. Можешь выйти наверх через таверну и посмотреть, если хочешь.

Многие уже шли к темной нише, где наверняка помещалась лестница.

— Он тоже здесь будет?

— Не думаю. Вряд ли он знает об этом месте, одном из самых тайных в Неверионе. Нет, он просто едет мимо, ничего не ведая о пришествии великой Амневор — ему это ни к чему.

— А это что? — Прин взглянула на яму, засыпанную уже на треть.

— А-а! — Чародей склонился к ней и заговорил тихо, почти шепотом: — Это могила, где лежал принц! Я дорого дал за сведения о ней, уж поверь! Сначала мы копали вон там, — он показал куда-то во тьму. — На глубине всего пары футов нашлись кости, оружие, куски старинных кожаных лат, но нам сразу стало ясно, что это могила общая и похоронены в ней простые солдаты. Случилось здесь в старину какое-то побоище, и побросали их в одну яму. Поэтому мы начали искать в другом месте, которое упоминалось в предании, — и вот нашли!

За кучами земли у могилы Прин различила на

полу фигуру, завернутую в грубую ткань.

— По мечу, скудной одежде и украшениям видно, что это настоящий варварский принц. А метины на ребрах показывают, что ему вонзили клинок прямо в сердце. Скорей всего, он был еще молод. Его убили здесь, у подножья трона, и закопали недалеко от него. Смерть — добрый знак, сулящий нашей церемонии небывалый успех. Его скелет вечером будет присутствовать здесь наряду с самыми видными зрителями. Мрачновато, знаю, но необходимо для нашего торжества. Амневор нужна подлинная смерть — ничто другое ее не заменит.

Стук копыт все еще доносился сверху, и слышалось приглушенное «ура».

— Скелет, разумеется, воссядет на трон, — продолжал Чародей. — Я думал, не посадить ли вас с хозяйкой под ним на ступени, подстелив мягкие шкуры, но это отвлекло бы собравшихся. Вы будете сидеть за ширмой, где вас не видно. Подождешь там, пока репетиция не начнется. Где же хозяйка-то? Надеюсь, она придет скоро — пора уже начинать подготовительные обряды.

9.2.3. Поешь колбаски, Прин, и дай мне ту флейту. Не хочешь? Да ты вся дрожишь! Не говори только, что это из-за мумии, закопанной, уверяю

тебя, не позже чем год назад. Право же, ты меня удивляешь. Взрослая женщина, проделавшая в одиночку путь от Элламона до Гарта, испытавшая столько приключений, что меня при мысли о них саму в дрожь бросает! Ты укрощала драконов, освобождала рабов, умеешь читать, писать и убивать, когда надо — истинно просвещенная женщина по моим ограниченным меркам. А рядом я, почти не выезжавшая за городские ворота за все мои сорок лет, и меня все эти страсти не особо тревожат. То, что ты вызвалась помогать мне в моем искусстве, — всего лишь новый шаг в твоем образовании и подтверждение твоих прежних успехов. Но иногда мне кажется, что твой опыт заставляет звучать все вокруг, образуя мерцающий знак, чей смысл в его бесконечной игре скорее ужасает, нежели просвещает. Твоя восприимчивость делает тебя моей идеальной слушательницей — быть может, ты и на Чародея так же настроена? И только мое невежество защищает меня от всяческих ужасов? Но ведь магия, которую мы здесь творим, безобидна и может утешить людей, слишком павших духом или слишком безнравственных, чтобы праздновать государственные свершения там наверху. Перестань же дрожать, моя дорогая, и держи барабан

так, чтобы я могла ударить в него, пройдясь по струнам арфы. А флейты разложи от высокой до низкой, как всегда делаешь, чтобы я и в темноте знала, которую взять. Привычка, именуемая зачастую хорошим или дурным вкусом, — великая подмога искусству.

9.3. Столкнулся с Джои пару дней назад. Полиция борется с маньяком, забирая с улиц кого попало, за наркотики или что-то еще. Если их посадить, то их, видимо, не убьют? На прошлой неделе здесь арестовали около двухсот человек, и ребята просто с ума посходили. Копят отложенные на наркоту деньги, снимают комнаты и набиваются туда душ по восемь, по десять. Ночью маньяк, днем полиция — не знаешь, где и посрать. Я сидел на кухне одной из таких ночлежек, пока Джои «делал свой бизнес», и смотрел по старенькому черно-белому телевизору версию «Айронсайда», где полицейский, которого ограбили, избили и бросили у дороги, решает отныне стать рядовым гражданином без опознавательных знаков.

Вокруг сновали разные персонажи. Пришел парень с пирсингом в грудной мышце (дырка здоровая, это вам не сосок проткнуть). Пришла пара — хилый Майк и Карен с черными волосами

до пояса. Она заскочила в ванную, укололась, и они с энтузиазмом поведали мне, что у Майка роскошные причиндалы и сегодня у него сессия для порномоделей. Работу ему нашла Карен и готова была хоть кого пристроить, если у него есть То, Что Надо. Джои, вернувшись, показал мне вырезку из «Нью-Йорк Таймс» с большой фотографией: сорок-пятьдесят полицейских, мужчин и женщин, замаскируются под бездомных и лягут спать в дверных нишах, а другие офицеры будут сидеть в засаде и брать злоумышленников. Лица полицейских на фотографии были видны, и уличная братия передавала ее из рук в руки, надеясь опознать переодетых копов.

Видны, но не слишком четко. Зачем их вообще было фотографировать?

О маньяке в газете не упоминалось (на второй и третьей страницах вкратце говорилось о «поножовщине»); может быть, полиция надеялась и его тоже взять?

Не взяли пока.

9.4. Вдоль всего Моста Утраченных Желаний горели факелы, хотя еще не совсем стемнело. Красные огни чередовались с белыми, озаряя веселые компании, спешащие туда и сюда.

Слухи о приближении Освободителя — кто-то

видел на Шпоре, как он со свитой направляется к Старому Рынку — привлекали к мосту толпы народа. Одни подпрыгивали, чтобы увидеть что-то поверх голов, другие спрашивали: а кого ждем-то?

По краю собравшейся у моста толпы расхаживал человек с молотом каменотеса в руке. На макушке у него сверкала плешь, оставшиеся волосы он заплел сбоку на манер ветерана императорской армии. Судя по сильно искривленным ногам, на марше ему пришлось бы несладко, но мускулы он себе нарастил молотом хоть куда. Видно было, что он пьян, а может, и не в своем уме. Пройдя несколько шагов в одну сторону, он тут же сворачивал в другую, постоянно на кого-то натыкаясь.

Когда на рыночной площади показались всадники, поднялся крик. Люди бежали с моста к фонтану. Человек с молотом перехватил свое орудие двумя руками и ударил по каменным перилам — раз и другой.

С третьего удара стенка раскололась, с четвертого и пятого на мост посыпались осколки.

Одни люди, бегущие мимо, в самом деле его не видели, другие чувствовали кипящую в нем ярость и притворялись, что не видят.

Первым на него обратил внимание шестидесятилетний лицедей с золотой краской на веках и синей на губах. Это был еще бодрый старик, хотя силачом не казался. Закончив свое представление на рынке, он шел, чтобы сесть в повозку и сыграть спектакль в другом месте.

— Прошу прощения, — сказал он не слишком громко. Белое пламя соседнего факела дрогнуло от очередного удара, но лицедей, разглядев нестойкость в работе молота, осмелел, взял каменотеса за плечо и произнес звучным голосом, остановившим кое-кого из прохожих: — Послушай, так не годится!

Каменотес стряхнул его руку, но перестал бить по камню и взглянул на раскрашенное лицо старика.

— Нехорошо это, портить городское имущество! — продолжал лицедей.

Каменотес поморгал растерянно и ответил:

— Я разрушаю рассадник порока, куда вы все ходите! Тут-то вы и передаете ее друг другу, точно смертельный секрет, что на ухо шепчут. Не видишь разве? Вот откуда она берется, чума!

Лицедей поджал губы и снова взял разрушителя за плечо.

— Ты не вправе это делать, мой друг. Не ты

строил, не тебе и ломать.

— Не вправе? — Каменотес снова попытался сбросить чужую руку с плеча, молот раскачивался. — Не вправе защищать себя и всех добрых горожан от смертельной заразы? Какие такие права тут надо иметь? Для вас же стараюсь, для дураков, которым мозгов не хватает взять в руки молот!

— Послушай, — увещевал лицедей. — К тебе чума не пристанет, ты это знаешь не хуже меня. Только такие, как я, в опасности. Не думаешь ли ты, что, будь от разрушения моста хоть какой-то прок, я бы сам давно уже не пришел сюда с молотом? Это нам решать, не тебе… — Тут лицедей осекся, ибо из глаз молотобойца скатились в бороду две большие слезы. — Не твоя это забота — спасать нас от собственной глупости, пусть даже и смертельно опасной, — добавил он уже мягче. — Ты, верно, близко знаешь кого-то, кто болен, умирает или уже скончался? И хочешь разрушить мост, боясь заразы, которая тебе вовсе и не грозит? — За спиной лицедея уже ехали всадники, люди вокруг кричали «ура», но его хорошо поставленный голос перекрывал все шумы: — Кто он тебе? Двоюродный брат, родной? Может, сын? — Толпа напирала, прижимая лицедея к

каменотесу, и один прочитал ответ другого лишь по губам:

— Любовник. Совсем еще мальчик, школяр…

Они против воли заключили друг друга в объятия. Потом каменотес высвободился, в последний раз грохнул по стенке, отшвырнул молот, чудом никого не задев, и затерялся в толпе.

9.4.1. За этой сценой наблюдали еще двое. Они слышали весь разговор, кроме того, что ответил каменотес.

Садук, ходивший на Шпору спросить Намука, не знает ли тот, где ждать пришествия Амневора (кому и знать, как не его беспутному братцу), остановился поглядеть на безумца, бьющего молотом по мосту, и на старого женомужа, что пытался остановить его.

Другим зрителем был коротышка с завязанным глазом, в рабском железном ошейнике. Он пришел в Колхари вместе с Освободителем и был его приближенным, но счел за лучшее идти рядом с его конем, а не ехать верхом самому. Толпа уже несколько раз оттирала Нойеда от стремени, и на мосту это случилось опять.

9.4.2. Нойед и Садук продолжали смотреть друг на друга и после того, как лицедей с каменотесом

разошлись в разные стороны.

9.4.3. Он в ошейнике (думал Садук), значит, ищет жестоких удовольствий — стало быть, он из этих, хотя и не таков, как Ферон. Ишь как уставился на меня своим одиноким глазом — думает, небось, что и я такой же. Ну что ж, я их не осуждаю, даже помочь им хочу. Не хочу только, чтоб меня путали… с кем бы то ни было. Вот что хуже всего: как окажешься с ними рядом, люди сразу думают, что и ты из них. Что тебе иначе тут делать? Прямо зараза какая-то, похуже чумы. Я люблю Ферона и готов помочь ему всем, чем могу, но все равно чувствую себя зачумленным. Скорей бы уже добраться домой и сказать Нари, где будут чтить это новоявленное чудовище.

9.4.4. О чем думал Нойед, сказать трудно. Вызвавшись носить ошейник вместо Освободителя, он стал жить будто лицедей на подмостках — поди разбери, где кончается роль и начинается актер; он и сам уже толком не знал этого. Мы можем сказать только, что он смотрел. Смотрел на Садука. Смотрел на молот в кучке каменных осколков. Смотрел вслед Освободителю, почти уже скрывшемуся из глаз.

9.4.4.1. Садук пошел дальше.

9.4.4.2. Нойед задержался на мосту, хотя факелы его раздражали.

9.4.5. Вот кое-что из того, что мне рассказал Тед.

Он увидел в кино старого знакомого, высокого черного мужика, с которым занимался садомазо лет шесть назад. Они поговорили о возможной новой встрече, и тот упомянул, что его любовник с год назад умер.

— От СПИДа? — спросил Тед. Это первым делом приходит в голову, когда слышишь, что умер молодой гей.

— Вообще-то да, — удивился тот.

— Так ты ж предупреждай, когда с кем-нибудь договариваешься! — ужаснулся Тед. Это с ним уже не впервые: у него были время от времени контакты с одним пианистом, который упомянул, что *его* любовник имел контакт с кем-то из больных. Недавно этот пианист поучаствовал в телепередаче на предмет СПИДа за день до собственной смерти. А в другом кино на стенке сортира красной краской было написано:

СЮДА ХОДЯТ СПИДОЗНИКИ!

Тут Тед чуть с ума не сошел и стал вертеть эту надпись в уме так и этак. Возможно, это предупреждение от того, кто что-то знает. Возможно,

написавший это просто хотел пресечь секс в кино. Возможно также, что он не получил что хотел и вредничает. Тед, короче, решил больше туда не ходить.

9.4.6. — Ну и вот, — продолжал Тед, — иду я както вечером в районе …й стрит сразу за Девятой авеню — по мосту, знаешь? Там какой-то карнавал, итальянский что ли, но таких костюмов я еще не видал. Некоторые вообще чуть не голые. И вдоль всего моста горят факелы. Смотрю — пялится на меня один парень, маленький такой, наш ровесник. Без рубашки, зато в ошейнике. Смотрю — да он одноглазый! Обалдеть. Ну, подходит он, а я его спрашиваю: «Ты как, чумы не боишься? Ведь это ж серьезно». (Знаю, ты не любишь слова «чума», но клянусь тебе: спрашиваешь кого-то про СПИД, а он тебе: «Чё? Кто с кем спит?» Три раза уже случалось.) Он молчит. «Слушай, — говорю я, — мне тоже охота, но больно уж тут народу много, негде уединиться. Хочешь, пойдем со мной? Я типа на церемонию. Для тех, кого волнует эта болезнь. На пришествие Амневора». Понял, нет? С чего мне это взбрело? Говоришь, приснилось мне это — не спорю, но вот так и сказал. Прямо как из твоей книжки, Чип, — оттуда ведь, да?

— Пока еще нет, — сказал я.

В общем, не знаю, откуда это взялось, но спрашиваю: «Ну что, пошли?» Он кивает. Двинули мы с ним через мост, но то ли потерял я его в толпе, то ли он передумал. А может, знал, о чем я — в отличие от меня. Короче, перехожу я, оглядываюсь, и знаешь что? На мосту никого. И никаких факелов, только фонари с обоих концов, как всегда. Понимаешь?

— Да, — сказал я.

— Никого. Пусто. Достал меня уже этот СПИД!

9.5. В прошлом феврале меня свалил грипп. Я пролежал четыре дня с температурой 39°, встал, все еще с температурой, собрался пойти в магазин, чуть не упал и слег еще на неделю. Две недели подряд мне случалось пролежать только с пневмонией в двадцать один год. Потом мне полегчало, но температура так и держалась на тридцати восьми — тридцати девяти. Я встал, оделся и оказался перед выбором: либо рискнуть и выйти, либо хоть немного прибраться. Постепенно я вернулся к более-менее нормальному распорядку, но температура держалась. Под мышками периодически болело, но опухолей не наблюдалось. Однажды, после выхода, «вступило» в пах и стало больно ходить. Пришлось опять лечь в постель на два дня. У некоторых

людей лимфоузлы опухают, стоит кому-то на них чихнуть, но у меня это делают только шейные железки — каждую весну, начиная с семи лет. Проснувшись на следующее утро, опять же с температурой, я решил, что пора уже сходить к доктору.

Думал ли я про СПИД?

Не переставая, с тех пор как заболел.

В специальном справочнике для геев я нашел гея-врача, специализировавшегося на болезнях, вызываемых гомосексуальными контактами, позвонил ему и записался на прием через шесть дней.

В метро на пути к врачу сексуальных контактов не имел — а мог бы, и даже два раза.

Докторский офис, чистенький и хорошо оборудованный, действовал успокаивающее. В приемной на белом столике лежала стопка брошюрок о СПИДе. Я взял одну и нашел там полезные советы на предмет секса. Медсестра померила мне температуру — все еще тридцать восемь с лишним спустя пять недель и три дня. Я рассказал о своих симптомах симпатичному, лет сорока, доктору.

— Сколько примерно сексуальных контактов вы имеете в год? С разными партнерами, я имею

в виду.

— Около трехсот до последнего времени. Не считая постоянных сношений, которые разнятся от трех раз в неделю до одного за две. Мы моногамии не придерживаемся.

— М-м-м. — Он прощупал мне подмышки, шею и пах — опухолей там, к счастью, не обнаружилось, — сделал анализ крови и сказал: — Ни субсиндромального, ни продромального СПИДа у вас нет. — (Если попросту — нет ни активного СПИДа, ни состояния, могущего к нему привести.) — Похоже, это особо стойкая форма нынешнего гриппозного штамма. Некоторые пациенты болеют месяц, а то и больше. У меня, впрочем, есть и пациенты со СПИДом. Вот что вам следует знать: это не та болезнь, в которой сомневаешься, — вам сразу становится *очень* плохо. Вы нашу брошюрку взяли?

Через три дня температура прошла.

9.6. Я часто заставляю улыбаться даже и умных (говорит Лицедей), а дураки так просто покатываются со смеху. Надо полагать, что я кое-что смыслю как в мудрости, так и в глупости, хотя ни то ни другое мне не присуще. Не считая моего комического таланта, то есть умения декламировать или вовремя падать, я человек вполне

заурядный.

Мудрецы, глупцы, аристократы и карманные воры — кого только я не числю в друзьях. Я всегда умел говорить с людьми как высокого сословия, так и низкого, даже с теми, кого все полагают безумными — взять хоть того беднягу с моста. На карнавале, конечно, бывает всякое, но в моем ремесле карнавал присутствует каждый день. А среди самых занимательных и старейших моих знакомств я прежде всего назвал бы Мастера школы, что на краю Саллезе.

Не странно ли, что в то самое время, когда весь город предается веселью, создаваемоему мной круглый год, мои мысли блуждают в областях не слишком веселых…

Мастер у себя в школе исповедует преображение, перемены, вечное непостоянство, бренность того, что видимо. Я нисколько не умаляю опасность духовного пути, избранного им. Нужно быть поистине отважным, чтобы преодолевать эти бурные воды, не входить в один поток дважды, плыть по его течению и все прочее. Но он родился в одном из богатейших семейств и денежных затруднений не ведает. Пожара, наводнения, землетрясения (о чуме боюсь поминать) он, правда, страшится, как и мы с вами, но ведь и

мы их не особо страшимся.

Ему, думаю, надоели шутки, которые я отпускаю с подмостков насчет его мелких промахов. Он относится к ним вполне добродушно и учеников своих посылает послушать, а после разбирает мои выходки и даже некую мудрость из них извлекает. Я никогда не мог устоять против красного словца, и он, полагаю, тоже. Но понимать чьи-то шутки легче, чем придумывать их.

С год назад он, однако, начал писать диалоги, сделав мою шутовскую персону главным лицом. Его ученики, читая их, играют самих себя или представляют поочередно вашего покорного слугу.

Он называет это обучением посредством спора.

Недавно он пригласил меня на такое их представление (а длится оно целый день)! Учтивость не позволила мне отказаться. Некоторые ученики, полюбившие мое искусство, с великой радостью намекали на то, что мне предстоит. Я ожидал легких издевок над моей манерой одеваться и говорить, над моими любовными похождениями в юности (и в зрелости тоже), над старческими недугами — всего того, что я сам обыгрываю на сцене. Но то, что я увидел в купе-

ческой усадьбе моего бывшего принца (его дядя до сих пор негодует, что неверионский вельможа зарабатывает себе на жизнь в подобном квартале), было поистине хитроумно.

Игравшая меня девчушка с накладной бородой и в обтрепанной тунике обрушивала одну блестящую диатрибу за другой на мальчишек, задававших вопросы один другого глупее, и сокрушала их своим (моим) красноречием.

Но мои ли то были доводы?

Когда я был молод, а Мастер еще моложе, мы спорили с ними часами, бродя по Старому Рынку. Мне не казалось тогда, будто он что-то отстаивает (да вряд ли он и мог по молодости лет иметь какие-то мнения); он спорил со мной ради самого спора, потому что я был взрослый, а он юнец — я же с радостью упражнял собственные мыслительные способности. Так я и называл наши споры: упражнением для ума. А юноше, судя по блеску глаз и учащенному дыханию, эти упражнения доставляли не меньше удовольствия, чем мне. То, что разыгрывали теперь его ученики на лужайке, очень напоминало наши с ним споры двадцатилетней давности, но тут выходило, что он каждый раз побеждал там, где я видел ничью.

Думаете, хоть один персонаж этой пьесы носил

его имя? Как бы не так! У нас-то одни лицедеи всегда изображают других, плохих лицедеев.

Встревожило меня это представление, вот что.

Но мальчики и девочки, окончив его, ждали моих похвал, уверенные, что сыграли как нельзя лучше.

И сыграли ведь! Сыграли!

Я обнимал их, хвалил и хлопал как сумасшедший, все это время обдумывая стратегию того, что ожидало меня дальше, как я предвидел.

Ужинали мы вдвоем с Мастером при свете глиняных ламп на треножниках — и я, отзываясь о его произведении столь же уклончиво, как он о моих, наконец определился. Направить кого-то на ложный путь — один из моих лучших актерских приемов.

«Послушай, — сказал я. — Я полностью согласен с тем, что я, возможно ошибочно (мы оба знали, что ошибка возможна), считаю твоей главной целью. Но есть у меня и замечания. Ты, к примеру, ни разу не указываешь, что я — персонаж твоей пьесы. Если бы ты сразу дал понять, что я сам ставлю спектакли для широкой публики, все вышло бы куда тоньше».

«Дело в том, — отвечал он (мы пили светлый сидр из его лучшего хрусталя), — что ты своих

речей никогда не записываешь и куда как редко нанимаешь писца. Мои же диалоги написаны, слово в слово, ульвенскими знаками. Твои спектакли летучи и не вырезаны на камне, подобно не поддающимся прочтению варварским письменам. Каждый может толковать твои слова как ему угодно. Если б я в своих писаниях дал тебе больше власти, то живость твоих речей, которые я закрепляю путем переноса их на пергамент, была бы утрачена. А так она, думаю, налицо».

Что я мог на это сказать? Разве что это:

«И еще. Половина твоих учеников, если не больше — девочки. Отчего всех, с кем я у тебя беседую, играют как они, так и мальчики?»

«Но ты же любишь мальчиков, — ответил он с искренним удивлением. — И никогда этого не скрывал».

«Конечно, люблю, но три четверти моих друзей — это женщины. Так всегда было и всегда будет. Притом мне не особо нравятся те мальчики, что учатся у тебя, вопреки тому, что вкладываешь в мои уста ты. Из этого я тоже секрета не делаю. Ты не хуже меня знаешь, что мои вкусы намного… ниже».

«Но ведь я тебе нравился, — чуть ли не с обидой заметил он. — И откуда же мне знать, что именно

ты вытворяешь там, на мосту?»

«Хорошо. Скажи тогда, почему меня играет девочка?»

«Потому что у тебя довольно высокий голос».

«Высокий голос во время спектаклей слышен куда лучше, чем бас. Я не родился с ним, а повышал его путем долгих упражнений. Наши герои еще долго будут говорить тенором и сопрано — привыкай».

Удивление этого мудреца давало понять, что он никогда не задумывался над этим — а ведь высокие голоса от начала времен обеспечивали успех не только певцам и лицедеям, но и правителям, и военачальникам; мне три раза из пяти приходится втолковывать это тем, кто хочет поступить в нашу труппу.

«Полно тебе, — примирительно молвил он. — Дело ведь не в том, что я с твоей разгульной жизнью плохо знаком, а в том, что о ней ничего не ведает молодежь, чье образование мне доверили и для которой я писал свои диалоги. Некоторые, скорей всего, скоро с ней познакомятся и не замедлят указать мне на мои недочеты с той же жестокостью, что и ты. Нет, не с жестокостью, напрасно я так сказал. Ты добрый человек и всегда был таким, за это я тебя и люблю. Я вот

что пытаюсь тебе сказать: мое произведение не отражает жизни как она есть, а ведет диалоги с ней. “Что, если” — вот как называется эта игра. Ты сам говорил, что все размышления на этом построены. Что, если бы ты в свое время не ушел от жены? Уверен, что она именно такова, какой изобразил ее я: жены всех мыслителей сварливы и неуживчивы. Ее роль, признаться, объясняет, почему не женился я сам, — с причиной твоей женитьбы это ничего общего не имеет. Эта причина так поразила меня когда-то, что я, помнится, даже не стал тебе возражать! Представь, однако, что весь твой ум и вся привязанность отданы лучшей молодежи Невериона, а не дурачкам, шлюхам обоего пола, глупым актеркам, рыночным торговкам и старым графиням…»

«Ты-то не дурачок, — сказал я. — И сам признаёшься, что все написанное тобой от моего имени — это твой вымысел».

«Голос, — заявил он с той наивностью и убежденностью в своей правоте, что всегда поражала меня в людях его сословия, — бесспорно мой».

К себе я вернулся только утром — он и слышать не хотел, чтобы я шел по городу ночью. Я бы не особо беспокоился, но ведь его диалоги в самом деле записаны. Он очень ими гордится, и справед-

ливо — они и верно прекрасны. Он переписывает их и раздает списки грамотным людям — и аристократам, и купцам, даже простым рабочим, что выучились читать, — ибо придерживается принципов всеобщего равенства. А благодаря моим манерам и словечкам, которыми он снабдил моего героя, все в Колхари скоро догадаются, что это я. Я ведь фигура публичная и даже, можно сказать, знаменит. Вчера на Старом Рынке, когда я, вполне невинно, как всегда думал, высмеивал нашего выжившего из ума министра, какой-то юноша в публике вдруг завопил:

«Дурачье! Безмозглые дураки! Не знаете разве, что он, вкупе с саллезскими учителями, развращает нашу молодежь своими возмутительными речами? Не читали сделанные Мастером записи этих речей? Не смейтесь его подлым шуткам! Гоните его со сцены! Побейте его камнями! Убейте его!»

Спектакль прервался. Один наш старый актер так перепугался, что не смог играть дальше, зрителей поубавилось на добрую треть, да и сам я остаток дня не лучшим образом представлял. Только мой старый приятель, человек неприметный и даже презренный, хлопал мне что есть мочи и, как видно, сильно злился на то, что нам

помешали. Я был ему благодарен, но все-таки приуныл.

А он, вопреки обыкновению, после ко мне не зашел.

Вот что я скажу вам на старости лет: императрица наша — суровая и мстительная владычица.

Меня, того и гляди, и впрямь предадут смерти или в тюрьму заточат. Мой Мастер, можно не сомневаться, напишет об этом трогательную историю, где мои вопли, ужимки, громкие ветры и ругательства, а также брань, которой недруги осыпали меня, будут сведены к спокойной и рассудительной риторике.

Карнавал, может статься, будет в разгаре, а любовники всякого рода и дети от мала до велика будут гадать, куда подевался тот старый шут, что заставлял их сметься и плакать. Заглушат ли музыка и пение мои крики? Но можете быть уверены, что он и об этом ничего не напишет. Пришествие Амневора? Нет, ноги моей там не будет. Я уже все это видел, да и работы полно — ну и отдохнуть тоже постараюсь, конечно.

Моя пылкость — или, скажем прямо, буйство — не в его духе. Ну, а сохранять рассудительность перед лицом неправедного безумия, которое я за свою жизнь повидал во всех видах — не в моем.

В его диалогах будут, конечно, кусочки, в которых я узнаю себя и другие тоже узнают — но будет и ложь, которую могу изобличить только я. А чего в них не будет, так это моей подлинной смерти.

Чудовище, вот кем сделали меня его сочинения!

Он принц, а я всего лишь старый актер, но в его диалогах я умру так же, как умер бы он — если бы его, по причуде безымянных богов, могли оклеветать, обвинить и казнить тем же манером, что и меня по его, не признанной им, вине. Думаю, в глубине души он искренне верит, что его писания избавили меня от моих ужасающих взглядов — я же думаю, что они обрекли меня на гибель не менее верную, как если бы он в тот вечер вместо сидра наполнил мой кубок ядом.

9.7. Получил от университета Темпл в Филадельфии извещение о симпозиуме «После Барта и Бахтина».

Я знаком с работами половины участников: Майкла Холквиста, Кэрил Эмерсон, Барбары Джонсон, Сэмюела Вебера — и большой их поклонник. О Барте кое-какое дилетантское понятие тоже имею, у Бахтина читал «Диалогическое воображение» в переводе Холквиста и Эмерсон. Два года назад, на Уингспредской конференции

«Инновация и реновация», послушав доклад о «карнавализации» как инициаторе критического диалога у Бахтина, я сделал первые наметки «Повести о чуме и карнавалах» — и теперь тоже решил побаловать себя поездкой в Пенсильванию.

Конференция начиналась в субботу, в девять утра. Я встал в четыре и в половине пятого двинулся сквозь ноябрьскую мглу, пронизанную фонарями и не-совсем-дождем, на автовокзал Порт-Авторити.

Там оказалось до странности оживленно.

Джои, Джимми, Джонни, Джамал и Хосе говорили мне, что ночуют на этом автовокзале, но никого из знакомых я там не застал. У газетного киоска, еще закрытого, стоял паренек лет шестнадцати-семнадцати в мешковатых, драных, черных от грязи джинсах. Одна его кроссовка валялась в нескольких дюймах от крайне грязной ноги. Футболка, когда-то белая, была ему велика и пожелтела, куртка отсутствовала. Рукой, опять-таки очень грязной, он дергал себя за черные, довольно длинные волосы.

Я спустился к воротам «Грейхаунд» по лестнице, где ошивалось с полдюжины черных ребят от четырнадцати до пятнадцати лет. Один бегал

вверх и вниз, держась за перила, остальные, стоя внизу, смеялись над его выкрутасами.

Сев на стул в зале ожидания, я увидел, что по лестнице спускается белая пара средних лет. Сумки несла женщина — мужчина, похоже, был болен.

— Эй, белые! — крикнул им парень на ступеньках. — Куда подались?

Они шли дальше, не обращая внимания.

— Да не бойтесь, не трону я вас. — Парень поскакал вниз параллельно им.

Они, похоже, и не боялись, хотя выглядели не слишком бодро в такую рань.

— Ну так чего? Боитесь, что я вас ограблю? — Теперь он скакал вприсядку по полу, поглядывая то на пассажиров, то на других парней. Одни смеялись, другие нет.

Мужчина и женщина, будто не слыша, направились к стульям.

Я, попросив соседей приглядеть за моим портфелем, пошел в туалет. Там тоже торчали подростки, черные и пуэрториканцы.

Когда я вошел, черный парень в очках — постарше, лет двадцати — говорил тринадцатилетнему с виду мальчишке:

— Эй, пацан, ты чего тут делаешь ночью?

Тот с негодованием скрестил руки:

— Какой я тебе пацан?

— Да, — заявил его товарищ, еще того меньше, — он большой уже.

Я, подавив смех, прошел к писсуарам.

В дальнем конце маячил красивый черный парень в серой конфедератке.

Выйдя, я увидел на лестнице белого мужчину, седого, с дипломатом, в дорогом сером костюме, с пальто на руке.

— Эй, белый! — крикнул ему тот же забавник. — Куда намылился? Боишься меня? Думаешь, побью тебя или ограблю? А ты не боись!

Мужчина опять-таки не обратил на него никакого внимания.

— Ниггер, чего дурью маешься? — крикнул другой парень снизу.

— Не, в натуре, — как ни в чем не бывало продолжал клоун, — не боись, белый, не трону!

— Ниггер…

— А я чё? Я просто спрашиваю белых, куда они…

Другой парень захватил его локтем за шею.

— Хватит идиота из себя строить!

— Пусти, — хихикал клоун, — ты, ниггер чокнутый!

В туалет, у которого я стоял, решительно вошла черная женщина в коричневом пальто.

— Извините, мэм, — сказал я, — это мужской туалет.

— Да? А где ж тогда женский?

— Ярда через три от нас, — информировал пуэрториканец у раковины.

Я взял свой портфель и стал прохаживаться по платформе «Грейхаунда».

Белая девочка-подросток, средней нечесанности и немытости — то ли едет куда, то ли просто погреться зашла, — сидела у стенки с рюкзаком, завязанным грязной бечевкой. Если бездомная, то должна была сильно постараться, чтобы вызвать сомнения в своем статусе. Явно бездомная женщина с мешками, полными газет и тряпья, шагала, бормоча под нос что-то ругательное, а то и плюясь.

Девочка отвернулась, когда та шла мимо.

Мужчина лет тридцати спал на полу, втиснувшись в угол у перегородки из прозрачного пластика, в новых черных ботинках и засаленном сером комбинезоне. Нагрудный карман его рубашки украшала вышитая надпись, нечитаемая от грязи и ветхости. Черная щетина более-менее чисто сбрита, волосы подстрижены. Когда

черный уборщик провез поломойную машину в опасной близости от него, мужчина поднялся, сделал несколько нетвердых шагов и плюхнулся на черные пластиковые стулья — даже глаз не открыв, насколько я видел.

Пуэрториканки не старше шестнадцати, в синих пуховиках и сильно накрашенные, то входили в женский туалет, то выходили обратно. Иногда к ним цеплялись черные или пуэрториканские мальчишки, иногда девчонки сами к ним приставали, но чаще держались в собственном, суровом и серьезном, мирке.

Я уже с год не бывал на автовокзале в такое время. По сравнению с прошлым разом стало заметно, что многие люди, спящие на стульях, скамейках и на полу, еще недавно, похоже, работали — в отличие от постоянных обитателей этого места.

Во время посадки на автобус позади меня стоял бородатый студент, едущий домой. Его внешность странным образом отражала то, что виднелось вокруг. Волосы и бороду он отпустил потому, что ему это нравилось — не потому, что не мог позволить себе зайти в парикмахерскую. Чистую розовую рубашку носил поверх вельветовых брюк потому, что так было удобней — не

потому, что ему не хватало энергии заправить ее. Старые кроссовки надел в дорогу опять же ради удобства, а не откопал в мусорном баке. Очки в проволочной оправе были чисто протерты, часы шли правильно: я спросил его, сколько времени, и мы очень быстро переключились на экономическое положение в стране и его влияние на то, что мы наблюдаем здесь.

В автобусе, пока мы катили сквозь занимающийся рассвет, он сидел впереди меня и слушал свой «Уокмен» через наушники.

Вот то, что я вкратце записал тем ноябрьским утром и дополнил на следующий день.

Еще один (мелкий) довод в пользу того, что неверионская серия — это документ.

9.8.1. Как я узнал, где это будет? Довольно легко (повествует Мастер). В любой группе, с каким бы тщанием ни отбирать ее, всегда найдутся один-два отпетых, даже и в нашей школе. Я подошел к одному из таких и сказал, что хочу знать, где будут поклоняться Амневору. По моему тону он понял, что я спрашиваю не затем, чтобы его обвинить, и сказал где — оправдав мои подозрения.

Где же еще, в самом деле?

К пяти часам почти все ученики ушли на карнавал. Вышел на лужайку и я. Где-то в полном

отчаянии стрекотал сверчок, неведомо как попавший в столицу. Я посмотрел на лазарет: туда недавно уложили еще одну девочку — всего лишь с растяжением лодыжки, к большому счастью. Она очень печалилась из-за карнавала, когда я ее навестил, но храбро заявляла, что использует это время, чтобы учиться. К Мостовой я спускался по склону, где растут посаженные мной сикаморы; соседи, следуя моему примеру, тоже начали их сажать.

Зачем ты идешь на это варварское сборище, спрашивал я себя? Ради Топлина? Ради всех болящих, страждущих, напуганных и гонимых? Я спрашивал себя об этом на пустой улице и не мог твердо ответить «да». Из чистого любопытства? Но в моем возрасте полагалось бы знать, что в этой странной и ужасной земле ничто или почти ничто не бывает чистым.

Загвоздка с такими церемониями в том — а я посещал их достаточно, как в городе, так и вне его, — что я зачастую смыслю в них больше, чем темный выходец из джунглей, их проводящий.

Когда я был ребенком, старые слуги — которым строго запрещалось говорить о подобных вещах — с наслаждением пугали господских детей, рассказывая им на ночь об ужасах, напрочь забытых

взрослыми господами.

На юге это, конечно же, Гауин — великий дракон из золота и драгоценных камней, длиной во всю землю, с крыльями во все небо. Он стережет город, которого больше нет — хотя я усиленно искал этот город, путешествуя в тех краях.

Главное чудище севера — Кригсбенский Хряк, вепрь с гору величиной, пожирающий целые племена и высирающий пирамиды из человеческих черепов. О нем, правда, не очень любят рассказывать — слишком уж много здесь было войн и отсеченных голов.

Амневор, признаться, для меня нечто новое. Мне попадалось это имя в истории какого-то другого бога, но я забыл, чем он, собственно, отличился. Это, конечно, обостряет интригу… он как-то связан со смертью, бессмысленной смертью — но кто же из них не связан? Помнится, он…

9.8.1.1. Проблема теории «веры в невероятное», применимой к литературе в целом и к фантастике в частности, состоит в том, что она превращает искусство (хотя и с общего согласия) в нечто вроде мошенничества. «Прекрасно, пусть так и будет», — говорят люди, желающие сохранить за искусством привилегию разрушать

стереотипы (а заодно и шокировать). Вспомним афоризм Пикассо: «Искусство — это ложь, делающая истину выносимой». Но я в этом своем проекте мошенничать не намерен. Подобно другим литераторам от Флобера и Бодлера (этот, впрочем, колебался) до Патера и Уайльда я верю в то, что искусство есть отрасль общественной деятельности, охватывающая почти все принципы того, что в девятнадцатом веке называлось *I'art pour I'art*, — принципы, сделавшие возможными эксперименты двадцатого века. (Кто из постмодернистов в это не верит?) Но как же совместить эту веру со специфической тематикой? Отвечу: писатель всегда создает *значения,* даже самые специфические, не обеспечивая при этом справок. Справка, в конце концов, — это всего лишь крайне ограниченная разновидность (или, лучше, сказать, использование) значения в крайне ограниченном контексте; это не субъективно-доминирующий литературный текст и не объективно-доминирующий паралитературный.

Отсылки всегда требуют обрамления, то есть создания очередного значения…

9.8.2. Идя по городу, я вспоминаю (а вспоминаю я всегда, когда уличный шум позволяет расслышать собственные мысли, повествует Мастер) о

своем путешествии по Невериону в семнадцать лет.

Тогда я впервые и узнал о чудовищах.

Неверион… Считалось, что я по нему путешествую, на самом же деле хотел из него бежать, хотя дяде об этом не говорил. Даже себе в этом признаться не мог, но таков был мой тайный план.

То, что я представил дяде, было безупречно высоконравственным. Я будто бы собирался отыскать все, что осталось от варвара-изобретателя Белхэма. В самом Колхари сохранилось немало его работ, способных приохотить к изобретательству любого юношу. Белхэм, рожденный на юге, создал в нашем городе прекраснейшие улицы и усадьбы, прежде чем перебраться на север.

Благодаря его новшествам Высокий Двор до сих пор пригоден для жизни.

Он изобрел коридоры и пресс для чеканки монет, а кроме того, разбил около дюжины садов в пригородах Саллезе и Невериона, где по сей день плещут его фонтаны. Прирожденный столичный житель, казалось бы — но родился он не здесь и умер не здесь.

Он пришел из других краев и ушел в другие края.

В семнадцать лет моей первой миссией, моей целью и страстью было воспроизвести его странствие и всю его жизнь от начала и до конца; чудеса, оставленные им в Колхари, предполагали, что за пределами столицы можно найти еще и не то.

К путешествию я готовился почти восемь месяцев — долгий срок для нетерпеливого юноши. За это время я осмотрел все, что Белхэм построил в Колхари, и расспросил всех своих родичей — как столичных, так и наезжавших в гости — о том, где можно найти другие его творения. Кое-что, конечно, уже пропало, но и осталось на удивление много. На основе своих расспросов я начертил карту, намереваясь затем написать подробный отчет о жизни и трудах Белхэма на манер историй наших королей и королев, что многие мудрецы собирались высечь на стенах дворца, да так и не собрались. Следует понимать, что ульвенские письмена, способные закрепить слова на камне, пергаменте и папирусе, тогда еще не проникли на материк: в нашем распоряжении имелись только торговые знаки для записи вида товара, его количества, имен и условий сделки. Ими-то я и собирался писать историю Белхэма.

По сравнению с легкостью нашего нынешнего

письма моя юношеская мечта представляется до нелепости грандиозной. Каким же честолюбивым дуралеем я тогда был.

Что же, однако, берет в годичное путешествие семнадцатилетний принц? Деньги, само собой. Шатры. Провизию и разную утварь. Сундук с дарами для знати, у которой будешь порой гостить. Сундук с побрякушками для простолюдинов, которые будут тебе помогать. Две закрытых кареты, чтобы все это увезти. Шесть солдат, владеющих копьем, мечом и луком, для защиты от разбойников. Трех кучеров (они же конюхи), также владеющих оружием. Личного слугу — неженки полагают даже, что двух или трех. Караванщика, чтобы их всех возглавить. Дядя настаивал еще и на спутнике нашего сословия, разделяющем мои интересы. Я обещал взять кого-нибудь из западных кузенов, чего делать не собирался. Мало кто из нашего сословия разделял мои интересы, а среди моих кузенов таких не было вовсе.

В ночь перед отъездом дядя устроил для меня праздник, на который я опоздал: мне наконец-то представился случай посетить саллезскую купчиху, в чьих садах стояли самые знаменитые фонтаны Белхэма. Они били по четырем концам мостика у подножья водопада. Купчиха, помню,

хотела показать мне в садовом сарае макет сада, изготовленный самим Белхэмом (но я повидал уже много таких), и что-то еще, сработанное другим изобретателем или помощником Белхэма, когда они оба выполняли заказ ее отца. Она не сказала, что именно.

Но моим героем и моей единственной страстью был только Белхэм, притом я опаздывал на праздник, устроенный в мою честь.

Я поблагодарил купчиху и отклонил ее предложение — осмотрел лишь фонтаны и питавшие их пруды, а затем поспешил домой.

Наутро наш караван выехал из ворот. Привратник после ночной пирушки зевал, опираясь на снятый засов, небо наливалось голубизной, разгоняя тучи.

Дождь, насколько я помню, пошел лишь на третий день.

История Белхэма широко известна в общих чертах. Отличившись смолоду как искусный математик и зодчий, он привлек внимание южных вельмож, наперебой зазывавших его к себе. Затем королева Олин призвала его в Колхари, где он также работал в многих знатных и богатых семействах, оставаясь простолюдином до мозга костей. Беспокойный дух и талант творца не

препятствовали ему пить и распутничать. После низложения Олин он ушел еще дальше на север и погиб близ Элламона в один холодный дождливый вечер, сорвавшись пьяным с утеса.

Я пометил на своей карте все крепости, храмы, мосты, дороги и фонтаны, с которыми было связано имя Белхэма, и прочертил через них намеченный мною путь, начиная с той же точки, с которой, скорей всего, начал он. Дождливым днем неделю спустя я сидел в нашем лагере под натянутым для меня навесом. В костре горели ореховые дрова: наш караванщик, предвидя, что будет дождь, запасся ими еще накануне. Развернув карту между подлокотниками своего походного кресла, я попивал через медную трубочку ягодную настойку. Мой человек Кадмир, уроженец соседнего городка, где этот напиток делали, и полдня его восхвалявший, сбегал туда и купил мне кувшин. Трое солдат, примостившись у колеса, играли с кучером в кости, благо дождь едва моросил.

До меня донесся их смех: кучер отпустил грязную шуточку, услышанную им утром от меня самого. Я долго думал, стоит ли это делать, но не удержался и добавил: «Не забудь передать это Тиреку», имея в виду самого мрачного из солдат.

Теперь они все ухмылялись, глядя на меня, — в том числе и темнокожий, со сломанным носом Тирек. Кучер, видимо, передал мои слова в точности, но никто вроде бы не обиделся.

Уверившись в их любви ко мне, я углубился в карту — до сих пор помню, с какой гордостью я вел по ней пальцем. Вот оно, начало моего великого дела. Тщательно продуманная линия, бегущая через реки, леса и горы, казалась мне прекрасной, как, согласно моему тогдашнему мнению, всякая истина.

Жизнь Белхэма со всеми его творениями простиралась передо мной.

Приходило ли мне в голову, что я знаю не о всех его чудесах? Да, я знал, что пары-другой недостает: мне рассказывали о них, но не могли назвать места, где их можно найти. Может быть, он не столь уж точно перемещался между метками моей карты? По рассказам моих родичей, он отлучался куда-то далеко, но после вернулся. Приходило ли мне в голову, что кое-что из приписываемого ему построил не он, а его подражатели? Да, я знал о трех таких случаях, поскольку рассказчики помнили настоящих зодчих. Но все эти мелкие недочеты лишь усиливали мое предвкушение.

Что значили тогда эти исключения для меня

и проложенной через Неверион извилистой линии? С уверенностью, свойственной только юности, я полагал, что неизвестные работы Белхэма и неизвестные подделки, если бы они мне вдруг открылись, лежали бы не слишком далеко от вычисленного мною пути — как будто сам Белхэм, глядя через мое плечо, дивился точности, с которой я восстановил его жизнь.

Первой моей целью был, как ни странно, городок в Фальтских горах, близ которого Белхэм погиб. Я хотел постоять на выступе, откуда он сорвался, и спуститься туда, где умирал он с переломанными ногами. Быть может, если я увижу те же деревья и скалы, что видел он, мне откроются его предсмертные мысли? Я твердо решил не останавливаться в других памятных местах, пока не воздам ему этот последний долг.

После этого я собирался переместиться назад, в Элламон, к месту его последних свершений — он разбивал сады и строил фонтаны в поместье моего кузена, Ванаре. А затем я (обогнув Колхари) двинусь на юг, где Белхэм родился. Таким образом я на каждой остановке буду наблюдать чудеса, о которых сам гений еще не ведал — они только предстояли ему. Есть ли более разумный способ обозреть жизнь великого человека?

В Фальтах, конечно же, шли дожди — да такие, будто у богов чан прохудился. Все три дня пути до Элламона нас поливало вовсю.

Дорога становилась опасной.

Лысый караванщик, промокший насквозь — даже на бровях капли висели, — взобрался ко мне в повозку. Его не устраивало, что я задумал миновать крепость. Не лучше ли молодому господину заехать сперва в Элламон и переждать непогоду у своих достойнейших родичей?

Я промок и замерз не меньше своих людей, поскольку на крутых подъемах выходил из повозки. Говоря с караванщиком, я смотрел в переднее окошко, приходившееся между ногами кучера: лошади с трудом одолевали размытую, усыпанную ветками и листвой дорогу.

«Да, конечно, остановимся в Элламоне», — сказал я. Моя красивая мечта разбилась, будто съехавшая с дороги повозка.

Пожилой элламонский кузен, которого я видел впервые в жизни, принял нас радушно. Моего слугу он поместил к своему, солдат — в пустую казарму, но обедали мы, по моей просьбе, все вместе. Раз нам будут подавать те же блюда, зачем же сидеть вдвоем за длинным столом в огромном чертоге, рассудил я.

Кузен охотно согласился и с удовольствием слушал военные байки под репу и жареную баранину, пока в окнах сверкали молнии и по западной стене стекала вода.

Наутро дождь перестал, но мы задержались еще на денек. Я рассказал кузену о своем интересе к Белхэму и нашел в нем истый кладезь полезных сведений. Показывая мне белхэмовы фонтаны, он объяснил, как лучше всего проехать к утесу, откуда сверзился гений. Вряд ли бы мы добрались туда без него! Узнал я также о давно снесенной гостинице, где Белхэм выпил последнюю кружку сидра перед тем, как уйти в ночь. Узнал о четырнадцатилетней пастушке-дурочке. Белхэм пролежал под скалой два дня, и она его видела, но побоялась позвать на помощь: кто-то наплел ей, будто этот варвар — колдун, умеющий двигать скалы. Узнал, что в конце концов его нашли рудокопы; он был еле жив и умер, когда его принесли обратно в гостиницу. Вся ужасная история его гибели ожила передо мной в ярких красках.

Я сказал, что попытаюсь пройти последним путем Белхэма от места, где стояла гостиница. «Это довольно трудно, — сказал кузен. — Город сместился стадии на две к востоку, когда я был еще мал, — и не забудь, что Белхэм сильно напил-

ся, а пьяный, как правило, напрямик не идет».

Мой смех, думается, его удивил. «Еще бы! — воскликнул я. — Он опьянел не только от сидра, но и от своих гениальных замыслов!» Понимал ли кузен, как крепко уверен я в том, что сумею распутать все тайны Белхэма? «От прежнего Элламона не осталось и половины, — заметил он, — но знаешь ли ты, что на окраине его до сих пор живет крестьянка, давшая приют Белхэму? Ты навестил бы ее. Ей теперь за шестьдесят, а то и за семьдесят, и нрав у нее тяжелый. Думаю, она охотно поделится с тобой воспоминаниями о нем».

«Но разве он жил не здесь, не в Ванарском замке?»

«Судя по рассказам, человек он был неуживчивый, — усмехнулся кузен, — и мой дядя, тогдашний сюзерен Ванарский, для которого Белхэм и строил фонтаны, в один прекрасный день его выставил».

Меня глубоко возмутил поступок покойного дядюшки.

На следующее утро, когда наш караван выступил из стен Элламона, опять полил дождь.

Под вечер мы въехали в деревушку, где нахохлилась под мокрыми соломенными крышами

горстка хибар — о ней, должно быть, и говорил мне кузен. Но я как-то днем нечаянно велел кучеру повернуть направо, когда надо было налево — а чуть позже налево, когда следовало направо. Деревушка казалась вымершей — ни одна мозолистая рука не откинула шкуру у входа, пока мы ехали мимо. Одна хижина совсем развалилась. Мы пробирались по предполагаемой дороге почти вслепую.

«Может, остановиться, спросить...» — промолвил Кадмир.

«Нет, — рявкнул я, — нам уже объяснили, как ехать».

Я пытался понять, где тут раньше могла быть гостиница или таверна, где Белхэм выпил достаточно горячительного, чтобы захмелеть и отправиться навстречу смерти.

Примерно через четверть часа мы выехали на обширный обрыв, откуда вполне мог упасть человек. Я высунулся из окна под дождем; среди камней и палой листвы виднелся, как уверял кучер, помет диких драконов. Я к тому времени расчихался и надеялся, что одна наша ошибка отменила другую (если мы в самом деле их совершили).

В конце концов я вылез и пошел вдоль обрыва,

глядя на отдаленные, окутанные туманом горы. Скоро я нашел место, откуда вроде бы можно было спуститься, но поскользнулся и проехал по склону вниз, оцарапав бедро и подвернув руку. Я лежал с набитым грязью ртом, не сомневаясь, что ко мне сейчас прибегут на помощь.

Думаете, кто-нибудь прибежал? Как бы не так. Все прятались от дождя в каретах, убежденные, что их молодой хозяин тронулся умом.

Назад пришлось выбираться самостоятельно.

Дрожащий, чихающий, весь в синяках и ссадинах, я начинал понимать, что в такую погоду на последние мысли гения настроиться трудновато.

Я снова залез в карету и на вопрос Кадмира, все ли благополучно, ответил, что всего лишь промок. На обратном пути я твердил себе: пусть ты был не там, откуда упал в пропасть твой гений, пусть не видел места, где он умирал, все равно оно где-то здесь — довольствуйся этим. Даже если я скатился вниз с того самого места (а человек пожилой при таком падении мог очень просто сломать себе ноги), то с тех пор старые деревья там повалились и выросли новые; картина в чем-то переменилась, но в основном осталась той, которую когда-то созерцал Белхэм, а теперь я. Кроме того, ночь его падения, как говорят, тоже

была сырой и холодной. Если Белхэм опьянел от сидра и собственных мыслей, то я пьян от него! Он упал — и я тоже! Пока Кадмир кутал меня в одеяла, я все сильней убеждался в том, что мой опыт на обрыве — не считая того, что я отделался ушибами и царапинами — дал мне больше, чем я ожидал. Теперь мне, согласно первоначальному плану, следовало вернуться к кузену, но Кадмир, пощупав мне лоб, сказал, что у меня жар. Из другой повозки прибежал караванщик, и я, удивив всех — себя в том числе — заявил, что мы, минуя Элламон, едем к следующей отметке на моей карте.

«Но молодому хозяину должно быть известно, что это неразумно при его нездоровье и в такую погоду», — сказал караванщик, а Кадмир напомнил, что кузен по возвращении обещал показать мне крылатых зверей, о которых столько рассказывают. Белхэм, конечно же, видел их — люди затем и едут в Элламон, чтобы на них поглядеть.

Кадмир, разумеется, знал меня куда лучше, чем караванщик, и в другое время мог бы добиться успеха, но я уперся и заявил, что ехал сюда не за этим. У меня своя цель, своя страсть. Я уже видел фонтаны Белхэма в саду моего кузена, видел место, где он погиб (хотя и не в том порядке,

как было задумано) — моя цель в этих краях достигнута. Едем дальше, как если бы ничто не нарушило наших планов.

Так мы и сделали.

Я, закутанный в меха, чтобы еще больше не расхвораться, хорошо понимал, почему не захотел вернуться к кузену, но никому об этом не говорил.

Кадмир, не иначе, думал, будто я не хочу услышать от кузена, что мы повернули не туда, что деревня была не та и обрыв не тот. И если бы он осмелился сказать мне об этом вслух, я бы не стал с ним спорить.

На самом же деле я не стал возвращаться по той же причине, по которой не спрашивал дорогу у жителей той деревни.

Все дело было в крестьянке, приютившей когда-то Белхэма.

Я вырос в городе и имел дело лишь с теми крестьянами, что работали на кого-то из моих родичей. Даже собственные кучера и солдаты смущали меня, и я из кожи лез, чтобы они считали меня своим, компанейским парнем — хотя им я, по крайней мере, платил. Большего я от себя тогдашнего не мог требовать. Разговор с ограниченной бедной старухой, скорей всего выжившей

из ума, не просто казался мне сущей нелепицей — он меня ужасал. Простая крестьянка, перевалившая за семьдесят, да еще и с тяжелым нравом! Я знал, конечно, что Белхэм и сам из крестьян — но то, что он, изгнанный из господских палат, поселился у простой грязной бабы…

Не знаю, чего ожидал от меня кузен, но сам я живо представлял, как сижу в ветхой хижине и пытаюсь извлечь из этого темного ума несколько крупиц истины, когда все, что окружает меня, противится этому; можно ли представить больший страх для юнца, впервые оказавшегося в глубинах нашей странной и ужасной земли?

К вечеру мы разбили лагерь…

Но позвольте мне опустить десять, одиннадцать, а то и тринадцать месяцев — время я исчислял по-разному. Довольно будет сказать, что было это в последние недели моего путешествия.

Настала ночь. Мы, разбив лагерь в чаще южного леса, втроем сидели вокруг костра…

Почему втроем, спросите вы?

Усталый молодой путешественник, соскребавший ногтем гарь с палки, где жарил мясо, сильно похудел, загорел и, смею сказать, поумнел по сравнению с мальчишкой, оставившим в стороне

Элламон. И руки у него загрубели.

Все началось со смелого и нелегко мне давшегося решения есть вместе со своими солдатами. С тех пор мы, хотелось бы думать, стерли немало сословных различий.

А что же мой страх перед крестьянами?

Я много раз ночевал в их холодных, дурно пахнущих хижинах, ел их безвкусную или, наоборот, перенасыщенную приправами пищу. Даже подружился с тремя-четырьмя простолюдинами, пришедшими мне на выручку по одной доброте душевной, не подозревая, что я принц (я не стал их просвещать на сей счет). Впервые переспал с женщиной, крестьянской вдовой лет на пять старше меня (ей-то я расписал свое положение самыми яркими красками). Не знаю, поверила она мне или приняла все это за россказни купеческого сынка, но слушала как зачарованная. Пахло от нее коровами, и она знала целебные снадобья, о которых я прежде не слыхивал, — но решил, что она наверняка могла бы исцелить моего отца. День спустя, в гранитных чертогах моего родича, я шел по коридору за юной принцессой тремя годами младше и гораздо высокородней, чем я. Она была сирота и здесь жила как воспитанница. В черном платье и бронзовых украшениях, она

освещала себе дорогу дымящим факелом. Вскорости, на земляном полу кладовой, я посвятил ее в то, чему научился в объятиях простолюдинки.

После этого у меня больше года не было женщины — широта моего опыта, как видно, внушила мне, что весь женский пол я изучил не менее досконально, чем деяния Белхэма.

Усвоил я также то, что хорошо знает сельская знать и не ведает городская: народная мудрость в некоторых случаях оказывается сильнее всех прочих. Как-то одна из наших карет съехала с дороги, и наши усилия вернуть ее обратно привели лишь к тому, что она перевернулась и скатилась со склона пятифутовой вышины. За этим наблюдали пять грязных и явно туповатых селян, в том числе две бабенки. Я думал, что они только посмеются над нашей бедой, но у меня хватило ума проявить учтивость, и они, поворчав и покачав головами, начали пригибать ветки, разматывать веревки и отдавать малопонятные приказы как друг другу, так и моим солдатам. В конце концов, подпирая экипаж то поленьями, то камнями, они снова выкатили его на дорогу — только гуж лопнул. Я не знал, как и благодарить их. Денег они не взяли, но бронзовую посуду приняли с радостью. Не таким ли способом Белхэм вытас-

кивал из карьеров тяжелые камни для своих зданий? Но чтобы мой отчет был верен, я должен упомянуть не только о приобретенных знаниях, но и о наших потерях.

Первой из них стал Кадмир. Я, простыв в горах, отделался небольшим жаром, насморком, кашлем и болью в горле, но скоро и он заболел. Его кашель был куда хуже моего — он выхаркивал мокроту, а то и кровь. Когда нам встретился торговый караван, идущий обратно в Колхари, я заплатил им, чтобы они отвезли Кадмира в дом дяди.

Теперь о солдатах. Один из них сказал мне, что здесь, совсем близко, его родная деревня — нельзя ли ему отлучиться туда на денек? А потом он нас догонит, он ведь знает, в какую мы едем сторону. Я, вопреки возражениям караванщика, разрешил, и больше мы этого воина не видали. Неделю спустя нас покинули еще два солдата, уже без спросу.

«Это потому, что вы первого отпустили», — говорили мне остальные — кто сочувственно, кто с укором.

После настал черед обеих карет. У одной лопнул и второй гуж, после чего двое моих кучеров молча ушли. К тому времени у меня сменились

уже два караванщика; первый, с которым я никогда не ладил, занял — полагаю — более выгодную и менее сумасбродную должность у купца, шедшего с караваном в пустыню. Тирек сказал, что переманили его во время остановки в Вархеше. Поскольку людей и припасов у нас поубавилось, мы решили, что одной кареты нам хватит.

Вскоре, в западных лесах, на нас ожидаемо напали разбойники. Я, впрочем, подозреваю, что это были два конных стражника из господского дома, где нам недавно — со всей учтивостью — отказали в гостеприимстве, сказав, что хозяина дома нет.

Когда мы подъехали к их воротам, я с тремя солдатами оставался в карете, и стражники подумали, что я путешествую без всякой охраны. Остановив нас на дороге, они первым делом пробили стрелой руку кучера. Я не успел еще сообразить, в чем дело, как Тирек метнул копье из окна кареты прямо в бок неприятельской лошади. Она упала, придавив собой всадника, а мне копейщик чуть зуб древком не вышиб. Тут мы все выскочили и накинулись на второго всадника. Я, собственно, только смотрел, как солдаты рубят и коня и наездника без разбору — потом их добили. Первый, придавленный конской тушей,

кричал во всю глотку, но затих, поняв, для чего к нему идет солдат со сломанным носом. Он угадал верно: Тирек добил мечом и его.

Зря мы сидели в карете, говорили солдаты: может, разбойники и не решились бы напасть, видя нас. Тирек на это резонно заметил, что злодеи, увидев трех солдат и караванщика, попросту сняли бы их стрелами из-за деревьев. Раненый кучер, с рукой на кожаной перевязи, согласно кивал. Мы оставили его в ближнем городе, где Белхэм построил великолепное круглое здание зерновой гильдии.

Пока я ее осматривал, меня решили покинуть еще двое солдат, но они хотя бы соизволили об этом сказать и даже помогли нам продать карету и лошадей. Экипаж заменила запряженная парой мулов телега — навес в ее задней части поднимался и опускался, и мы с Тиреком легко управлялись с ним.

«С этой колымагой у нас будет меньше хлопот, чем с той, — сказал Тирек, пока мы с ним перегружали припасы из кареты в телегу. — Карету на здешних дорогах всяк норовит ограбить, особливо если стражников не видать».

Я признал его правоту и сел на козлы за кучера.

Правя мулами, я в равной мере гордился своей взрослостью и тем, что взял нашу судьбу в свои руки — боясь при этом, как бы меня не подстрелили из-за деревьев.

Утром мой последний караванщик, маленький и рыжий, ушел от меня, тоже честно предупредив заранее. «Каравана-то у нас больше нет, маленький господин. — Я был выше его на голову, но он называл меня так с самого начала, будучи на пятнадцать лет старше. — Чем прикажете управлять? Опять же, я не солдат. Зачем платить мне как караванщику, чтоб я плелся за вашей телегой без всякой пользы?»

Я позвал Тирека, и мы, сидя на бревне, серьезно поговорили.

«Тебе, по правде говоря, тоже бы следовало уйти, — сказал я. — Одному тебе будет лучше — не придется заботиться обо мне. Я попрошу следующего родича дать мне людей для возвращения в Колхари — слишком дорого встала эта поездка».

Тиреку было тогда двадцать три. Я так и не узнал, откуда он родом, но в армию он поступил за пару лет до установленного законом возраста. Лет в шестнадцать-семнадцать он уже побывал в бою и убил несколько человек, в двадцать стал последним учеником великого мастера Нарбу

и получил чин младшего офицера. Нос и бедро ему повредил другой молодой офицер, из благородных — позавидовал его успехам и рубанул по ноге. Тирек в долгу не остался (он хвастал этим перед другими солдатами, не зная, что я тоже слышу; потом увидел меня, и я насколько мог убедительно выразил свое одобрение). После этого он и стал наниматься в караванные стражники.

Восхищаясь его храбростью и боевым мастерством, я немного побаивался этого сумрачного косолапого малого со сломанным носом и громадными ручищами с обкусанными до мяса ногтями — я в жизни не видывал, чтоб ногти так обгрызали.

Его меч, копье и лук лежали на земле между нами. Руки он держал на коленях и слушал меня (как мне казалось) столь же внимательно, как командира, объясняющего ему боевую задачу.

«Уходи, Тирек, — так будет только честно. Повозкой я и один могу править, а разбойников в здешнем лесу не водится. Даже если мне придется бросить телегу, то…»

Тирек, слушая это, ерзал на месте и наконец выпалил:

«Хочешь от меня избавиться? Куда я, спрашивается, пойду от твоей треклятой телеги? И как

ты-то без меня обойдешься, глупый мальчишка? Нет уж, ты меня не гони — уходить я не собираюсь».

Мой страх перед ним сменился искренним удивлением, и я, разумеется, разрешил ему остаться — столь же неохотно, как разрешил тому первому солдату уйти. Я хорошо понимал, что отныне мы не хозяин и подчиненный, а опытный солдат и упрямый, много о себе воображающий семнадцатилетний юнец — и что путешествовать мы будем вместе, нравится это мне или нет.

Недолгое время спустя нам встретился Арли — варвар, калека, изгой в родной деревне, с отнятой до бедра ногой: в пять лет он угодил под колесо груженной камнем телеги. Старше меня, но моложе Тирека, он был не семи пядей во лбу, но обладал живым воображением, любил пошутить, как многие увечные люди, и прямо-таки рвался поехать с нами, чтобы остаться при нас навсегда. Ниже меня ростом, он отличался недюжинной силой — руки и уцелевшая нога у него были крепче, чем у Тирека. Говорил он на трех варварских наречиях (я владел только двумя, а Тирек и вовсе одним). При помощи костыля с мятным запахом он пробирался по камням и лесной чащобе не хуже, чем я или Тирек на двух ногах, и таскал на

спине мешки вдвое тяжелее, чем мог поднять я. В деревне его обзывали пьянчугой и дураком — он время от времени прикидывался то тем, то другим. Он не сбежал оттуда лишь потому, что ровно ничего не знал обо всем прочем мире, хотя уже несколько лет только и помышлял, что о бегстве, и дожидался кого-то вроде меня.

Я взял его потому лишь, что он забавлял Тирека — от моего мрачного солдата можно было порой добиться ухмылки, рассказав ему нечто сальное, а я в своих историях уже использовал самым бесстыжим образом и крестьянскую вдовушку, и принцессу-сиротку, и сестер их, и служанок, и матушек. Рассказы одноногого Арли про его похождения с деревенскими молодухами — столь же правдивые, полагаю, как и мои — позволяли мне немного передохнуть, сойти с подмостков и побыть в публике.

Тирек, не только воин, но и заправский охотник, то и дело бил копьем кроликов, индюшек и поросят. У Арли естественное желание проявить себя превратилось из-за увечья в настоящую манию, и он, уже неплохо владея копьем, стал брать уроки у Тирека. Скоро он, опираясь на костыль, стал уходить с копьем в лес, вызывая у меня смесь стыда, уважения и зависти. Кроме того,

он отлично знал все съедобные листья, коренья, стручки, грибы и орехи; этому его научила старуха-знахарка, у которой он жил до самой ее смерти — тогда-то, лет в четырнадцать, деревенские и начали над ним измываться. Я, как ни странно, сделался не только возницей, но еще и кашеваром. Не считая нескольких простительных новичку неудач (Арли расчихался из-за переперченного жаркого, Тирек не одобрил сырой пирог, изготовленный по туманным указаниям Арли после внесения разумных, как мне казалось, поправок), у меня получалось совсем неплохо. С тех пор я не раз замечал, что в маленьких компаниях вроде нашей кто готовит, тот и командует — или перестает готовить.

Я, несмотря на свою молодость, все еще считал себя главным — и как же быть с моим походом по следам Белхэма? Вопреки переменам, которые претерпел наш отряд, я все-таки умудрился посетить больше половины отметок на своей карте, не знаю уж благодаря чему — своим предводительским талантам или заботливо припрятанному пергаменту. Предводителем я, думается, оставался лишь потому, что порой въезжал во двор какого-нибудь провинциального замка, получал после переговоров с управителем доступ к

владельцу и обеспечивал нам на пару дней кров и пищу.

Вот еще одно любопытное преображение.

В дороге мы все трое были друзьями, но в стенах господских усадеб Арли тут же становился моим старательным, хотя и крайне неуклюжим, слугой. (Чего стоил первый такой визит, когда он, нося мне то воду, то фрукты, заблудился в чертогах и мне пришлось долго его искать!) И разговор об этом мы завели только после первых трех раз.

Ну, а Тирек в одно время с ним превращался в преданного телохранителя.

Не думаю, что им это нравилось, но взгляд владельца замка — или даже его управителя — мигом восстанавливал среди нас иерархию, исчезавшую, как только мы выезжали из ворот. Зато во время таких постоев мы могли отдохнуть (хотя я знакомился с вульгарностью, претензиями и умопомешательством провинциальной знати ближе, чем мне хотелось), а без меня Арли с Тиреком в эти хоромы нипочем не попали бы. Поэтому я, будь то в пустыне, в горах или в лесу, время от времени разворачивал свой пергамент, сверялся по солнцу, и мы без споров ехали в указанную мной сторону.

Мои спутники, без особых стараний с моей сто-

роны, прониклись даже некоторым уважением к Белхэму и цели моего путешествия; они, как-никак, повидали его работы и не раз слышали из угла закопченного чертога, как я говорю о нем с пышно разодетой герцогиней или пузатым герцогом, чьи круглые глаза и широкие скулы походили на мои.

Сама карта, однако, претерпела не меньше перемен, чем я сам; и если я льстил себя надеждой, что изменился к лучшему, то с ней дело обстояло ровно наоборот. Это не значит, что она порвалась — пергамент лишь обтрепался слегка по краям, — но что касается ее содержания… Да, я посетил больше половины намеченных мест, но отнюдь не в намеченном порядке. Первоначальный заезд в Элламон послужил лишь намеком на последующую путаницу.

Построенные Белхэмом мост или здание, находящиеся будто бы в таком-то городе, оказывались на деле совсем в другом, в двух-трех днях пути. Карта изобиловала и собственными ошибками: деревня, стоящая будто бы на одном берегу реки, располагалась в некотором отдалении от другого. Ручей превращался в широкую реку, а мелкие, бурные, каменистые речки на пергаменте вовсе отсутствовали. Перед близким будто бы городом

вырастал непроходимый горный хребет или струилась не имеющая брода река.

Поначалу я извинял себя тем, что Белхэм, будучи великим героем, без труда одолевал и горы и реки, но после вынужден был признать, что самый короткий, согласно карте, путь в действительности бывает куда длиннее.

Я, конечно, пытался усовершенствовать карту в свете новых открытий. Одна пожилая жительница Абл-Айни, в юности носившая воду рабочим Белхэма — они строили храм, позднее прославивший город, — рассказала, что неподалеку есть мост, который Белхэм построил гораздо раньше, лет двадцати с лишним. В Абл-Айни он вернулся (как сам говорил ей), когда ему уже было за пятьдесят, и построил этот храм по заказу местного барона. Выходило так, что в Колхари он работал уже после храма: женщина помнила, как он разволновался, когда к нему прибыл гонец Высокого Двора. Она была уверена, что королева тогда впервые вызвала его ко двору — так говорил не только сам Белхэм, но и много других. Он отправился в столицу прямиком из Абл-Айни, как только достроил храм.

Это совпадало с моими прежними сведениями, но на моей карте не было прямого пути из Абл-

Айни в Колхари и не было отметок, что Белхэм побывал в этом городе дважды, с промежутком лет в тридцать. Сидя как-то утром в лагере у прогоревшего костра, когда другие еще не вставали, я попытался это исправить и вдруг увидел, что мой аккуратный прежде чертеж стал полнейшей неразберихой.

Еще одна трудность: я то и дело слышал имя, преследующее всякого, кто изучал работы позднего Белхэма, — Венн. Удивительно, как я раньше его не слышал. Там и сям — почти всегда в мелких селениях, где Белхэма давно позабыли и я лучше местных жителей знал о пробитой в скалах дороге или о грандиозной каменной арке — я, наряду с постройками Белхэма, то и дело натыкался на «Венн-лестницу», «Венн-камень» и «Венн-пролом». Кто-то сказал мне, что Венн была женщиной… но что же дальше? Жил с ней Белхэм, как с элламонской старухой, к которой я побоялся пойти?

Любил ее?

Ненавидел?

Все вместе?

Ни то ни другое?

Логика подсказывала, что стареющий изобретатель, встретив молодую ветреную красотку,

назвал в ее честь кое-что из своих второстепенных работ. Но кто она была? Суеверная крестьянка, с которой он резвился за амбаром, куда она выносила ему кружку пива? Или шаловливая принцесса, с которой он (в очередной раз) покрыл себя позором в темном покое? Я не знал этого тогда и посейчас не знаю. Возможно, она была купчихой и снабжала его деньгами. Возможно, его другом, и он хотел увековечить память о ней. Никто из тех, с кем я говорил, не мог мне ответить. Но в Нарнисе я нашел явно рукотворный променад с вырубленными в скале ступенями, ведущий к реке, а в Альданангхе близ Макалаты — огромную искусственную пещеру с резными колоннами. Оба сооружения носили имя Венн и были грандиознее всех виденных мной работ Белхэма.

Арли, подняв глаза к высокому потолку пещеры, высказал крайне нелепое предположение: что, если она — если Венн и вправду она — сама была изобретателем и зодчим, сравнимым с Белхэмом, а то и превышавшем его? Мы с Тиреком со смеху схватились за животы, породив в пещере гулкое эхо. Но когда мы вышли на солнце, пошучивая насчет разбойников, будто бы устроивших здесь пристанище, я понял, что возразить

мне на это нечего — а значит, предположение одноногого варвара столь же весомо, как рассуждения высокоученого принца. Я уже тогда начал относиться с подозрением к логическим выводам. Имя Венн, где бы я его ни встречал — это не путеводная нить, а нитка, выбившаяся из ткани, спущенной временем со своего станка.

Путешествуя теперь по зеленому югу, мы приблизились к обозначенному на моей исчерканной карте месту рождения Белхэма. Я давно уже отказался от своего первоначального плана — мой первый караванщик мог бы дать мне такой совет еще в Фальтах. Теперь же все доброжелатели как высокого, так и низкого звания говорили мне, что Белхэм, по преданию, мог родиться и в этой деревне, и в другой, и еще в нескольких. Притом каждый советчик (а в двух случаях о советчица), будь то князь или крестьянин, называл вескую причину, по которой одна предпочиталась другой.

Всего за право называться местом рождения Белхэма боролись пять деревень, расположенных, на взгляд бывалых путешественников вроде нас, сравнительно недалеко одна от другой. Погода стояла хорошая, и мы без всякой спешки могли объехать их за четыре дня. Теперь я уже

не стеснялся заговаривать с деревенскими стариками и кривоногими ребятишками — а они, преодолев первые подозрения, улыбались и отвечали либо направляли меня к тому, кто мог знать что-то еще.

Однако эти пять деревень разочаровали меня по-своему не менее сильно, чем место кончины гения.

Первая попросту больше не существовала — сгорела, похоже: на ее месте остались одни руины. Пока я вслух прикидывал, когда это могло случиться, Тирек скинул копьем обгорелую доску с дохлого, кишевшего червями кота. Стало быть, огонь поглотил деревню несколько дней, от силы недель, назад.

Мы побродили там, опасаясь мародеров или работорговцев, но так больше ничего и не выяснили.

Второе варварское селение сохранилось в целости, но мы все еще видели перед собой картину пожарища — так отраженное в ручье солнце еще долго пляшет перед глазами. Тамошние желтоволосые жители подтверждали, что Белхэм родился у них, произнося его имя так, что возникали сомнения, о нем ли, собственно, речь — но я уже перестал обращать на это внимание. Хорошо,

но где именно? Может быть, уцелел его родительский дом? Или живы еще родичи, могущие рассказать о его, бесспорно, примечательном детстве?

Селяне, собрашиеся поглазеть на костыль Арли, копье Тирека и на мой темный лик, отвечали на это смехом. Эта лесная деревня, как и горный городок, где умер Белхэм, тоже с тех пор переехала на новое место.

Откуда же она переехала?

Кто-то показывал в одну сторону, кто-то в другую; старушка, опираясь на палку, говорила, что старая деревня стояла там, щербатый парнишка — что сям: ему дед рассказывал.

Вот и разбери, кто тут прав — если хоть кто-то прав.

В третьей деревне, побольше и побогаче (здесь попадались каменные дома, а частично вымощенную рыночную площадь огораживал деревянный забор), тоже сказали, что Белхэм родился здесь. Родители его, правда, пришли из другой (шестой по счету) деревни, отчего она тоже вздумала присвоть себе эту честь. На вопрос, где же находился их дом, меня после долгих варварских словопрений проводили к старцу с подобием тюрбана на голове — он-де приведет

куда надо.

Мы со старцем тронулись в путь, остальные на почтительном расстоянии шли за нами.

Старец долго молчал, и я боялся, что Арли с Тиреком соскучатся и начнут шутковать. При некотором уважении к моим розыскам долго удерживаться они не могли, особенно если валять дурака принимался кто-то один. Но тут старик подал голос.

«Вы вот что поймите: тут все дома, будь они глинобитные или каменные, стоят не более двадцати пяти лет — тебе ведь как раз столько, парень? — Тирек кивнул. — То работорговцы придут и порушат всё, то солдаты. У деревень жизнь недолгая. Мальчонкой я, помню, думал, что между работорговцами и императорскими солдатами разницы нет: те же стальные мечи, те же кожаные латы, — он покосился на Тирека, — то же зло творят. Одни разве что пленных брали, а другие резали всех подряд. Белхэм? Да, слыхал я, будто бы он здесь родился, но во всех южных деревнях говорят то же самое — даже если им меньше лет, чем самому молодому из вас. — Теперь он смотрел на Арли, и я возгордился, что кажусь таким взрослым. — Нам тут особо похвастаться нечем, благородный наш

гостюшка, — оно и неудивительно, что все хотят отличиться».

В двух оставшихся деревнях мы и того не услышали. Раньше я не мог представить, что в месте смерти Белхэма когда-то существовала гостиница, теперь же — хотя ни Арли, ни Тиреку этого не сказал — не мог вообразить, откуда у варварского мальчика в этой убогой среде мог взяться интерес к цифрам, кругам, треугольникам, рычагам, разрушению скал, движению воды и ветров. Быть может, он посещал помещичьи усадьбы? Но местная знать, судя по домам, где мы останавливались, была не намного просвещенней своих крестьян, хотя и властвовала над ними. Теперь, правда, я рассматривал этот недостаток воображения как собственный изъян: кто я такой в сравнении с гениальным Белхэмом?

Впрочем, невзирая на все мои недостатки и новообретенные навыки, я пришел к выводу, что рождение Белхэма еще более расплывчато и менее достоверно, чем его смерть. Городок, где он умер, был, по крайней мере, один и подходил под обстоятельства его смерти, но эти пять варварских деревушек чем-то да отличались одна от другой — как и те хижины, что встречались мне в горах, в лесах и в пустыне: у каждой имелись

свои особенности. Белхэм, родившись в одной из них, обрел талант вычислять и строить из камня, я же, побывав здесь, даже его жизнь не мог воссоздать.

Объехав их все, мы, как я уже говорил, сидели втроем в лесу у костра и собирались ложиться спать. На ужин я приготовил кролика и какие-то мелкие дикие клубни. Тирек не захотел сыграть в кости с Арли, и тот вглядывался во мрак, где ему не иначе мерещилась нечисть, о которой наряду с травами рассказывала ему старая знахарка. Что, если бы «моего солдата» или «моего слугу» попросили рассказать о последнем прожитом нами часе? Спросили бы, что мы ели, как располагали устроиться на ночлег? Насколько сильно отличались бы их рассказы от моего? И как я могу надеяться рассказать подлинную историю Белхэма, не совпадая с ним ни во времени, ни в пространстве?

Старыми торговыми знаками можно было написать «я видел…», «она была…», «он сделал то-то и то-то…», но написать «я, кажется, видел нечто похожее на…» или «некто, быть может, побывал близ места, напоминающего…» или «некто, возможно, был тем же лицом, что и…», представлялось затруднительным или совсем

невозможным. Однако историю Белхэма я только так и мог написать. Письменная речь гораздо точнее устной. Неведомый гений с Ульвен позволил нам передавать на письме все неточности устного слова, но я в ту пору не обладал инструментом такого рода; между точностью и неточностью лежала неодолимая пропасть, и ни Белхэм со своей стороны, ни — как мне стало наконец ясно — я со своей не могли навести через нее мост. О чем я подумал, осознав это тогда, у костра?

Помните мой тайный замысел?

Пока я размышлял о том, как время и пространство разрушили построенный мной порядок, ко мне вернулось желание вырваться из стеснявших меня границ.

Я не мог поделиться со своими двумя друзьями крушением своих планов, и это значило, что из друзей они превращались в бремя, которое я больше не мог нести. Тирек, хоть и обозвал меня когда-то глупым мальчишкой, полагал, без сомнения, что я распоряжаюсь, по крайней мере, собранными мной сведениями — Арли же при каждой противоречивой находке попросту думал, что это самое я и искал.

Я же не нашел ничего, кроме кучи строений, дорог и скал, одни из которых отыскались в ожи-

даемых местах, а другие нет.

Не в силах сказать об этом моим товарищам из страха потерять ту толику уважения, какой пользовался у них, я жаждал от них избавиться. Это желание неизменно возвращалась ко мне при мысли о горах, лесах и пустынях собственного невежества. Но именно у того костра я почувствовал, что меня ждет нечто новое и чудесное, не связанное ни с Белхэмом, ни с Неверионом, — стоит только освободиться от моих спутников и вырваться из этой страны, оставив заодно позади ее запутанную историю.

Границы Невериона нанесены на карту менее четко, чем несколько серединных провинций, но мы теперь находились на его южной оконечности — в южном углу моей карты.

Я подошел к местам рождения и смерти Белхэма насколько мог близко, но слишком мало узнал о том, что лежало между ними, чтобы прекратить свой поход. Он не только не завершился успешно, но даже не начинался толком, если подумать — и все же с этой затеей, как бесполезной, так и невыполнимой, следовало проститься.

Порожистая река, вдоль которой мы ехали между последними двумя деревнями, уходила за край моей карты. Если ехать по ней и даль-

ше, она выведет меня за пределы Невериона. Самым разумным было бы, конечно, дождаться утра, а затем достать карту и объявить, что мы продолжаем ехать на юг. Но у меня зародилось подозрение, что двое других послушны не столько мне, сколько цели моего путешествия — и не знают, в отличие от меня, что эта цель потерпела крах. Думаю, я хотел дезертировать по тем же причинам, что и солдаты, бросившие меня, — они-то сразу почуяли, что со мной не все ладно.

Я встал и отошел в сторону от костра. Тирек, взглянув на меня, тут же снова уставился на огонь. Решил, видно, что мне надо облегчиться или порукоблудить — занятия, за которыми неоднократно заставал его я. Зевающий Арли на меня совсем не смотрел. Я шел на ощупь; через десять шагов стало так темно, что можно было идти и с завязанными глазами. Ветки били по лицу, по груди. Я натыкался на стволы и перелезал через поваленные деревья, опасаясь встретить по ту сторону такую же крутизну, с которой свалился Белхэм, а после и я.

Тридцать шагов, сорок, пятьдесят. Я вышел на поросшую кустами поляну. Ночь была безлунная, но такого количества звезд я еще не видал. Их крупную соль пересекала мелкая пыль Млечного

Пути. На правом краю поляны протекала река — я различал белую пену вокруг камней в ее русле. Было до странности тихо, слышался только шепот воды. Безымянные неверионские боги так похожи на нас, что изображать их незачем, но на юге я слышал от крестьян, а то и от помещиков, имена более древних богов; вечерами мне даже показывали их очертания среди звезд. В ту ночь я вообразил, что вижу на небе всех богов, бывших и будущих, с именами и без — и все они смотрят, как я пробираюсь через поляну, стремясь перейти незримую границу Невериона.

Я пытался рассмотреть, в какую сторону течет река, чтобы не сбиться с пути, когда опять войду в лес, что и случилось еще через тридцать шагов. Прислушиваясь к ней, я гадал, что иссякнет раньше — запас моих сил или ночь. Себе я представлялся круглым дураком и отчаянным храбрецом в то же время. Собственное тело казалось мне сгустком тьмы при переходе неведомого рубежа, но повернуть назад мне даже в голову не пришло.

Я уже говорил вам о чудище, с которым жительствую здесь в Колхари, — о репутации мудреца и учителя. Тогда я еще не представлял себе, как легко подобные чудища создаются, но уже дога-

дывался, что они есть у всех — как у знаменитых, так и у самых заурядных людей. Разве не обсуждали мы с Арли Тирека, когда тот уходил на охоту? Разве заглазно не осмеивали с Тиреком чудачества Арли? Теперь они, конечно, говорят обо мне и творят новое чудище — а когда кто-то из нас умрет, только оно и останется. Я шел не по следам Белхэма, а по следам чудища, присвоившего себе имя Белхэма. За все свое путешествие я понял лишь, из чего эти твари лепятся: из противоречий, предположений, заблуждений, невозможностей и невежества. Почти год — долгий срок для восемнадцатилетнего юноши — я, как герой с лицедейских подмостков, преследовал чудовище по имени Белхэм, и сразился с ним, и порубил его на куски, и раскидал эти куски во все стороны. В эту ночь оно наконец исчезло, не считая той роковой силы, что его создала. Той, что собрала воедино и переиначила обрывки знаний и сведений, сотворив сущность, с которой я начал свой путь, — сущность, которую создал я сам, желая увековечить ее.

Эта сила сопровождала меня, когда я ушел от костра, и в нагом своем виде была еще могущественней того, что от нее оторвали.

Пробираясь по темному лесу, я расслышал

какое-то легчайшее изменение в шуме реки. Ночная птица? Но миг спустя я снова услышал это, уже ближе — как будто некая часть чего-то невидимого не столько приблизилась, сколько уже находилась рядом.

Я замер.

Полную тишину нарушал только шепот воды.

Я снова двинулся с места, надеясь спугнуть это нечто, и через три шага снова его услышал — теперь ближе к земле.

С дерева оно, что ли, свалилось?

Я снова замер, но теперь зашевелилось оно. Я попятился, задев плечом ствол. Частью высокое, частью прилегающее к земле, оно было, бесспорно, очень большим.

Я больше его не слышал, но оно заслонило несколько звезд надо мной, а потом… дотронулось до меня!

Моей руки коснулось что-то мокрое и сыпучее, как горный склон под дождем. В тот же миг ночной бриз переменился, и на меня пахнуло дохлым котом — все это громадное тулово, несомненно, кишело червями.

Оно было мертво, как сам Белхэм! Сдержав крик, я захлебнулся его смрадом, пустился наутек, упал — и услышал, как ступила следом его

нога, длиной во все мое тело. Я поднялся и снова дал стрекача, слыша его сопение.

Я бежал, спотыкаясь, обдираясь о ветки, подвернул лодыжку, ушиб руку о ствол. На каждые мои пять шагов позади слышался грохот, словно рушилось, ломая подлесок, большое дерево, и что-то заслоняло мне звездный свет.

Я скатился с горки, которую и не заметил бы днем, перелез через бурелом, опять побежал — и в глаза мне ударил свет от костра…

Тирек нахмурился и присел на согнутых ногах — в одной руке копье, в другой меч. Арли, съежившись, отскочил назад.

Я оглянулся через плечо. Весь лес вокруг костра сотрясался, на листьях дрожала моя огромная тень.

— Что там, разбойники? — спросил Тирек, нацелившись копьем в лес. — Работорговцы?

— Или зверь какой? — прошептал Арли.

Я молча покачал головой, но они, видя, что я весь в грязи и в крови, и так уже поняли, что я в эту звездную ночь встретился со сверъестественным существом. Некое чудовищное божество, стерегущее границу, помешало бегству, о котором я по глупости возмечтал. Имя у него определенно было, но вскоре я понял, что мне посчастливи-

лось. Если б я услышал это имя от какого-нибудь местного колдуна и назвал его вслух, гнилостная пасть чудовища тут же пожрала бы меня.

Я не дал Тиреку погасить костер на ночь, да он и сам не особо рвался. Мы уселись плечом к плечу, спиной к ограждавшим его горячим камням и всю ночь подкладывали в огонь дрова, до которых могли дотянуться. Тирек предложил было сторожить по очереди, но мы не стали — это не спасло бы нас от чудовища. Я задремывал и просыпался, когда кто-то из них на меня валился. Наконец взошло солнце, и мы поднялись один за другим, застывшие и разбитые, чувствуя себя так, будто вовсе не спали.

Наша повозка осталась в целости, и в лагере, не считая опавших листьев, ничего не переменилось.

Мы уцелели.

Я, как всегда по утрам, сунул свою изодранную руку в повозку и достал из-под кошелька карту.

Чибис испустил свою пронзительную трель, перекрыв шум реки.

— Думаю, мы повидали все, что касалось Белхэма, — сказал я. Арли повернулся ко мне, Тирек перестал обтирать меч от росы. — Я видел, где он умер, где он родился, где он работал на про-

тяжении своей жизни, и узнал о нем более чем достаточно. Пора возвращаться в Колхари.

Проехав немного на север, мы по обоюдному согласию остановились под какой-то скалой, достали одеяла и проспали несколько часов, наверстывая упущенное. Потом покормили мулов, поели сами, снова пустились в путь и на закате разбили лагерь.

Чудовища существуют.

9.8.2.1. Что из фэнтези и научной фантастики послужило моделями для моей серии (которая относится все же не к научной фантастике, а к жанру меча и колдовства)? «Венера плюс икс» Старджона, «Женоподобный мужчина» Расс, «Галактики» Мальцберга, «334» Диша, «Птица смерти» Эллисона…

В какой степени их проблемы совпадают с моими?

В чем, что еще важнее, специфические различия?

И насколько я в этот самый момент верю в чудовищную специфичность собственных решений?

9.8.3. Мост Утраченных Желаний не из числа моих любимых мест в городе (повествует Мастер). Меня смущает его любострастный дух. Мои дру-

зья, не чуждые плотских желаний, говорят, что это происходит от слишкого острого чувства жизни на этом мосту, всего лишь на волосок отстоящего от животных порывов.

Это полнейший вздор.

Жизнь торжествует, когда мужчина и женщина содержат своими трудами ребенка или престарелого родителя, когда заботятся о друзьях. Не вижу никакого торжества в том, что порочная пятнадцатилетняя девица или голодающая юная варварка продаются на четверть часа портовому грузчику с таким количеством пива в брюхе, что назавтра он эту девчонку и не узнает; в том, что девушка после их краткого соития принимает ядовитые зелья, опасаясь зачать.

А во времена карнавала мое беспокойство, столь сильное на мосту (торжество жизни? Скорей уж уныние, удовлетворения там уж точно не чувствуется), распространяется и на соседние с ним кварталы. Мост в это время наполняется людьми, которые обычно туда не ходят, отчего острота жизни, или уныние, или, скажем уж прямо, похоть чувствуются не столь сильно, и переход через Шпору становится похож на любую другую улицу.

На мосту горели факелы, когда я шел по нему,

и со всех сторон слышалось, что здесь только проехал Освободитель.

Идя по Старому Рынку через толпу развеселых гуляк, я думал о своем юношеском путешествии и далеко не впервые задавался вопросом: что, если бы кто-то захотел пройти моим путем, как я сам шел путем Белхэма? Речь не о том, чтобы лет через сто воссоздать всю мою жизнь, но что, если бы кто-то услышал о моем путешествии со всеми ложными прибавлениями — взять хоть мой разговор с родителями — и решил повторить тот единственный год, желая понять, что он для меня значил?

Что, если бы этот некто занялся только моей встречей с чудовищем?

Если расспросил бы моего дядю?

Дядя мог бы сказать, когда примерно я уехал и когда возвратился — хотя, как я заметил, он часто забывает, который это был год.

Что вспомнили бы обо мне родичи, у которых я останавливался?

Крестьяне, которые нам помогли?

Первый, лысый, караванщик?

Последний, рыжий?

Солдаты, бросившие меня?

Арли и Тирек?

Принцесса и крестьянская вдова?

Десять лет назад мне представился случай отчасти это узнать.

Первый школьный год завершился успешно. Весной в начале второго я распустил учеников на полтора месяца по домам, а сам отправился навестить друга, жившего в одном дне езды к западу. За последнее время он нажил себе недурное состояние и помогал общине рабочих-варваров, пересилившихся в его места из столицы. Я гостил у него три дня. Однажды, когда впервые стало по-настоящему жарко, я хотел вздремнуть днем по примеру всего семейства, но не сумел и решил пройтись.

Идя по знойному переулку, я увидел мощно сложенного одноногого варвара с костылем. Такого калеку в Неверионе не часто встретишь, и я сразу вспомнил об Арли. Одноногий, не замечая меня, вошел в кривой, ничем не завешенный дверной проем глинобитной хижины. Устремившись за ним, я очутился в кладовой, где сквозь дырявую крышу проникали солнечные лучи.

«Прости, — сказал я, — ты, часом, не…?»

Человек с костылем, стоя под одним из лучей, хмуро обернулся ко мне. Он казался мне ниже и плотнее моего друга, и лицо у него было шире,

и губы толще, и волосы на лбу поредели, а на груди стали гуще и подернулись сединой. Но тут хмурость сменилась ухмылкой, и я увидел, что это Арли!

«Молодой господин! Сколько лет! Ты что тут делаешь? Зачем ко мне пожаловал? Нет, это и впрямь ты!» Он хлопнул меня по плечу, я схватил его за руки, отчего он пошатнулся на своем костыле, и подумал: если я изменился столь же мало, как он, то минувшие годы — больше десяти — были поистине добры к нам.

Арли сказал, что теперь смолит бочки; руки до локтей и нога до колена у него почернели. В этом городе он уже много лет, а сюда зашел что-то взять и куда-то отнести. Он звал меня к себе — выпить и поговорить о былом. Если, конечно, я готов оказать старому другу такую честь… провести часок с убогим калекой…

Он вскинул на плечо мешок — опять-таки вдвое тяжелее, чем мог поднять я, — и мы вместе вышли на улицу. Он чуть больше гнулся под ношей и шел чуть медленней, чем мне помнилось, но вскоре отдал мешок пожилому торговцу маслом и привел меня в незнакомый квартал, очень напоминающий скопление хибар на возможном месте гибели Белхэма.

Тут, по крайней мере, было сухо и солнечно.

У одной хижины женщина, вся в поту, стирала в каменном корыте. Две девочки-подростка ей помогали, несколько голых детишек возились в грязи от пролитой в пыль воды.

«Глядите, кого я привел!» — крикнул Арли. Женщина — у нее была заячья губа — застеснялась. Арли подталкивал ее ко мне, она смотрела в землю. Руки у нее сморщились от воды. Я улыбнулся и поздоровался, полагая, что это женщина Арли. Отцом кое-кого из детей, похоже, был он, а она будто бы знала обо мне все по его рассказам. Ну, ты же помнишь! Тот господин, что дал мне денег на обзаведение!

Я не знал, помнит она или нет, но сам вспомнил, что в Колхари и вправду уплатил Арли жалованье за три-четыре месяца, как моему слуге, — не так уж много, но больше, чем мой варвар когда-либо держал в руках. Три дня спустя он куда-то пропал из людской в доме дяди, и я гадал, не случилось ли с ним чего — но он, видно, сразу сговорился на рынке с возницей и приехал сюда.

Арли между тем вел меня дальше. Его женщина? Нет, они просто дружат. Хорошая соседка, много раз ему помогала и другим тоже — он хотел познакомить нас. Она хорошая, как и ты, объяс-

нил он, только простого звания.

Наконец мы пришли к его хижине, меньше и хуже, чем большинство остальных, на самом краю квартала. Кругом валялись ветки и разный хлам: бревенчатая скамейка с отломанными ножками, треснувшее тележное колесо.

Внутрь мы не зашли, за что я был благодарен: пахло здесь, как всюду, где стряпают в горшках, которые толком не моют.

Арли, усадив меня на перевернутую корзину, вынес две глиняные чашки и кувшин. Потом сел на камень, налил мне чего-то прозрачного, как вода, подождал, пока я отведаю, и налил себе. Это я научил его, как прислуживать за столом.

Крепкий напиток обжег горло холодом, хотя под другим углом, как подозревал я, он прошел бы гладко, как льдинка по горному склону. Арли угостил меня одним из видов авильского рома.

Я говорил уже, что в родной варварской деревне он незаслуженно слыл пропойцей — и теперь, похоже, заслужил это звание.

Многие полагают, что это питье ядовито, но я скажу лишь, что ром добавил тепла и без того жаркому дню — и мне ли было судить былого попутчика за проявленное им гостеприимство?

Мы поболтали о том о сем, и я спросил: «Скажи,

Арли, что из нашего путешествия тебе запомнилось больше всего?»

«Сам знаешь что», — с хитрой усмешкой ответил он.

«Я знаю, что запомнилось мне, но хочу и тебя послушать».

«Ну это… в замке. Где твой кузен жил».

Я с улыбкой кивнул, думая, что он говорит о своем первом посещении господского дома — Арли тогда заблудился, и я долго его искал. Я сам часто, со многими прибавлениями, об этом рассказывал. Но Арли добавил:

«Когда твой благородный кузен покончил с собой».

Я нахмурился, не понимая, о чем он толкует.

«Ну как же. Сначала мы долго ехали по фруктовым садам, и конца им не было. А женщина у ворот — ты после сказал, что она рабыня, только ошейник у нее прикрыт красивой оборкой, — сказала, что барон умер. Его нашли тем утром в саду, где он наелся белых лепестков ядовитого цветка ини…»

В моей памяти что-то забрезжило.

«Все в замке будто с ума посходили, — продолжал Арли, — нас поместили втроем в одной комнате…»

«Ну конечно! — воскликнул я. — Барон Иниге! — Я забыл, как мы ехали через сады, но припомнил служанку — рабыню? — в каменных воротах; она сказала, что не может нас принять, потому что в доме беда: барон наложил на себя руки. — Но мы ведь там не останавливались? — Дальнейшее напрочь стерлось из памяти, я помнил только ту женщину у ворот. — Едва ли это было возможно после такого несчастья».

«Да нет же, остановились. Я боялся и не хотел туда идти, а наш солдат… как бишь его?»

«Тирек».

«Ага. Ему-то смешно было, что я боюсь, а ты умасливал ту рабыню: это-де ужасно, но мы можем быть им полезны; не хочу, дескать, вторгаться и понимаю, как все расстроены, но мои люди устали, и хлопот от нас не будет, мы только на одну ночь…»

«Арли, я ничего такого не помню!» — засмеялся я.

«В конце концов нас впустили, и мы въехали в дом покойника. Ты тоже видел, как я напуган, и ухмылялся! — с укором напомнил Арли и тут же заулыбался. Его культя двигалась из стороны в сторону — будь нога на месте, он просто махал бы ей в воздухе. Я сотни раз видел, как он это

делает, но ни разу об этом не вспомнил за все эти годы. — Нам отвели каморку на самом верху крутой лестницы — ты еще злился и говорил, что не хочешь спать в одной комнате с вонючим варваром и грязным солдатом…»

«Я, должно быть, хотел сказать, что замковая челядь сочтет это неподобающим… — Себя в то время я помнил (и до сих пор помню) как до нелепости рьяного поборника равенства, но совсем забыл, что происходило с нами в замке барона. Если бы меня час назад спросили, останавливался ли я в доме Иниге, я ответил бы «нет» в полной уверенности, что говорю правду. — Но Тирек и впрямь был грязней некуда, верно?»

«Я боялся ходить по их покоям и переходам, но как стемнело, вы с солдатом — с Тиреком? — решили сыграть со мной шутку и вытащили на крышу. Я не хотел — вы заставили!»

«Как же мы умудрились тебя заставить?» — Прославленное варварское упрямство Арли мне запомнилось хорошо.

«Взяли да ушли, вот как — а один я бы там ни-почем не остался. Крыша неогороженная была и покатая, с чем-то вроде каменных будок. — Я знал, конечно, как выглядит крыша замка, но не помнил, чтобы выходил туда с Арли. — Там было

мокро после дождя, и вы знали, как легко мне поскользнуться на костыле и с одной ногой. — Он хлопнул себя по черной подошве. — Тучи так и летели по небу — то луна проглянет, то вовсе черно. Вы удрали от меня, спрятались и ну выть да рычать, будто демоны или чудища…»

«Но ты знал ведь, что это мы?»

«Знать-то знал, но демоны этого места могли вселиться и в вас — вот чего я боялся. Оно и понятно в доме, где случилась такая смерть. Я хотел убежать, а солдат зацепил меня копьем сзади, я и упал».

«Арли… — Пожалуй, Тирек (если не я сам) чересчур жестоко подшучивал над калекой — но когда мы играли в пятнашки, даже и ночью, Арли почти не уступал нам в проворстве. — Арли, вряд ли мы…»

«А ты наскочил на меня, столкнул, и я покатился вниз, к самому краю крыши. Теперь уж я не сомневался, что меня преследуют демоны, и думал, что разобьюсь насмерть!»

Я глотнул рому. «Но мы ведь поймали тебя?»

«Как бы не так! — отрезал Арли. — Я просто не докатился до края. Ногу ты мне сильно ушиб. — Он потер икру, как будто она до сих пор болела. — А солдат смеялся над моей трусостью.

Я боялся сказать, как мне больно, — боялся, что вы из-за этого оставите меня как раба в этом страшном замке».

«Но...» — В памяти возникла картина: Тирек при слабом — может, и лунном — свете стоит и хохочет над несчастным упавшим Арли. Не на крыше ли того замка? Неужели я и правда его толкнул? Больше я ничего не помнил и не мог подтвердить, что две эти картинки — женщина у ворот и падение Арли — относятся к утру и вечеру одного и того же дня.

«Хорошее было времечко, а? — улыбаясь до ушей, сказал Арли. — Где только не были, чего только не повидали».

«Да. — Неужто я в самом деле так мучил несчастного парня, а потом об этом забыл? Но жаркий день и ром мешали предаться раздумьям. — Скажи, не узнал ли ты после этого еще чего-нибудь про Белхэма или Венн? Я часто думал, как это на тебе отразилось».

«Это кто ж такие? — нахмурился Арли. — Крестьяне, которых мы как-то раз подвезли?»

«Да нет же. — Разбиравший меня смех пополам с удивлением отгоняли неудобные мысли. — Не помнишь разве?»

«Белхэм — имя варварское, — сказал Арли, под-

лив себе рому, — а другое нет. Венн, говоришь? Какое-то иноземное, с островов, что ли…»

Будто и не смотрел никогда в потолок той пещеры.

Мы еще долго с ним говорили — не могу сказать, что у нас не осталось вовсе никаких общих воспоминаний. Мы обсуждали Тирека с такой живостью, словно он только что ушел в лес и вот-вот вернется, а не пропадал больше десяти лет.

Думаю, это помогло Арли воскресить свое собственное чудовище.

Он после каждого глотка повторял, что нам славно тогда жилось, хотя помнились ему куда менее приятные вещи, чем мне. Но ведь и жизнь его не баловала ни до, ни после так, как меня. Позже я решил, что только таких воспоминаний и можно ждать от человека, совершившего всего одно путешествие за всю жизнь — от деревни, где он родился, до города, где, скорее всего, умрет. В тот день, однако, я ни разу не вспомнил — и не спросил Арли — про чудовище, напугавшее нас в ночь моего неудачного бегства. Как-то язык не повернулся снова заговорить о чудовищах.

Арли проводил меня немного и показал, как пройти к дому моего друга. Ром веселил нас, солнце светило, ни одно дуновение не шевелило

молодую листву. Я шел, составляя в уме рассказ для моих хозяев, когда они встанут после дневного сна: «Ни за что не угадаете, кого я…» Нет, лучше так: «Я вышел погулять и нежданно-негаданно встретил…» Делая это, я заодно сам пытался осмыслить случившееся. И когда за садовой стеной показался двухэтажный дом с изразцами и терракотовыми карнизами, радостное чувство встречи так тесно переплелось с тревожными откровениями Арли, что я не стал ничего рассказывать и до сих пор твержу про себя историю нашей встречи: это самый свежий, но отнюдь не последний ее прогон.

С Тиреком я тоже увиделся, через год после Арли. Летом я пошел навестить другого моего друга, купца и путешественника — не к нему домой, а на один из караванных дворов вокруг Нового Рынка. Мой купец со дня на день ожидал прибытия каравана, пробывшего в пути семь месяцев.

Вереница телег и крытых повозок въехала, должно быть, во двор незадолго до моего прихода. Возницы и конюхи перекидывались шутками, грузчики, не получившие пока указаний, прохлаждались под стеной склада, стражники стояли, опершись на копья, или играли в кости.

Мне подумалось, что мой друг, наверно, теперь

не сможет отобедать со мной, как было задумано. На дворе я его не видел и предполагал, что он беседует с досмотрщиками ее величества в лабазе. Я тоже собрался войти, но тут обратил внимание на одного из солдат.

Неужели…?

Да. Темнокожий, долговязый, со сломанным носом. Ногти обкусаны, на бедре пониже кожаной юбки заметен шрам.

«Тирек? — окликнул я. Он не отзывался. — Тирек! — Я встал перед ним. Он сморгнул, и я стал подозревать, что ошибся. — Так ведь тебя зовут?»

Он едва заметно кивнул, явно не узнавая меня.

«Не помнишь? Ты был стражником при моем караване — больше десяти лет назад!»

Он так и не узнал меня — намек на улыбку предназначался для незнакомца, спутавшего его с кем-то другим. Я, несмотря на все приметы, тоже засомневался и снова спросил: «Но твое имя — Тирек?»

«Ну да».

«Так вот, ты служил у меня стражником. Мы потеряли обе наши кареты и последние месяцы путешествовали втроем на одной телеге — ты, я и варвар по имени Арли, одно…»

«Это в Меньяте, что ли? Когда все припасы вы-

шли и половина стражников взбунтовалась? Мне пришлось вспороть брюхо трем своим лучшим друзьям! Потом мы застряли в ущелье и четыре месяца питались одними ягодами да мякотью кактусов. — Слушая его, я окончательно убедился, что это мой Тирек. — А выйти боялись из-за разбойников…»

Может быть, я просто забыл то, о чем он рассказывал? Но нет — до Меньятского ущелья на дальнем западе мы так и не добрались.

Зато я хорошо помнил, как молодой солдат на лесной дороге прикончил вопящего разбойника.

«Только это было года четыре назад… может, пять лет. Я почти два года провел в той поездке».

«Нет. То, о чем я говорю, было больше десяти лет назад, и ничего такого с нами не приключилось».

«Больше десяти… — Он задумчиво потер себе шею. — Уж больно давно. А ты кем был, караванщиком?»

«Нет. Постарайся вспомнить. Ты рассказывал мне, откуда у тебя этот шрам — раньше ты служил в армии. — Тирек посмотрел вниз и вскинул бровь, словно совсем про него забыл. — Я был совсем еще мальчишкой, и мы дружили. Ты остался со мной, когда все остальные ушли. Потом с нами

увязался калека-варвар, и нас стало трое. Теперь он живет в городке к западу от столицы, я его видел в прошлом году. Это был мой караван. — Мне очень хотелось пробудить в нем дорогую для меня память о том времени и нашей дружбе, не знавшей сословных различий. — Ну что, вспомнил теперь?»

Он смущенно повел плечами. «Да вроде нет».

«Что ж, десять лет — долгий срок. Но это был ты».

«Может, и я».

Я смотрел на него, вспоминая, что и Арли узнал не сразу. Странные шутки память играет с нами. Тирек не облысел, не растолстел, не подвергся другим внешним переменам. Раньше он был молод, а теперь достиг средних лет, вот и все. Он служил караванным стражником и до, и после меня — наше с ним путешествие попросту ничем ему не запомнилось. Я мог бы напомнить ему о проказах с Арли на крыше замка, об ужасе, пережитом нами на границе Невериона, да хоть бы и о наших попойках…

Но многие просто не держат в памяти ничего, кроме последних трех месяцев, да и недавние события вспоминают только в связи со своими друзьями.

Я положил руку ему на плечо.

«Рад был повидать тебя снова, Тирек. Удачи».

Он посмотрел на мою руку, словно не понимая, откуда она взялась — и явно сомневаясь, что мы когда-то были знакомы.

После я то заходил на склад, то выходил снова, разыскивая купца, и каждый раз мой взгляд падал на Тирека.

Он посмотрел на меня лишь однажды, и у меня появилось чувство, что он уже выбросил из головы и этот наш разговор — или окончательно убедился, что я ошибся. Обедая в таверне со своим другом, я все время порывался рассказать ему о встрече с его стражником, но так и не рассказал.

В ночь карнавала я шел через Старый Рынок, вспоминая Арли и Тирека и сравнивая наши воспоминания. Игра запомнившегося и забытого как раз и порождает чудовищ, будь то боги, великие люди или обыкновенные мальчики, умирающие от чудовищной на свой лад болезни.

Я узнал о чудовищах в том своем путешествии и не раз встречал их с тех пор.

Чудовища существуют, и это мы сами.

На улице, в которую я свернул, светило всего несколько факелов в руках у прохожих. Над крышами взошла половинка луны.

Одни улицы были людными, другие почти пустынными. Сквозь ставни старой таверны мерцали лампы. Уверенный, что это тот самый дом, я остановился посмотреть, не войдет ли кто внутрь. Возможно, я опоздал или пришел слишком рано — подождать немного было только разумно. Из-за угла показались красные факелы, послышались голоса и звуки тростниковой флейты. Я откинул шкуру у входа, вошел и сразу понял, что попал куда надо. Во время карнавала посетители таверны так себя не ведут. Здесь царило молчание и чувствовалось, что все ждут чего-то. При свете ламп, подвешенных на цепях к низкому потолку, я узнал одну пару. Женщина обстирывала нашу школу, а сожитель ее, варвар-башмачник, иногда привозил на тележке выстиранное.

Я кивнул им. Они ответили тем же и сразу отвели взгляд.

Я, как и они, понимал, что разговоры здесь были бы неуместны, но что делать дальше? Взять себе выпивку, сесть за стол, просто стоять у стены и ждать? В таверну вошла морщинистая старуха в бурой накидке — она тревожно озиралась и тоже явно чувствовала, что ей здесь не место.

Мимо с песнями и смехом шла веселая компания, которую я видел на улице.

Из двери рядом со стойкой вышел желтоволосый мужчина в голубом хитоне, золотом ожерелье, с увядшими цветами на голове. Он сложил руки перед собой и сказал:

«Что ж, нас собралось достаточно, можно и начинать. Знаю, вас всех тревожит чума, но нас она тревожит еще больше, поверьте. Мы счастливы видеть вас здесь; плата будет взиматься на выходе. Я чародей, который… — Кто-то кашлянул, и чародей поднял бровь. — Вы ведь пришли сюда на поклонение…»

«Амневору», — подтвердил кто-то.

Люди переглядывались, услышав это крамольное имя. Вслух утвердительных ответов никто не давал, но некоторые кивали или поднимались из-за столов.

«Прекрасно. Прошу всех за мной. Нужно будет спуститься по узкой и довольно крутой лестнице, поэтому не толпитесь и смотрите под ноги».

Старуха, словно боясь, что ее оставят в таверне, протиснулась мимо меня. Я улыбнулся ей, она отвернулась, смущенная.

Поверх голов тех, кто шел впереди, я видел, что стены на лестнице вырублены прямо в скале. Снизу доносились звуки неземной музыки. Голос Амневора… любопытно, что за чудовище нам

преподнесет эта ночь.

Я пригнулся под низкой притолокой, видя впереди светловолосую голову башмачника — судя по ее наклону, он уже начал спускаться. Я шел последним.

9.8.4. Тех, кто не присутствовал на пришествии Амневора — в том числе Арли, Горжик, Ларла, Мьесе, старый лицедей, Норема, Ферон, Лучистая Бирюза, Сэмюел Дилэни (он же Чип), Тирек, Топлин, мать и любовник Топлина, — намного больше присутствовавших.

9.8.5. — Мы потерпели неудачу в самом начале, — вещал Чародей в темноте. — Как могло быть иначе при нашей слабости, боязни, полнейшей беспомощности перед лицом чистоты столь совершенной, что мы порой испытываем соблазн приобщиться к ней? Неудачливым будет и наш конец. Темнота вокруг помогает нам осмыслить свою неудачу, свою неспособность помнить то, что следует помнить ради сохранения цивилизации, неспособность забыть то, что нужно забыть, дабы вынести то, что цивилизации сопутствует. Слышите предчувствие в звуках арф и цимбал? Внесите первый факел.

Смотрите и ужасайтесь! Восседающий на троне

мертвец с пронзившими кожу ребрами и обнажившимися зубами возрожден не к жизни, но к тому, что совершается сейчас над нашими головами. Освободитель прибыл в Колхари, чтобы занять седалище подлинной власти, находящееся не здесь.

Был ли он более прав при жизни, чем властелин, перед которым он пал? Вряд ли, если брать шире. Однако он был некогда живым человеком, а теперь сидит, мертвый, в нечестивом свете наших факелов.

С чего еще мы можем начать перед лицом бесчисленных смертей, которые несет нам чума?

Амневор!

Амневор!

Амневор!

Свирели и барабаны нам вторят. Но мы не просто взываем к божеству при посредстве этой иссохшей мумии. Божество, в которое нам столь трудно уверовать, само войдет в этой символ нашей смертности, возведенный нами на трон, и оживит его, хотя и не полностью.

Не оглядывайтесь!

Всегда нечетное число ее глаз, величиной от мелкой рыбешки до полной восходящей луны, смотрит вам в спину; огромное тело ее покрыто

морским илом и слизью. Ее жар согревает ваши затылки, ваши колени. В разжижающейся плоти открываются многочисленные рты: одни столь малы, что не просунуть и пальца, другие столь огромны, что языки в них изодраны обломками зубов, коих больше сотни: растут они в несколько рядов, и каждый с нашу ладонь; третьи беззубы и способны только сосать: некоторые из них обрамлены чем-то похожим на челюсть или на клюв, некоторые висят лоскутьями, вбирая воздух и источая зловоние.

За тамбурином и систрой слышно ее дыхание — звучит оно так, будто горит большой купеческий дом. Не дерзайте оглядываться! В ее гноящееся, пульсирующее чело вставлен кроваво-красный камень с голову младенца величиной, с девяносто семью сверкающими гранями; он оправлен в золото и железо и приделан к лобной кости. Тот, кто увидит его, уже не сможет отвести взгляд. Я знаю это, ибо смотрю на него теперь! А чем Амневор питается?

Человечьими глазами!

Человечьими языками!

Горячим студнем человечьих мозгов! Она высасывает их через ухо, раздирая перепонку и мелкие косточки когтями в шесть-семь дюймов

длиной. Как только вы вперите глаза в красный камень, Амневор охватит вас своими мощными щупальцами и растерзает на куски своими крошечными ручонками…

Для чего нам, по-вашему, нужна мумия? (Звон колокольчиков, пение флейты.) Только она, лишенная глаз, языка и ушей, может взирать на Амневор вблизи. Только она может откликнуться на ее зов.

Слышите? Музыка умолкла. Смотрите на трон.

Внесите еще факелы!

Видите? Мертвая рука шевельнулась! Отвисшая челюсть закрылась, лязгнув остатками зубов, колени раздвинулись, ступни скребут по шкуре на верхней ступени трона.

Смотрите, он пытается встать! Какая сила нужна, чтобы одолеть смерть, когда-то его постигшую! Слепой, глухой, безмозглый, он тем не менее слышит зов. Мы должны указать ему путь.

Выйди вперед, малютка!

Девочка с кошачьим черепом на конце посоха подбегает к ступеням. На ее пухлом личике нарисована маска, которая вкупе с детской невинностью оберегает ее от глаз Амневор, затаившейся позади вас и столь же ужасной, как боги, сотворившиеся нас по облику своему.

На плечи девочки накинут черный с оранжевым плащ, кожаная тесемка говорит о сорванном с шеи амулете. Мы никогда не узнаем, что это было, к какой судьбе это могло ее привести. Теперь девочка служит поводырем для *нашей* судьбы, которая медленно и трудно подымается с трона.

Слышите гулкое эхо гонгов?

Мумия стоит на верхней ступеньке, девочка с высоко понятым посохом отступает.

Костлявая нога сходит на одну ступень ниже, весь остов сотрясается, стряхивая сухую кожу и крупицы хрящей; одно ребро отваливается, клацнув по камню. На ступеньке осталась фаланга пальца ноги, на сиденье — палец руки. Не рассыплется ли наш оберег раньше срока?

Но чудовище позади вас уже дрожит, выказывая признаки страха или гнева — вы сами бы распознали их, если б видели, — в то время как останки нашего принца с дребезгом сходят вниз. Разве не подозревали мы все, что люди бывают сильнее богов? Смерть наша уж верно бесповоротнее, чем смерть любого бога, с именем или без, о котором мы когда-либо слышали. Верно и то, что распад и разложение — а это и есть Амневор — не может пожрать то, что уже мертво. Не в этом ли мелком различии между мертвыми и умира-

ющими заключена надежда на нашу победу?

Амневор, как вы знаете, богиня границ и оконечностей. Возможно, вы даже встречали ее в одну из ненастных ночей, ощущали ее смрад, когда пытались перейти некую грань, хорошо понимая, что будет означать такой переход. Но теперь мы призвали ее сослужить нам, хотя перемещение от края в середину не слишком изменило ее натуру; если бы Неверион включал в себя саму смерть и все звезды вселенной, она бы все равно рыскала по его краям.

«Она»? Я слышу, как вы повторяете это со скрытой насмешкой, готовые отвернуться от меня и лишиться всякой надежды вернуться к тому, что мы называем действительностью. Не отворачивайтесь! Многие из вас знают, что в чужих землях — некоторые даже бывали там — прибегают к такому же обряду, где чудовище имеет мужеский пол, оберегом служит мертвая принцесса, а поводырем — мальчик. Имя может быть таким же, другим или вовсе отсутствовать, но разве нам не знакомо чудовище, стерегущее границы между разными странами или между нами и чем-то иным? Уверяю вас, они столь же подлинны, как и чудовище, которое, в конце концов, стережет не только наши, но и чужие границы. Ей все

равно, какие различия она охраняет и каким мы ее наделяем полом в честь самого различия. Ей нужно лишь, чтобы различия были.

Девочка снова поднимает свой посох, и слышится звук…

Тише! Тише, говорю вам!

Не отворачивайтесь, что бы вы ни увидели!

На полотнище, только что развернувшемся сверху по знаку ребенка, точно ветер повеял с границы вечности, изображено существо, намалеванное так скверно, что не разберешь, дракон это или орел; то же относится и к резьбе над воротами Высокого Двора. Что смотрит на нас из его глазниц? Похоть? Гордость? Алчность? Невежество? Нужда? Девочка ведет скелет мимо него, и тот, хоть и трясется так, будто вот-вот развалится, побеждает врага в любом образе тем же способом, который я советую вам, по крайней мере сегодня: не глядя на него вовсе.

Вот с ревом, будто мучимый болью, разворачивается другой холст, где изображена некая местность — море, пустыня или лес; главное здесь — отсутствие человека, указывающее, какую пустоту и отчаяние живые люди могут претерпеть до того, как умрут. Но наш мертвец идет мимо, и на холст, вопреки его смерти, ложатся очертания

человека.

В отдаленной и хорошо защищенной от простого народа части нашего города Освободитель, миновав ворота, приближается теперь к замку; серые стены вырастают над ним, будто вот-вот рухнут, дверь отворяется и поглощает его. Он идет по широким коридорам, где его приветствуют с обеих сторон, приближаясь к средоточию власти, призвавшей его сюда…

А здесь, в старом сердце Колхари, ковыляет мертвец, отрясая с себя остатки плоти и плесень. Он простирает свои мертвые руки то вправо, то влево, череп поворачивается туда и сюда, ища силу, которая его призывает.

Звучит бравурная военная музыка.

Он колеблется… ибо вы — это граница, которую он должен пересечь, нарушить, преодолеть, чтобы воссоединиться с тем, что его оживляет.

Заклинаю вас снова: не отворачивайтесь от его пустых глаз. Если вы хотя бы на миг повернетесь к чудовищу, что дышит вам в спину и бросает вас в пот — которое, по сути, вас охраняет, — он пройдет, и вы потерпите поражение.

Но смотрите: пока вы зажимаете носы от ожидаемого смрада его давно сгнившей плоти, он наконец-то падает на пыльные плиты пола — по-

бежденный, безжизненный, как и прежде.

Он в который раз потерпел неудачу, пытаясь перейти представленную вами границу между возможным и вероятным, неточным и точным, умирающим и умершим, предполагаемым и верным, в который раз не смог воссоединиться с абсолютом, который — хотя вы уверены, что ни разу ее не видели — управляет вашей жизнью и смертью; такой же частичный успех ждет и Освободителя при Высоком Дворе: он тоже не приобщится полностью к власти, призвавшей его с границы Невериона.

Это означает, что у нас есть надежда не быть поглощенными нашим отчаянием, что между нашими жизнями и чумой есть некое противоречие, которое надо еще распутать. Мы, как больные, так и здоровые, можем по крайности верить в это, какой бы чудовищной ни оказалась впоследствии эта вера, эта граница меж нами.

Но что же сталось с девочкой, несшей увенчанный кошачьим черепом посох? Когда нас, как любое собрание, отвлекло неожиданное событие, она ускользнула куда-то. Быть может, ее пожрала Амневор — мгновенно, так что невинная жертва не успела даже и вскрикнуть? Кто знает.

Мы можем только подозревать.

Быть может, позади нас в самом деле таится чудовище, а перед нами лежит на полу мертвец.

Но вот оно, последнее противоречие: мертвец вовсе и не сходил с трона под звуки чарующей музыки.

Он сидит там, и его пустые глазницы винят нас в самообмане.

Арфы и барабаны! Флейты и цимбалы! Вернувшись в противоречивый верхний мир, о друзья, вы сможете рассказать, что видели, как дрогнули костяные пальцы, как скользнула мертвая стопа по шкуре на полу, как сама смерть подавала признаки жизни; только так вы подтвердите пришествие Амневор.

Некоторые из вас скажут также, не менее правдиво, что *видели,* как скелет сходит вниз и движется через все подземелье, согласно моим словам.

Однако помните, говоря об этом, о противоречии между тем, что вы помните, и тем, что можете рассказать (как бы точно ни стремились вы передать то, что видели); именно оно укрепляет нашу надежду на лучшее, в то время как точный (и заведомо лживый) рассказ означает наше новое поражение.

9.8.6. На пришествии Амневор присутствова-

ли многие: барон Ванар, варварка, помогавшая матери Топлина по хозяйству, госпожа Кейн, Кентог, рябой контрабандист, Мастер, младший брат Садука Намук, Нари, Нойед, Садук, старая кухарка и так далее — но они, конечно, уступали числом тем, кто собрался в честь Освободителя при Высоком Дворе.

10. — Извини, Лесли, но как раз этого он и не делает! — сказал Кермит, потрясая книжкой в бумажном переплете. — Не «документирует», используя его слово, то, что происходило в гей-сообществе между восемьдесят вторым и восемьдесят четвертым годами, когда он это писал и СПИД широко освещался во всех газетах. И уж точно не документирует повседневную жизнь древних обитателей этого города, — он показал на раскопки, палатки и растущие кое-где пальмы, — как и древних жителей городков и деревень, которые мы располагаем найти поблизости. Он просто играет в их жизнь, втыкая где попало анахронизмы — а его боги и обряды сплошная фальшивка. Вдумайся только, что он творит. Начинает с историй маленьких людей в условиях эпидемии, но повествования Мастера постепенно их вытесняют. Теперь рассказ ведется уже *за* маленьких людей, по крайней мере за тех,

которыми интересуется Мастер: солдата, который сначала был ему верен, а потом все забыл (что весьма подозрительно), и рабочего, представленного рассказчиком в виде комического калеки. Мастер, соблазняя нас своей риторикой, своими прозрениями, своей честностью, признаваясь в склонности к ошибкам и сомнениям, в то же время совершенно игнорирует целые категории населения. В данном случае это женщины и гомосексуалы (не могу поверить, как ты, математик, лингвист и самопровозглашенная феминистка, этого не заметила). А затем, возвращая нас к временам, когда первый военачальник построил храм Мардука или как его там, Мастера сменяет мистическая риторика жреца, Чародея в веночке из маргариток; говорит он, в принципе, то же самое, что и Мастер, но в терминах абсолюта, чтобы мы не смели ничего подвергать сомнению. Точно то же, что мы уже слышали, в слегка приглушенном варианте, из уст самого Мастера: спасение заключено в поражении. Есть у Дилэни и земля обетованная, где малые возвысятся, а великие падут — Западная Расселина. Хотелось бы знать, о чьем поражении речь. Мастера? Ну да — попробуй назвать кого-то другого. Он терпит провал за провалом, сам того не ведая. Представь,

что ученые, выделившие вирус и разработавшие вакцину, придерживались бы этого принципа. Бога ради, Лесли, тут есть списки тех, кто был и кто не был на церемонии! Боюсь, что дилэниевский Колхари — очень маленький городок. Старо, старо, старо. Несмотря на все его колонцифры, беньяминовский монтаж, бахтинский полифонизм и все прочее, в книге нет ничего нового — о радикальном я уж молчу. Мне ничего тут не нравится. И Джои этот, проститутка и наркоман, точно не мой герой. Не понимаю, что ты здесь нашла. Проехала тысячи миль, чтобы привезти мне эту книжонку, и с непонятным энтузиазмом вопрошаешь, что я о ней думаю. Ну вот, я прочел ее — во всяком случае просмотрел — и высказал тебе свое мнение.

— Керми, еще полгода назад ты понятия не имел, что будешь работать здесь. Да и никто не знал, что есть какое-то «здесь». В Кулхаре упоминается о какой-то болезни, и в этом пассаже определенно есть нечто странное. Но Дилэни, когда писал это, определенно не мог знать, что будет найден город с таким же названием — и такой же эпидемией, — как в его книгах. Он руководствовался тем же, что и вы здесь: моими предположениями из книги о переводе Кулхара.

Что до аллегорий, то текст нужно читать как материализацию, которой вы здесь занимаетесь, в то же время противопоставляя ему активную деконструкцию…

— Лесли, я ни слова не понимаю из того, что ты говоришь. Больше того, я тебе не верю. Если и существует такое чтение, то текст… — Кермит прищурился, разглядывая обложку в медном луче, пробившемся из гряды темных туч, — напечатанный тиражом в семьдесят пять тысяч, вряд ли может претендовать на него.

— Конечно, не может, если по диагонали его читать, — вздохнула Лесли. — Слушая твои заявления, можно подумать, что это ты повествуешь от лица Мастера в самой его авторитарной и консервативной манере, ни в чем не противоречащей здравому смыслу. Хороший способ удержать все как оно есть. Может, дело как раз в этом: все мы прибегаем к такой манере, стремясь к своему «освобождению», нравится это нам или нет.

— Кто это «мы», белый человек?

— Кермит, это ты белый, а я черная и дружу с тобой уже много лет. Тридцатишестилетняя черная женщина с большим лишним весом и неправильным прикусом, которую ты бесишь.

Если бы широкие массы знали, что ты о них говоришь, выдвигая такие вот…

— …они впитали бы это и жили дальше, как поступают с любой информацией и с любыми оскорблениями, которые наши культурные деятели всевозможного уровня им навязывают. Только так они — мы, если хочешь — и выживают. Ты же знаешь, что я не либерал, Лесли.

Лесли снова вздохнула. Кермит вздохнул еще громче и развел руками, но книгу не выронил.

— Ему здорово повезло, конечно. Нашелся древний город, который, даже если он и не является главным портом страны, именуемой микенскими греками «Транспотия», вполне мог бы быть им. И в нем произошла эпидемия, где инфекция — согласно твоей технике перевода, приложенной к обнаруженному здесь тексту — передавалась, возможно, и половым путем. Такое, похоже, и в древности случались время от времени — римляне, кажется, об этом тоже упоминают?

— И передавалась она между гомосексуалами. Высокоморальное большинство постоянно об этом твердит.

— Вот что значит проводить столько времени вдали от цивилизации… отвыкаешь от подобных вещей. Но эта сексуальная составляющая все же

ужасна.

— Я, конечно, не знаю, как проходила эпидемия здесь. Только ли мужчины заболевали — притом гомосексуалы — или женщины тоже? Нам известно только, как они заражались.

— Вот в том-то и ужас, но твой Дилэни очень ловко это обыгрывает. Десять лет назад ты писала в своей первой книге (и это очень ценная работа, что бы я ни говорил раньше): «Мы не нашли имен богов ни в Кулхаре, ни в других связанных с ним древних текстах». И еще: «В этом народе, видимо, высоко ценились ремесла». Что с этим сделал Дилэни? Выдумал целую галерею безымянных богов, заменивших будто бы древних, с именами. И поставил их на службу современному до смешного мировоззрению. История здесь и не ночевала. Как ты, автор такого труда, можешь это терпеть? Твой перевод Кулхара просто гениален, если на то пошло, но твой дружок…

— Он мне не друг, Керми. — Над развалинами, напротив великолепного заката, всходила огромная ущербная луна. — Я его ни разу не видела — мы просто переписывались с ним, вот и все. И мне иногда нравится то, что он пишет. Но ты, похоже, единственный, кто думает, что жанр «меч и колдовство» должен быть исторически

достоверным! Это же просто фэнтези, развлекательное чтиво.

— Тебе лучше знать. Однако книжка твоего, условно говоря, друга — целых три книжки — явно основаны на твоих находках. Эта, как я понимаю, третья, и я полдня на нее потратил. И он не передает, как жили люди не знаю уж за сколько тысячелетий до нашей эры. Он описывает условно-патогенную инфекцию и средства, оттягивающие почти неизбежную смерть, — однако больные СПИДом могут протянуть полгода лишь потому, что мы, в наше время, располагаем такими средствами! Ладно, это я прощаю ему — я тоже мало что знаю об их жизни. Да и никто не знает на данный момент. Но почему этот город у него называется «Колхари»? Среди твоих догадок такого названия не было. С какого он потолка его взял?

— Все его книги с потолка взяты. — Лесли пересела поудобнее на песчаном бархане. — Вы с Уэллманом копаете здесь всего полгода благодаря приложению к *моей* книге, и вам повезло найти город на том, можно сказать, самом месте. А Дилэни при написании третьей книги попросту не мог знать, что в этом месте есть город и что в нем произошла эпидемия, напоминающая в некото-

рых отношениях СПИД. Судя по датам, ты только что выехал сюда, когда он дописывал эту книгу. Вот в чем загадка — потому я и привезла…

— Ты приехала, Лесли, чтобы на что-то меня подбить. И я не собираюсь тебе поддаваться.

— Я приехала, потому что была всего в трехстах милях отсюда. Хотела поздороваться и посмотреть, что вы тут накопали. А поскольку ты, хоть и неохотно, написал послесловия к двум его книгам, я подумала, что тебе будет интересно почитать третью.

— Наши землекопы на тебя смотрят, Лесли, — цени. Рад, что тебе нравится эта вещь, но не проси меня по старой дружбе сделать что-то еще.

— Да, дружба у нас давняя, хоть ты и злишь меня то и дело. И просто так ты от меня не отвертишься. Десять лет назад я положила много трудов на то, чтобы сделать книгу из моих математических методов и основанных на них переводов — а незнакомый, но симпатичный мне автор написал на ее основе три своих книги. Ты же благодаря ей стал третьим по старшинству на раскопках стоимостью сто пятьдесят тысяч долларов, что вызывает интересные ассоциации между ними и тем, что еще недавно считалось второстепенным активным текстом. Речь, конечно, не о Дилэни, а

о Кулхаре. Не сомневаюсь, что вы с Уэллманом напишете об этих раскопках парочку собственных книг. Да, я рада, что мой труд лег в основу того и этого, — не забудь об этом, пожалуйста, когда будешь писать свою книгу. Но если бы я все же встретилась с Дилэни, то непременно спросила бы, что он думает о ваших здешних находках. И он бы, наверно, ответил, что они интересны, но это все, что он может сказать, поскольку все его книги написаны до начала раскопок. Примерно о том же я спрашиваю тебя: что думаешь ты о его работах? И удивляюсь, потому что ждала совсем не такого ответа.

— Вот как? Что ж, возможно, мы оба тебя удивим. Ты говоришь, что хочешь знать мое мнение, — действительно хочешь?

— Конечно!

— Уверена?

— Полностью.

— Так вот, в отличие от Уэллмана — который, когда ты показала ему утром книгу Дилэни, стал говорить, что это хорошая реклама для раскопок (не прочтя ни слова), — в отличие от него, я гей. Никогда особо не скрывал этого, тем более от тебя. То, о чем пишет Дилэни, мне очень близко… Я был в Нью-Йорке тем летом, когда все СМИ

писали и говорили о СПИДе. Сидел у себя в отеле, дожидался рейса, чтобы лететь сюда, и смотрел «Твенти-Твенти». Там брали интервью у «живого скелета», который, как и Герб у Дилэни, умер на следующий день после выхода передачи. А до этого мне пришлось несколько раз съездить на метро в Вашингтон-Хайтс для отправки нашего оборудования, и я решил зайти в общественный сортир на остановке «Семьдесят девятая улица» — место весьма активного секса в то время, — поглядеть, что там делается. Учти, что обычно я в таких местах не бываю. Триста контактов в год? Господи, да для меня три за последние пять и то оргия. Я просто хотел понаблюдать, как ученый, что там происходит на фоне этой шумихи. Представь себе эту дыру: облупленные стены, асбестовые трубы, дневные светильники прошлой эры и кабинки без дверей, с одними перегородками. Между первым и вторым моим визитом туда кто-то залепил гипсом все унитазы и писсуары — не тронули только длинную раковину, которая тут же наполнилась мочой, фекалиями и туалетной бумагой.

Кто мог это сделать? Разгневанные натуралы, чтобы вывести из строя притон извращенцев? Или доброхоты, чтобы понизить число заражений СПИДом?

Однако сексуальной активности это не пресекло, и по назначению, что показывало состояние пола и раковины, туалетом пользовались по-прежнему — но через несколько дней его насовсем закрыли. Про массовые убийства даже и говорить не хочу. Вот как выглядел в то время Нью-Йорк, вот что я думал найти в его «карнавальном» изображении. И еще — нет уж, дай мне сказать. Почему он не пишет о попытках закрыть бани для геев, о преследовании геев-бизнесменов и даже натуралов, владевших гей-барами? Или взять психотерапевта и бухгалтера, упомянутых им: сколько пациентов, сколько клиентов у них осталось за шесть месяцев, за шесть недель, за шесть дней до смерти, когда они были еще в силах работать, но все уже знали, что у них СПИД? Вот что я хотел бы знать, не говоря уж о клиентах Ферона. И это заявление на Мосту Утраченных Желаний… «у меня есть любовник»! Как бы не так. Простите великодушно, но ни у меня, ни у семи из восьми знакомых мне геев любовника нет! Понимаешь ли ты, что означают облавы в банях Сан-Франциско или полицейский рейд в нью-йоркском клубе «Шахта»? Об этом писали все гей-издания, когда я там был. Это сложная политическая ситуация, затрагивающая тысячи, если

не миллионы геев и миллионы гетеросексуалов; люди пишут статьи и письма, отстаивая разные точки зрения; писатели, имеющие больных СПИДом любовников, высказываются против закрытия бань, а официальные источники, пользуясь замешательством, в очередной раз дают указания, как нам, геям, следует и не следует жить. «Аллегория»! Расскажите кому другому! Настоящей аллегорией был бы взвод императорских гвардейцев, разрушающих мост как источник заразы, — и реакция на это всех остальных, от торговцев и покупателей, не могущих попасть на свой Старый Рынок, до завсегдатаев самого моста, желающих быть свободными в своем выборе…

— Керми, — прервала Лесли, — он, может, и не пытался представить в виде аллегории конкретную политическую ситуацию. Может, он просто показывает, что чувствовали люди в то время, какую бы сторону, в политическом смысле, они в конце концов не избрали.

— И все-таки нет, Лесли. Я плохо знаком с научной фантастикой и с твоим мечом-колдовством, но в истории, искусстве и литературе кое-что смыслю. «От художника я требую только одного: верности ощущения», — сказал Флобер. Особенно

это касается искусства, имеющего политическую подкладку. Здесь «верность ощущения» означает интуитивное понимание, о чем *следует* написать. Меня не особо волнует, *что* автор об этом скажет. Но если он выдает эту свою «повесть» за некое политическое исследование, а о самом главном не говорит, это уж ни в какие ворота.

Позади них высились темные горы.

— Может, он вообще в баню не ходит, — пожала плечами Лесли.

Перед ними лежало море.

— Одна из моих самых замечательных встреч — в Цинциннати это было, зимой 1979 — случилась как раз в бане. (Триста контактов? Ненавижу его!) И поверь, я ни на что бы это не променял! Но в киношки и общественные туалеты, где все как раз и происходит, я не хожу.

Между горами и морем вырисовывалось нечто похожее на карту того, что было когда-то городом.

11.1. В таверне горела одинокая лампа. Нари, вслед за другими, откинула дверную завесу и вышла на улицу. Садук обнимал ее за плечи, защищая от вечернего холода. Из-за угла вывернулась компания молодежи; их факелы осветили девочку, бывшую поводырем на церемонии, — она,

как взрослая, беседовала с какой-то женщиной. Черная с оранжевым накидка, которую повязал ей Ферон, так и осталась на ней, но краску с ее лица смыли.

Нари посмотрела туда же, куда и Садук, но юнцы с факелами уже ушли, и стало темно.

11.2. Артистический перфоманс всегда более или менее произволен.

Вот вам портрет Джои.

На нем темно-синие слаксы, в которых он уже неделю спит в парке. Бежевую футболку с выпуклой металлической надписью: «Зачем скромничать, если ты велик, как и я?», он снял и повесил на спинку кухонного стула, на котором сидит. Босые ноги, расставленные на ширину ярда, натерты тесной обувью, подаренной ему другим неимущим, на щиколотках и подъеме следы от уколов. Утром он обделался во сне на садовой скамейке, но остался в тех же штанах — других ведь у него нет. Закатав одну штанину, он раз за разом втыкает шприц, похожий на игрушечный, то в колено, то в бедро, то в голень — ждет, когда темная кровь из действующей вены окрасит бледно-розовую жидкость в цилиндре. По рукам у него течет кровь от безуспешных попыток попасть в предплечье, в бицепс, в запястье,

между костяшками пальцев: каждое место опробовано три-четыре раза под разным углом, но система кровообращения стойко сопротивляется. Струйка на локте толстая и длинная, как червяк, другие оплетают руки красными нитками.

На кухонном столе, среди бутылочных крышек и вощеной бумаги, два бумажных полотнца, которыми он вытирается.

Он пробует большим пальцем белую внутреннюю сторону бедра, и дюймовая игла вонзается туда снова и снова.

— Ну уж хрен, пузырить не буду, — бормочет он, сгорбившись, завесившись волосами. На этот раз он имеет в виду пузырь, образующийся, если ввести наркотик не в вену, а под кожу; организм поглощает его слишком медленно, чтобы получить нужный эффект.

Наконец Джои встает и вытирает руки о свежее полотенце. Штанина все так же закатана.

— Прям как мишень для дартс, а? — Лоб у него вспотел после успешного попадания. Он ухмыляется, показывая длинные нижние зубы и голую верхнюю десну. — Пару месяцев назад я в больнице лежал, они кровь хотели взять на анализ, а я такой: дайте я! Пожалуйста! Вы час будете тыкать мне в руку и ничего не добудете.

Джои женился в девятнадцать, и его дочка всего на месяц младше моей. На фотографиях — его, сильно затасканной, и моей — девочки похожи до ужаса. Я знаю, что он уже три раза умудрился съездить в Бостон, чтобы ее повидать. «Всего-то пару часов с ней провел, — говорил он по возвращении. — Не хочу, чтоб моя старуха расстраивалась. Да и ребенку незачем знать, что папаша у нее наркоман, спит на улице и продает свою задницу». Мне сдается, что любой — даже десятилетняя девочка — заподозрит именно это, проведя с Джои больше пары минут.

Реакция публики тоже более или менее произвольна.

Джои написан на основе моих заметок, сделанных в восемьдесят третьем — восемьдесят четвертом годах. Там говорится о мужчине-проститутке (его имя начинается не на «Дж», и родился он не в Бостоне), серии убийств (со всеми неточностями, услышанными от «Джои») и полицейской операции. Это придает моему рассказу бóльшую достоверность, но менее актуальным он от этого не становится.

11.3. В этот холодный, дождливый пасхальный понедельник, на двадцать градусов ниже нормы (23 апреля 1984), после двухдневных намеков в

газетах и на телевидении, шестичасовые новости объявили о прорыве в лечении СПИДа. Из того же выпуска мы узнали, что Великобритания разрывает дипломатические отношения с Ливией из-за убийства женщины-полицейского в Лондоне; узнали о смерти восьмидесятидвухлетнего ландшафтного фотографа Ансела Адамса и полторы минуты смотрели ретроспективу его работ; узнали, что от нью-йоркских судей требуют выносить более суровые приговоры, хотя наши тюрьмы заполнены на 116 %; что гарлемская учительница танцев Мэри Брюс намерена опротестовать выселение из студии на 125-й улице, где она ведет занятия с тридцатых годов.

А доктор Роберт Галло из Национального института онкологии выделил Т-лимфотропный вирус, очень похожий на рядовой ЛАВ и, возможно, идентичный тому ЛАВ, который исследовал Институт Пастера, вызывающий, по всей вероятности, СПИД. На пресс-конференции в Вашингтоне Маргарет Хеклер, министр здравоохранения и социальных служб — с высокой прической, очками в светлой оправе, в красном платье с высоким воротником, — объявила в целый лес микрофонов, что мы можем разработать тест на антитела к этому вирусу через полгода, а

вакцину — через два года.

Если это, конечно, тот самый вирус.

Вскоре после этого в облупленных стенах кризисного центра для геев изможденный одноглазый человек сказал журналисту, что новость эта, конечно, хорошая, но две с лишним тысячи больных СПИДом вряд ли проживут столько. В нем самом жизнь поддерживает только работа и сила воли. (За три первых месяца 1984 года к названной им цифре добавилось еще 880 случаев.)

Несколько позже Второй канал честно рассказал о СПИДе в армии и на флоте. Предполагается, что случаев там должно быть гораздо больше пяти объявленных — больше тридцати, скорее всего.

Так или иначе, но после четырех лет и больше четырех тысяч смертей у нас развился еще один болезнетворный агент: микроб ужаса.

11.4. *Эту сцену надо расширить на 6–8 с.*

Ночное празднество все еще продолжается, а Нари с Садуком, вернувшись в свой темный дом, находят там Ферона. *Текст:* Садук, присев на корточки, открыл печную дверцу, раздул тлеющие угли, зажег лучину, нашарил наверху лампу. От лучины занялся красный огонек фитиля. Нари, стоя в дверях, ахнула: на скамейке у стола, уронив

голову на руки, сидел тощий, как скелет, человек. (*Поправка:* Локти вздувались, как опухоли, на его исхудавших руках. *Сойдет? Возможно.*) Огонек лампы колебался, разгораясь все ярче. Человек у стола шевельнулся, поднял голову и уставился на хозяев своими темными радужками, обведенными белками со всех сторон.

— Ферон? — прошептала Нари. *Тут надо подчистить. Красный свет падает — на камень? на дерево? Выкинуть или поменять кое-что. В целом ничего, но подчистить и прояснить, как Ферон вошел в дом.*

Он сказал, что провел вечер с другими больными. (*Где? У Ванара? У себя дома?*) А юный Топлин, который свел его с ними, умер днем на руках своей матери. Им об этом сказал его любовник, каменотес, живущий в ремесленном квартале близ школы. Все были потрясены, и Ферону, несмотря на поддержку товарищей по несчастью, захотелось поговорить со своими друзьями. Он попросил, чтобы его подвезли…

— Я не хочу навязываться, мне просто надо… вы ведь не против, а?

Нет, конечно, они ведь друзья. Нари села рядом с ним, Садук поставил лампу и сел напротив. Они были искренне ему рады, но неловкость все-таки

чувствовалась.

— Ты как? — спросил Садук. — Может, домой тебя отвести?

— Нет, не сейчас… давайте поговорим. Мне страшно, Нари… и никто не может помочь.

Нари начала было рассказывать о пришествии Амневор, но Садук остановил ее взглядом, давая понять, что их другу хватает своих забот.

— Я всегда старался помогать людям, — продолжал Ферон (*вставка:* с придыханием, будто говорил сквозь повязку). — И вам, и другим. Ведь это же правда? Не похвальба? А теперь я хочу, чтобы помогли мне — но тут уж ничем не поможешь, верно? Нечестно это. И страшно. Я не могу больше работать, Сади, — ослаб, и все у меня болит. А когда я не работаю, то боюсь. Не смерти — она больше меня не пугает. Боюсь тех пяти дней, пяти недель или пятнадцати месяцев, которые еще придется прожить. Боюсь последних мгновений. Пожалуйста, Нари, Сади… сделайте что-нибудь! Очень уж мне страшно.

После долгого разговора хозяева уложили Ферона на свою кровать. Нари прилегла рядом, Садук, посидев на краю, тоже лег, и все трое уснули тревожным сном, как дети, заблудившиеся в лесу и не знающие, что придет раньше — утро или

чудовище. *Нет, об этом пока не могу писать. Во-первых, это задевает во мне слишком много эмоций. Во-вторых, я, достаточно циничный для человека, которому стукнет сорок два через семь недель, сомневаюсь, что молодая гетеросексуальная пара так распиналась бы ради друга-гея, хотя бы и умирающего. Это, как-никак, последняя ночь карнавала, завтра им рано вставать и работать десять-двенадцать часов. Они, скорей всего, отвели бы его домой, хотел он того или нет, и ушли бы, слегка сконфуженные. Глубоко об этом задумываться они способны не больше Мастера. Эти два фактора составляют итоговый для данной сцены вопрос. Защищает ли меня цинизм от эмоций? Или: вызывает ли у меня сознание циничной правды особо болезненные эмоции? Или: возможно, эмоции и цинизм — это два равноценных ответа известному мне миру, ведущие во мне свою мучительную игру без соблюдения иерархии? Подозреваю, что правильно как раз это. Теперь вопрос: если бы эту сцену освещало не тусклое красное масло, а более дорогое, повлияло бы это на личности и положение Садука и Нари? И поверил бы я в нее? По-моему, будет честно написать, на что я надеюсь, но описывать то, во что я верю не до конца, было бы надувательство.*

ством, как я уже говорил в 9.8.1.1. Может быть, через некоторое время…

11.4. Теперь я готов признать, что нарративная литература (и паралитература) не могут предложить *радикально* успешной метафоры. Они могут лишь, в лучшем случае, разбирать, анализировать, диалогизировать консервативное, осадочное, позволяя фрагментам противоречить друг другу и демонстрировать, насколько они устарели, предполагая (не утверждая) при этом, что есть еще возможность радикального, живого развития. Откликнуться на эти предположения способен только радикальный читатель. («Радикальная метафора», в конце концов — это лишь интерпретация каких-то доисторических слов.) Авторы, какой бы политики они ни придерживались, поставляют только сырой материал — документ, если хотите. Что касается СПИДа, есть множество социальных практик, которым можно себя посвятить: более продвинутые исследования, более широкая информация, группы поддержки больных, группы поддержки их близких. Две последние мне хотелось бы беллетризировать больше других. (Теперь можно с уверенностью сказать, что незавершенность Ферона — это незавершенность текста, а не че-

ловека.) Поскольку сам я пока не болен и такие группы не посещал, я не совсем представляю, как это делается, хотя состою в группе поддержки отцов-геев и догадываться могу. Сначала надежды, что группа разрешит все проблемы, потом разочарование, когда этого не происходит, потом реальная помощь вопреки всем надеждам и разочарованиям и, возможно, осознание, что эта группа не для тебя (может быть, другая подойдет лучше); последнее не имеет никакого отношения к надеждам, разочарованиям или оказанной помощи. (Ферона можно сделать гораздо более «цельным», представив в беллетристических терминах, что происходит в его собственной группе поддержки. Дерзай же, *mon semblable, — mon frère!*)

12.1. В пору моего детства у нашей семьи был загородный дом. К своему дедушке, жившему по соседству, приезжал иногда мой троюродный или четвероюродный брат примерно моего возраста. У него был младший брат, собака, он играл на саксофоне и был слепым от рождения.

Мы его очень любили. Я не вылезал от них, он от нас.

Как-то раз, лет в двенадцать, я сидел на нашем недостроенном чердаке (принадлежавшем

исключительно мне), чертил в блокноте электрическую схему и слушал радио. Там говорили про глазные болезни, и я навострил уши. До сих пор помню один момент: «… он потерял глаз в автомобильной аварии, а через два года, из-за симпатической офтальмии, перестал видеть и второй глаз…»

Симпатическая офтальмия?

Я, любитель умных слов, встречал раньше и одно и другое, но впервые услышал их вместе. То, что человек, потеряв один глаз, рискует из-за ослабления мускулов и отказа нервов потерять зрение и в другом, казалось мне вопиющей биологической несправедливостью. За последующие тридцать лет у меня совершенно случайно появилось несколько одноглазых друзей и знакомых, о которых я всегда думал как о победителях симпатической офтальмии. Им я, кажется, ни разу об этом не говорил, но их победа много для меня значила.

12.2. Свежая анекдотическая информация: у 108 больных СПИДом нашли какую-то кишечную амебу. По словам Сарены, Герб за три года до СПИДа безуспешно боролся точно с такой же. Возможно, этот паразит вкупе с наркотиками, особенно с амилнитритом, служит предпосыл-

кой…

А как же тогда теория препаратов крови?

И вопреки поданной в пасхальный понедельник надежде, нам остается целых два года до вакцины, которую потребуется еще испытать.

12.3. Вот концовка истории о «Джеке-Потрошителе». Я встретил Джои на Восьмой авеню — во всем новом, в кожаной (скорей всего из заменителя) куртке и бодренького. Последние пару дней дела у него, как видно, шли хорошо. Я спросил, живет ли он где-нибудь постоянно.

— Да, жил с парнем одним две недели, — застенчиво сказал он, — но теперь опять вернулся на Порт-Авторити. Неплохой видок, а? — Он оглядел рукава своей куртки.

— Отлично выглядишь, — сказал я в нашем обычном стиле. — Не знаешь, поймали того убийцу?

— Ага, две недели назад. — Мой вопрос, кажется, подпортил ему настроение.

— Расскажи, кто такой?

— Да так, мужик чокнутый. Пятерых, говорят, убил.

— Ты ж говорил, что девятерых?

— Не. Четырех остальных убил кто-то другой.

— Этот, значит, еще на свободе?

Джои положил руку мне на плечо.

— Чувак, я снова живу на улице, и дела пока идут ничего себе. Одного поймали, и ладно — не хочу все время об этом думать. Давай поговорим о чем-то приятном — про рак там, про СПИД, про голодающих китайцев. Тебе не кажется, что мне полагалось бы уже сдохнуть от СПИДа? — Он засмеялся. — Героин, гомосексуалы, гемофилия и гаитяне. Гаитянином с гемофилией я бы тоже мог быть — хотя тогда я давно уж загнулся бы, да? Может, раскошелишься и опять мне комнату снимешь? Буду водить туда народ и хорошо зарабатывать. — Джои ухмыляется, показывая, что это он не всерьез.

12.4. Тед, еще в черновике читающий неверионские повести, сказал мне прошлой весной:

— Сегодня замутил с Горжиком.

— Чего? Как это?

— Был в киношке на Третьей авеню — где мы с тобой познакомились — и видел твоего Горжика. Не впервые уже — он, как я понял, постоянно ходит туда по субботам. Еле удержался, чтоб не сказать ему: «Знаешь, ты вылитый персонаж книги, которую пишет мой друг». Тебе надо самому посмотреть, Чип, — увидишь, как оживают твои герои. Это ж сенсация!

Искушение было слишком велико. В следующую субботу я сидел на затемненном балконе второго по старшинству кинотеатра в Нью-Йорке; днем там поочередно показывали порно и старый шпионский фильм. Справа перед собой я видел того, о ком, по всей вероятности, говорил Тед: здоровенного блондина (?), скорее всего поляка. Сам бы я в жизни не подумал, что он похож на мой персонаж. Что ж, каждому свой Освободитель, говорил я себе с улыбкой, спускаясь в солнечное фойе.

12.5. Настроение неважное. В главе 5.2 я писал, что у Джои в последнее время что-то наладилось: он ушел с улицы и перестал колоться. Я записал это в пять утра после встречи с ним.

Два дня спустя, вечером, переходя Девятую авеню на углу Сорок третьей (по пути на редакционное собрание поэтического журнала, где работаю с октября), я увидел идущую впереди группу парней. Один усмехнулся, и я заметил, что с зубами у него что-то не то. Потом вспомнил про мост и окликнул:

— Луис, как дела?

— Да нормально. Дружка своего, Джои, давно видел?

— Пару дней назад. Выглядит неплохо.

— Избили его прошлой ночью. Прямо по асфальту размазали.

Я хотел расспросить его о подробностях, но Луис с извиняющейся улыбкой показал на других, дошедших уже до угла, и побежал догонять их.

Назавтра я стал спрашивать в «Фиесте» и около, не видел ли кто Джои. Никто не знал толком, что с ним стряслось, но из города он, похоже, уехал: одни говорили, что в Бостон, другие — что в Вашингтон.

Через месяц он нашелся. В первый раз Джои меня не заметил, когда я шел мимо, во второй я увидел, как он, злой и, похоже, больной, бежит по Десятой авеню за каким-то черным парнем.

— … еще десятку накину, чувак! Ну пожалуйста!

Черный, в старом похоронном костюме, уходил от него.

— Чип, скажи ему, что мне можно доверять! Ты же знаешь! Скажи!

— Он свой парень, можешь ему доверять, — сказал я и пошел дальше, сомневаясь, что из этого что-то выйдет.

Еще через пару недель я ехал в автобусе М-104 по Восьмой авеню и увидел из окна Джои. Он сидел на крыльце магазина комиксов с каким-то

своим приятелем, и оба ржали, явно довольные жизнью.

Труднее всего, в конечном счете, признать, что ни один из этих моментальных снимков не определяет жизнь Джои. Весь смысл в движении между ними, которое текст — или документ — не ухватывает; оно, возможно, удивило бы Джои не меньше меня.

13. В рекордно холодный и мокрый весенний вечер я шел домой. (В день прорыва с вирусом СПИДа три недели назад холодоветровой коэффициент составил двадцать три градуса.) Днем температура иногда повышается, но вечером снова падает.

Неожиданно для себя я оказался на шестиугольной брусчатке почти пустой Риверсайд-драйв. За доходящей до пояса стенкой уходил к реке темный Риверсайд-парк. Деревья заслоняли ртутные фонари на черном по-театральному небе.

Даже грабители боятся заходить после заката в эту часть города.

Впереди, через квартал от меня, за оградой мерцал костер. Я вошел в парк, миновал ярко освещенный фонтан, свернул в сторону от детской площадки. После подъема по засаженному деревьями и кустарником склону справа по-

казалась река, а слева — утесы жилых домов с горящими окнами.

Соорудив свой костер из старых разломанных ящиков, газет и опавших веток, он сидел на бревне и ждал, видимо, что полиция вот-вот потребует его погасить — но копы боятся заходить в ночной парк не меньше грабителей. Его теплая куртка, прорванная на боку, была надета прямо на голое тело, на руках и плечах бугрились мускулы. Резко очерченное лицо было куда темнее, чем я ожидал.

На руке выше локтя виднелась кожаная повязка с заклепками — лет пять назад такие продавались только вместе с другими кожаными изделиями, но теперь их можно купить в любом музыкальном магазине, где есть панковские записи; он свою, как и куртку, скорей всего, из мусорного бака достал. Обруч на его шее я тоже сначала принял за кожаный, но потом разглядел, что у него другая текстура. Я мог бы поклясться, что он железный.

Один глаз смотрел на пламя, другой оставался в тени. Из-за маленького роста я подумал, что это карлик, — но нет, он был все-таки выше. Руки лежали на коленях — одна штанина порвалась от колена до самого низа. Толстые загрубевшие

пальцы говорили о физическом по преимуществу труде. Только руки у него и были большими — это наводило на мысль, что при другом образе жизни и хорошем питании он, возможно, достиг бы нормального роста. Слишком длинные брюки он подвернул. Сначала я подумал, что выброшенные кем-то кроссовки двенадцатого размера тоже ему велики, но нет: пальцы через дырявые носы торчали наружу. Ноги у него, как и руки, доросли до нормальной величины. Ремень без пряжки он завязал узлом.

— Как дела? — спросил я через некоторое время.

Он посмотрел на меня и едва заметно кивнул.

— Давно ты здесь?

Он, тоже чуть заметно, покачал головой.

— Недавно. — Он смахивал на пуэрториканца или карибца, но акцент у него был скорее ближневосточный. — Пару дней как.

Я присел на корточки по ту сторону костра. Он моргнул своим единственным глазом и почесал щеку.

— А из дома зачем уехал?

— Не мог остаться. Я ему больше не нужен, зачем тогда? Убежал далеко — сюда. — Он помолчал, откинул в сторону мелкий камешек. — Не нужен

стал. Он теперь большой человек, с другими большими людьми… мне нельзя туда с ним. — От его сальных черных волос пахло мокрой листвой и псиной. — Пошел на мост… позабавился. — Он усмехнулся беззубым ртом. — Понимаешь?

Я кивнул.

— Там кто-то сказал мне про… — Он не нашел нужного слова. — Меня пугали там… — он провел рукой сверху вниз, — под землей. Кости ходили — знаешь? Пугали меня. — Он приложил ладонь к груди. — Я убийца, знаешь? Плохой человек. А он ходит, как живой. Прямо на тебя. Нельзя смотреть назад, нельзя отвернуться. Чуть не обмочился, так страшно. Потом думаю — тьфу! — Он снова осклабился, показав свои гнилушки и дыры. — Отошел тихо в сторону. Смотрю, там позади… — Он очертил в воздухе нечто плоское.

— Ширма?

— Да! А за ней сидит женщина. Большая такая. — Он показал, какие у нее бедра. — Бьет в барабан, играет на арфе и на этой… — Он поводил у рта пальцами. — А другая, помоложе, подает ей то одно, то другое. Я думаю: раз она играет, ничего плохого не должно быть. Но назад все равно не глядел.

— Что же было потом?

— Потом сюда. Когда все кончилось. Ушел из… — Он выбросил руку вперед. — Убежал из…

— Из города?

— Да. На другой день. Уехал на север в повозке. И…

Думая, что он углубился в воспоминания, я спросил:

— Но как ты попал сюда?

— Сюда? — Он наставил на меня палец. — Хочешь знать? Ты не поверишь. Но это правда. — Он посмотрел вверх. — Я прилетел. Да. Прилетел на… — Глаз, налитый кровью, уперся в землю. — Ты мне веришь? Это трудно, я знаю. Но я прилетел.

Я ждал, костер потрескивал.

— Я уехал на север и прилетел на…

— Говори на своем языке. Я пойму.

Он наклонил голову так, что его пустая глазница заполнилась светом, и начал.

Три дождливых серебряных дня я ждал в горах дикого летуна, — повествовал он певуче на давно мертвом языке, — *но у единственного, кого я сумел разглядеть в ненастье, крылья были истрепаны, брюхо с недавно проглоченным олененком раздулось, глаза слезились — он уже лет десять не мог летать. Тогда я подобрался к заго-*

ну и заглянул в щель между досками... фу-у! Они дурно пахнут, когда их больше трех, пять голов воняют, девять смердят нестерпимо — что уж говорить про большое сборище. Но один сидел в стороне, отгонял сородичей чешуйчатым хвостом и ревел, что твой мул, — прекрасный, как небо, желанное нам обоим! Вот он, сказал я себе — а может, она: вдоль забора тянулся желобок для яиц, на удивление мелких, с кожурой наподобие сморщенной кожи. В ту же ночь я забрался туда. В Макалате говорят, что мужчины, воспылавшие страстью к юным драконьим наездницам с маленькими грудками, спящим внизу под горой, иногда проникали к ним, но мало кто выходил оттуда живым. Чудовища, добавляют добрые люди, говоря о таких мужчинах — и о девицах тоже. Они заслужили такую участь, поверь мне. Мои желания, однако, чудовищны в прямом смысле этого слова: сам я мал, но мелкого мне не надо. И все же, когда я накинул веревку на нефритовую шею, и хлопнул по чешуйчатому боку, и дракон, скрежетнув когтями по камню, обернулся посмотреть, кто хочет его оседлать, желание, признаться, немного угасло во мне. «Шевелись, крылатый червяк! — прошипел я. — Шевелись, четвероногий змей!» И снова похлопал его, как

несговорчивого любовника. Засов с ворот я снял без труда, просунув между досками палку, но он упал с таким грохотом, что я замер: думал, стража сейчас прибежит. Но они, как видно, охраняли только своих сомнительных девственниц, которые были мне ни к чему. Седла и прочая сбруя хранились под длинным тростниковым навесом. Я постоял немного, не зная, как это делается, но опыт с лошадьми у меня был. Я наложил седло на спину с острым хребтом, затянул подпругу, вложил удила в клювастую пасть — а дракон норовил оторвать меня от земли, запрокидывая голову на длинной, выше моего роста, шее. Где же найти карниз, чтобы взлететь с него? Но дракон уже двинулся вперед, волоча меня за собой, будто знал, что теперь можно отправляться в полет. Я кое-как вскарабкался на него и увидел, что мы стоим на краю света, а вокруг уходят в облака освещенные луной горы: загон открывался прямо на выступ! Мы двигались к пропасти с той же неотвратимостью, с какой приходит к нам смерть. «Стой! — вскричала какая-то женщина, не иначе стражница. — Стой, говорю!» Внизу началась суматоха, и что-то, копье или стрела, просвистело мимо меня. Развалистая поступь, приближавшая меня к краю пропасти, теперь

казалась мне чересчур медленной. Я бил дракона пятками, тряс поводьями, а он только башку ко мне поворачивал, не ускоряя шага: чего, мол, тебе? Разозленные стражницы уже мчались к нам. В меня снова метнули копье, и что-то задело драконью ногу, но его природная броня отвела удар. Еще шаг по узкой полоске камня между нами и небом — и мы взлетели!

Крылья развернулись, и ночь приняла нас в свои объятия. Я чуть не свалился от такого толчка! Злые ведьмы, высыпав на карниз, потрясали кулаками, метали копья, пускали стрелы, но достать нас уже не могли.

Внизу под луной лежал Элламон.

Теперь я снова задумался о своем путешествии, не зная, долго ли мы будем лететь. Я слышал, что драконы способны проделать не больше одной стадии в воздухе, да и то при условии, что их подхватит восходящий поток. Но я никогда не признавал границ и пределов. Я нарушал их всю свою жизнь и поклялся, что теперь тоже долечу куда надо, даже если придется махать собственными руками.

Крылья работали, ночь ревела вокруг.

Я едва осмеливался дышать.

Сколько минут или часов это длилось? Голова

дракона стала подергиваться — мне рассказывали, что по таким движениям можно судить, на какой высоте он летит. «Поднимайся выше! — понукал я его. — Лети прямо к солнцу! Не смей снижаться!» Я выкрикивал все известные мне проклятья и лупил пятками уже не по бокам, а по крыльям. «Лети, говорят тебе!» Известно ли тебе, что одноглазый мужчина может проливать такие же горючие слезы, как женщина, у которой оба глаза на месте? Не знаю, где мы летели — через пустыню ли, через море. Я плакал, ругался и погонял. Однажды мы пересекли реку, и по берегам ее горело ровными рядами много огней, сотни и тысячи. Сперва я подумал, что здесь стали лагерем два огромнейших войска, и стал направлять дракона в темное место между огнями — в лес, где мы могли укрыться от великой грядущей битвы. К этому времени я совсем обессилел и мог только лежать на драконьей шее. Мы падали, верхние ветви терзали крылья. Дракон трубил и по-птичьи тормозил ими, пытаясь замедлить спуск… но меня сшибло с него, и я пришел в себя на земле, весь в синяках.

Он задрал полу куртки и показал мне свой избитый, изодранный коричневый бок.

— Зверя я не нашел, — сказал он, перейдя опять

на английский. — Искал — его нет. Все равно он больше не полетит. Крылья… — Он показал, что они порвались. — Но я теперь здесь. Прилетел. Издалека… обратно пути нет. — Мы оба смотрели на Гудзон, на яркие огни Джерси. — Через реку. Ты веришь мне?

Я с улыбкой пожал плечами.

Мы посидели еще немного. Костер догорал. Он явно ждал, что я накормлю его или сделаю еще что-то.

— Как тебе наша странная и ужасная земля? — спросил я наконец. — Ты слышал, что у нас тут тоже чума?

Он посмотрел на меня, на реку, на город вокруг — и я мог бы покляться, что он больше не понимает меня.

Нью-ЙоркМай 1984

Постскриптум

Я очень прошу читателей не принимать художественную прозу за факты. «Повесть о чуме и карнавалах», разумеется, вымышлена; документирует она разве что дезинформацию, сплетни и ни на чем не основанные догадки *определенной части нью-йоркского населения между 1982 и 1983 годами — в основном до 23 апреля 1984, когда было объявлено об открытии т-лимфотропного вируса человека как вероятной причине СПИДа (теперь этот вирус принято называть ВИЧ, вирус иммунодефицита человека).*

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) — это болезнь, при которой иммунная система человека отказывает и организм подвергается нашествию различных инфекций; чаще всего это редкая, пневмоцистная, форма пневмонии и саркома Капоши, редкая форма рака капиллярных сосудов, проявляющаяся обычно в виде багровых пятен, в основном на ногах. За последние пять лет зарегистрировано 6500 случаев СПИДа. Выздоровлений не выявлено, и 45 % тех, у кого нашли СПИД, уже умерли.

Нет свидетельств того, что СПИД передается

обычным путем (воздушно-капельным, через воду, пищу, прикосновения, чужую одежду или постельные принадлежности). Все указывает на половые контакты, когда различные секреции (сперма, слюна, моча, фекалии или кровь) передаются от партнера к партнеру, но пока не определено, каким путем эти продукты должны проникнуть в организм, чтобы произошло заражение: через рот, через кожу, через вагину или задний проход? На данный момент примерно 72 % зараженных составляют мужчины с гомосексуальной ориентацией. Большинство из них проживает (или часто бывает) в больших городах, первенство среди которых держат Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Чикаго. Еще одна группа риска — это наркоманы, вводящие наркотики внутривенно: нестерильные и зараженные иглы являются бесспорной причиной инфекции. Подавляющее большинство четырехсот заболевших женщин — наркоманки или партнерши мужчин-наркоманов. Симптомы СПИДа — это необъяснимая потеря веса, кровоподтеки или багровые пятна на теле (особенно на ногах), опухание лимфоузлов (особенно шейных), плохое самочувствие, общая слабость. При наличии одного или нескольких этих симпомов нужно

немедленно обратиться за медицинской помощью, особенно если вы входите в одну из групп риска. На сегодняшний день никто из заразившихся взрослых не прожил со СПИДом больше трех лет, причем смерть может наступить и через полтора месяца после проявления симптомов в зависимости от того, какими оппортунистическими инфекциями сопровождается основное заболевание и как они лечатся.

Вот кое-что из того, что известно о СПИДе на текущий момент (октябрь 1984), хотя информация обновляется каждый месяц и будет обновляться, пока мы не получим вакцину. (Приведенная мной статистика трагически устареет ко времени выхода этой книги.) То, что последует дальше, можно считать разумными предположениями. Мужчинам-геям рекомендуется резко сократить количество сексуальных контактов вне моногамных отношений или ограничить их как можно более тесным кругом. Разумнее всего в данной ситуации было бы полное воздержание. При любых принятых вами ограничениях имейте в виду, что причину заражения определить очень трудно: инкубационный период СПИДа, согласно последним данным, составляет семь месяцев, а в некоторых случаях от момента заражения

до проявления симптомов может пройти и три года. Невозможно точно определить, когда вы заразились и сколько времени продолжаете заражать других, а вот бессимптомные носители очень возможны.

Если вам нужна дополнительная информация, отправляйте свои кратко изложенные вопросы по адресу:

Gay Men's Health Crisis
P. O. Box 274
132 West 24th Street
New York, NY10011
Горячая линия (AIDS Hotline): (212) 807–6655

Сентябрь 1987. Дополнение. С октября 1984, когда я это писал, количество заболеваний СПИДом в США перевалило за 42 тысячи. 57 % заболевших умерли. Незарегистрированных случаев, возможно, столько же, сколько зарегистрированных. Число бессимптомных носителей оценивается в три миллиона. «Повесть о чуме и карнавалах» и послесловие к ней — документы более наивного времени. Предложенное выше воздержание не работает. Я буду высказываться ясно, понятно и прямо — все остальное было бы просто безнравственно.

Самый большой риск — анальный секс. Нико-

гда не занимайтесь им без презервативов — ни с мужчинами, ни с женщинами, ни активно, ни пассивно. Оральный секс считается менее рискованным, но не прибегайте к нему при кровоточащих деснах или язвах во рту. Пользуйтесь презервативами при всех видах секса и не глотайте чужие выделения.

Вот три лозунга безопасного секса:

1. Наружу, а не внутрь.

2. Любовь и привязанность — наша лучшая защита.

3. Это труднее всего, но, пожалуй, самое важное: поговорите с партнером о том, что вы будете делать.

Благодаря этим правилам и широкой образовательной программе процент заболеваемости в Сан-Франциско снижается год от года. В Нью-Йорке он тоже снизился.

Выучите это. Живите с этим. Рассказывайте об этом другим.

Адрес и телефон остаются прежними.

СРД

Сейчас, когда я работаю над корректурой «Побега» для издательства «Графтон» (июль 1988), в США зарегистрировано 75 тысяч случаев СПИДа, и половины заболевших уже нет в живых. Весной

1984 года я писал, что не знаю никого из больных, теперь СПИД косит моих друзей и знакомых напропалую.

Журнал «Ланцет» приводит отчет о полугодовом наблюдении за сексуальной активностью 2500 гомосексуалистов, показавших отрицательный результат на антитела к ВИЧ. «Согласно многочисленным анализам, — говорится в статье, — пассивный анальный секс был единственным значительным фактором риска для 95 мужчин, у которых в процессе наблюдения произошла сероконверсия, то есть развились антитела к ВИЧ». И еще: «Выявлено поразительное отстутствие риска сероконверсии при оральном сексе. У 147 мужчин, получавших пассивный оральный секс, ее не произошло, что совпадает с информацией о низком риске инфекции при таком способе. Нужно, однако, упомянуть, что у нас нет информации, были ли инфицированы партнеры этих мужчин. Возможно, 147 наблюдаемых никогда не занимались оральным сексом с ВИЧ-позитивными мужчинами, но это представляется нам маловероятным». Короче говоря, главным убийцей геев остается анал.

Я все еще придерживаюсь предыдущего набора правил, но если вы их время от времени

нарушаете, «Ланцет» подсказывает, о чем надо беспокоиться больше всего.

Из трех человек, завтракавших со мной в главе 6.3 июльским утром 1983 года, один умер от СПИДа, но несколько месяцев назад я встретил на Восьмой авеню Джои. Он опирался на костыль и рассказывал, как выкинутая из окна бутылка приземлилась ему на ботинок — видишь, как распорола? Сказал еще, что работает подручным плотника в Бостоне, в Нью-Йорк приехал на уикенд и завтра едет автостопом обратно.

— Джои, — сказал я, — пойми меня правильно, но как случилось, что ты еще жив?

Он не спросил даже, что я имею в виду.

— Просто я ни с кем не делюсь иглами и не беру в задницу без кондома. А ты?

— Я не колюсь, а в задницу совсем не беру.

— Ври больше. Пошли лучше пива попьем — знаешь, что «Фиеста» закрылась?

— Знаю. Возьмем пивка и пойдем ко мне.

Так мы и сделали.

СРД

Возвращение в Неверион

Игра времени и боли

Именно в этот момент, пишет Лакан, аналитик выполняет свою работу не как отзывчивый собеседник, а как апатичный слушатель. Он должен сменить режим «голос – ухо» на образ, став, по выражению автора, «идеально гладким зеркалом». В сочетании с лакановским утверждением «эго неотражаемо» использование термина «зеркало» нельзя игнорировать. Именно в зеркале эго впервые формируется как идея, обретая в эхе символического голоса свою идентичность: аналитическое зеркало должно вытеснить – «вычесть» – эти «архаические прообразы».

Джульет Флауэр Макканнелл, Постигая Лакана

1

— В замке никого нет. — Босоногая старуха сидела на корточках перед ткацким станком. Кто-то

сказал девочке-свинарке, что узоры, которые она ткет, волшебные — девочка уже не помнила, кто и когда. Может, это просто сказка, переходящая из двора в двор. — И не было никогда, и не будет.

— Но я его видела, — повторила высокая женщина, придерживая полный кувшин на плече — другой, пустой, она держала за дужку. — Большой, могучий, он ехал на высоком коне с кожаной, окованной медью сбруей, и таких доспехов в наших краях еще не видали. Это не простой офицер — плащ у него расшит как у богатейшего из баронов. Он спешился на заросшем дворе и вошел в замок — я из-за деревьев смотрела. — Тень кувшина скользила по утоптанной земле вокруг станка. — Будь уверена, это большой человек, и приехал он на завтрашние похороны барона Кродара. Не знаю, почему он без свиты. Всаднику на таком коне и в таких доспехах не пристало путешествовать одному. Раз он в замке ночует, его должен сопровождать целый караван, и слуги, и стражники — так ведь?

— Никого там нет. — Старуха продела сквозь нити основы один из многочисленных челноков, подцепила пальцем другой. — Ты сама играла там в детстве, среди пустых чертогов и переходов. И я в свое время играла. Всюду пусто — в чертогах,

в башнях, на лестницах… — Она скрутила две нити вместе, продела, подбила бёрдом. — А ты говоришь, что там кто-то живет. Смех, да и только!

— Не живет, а остановился на одну ночь. Да что с тобой спорить, старуха! — Тени челноков перемещались куда быстрее, чем тень кувшина. — Нынче в замке ночует могучий воин — у него великолепный конь, великолепные доспехи и богато расшитый плащ. Погребальная процессия барона Кродара придет сюда еще до полудня, и ты сама увидишь его. Он будет сопровождать барона до самого Высокого Двора и непременно проедет мимо. Если оторвешься хоть на миг от своей работы, увидишь его сама!

— Я тоже играла в замке. — Одиннадцатилетняя свинарка держала в грязных руках кота. — Красиво разодетые женщины танцуют там с красивыми кавалерами, и слуги мигом исполняют все, что велишь. Там все так играют, и он тоже, наверно, будет. Когда играешь, замок уже не пустой.

Женщины пропустили это мимо ушей.

— Пусто там, — повторила старуха. — Сроду никого не было и теперь нет.

— Глупо же! — Женщина сердито взмахнула пустым кувшином. — Я нарочно пришла рассказать тебе, что видела своими глазами, а ты со

мной споришь…

— Ничего там не пусто! — выпалила девочка. — Там полно дам и господ, а в темницах сидят их враги. Узников держат в цепях, пытают, казнят, а потом они являются, воют в чертогах и пугают детей — дети визжат и бегут вон сломя голову. — Она хихикнула. — А ты смеешься до упаду, идешь обратно и снова воешь. Там живут прекрасные королевы, и воины, и призраки, и колдуны. — Она, должно быть, стиснула кота чересчур сильно; он мяукнул, вырвался, отбежал, оглянулся и удрал со двора.

— Ясно, что там пусто, но я ж не об этом, — нахмурилась женщина. — Что ты, что она — обе глупые. Я сказала только, что нынче вечером туда кто-то приехал — и, по всему видать, заночует до похорон.

— А я говорю, никого там нет. Ты это не хуже меня должна знать. Кто в этой развалине станет жить, да хотя бы и остановится? Там не убрано, и мебели нет, и прислужить некому.

— У меня вот тоже прислуги нет, а я стою тут и болтаю с дурищей, что двух слов не может связать — и как ты только ткать умудряешься! — да с грязнухой, что мечтает о королевах, когда у самой работы полно…

— Я-то работаю! — огрызнулась старуха, продолжая орудовать челноками. — А вы стоите и мелете невесть что!

Женщина, отчаявшись, пошла прочь.

Девочка думала, что надо бы поискать кота — с ним лучше, чем со взрослыми, хоть он и царапается, — но не могла оторваться от зеленых, серых, голубых нитей, от работы старческих пальцев, от мелькания челноков…

2

Он проснулся и сел — давясь, задыхаясь, с жжением в горле. Мышцы живота отозвались болью. Влага струилась по лицу, по спине, по рукам.

Было невыносимо жарко. Вытолкнув изо рта жгучий воздух, он опасливо сделал новый вдох. Ожог вызвал попавший не в то горло желудочный сок, и человек взмок от пота. В комнатушке, выбранной им для ночлега (здесь, по крайней мере, имелась кровать), было нечем дышать.

Он ощупал меховое одеяло, на котором лежал. Не обмочился ли он вдобавок? Нет, это только пот. Дышал он с хрипом, как умирающий, но воздух теперь чуть легче проходил в легкие.

Он шагнул в темноте туда, где, как помнил, бы-

ло окно. Руки постоянно натыкались на камень, но наконец он распахнул ставню. Светила луна. Когда он ложился, она еще не взошла, и ставня была открыта — должно быть, ночной бриз захлопнул ее.

Воздух теплой летней ночи хлынул в него, как ключевая вода. Он закашлялся, боясь, что снова начнет задыхаться, но нет: дыхание постепенно наладилось и стало тихим, без хрипов.

Он посмотрел вниз.

Под сухой веткой виднелся пруд, облицованный кирпичом, насколько позволяли разглядеть сорняки. Над водой шмыгала вверх-вниз то ли сова, то ли летучая мышь, вызывая легкую рябь. Пот стекал человеку в глаза, и пруд со всем его окружением казался ему огромным ткацким станком, где снует туда и обратно быстрый челнок.

Он снова встал лицом к комнате. Луна припорошила камень вокруг его тени. Воздух из окна холодил ему спину — отчего же в комнате такая жара?

В углу он видел свою котомку с погребальными дарами, меч в ножнах, шлем, перчатки, поножи.

Пот оставил темное пятно на меховой подстилке. Теперь на нее уж не ляжешь, притом в его возрасте, раз проснувшись, больше уже не

уснешь.

Он снял с двери доску-засов, прислонил к стене. Здесь камень нагрелся так, что рука не терпела! Все больше удивляясь, он вынул две продольных дверных доски.

Из окна веяло холодом. Он вышел из комнаты, поеживаясь и убеждая себя, что летняя ночь не может быть такой холодной даже в этих заброшенных стенах. Свои жесткие, редеющие на макушке волосы он заплетал сбоку в косу на военный манер, но теперь она расплелась.

Он стал спускаться по лестнице, нащупывая неровные пыльные ступени босыми ногами и в десятый раз спрашивая себя, не вернуться ли наверх за оружием — хотя бы нож взять. Стены и здесь были теплые.

Внизу мерцал свет и что-то потрескивало.

Он выглянул в арку.

В огромном очаге горели дрова. На полу перед ним, примостив желтоволосую голову на согнутую руку, спал, лежа ничком, молодой парень.

Человек, спустившийся сверху, снова подумал, не вернуться ли за ножом, хотя спящий варвар был гол, как и он. Зачем было разводить такой огонь среди лета — неужто на дворе так сильно похолодало? Вот, значит, в чем дело: тяга из этого

очага превратила его спаленку в раскаленную печь. Ничего похожего на поклажу он здесь не видел и решил, что оружие ему не понадобится; варвар может и под животом кинжал прятать, но у них это не в обычае — такого разве что от жителей пустыни ждать можно. Юноша, словно в ответ на его мысли, всхрапнул и повернулся на бок, доказав, что под ним ничего не спрятано. Поскреб, не просыпаясь, свою бородку и снова лег на живот.

«Будь у меня нож, парень только испугался бы, пробудившись», — подумал мужчина, садясь на корточки рядом со спящим.

Вверху что-то ухнуло, вызвав эхо в высоком чертоге.

Мужчина, задрав голову, потерял равновесие и уперся кулаком в пол, а юноша проснулся и сел рывком, озираясь по сторонам. Несмотря на бородку, ему было не больше шестнадцати.

— Что это было? — вскричал он. — Кто ты и что здесь делаешь? — Огонь освещал половину его лица, оставляя в тени другую.

Мужчина, помолчав на протяжении трех своих вздохов — и семи быстрых, мальчишеских — ответил ему:

— Думаю, это кто-то из местных богов, призра-

ков или чудовищ, что являются в этих развалинах. Зовут меня Горжик. — Парень, услышав это, вскинул глаза. — Что я здесь делаю? Ночую, как и ты. Все лучше, чем в лесу: окрестные жители чужаков не любят. Завтра здесь пройдет похоронная процессия, и я поеду вместе с ней в Колхари. Я, чтоб ты знал, десять лет был министром при Высоком Дворе — ты, похоже, уже слыхал мое имя? Его многие знают, особенно варвары, поскольку многие из них были в рабстве. А я, возглавляя совет малютки-императрицы Инельго, справедливой и великодушной владычицы нашей, покончил с рабством в Неверионе. Меня героем почитают за это, — он усмехнулся, — и называют Освободителем.

— Правда? — нахмурился юноша.

— Согласен — столь пышный титул случайному соночлежнику лучше не называть. Я просто пришел погреться у твоего огонька, наверху-то холодно. — Горжик взял парня за подбородок и повернул к свету. Карие глаза уставились из-под длинных ресниц на шрам, сходящий по щеке Горжика в тронутую сединой бороду. — Скажи теперь, кто ты.

— Чего ты так смотришь?

— Приснилось что-то, наверно, — пожал пле-

чами Горжик. — Это меня и разбудило. Так как же тебя звать?

— Я Удрог, Удрог-варвар. Зачем ты развел тут огонь, неужто на дворе так похолодало?

— Огонь развел ты — разве нет?

— Нет… Это ты сделал, пока я спал.

— Когда я спустился, огонь горел, — прищурился Горжик.

— У меня и огнива нет… да и зачем, лето ведь. Странный какой-то замок… непонятные звуки, огонь сам собой загорается…

— Мало ли в жизни странностей. Ты учишься с ними жить, вот и все.

— И не страшно тебе?

— С чего бы? Ничего худого с нами пока не случилось. Если б кто-то хотел навредить нам, то сделал бы это раньше, пока мы спали.

Настало молчание, которое многие сочли бы неловким. Мужчина смотрел на паренька, паренек примечал, как именно мужчина на него смотрит, мужчина понимал, что тот это видит. Удрог обвел чертог взглядом, усмехнулся чему-то, проворчал что-то, поковырял пальцем в ухе, почесал живот, встал, снова сел и посмотрел в глаза Горжику.

— Сидишь тут, молчишь, глядишь на меня… Ты

сильный. Пока я спал, ты тоже смотрел?

— Да, — сказал Горжик.

Губы Удрога тронула улыбка.

— А больше ничем не хочешь заняться?

— Чем, к примеру?

— Сам знаешь. Сделать кое-что вместе для удовольствия.

— Отчего же. Тебе что по нраву?

— Все, что захочешь. Ты большой, ничего не боишься. Защитишь меня от чудовищ, богов и призраков. Я не против стариков, если они еще сильные и умелые. Может, и монетку мне потом дашь?

— Может, и дам, — фыркнул Горжик.

— Да ты не так уж и стар. Люблю больших, сильных мужчин. Ты делаешь это по-настоящему грубо?

— Могу и так. Иногда выходит до того грубо, что ни мужчины, ни женщины это и за любовь не считают. — Горжик засмеялся. — Этого хочешь?

— Ага, — ухмыльнулся Удрог.

— Ладно.

— В таких замках, в подземелье, иногда находят сломанные ошейники, за которые приковывали рабов. Я всегда их ищу, когда бываю в таких местах. И надеваю — сломанные-то всегда можно

снять. Но здесь ни одного не нашел.

— Хочешь, чтоб я был твой хозяин, а ты — мой раб?

— Точно так! — заухмылялся Удрог.

Горжик, помедлив, встал.

— Погоди немного.

— Ты куда?

— Погоди, говорю.

— Только недолго, а то я боюсь!

Но Горжик уже поднимался по лестнице. У него и раньше бывали такие встречи, но непривычная варварская прямота возбуждала его любопытство. Притом этот варвар совсем еще юн, что всегда приятно. На ходу он то и дело трогал горячую стену. Этот очаг, видимо, использовался для зимнего обогрева покоев — летом он их попросту раскалил.

Жар хлынул ему навстречу из комнаты, где он спал. Лунная полоска на полу передвинулась, и Горжик не сразу убедился, что здесь ничего не тронуто. Шлем, доспехи, меч и котомка остались на том же месте.

Он порылся в мешке. Огниво, завернутое в промасленный трут, лежало на самом дне. Горжик достал два железных полукружия — рабский ошейник, о котором говорил Удрог — и переки-

нул через плечо почти уже просохшее одеяло. Меч он решил не брать, но, выйдя в коридор, показавшийся ему прохладным по сравнению с комнатой, снова загородил дверь досками — не плотно, а кое-как: в случае вторжения они с грохотом рухнут.

— Что ж ты так долго. — Удрог сидел сбоку от очага, где огонь был пониже. — Мне страшно было.

Горжик швырнул одеяло на пол.

— Ляжем здесь. Поди сюда — теперь ты мой раб.

Удрог, глядя как завороженный на ошейник, подполз к нему на коленях и положил руку ему на бедро.

— Да, хозяин.

Горжик защелкнул у него на шее железный обруч.

— Свяжи меня, если хочешь — я не прочь. Может, у тебя и веревка найдется. В замках даже цепи бывают…

— Ты мой раб и будешь делать, что я велю, — хотя бы малое время. Для начала помолчи. — Горжик, сев на одеяло, притянул парня к себе.

— А ты что будешь делать?

— Расскажу тебе кое-что.

— Лучше б связал меня. И побил. Я не прочь, даже если сильно побьешь… если уж очень больно будет, тогда скажу. Хотя иногда я только притворяюсь, что больно, — можешь не останавливаться. — Не дождавшись ответа, Удрог вскочил и потрогал ошейник. — Мы с тобой дурно делаем, да? Сам не знаю, зачем это мне. Но тебе ведь так тоже нравится, правда? Тут очень страшно, но, может, так даже и лучше? Огонь в самом деле не ты развел?

— Молчи, раб! — рявкнул Горжик так, что мальчишка вздрогнул. — Я расскажу тебе одну историю: ложись рядом со мной и слушай.

3

Здесь я делаю паузу, потому что хочу вставить сюда собственную историю и рассказать вам об Удроге.

Этот юный варвар кое в чем путается, хотя другое представляет себе достаточно ясно.

Экономика Невериона переживала бурный рост благодаря некоторым событиям, из которых самым недавним стала отмена рабства малюткой-императрицей Инельго полдюжины лет назад. Люди из южных лесов, северных гор и

пустынь запада, не боясь больше, что по дороге их схватят работорговцы, начали толпами приходить в города — а горожане, наделенные воображением и деньгами, внедряли в сельской глуши свои примитивные промышленные задумки. Движение из захолустья к центру и из центра к захолустью в считаные годы изменило неверионские понятия о центре и захолустье. Новые кривые дорожки, подобно трещинам между более устойчивыми частями общественного устройства, разбегались из портов вроде Колхари и Винелета до приморских рыбачьих деревушек и горняцких городков вроде Еноха и Кхахеша. Такая трещина порой проходила через какой-нибудь древний замок, оставленный владельцем на произвол призраков, богов и чудовищ, а позже занятый предприимчивым деятелем среднего класса.

Таких, как Удрог, трещины захватывали особенно часто.

Его история достаточно обычна. Отец погиб на охоте, когда мальчику было шесть, а хворая мать умерла от лихорадки, и года не протянув. Весь следующий год он был приемышем своего племени, и приходилось ему несладко.

Человек, кормивший его (не слишком сытно)

на первых порах, бил мальчика и принуждал к плотским сношениям, а на ласку, могущую смягчить подобные муки, был куда как скуп. Он тоже вскоре умер; женщина, взявшая Удрога к себе после него, была добрая, но ей приходилось заботиться о многих других детишках, которых подкидывала ей многочисленная родня. Две старших девочки уводили Удрога в лес поиграть; они связывали друг друга, притворялись, что бьют, и этим игры не ограничивались — с девочками, видно, раньше проделывали то же, что и с ним. Но прежние мучения, став игрой, помогали детям рассеивать туман боли, заволакивавший — по крайней мере для Удрога — все их раннее детство. Он не противился девчонкам — наоборот, просил еще и еще. Может, других мальчишек тоже позвать?

К его десяти годам от племени осталась лишь треть того, что было всего четыре года назад. Произошло это потому, что деревня в пятидесяти стадиях к востоку от них после вложения северных денег разрослась и сделалась городом. Женщина, опекавшая Удрога, теперь жила с мужчиной, тоже по-своему добрым, но у него были свои дети.

Слишком много ртов — кому-то надо было

уйти.

В тот или иной город.

В одном, как передавал знакомый приятеля, можно было найти работу.

Сможет ли мальчик добраться туда один? Сможет ли, нет ли, а делать нечего.

К двенадцати годам, проводя больше времени между городами, чем в них самих, Удрог определил пути, по которым ему предстояло странствовать до конца его дней.

Они сулили множество приключений, и мало кто из неверионцев видел столько земель, сколько они охватывали.

Удрог перемещался из захолустья в город, из пустыни в леса, от больших пивоварен к полям издольщиков и городским дубильным канавам. Он редко где-то задерживался и на жизнь зарабатывал не праведными трудами.

Среди взрослых, которых он ублажал (в подавляющем большинстве мужчин) — взрослых, не только мучающих детей, но и помогающих детям выжить (нетрудно быть добрым к тому, кто доставляет тебе удовольствие, а тем, кто не знал любви, довольно и доброты), — то и дело попадались такие, кто хотел надеть на него ошейник и посадить на цепь.

«Э, нет», — отвечал им Удрог.

И удивлялся, когда его «нет» принимали во внимание.

Но один клиент предложил обратное: «Надень цепь на меня самого!»

Тринадцатилетний Удрог согласился на это и обрел не менее жгучее, опустошающее наслаждение, чем его дрожащий, стонущий «раб». Три дня мальчик внушал себе, что он прирожденный «хозяин», — но желание, если, даже ребенком, видишь его вблизи, ясно показывает свои очертания.

Теперь Удрог уже не всегда отказывался, когда ему предлагали цепь. При встречах со спокойными, благоразумными дяденьками он все чаще сам просил связать его и побить.

Многие соглашались, и он получал наслаждение.

Он говорил себе, что это только игра. Но в его одинокой жизни, где и голодать, и воровать приходилось, где он нежданно видел добро от женщины, мотыжившей свой огород, и крестьянина, везшего кур на рынок (добрые люди встречались часто, но с тем же успехом его могли обругать, ударить, швырнуть в него камнем), только эта игра дарила ему хоть немного радости

и хоть какую-то власть.

Юные существа, живущие в таких условиях, удивительно, даже трагически, быстро взрослеют (или развращаются, в зависимости от того, насколько мы ценим невинность и желаем ее). Но поражающие нас своей зрелостью дети столь же часто понятия не имеют о простейших социальных формах, лежащих за пределами их проторенных путей.

К четырнадцати годам Удрог понял, что для Невериона, совсем недавно очнувшегося от рабства, его желания куда как обычны. Следующий год его жизни, обогативший мальчика опытом, не всегда доступным людям гораздо взрослее его, мы не станем подробно рассматривать. Скажем лишь, что он, сливаясь со стволом дерева или пробираясь по городским переулкам прыжками, обличавшими в нем дикаря наряду со светлой кожей и желтыми волосами, достиг как в глуши, так и в городе определенной невидимости, защищавшей его от тех, кого возмущали его желания и его образ жизни.

Вот что произошло с ним недавно, еще больше его запутав.

У костра в лесу, к западу от прославленной крепости Элламон, он разделил трапезу с пуза-

тым разбойником. Тот был исполосован кнутом, как раб или преступник, носил в ухе колышек, на руке у него недоставало одного пальца, на один глаз он ослеп после удара клинком — удар этот, помимо шрама через все лицо, наделил его непреходящей растерянностью. Рассказы о его похождениях и пугали, и забавляли Удрога. Малое время спустя он объявил себя Горжиком Освободителем, величайшим из министров ее величества и народным спасителем. Не хочет ли мальчик пожертвовать что-нибудь бывшим рабам, чтобы помочь им устроиться в новой жизни?

Об этом министре, бывшем одно время самым знаменитым человеком в Неверионе, Удрог, конечно, слышал. У него, по слухам, тоже был шрам на лице — или не хватало одного глаза?

Разбойнику, впрочем, он не особо верил и знал, что тот непременно ограбил бы его самого, будь при нем хоть какие-то деньги — хорошо, что с голого варвара ничего не возьмешь. Но и перечить ему не перечил: пусть себе плетет, что в лесу у него целое войско, готовое напасть по малейшему знаку своего предводителя. Видно же, что не в себе человек.

Доев зажаренное на палочке мясо, Удрог по-

думал, не предложить ли этому дядьке что-то взамен, но побоялся связываться с безумцем и попросту ушел в лес («Ты куда? Отлить, что ли? Давай скорей, я еще не все рассказал»), стащив мимоходом кувшин из повозки (разбойник из-за слепого глаза ничего не заметил).

В кувшине было крепкое пиво. Удрог выпил сколько мог, вылил остальное и засел в кустах последить за кривым: может, еще что-нибудь удастся украсть.

Пока он следил, на поляну въехали в повозке еще какие-то люди, сами сильно похожие на разбойников, и спросили кривого, можно ли подсесть к его костерку. Вскоре они заспорили, и кривой бросился к своему мулу, не иначе за оружием — но еще один пришлый, из засады, ударил ножом его самого и стал втыкать нож раз за разом.

Настоящее убийство, с восторгом и страхом говорил себе Удрог.

Иногда он видел последствия таких злодеяний и хвастался этим другим парням в городе, но видеть убийство воочию — дело иное.

Пока убийцы грабили повозку кривого, Удрог, у которого на смену хмелю пришла тошнота, ждал своего часа, чтобы забрать остатки — и тут

услышал, что едет кто-то еще!

Грабители мигом улепетнули, и приехали новые, с охраной — купцы или путешественники. Увидев труп, они ужаснулись столь кровавому делу и стали вглядываться в лес — один стоял совсем рядом с Удрогом, ближе, чем нос от коленки. Парень боялся дохнуть. Поговорив меж собой о том, как стало опасно в Неверионе, купцы велели стражникам привязать тело к задку их повозки.

При этом они ни разу не ткнули мертвеца палкой, чтоб убедиться, вправду ли он мертв, и не осмотрели его пожитки; на взгляд Удрога, ума у них было еще меньше, чем у кривого.

Хотя нет: один все-таки осмотрел и нашел хорошее оружие и вышитый пояс.

— Одни воры убили другого, — заявил он. — Это они, должно быть, нашумели, убегая отсюда.

— Или убитый, вопреки его виду, был важной персоной, — заметил другой. — Не хотел щеголять такой роскошью на глухих дорогах и поплатился за это.

Следующие слова застряли в памяти Удрога:

— Кто знает, вдруг он переодетый министр. Такие уж мы удачливые, что наткнулись на его труп. Отвезем его в Элламон — может, кто-нибудь опознает.

Они забрали и труп, и мула, и многое из имущества одноглазого. Удрог все это время сидел в кустах, глядя, как вьется над догорающим костром серебристый дымок.

Он не знал (как, впрочем, и купцы), что барон Кродар, первый министр, прибывший в Элламон с секретнейшей миссией, наконец уступил лихорадке, снедавшей его третий день. К вечеру удрученные лекари объявили о его кончине, и гонцы помчались из замка Ванар во все концы империи с этой вестью. Слуги всю ночь работали при свечах, готовя шесть погребальных колесниц. Утром кортежу в сопровождении двадцати четырех барабанщиков, по дюжине с каждой стороны, предстояло двинуться сперва в Колхари, где к процессии примкнет императрица Инельго, затем на полуостров Гарт, родину Кродара, где его похоронят.

На рассвете в барабаны ударили, и кортеж выехал из Ванара, а затем и из самой крепости Элламон.

Сильно проголодавшийся Удрог, шагая по обочине дороги на юг, вскоре услышал эту зловещую дробь, становившуюся все громче и громче — точно великанское сердце билось, грозя вот-вот разорваться. Еще немного, и в первых косых

лучах, разгонявших лиловый утренний сумрак, показались кареты, стража и барабанщики. В выемках наспех отчищенных медных накладок на черном лакированном дереве проглядывала зелень.

Погребальный кортеж какого-то большого вельможи с громом проследовал мимо Удрога.

Подкрепившись сорванными в саду сливами, он вернулся в тот же сад и спросил объявившегося к тому времени хозяина, не слышно ли чего нового. Это хозяйство было самым бедным из трех, виденных им с утра: в другие варвар не отважился бы зайти.

— Министр какой-то помер, слыхать, — сказал крестьянин, такой же тощий, как Удрог. — Вон, барабаны бьют. Убили его, говорят, на большой дороге — многих убивали, когда я молодой был. На юг будто бы везут, в Колхари. Проваливай, парень, я нищим не подаю.

Крестьянин побогаче мог бы знать больше, даже накормил бы, глядишь, — но с бедняком Удрогу было куда сподручнее.

Он вспомнил, что говорил купец об опознании мертвеца. Стало быть, одноглазый не лгал! Он и впрямь был министром, к которому подослали наемных убийц! То, что Удрог принимал за безу-

мие, было признаками величия. Удрог видел, как погиб Горжик Освободитель, министр ее величества и спаситель народа, а теперь увидел, как его везут хоронить.

Юный варвар был, само собой, не такой дурак, чтобы рассказывать, что Освободителя убили у него на глазах и что он мог бы опознать тех, кто его убил. С такими рассказами как раз угодишь в темницу. Но вспоминать об этом было приятно: то, что он видел, приобщало его к интригам большого мира.

Чуть позже ему посчастливилось: купеческий гонец, скакавший на юг, посадил его к себе на коня. Посыльный мог бы рассказать Удрогу, что случилось на самом деле, но парню и в голову не пришло спросить, а всадник тоже не был настроен говорить о чем-то с бродягой. Скакать галопом было утомительно, но весело, а под конец всадник даже железную монетку Удрогу дал. Похоронную процессию они обогнали, не видя ее, поскольку ехали по другой дороге. Кортеж двигался медленно, останавливаясь в каждом селении, чтобы простолюдины могли проститься с усопшим, а знать — последовать за ним верхом или в собственных экипажах.

Удрог забрался переночевать в разрушенный

замок, так и не узнав правды.

Когда он, проснувшись от непонятных звуков, увидел, что в очаге пылает огонь, а рядом сидит на корточках голый мужчина, это было еще не самое странное. Самое странное заключалось в том, что незнакомец объявил себя человеком, которого Удрог считал убитым и чью похоронную процессию видел утром. Врал, ясное дело. Все врут, когда побаловаться хотят, — сам Удрог уж точно. Ну и пусть его, вреда от этого никакого.

Мы более или менее разобрались, в чем заблуждался Удрог, — остается объяснить, что он понимал с полной ясностью.

Прошлой ночью он усмотрел в одноглазом признаки безумия, обмана и опасности; позже, из-за похоронной процессии, он пересмотрел их как признаки величия, благородства и власти, но именно благодаря первому впечатлению не стал ничего предлагать кривому, и последующие события лишь утвердили его в собственной правоте.

В этом человеке, тоже выдававшем себя за Горжика, он ничего такого не усмотрел, а все странности и противоречия, наблюдаемые им в натопленном среди лета замке, были слишком отвлеченными, чтобы делать какие-то выводы;

впрочем, Удрог был склонен считать все правящее сословие Невериона безумным — по крайней мере, совсем не таким, как он сам. Странности эти, конечно, озадачивали его, как и очень многое в мире, но опасности, которую он чуял мгновенно, не содержали.

Удрог принял их, как ребенок принимает объяснения взрослого — если этот взрослый, похоже, в своем уме. Если б незнакомец вызвал у него хоть малейшее подозрение, никакие объяснения не помогли бы; но Удрог почему-то чувствовал себя с ним в полной безопасности и даже не думал о бегстве — самом, казалось бы, разумном решении.

Своим любовным прихотям он уже не раз предавался в таких ситуациях, которые отпугнули бы даже нас с вами, людей много старше и мудрее его.

Желаемый ошейник, и тот нашелся, но Удрог в своем детском нетерпении хотел, чтобы все произошло поскорее — лишние разговоры его никак не устраивали.

Он слушал лишь потому, что Горжик был больше, сильнее и назвался на какое-то время его хозяином.

4

Мальчик в рабском ошейнике и мужчина, лежа на меховом одеяле, смотрели вверх, на стропила, все слабее освещаемые угасающим огнем.

— Вот что самое странное, даже и в эту ночь, — начал Горжик. — Покойник, за колесницей которого я завтра почтительно последую, был когда-то злейшим моим врагом. Когда я мало чем отличался от разбойника и сознавал недостижимость цели, которую поставил себе, я мечтал дать ему затрещину, вырезать ему сердце, медленно замучить его. Он и тогда уже был министром, имел наследственный титул и стоял за то, что я поклялся разрушить. К тому времени, как меня самого возвели в сан министра, мы с ним встречались с дюжину раз — порой беседовали разумно, порой чуть не вцеплялись друг другу в глотки.

Но как только меня ввели в зал совета наравне с другими мужами, враг мой стал для меня наставником и примером. Я смотрел в него, как в зеркало, собираясь что-либо предпринять. Лишь на основе его планов я мог строить собственные, ибо он — отрицать не стану — был куда более сведущ в дипломатии и делах государства. Чтобы

одержать победу, мне приходилось во всем подражать ему. Став министром, я поклялся достичь мирным путем того, чего не добился военным: заставить Высокий Двор во главе с малюткой-императрицей отменить рабство в Неверионе. Я знал, что это возможно, но в подлинном мире, где правят голод и жажда, горе и радость, труд и досуг, требуется невообразимое хитроумие, чтобы слова императрицы «Отныне с рабством в Неверионе покончено!» имели больше веса, чем бред сумасшедшей.

Я обучался этому хитроумию у ныне умершего политика, у человека, остававшегося безымянным для половины страны и черпавшего половину своего могущества именно в этом.

Нас связывала взаимная ненависть.

Странно видеть, как размывается граница между тобой и тем, против чего ты всегда боролся, — но я, чтобы добиться желаемого, должен был уподобиться своему недругу.

Ты, может быть, знаешь, что и я был когда-то рабом. Когда к власти пришла малютка-императрица Инельго, моих родителей предали смерти, а меня продали на императорские обсидиановые рудники у подножья Фальтских гор. Я был немногим младше тебя, когда ошейник, добровольно

надетый тобой, сомкнулся на моей, отнюдь того не желавшей, шее. Скажу, однако, по секрету, что ошейники стали возбуждать во мне желание много раньше, с пяти-шести лет. Я увидел на складе, где работал отец, пару дюжин рабов в ошейниках и почувствовал… что же? У тебя, как и у меня, есть такие воспоминания, и мы возвращаемся к ним снова и снова, чтобы как-то истолковать свою жизнь. Но какими бы чарующими и даже отчасти правдивыми ни были эти воспоминания, что пользы от них человеку, желающему понять, что такое свобода? Как понять себя в детстве, когда ты еще ни о чем не можешь судить? Поговорим лучше об ошеломленном, напуганном парне, который спустя десять лет сам стал рабом.

Кто он был и как стал кем-то другим?

Мой отец начинал как простой матрос, а стал кладовщиком у купца. Мать таскала корзины на рынке, а стала хозяйкой в собственном доме и даже прислугу имела, девчонку-варварку. Оба они стали жить куда лучше, чем думали в детстве, и от меня ждали того же. Они жили лучше своих родителей, а я должен был жить лучше их. Поверь мне, мальчик, от которого, думаю, никто ничего не ждал: такие ожидания могут быть

тяжким бременем.

Я не желал его нести и сбрасывал каждый раз, убегая на улицу или в гавань. Связался с дурной компанией, озорничал, воровал, врал напропалую, бездельничал. При этом был добродушным и дружелюбным — потому лишь, что это помогало избежать всякой ответственности. Только шутка, усмешка да умеренная доброта мешали мне стать законченным негодяем, который лет через десять мог бы сделаться успешным дельцом и продолжать бездельничать, как в юные годы. Но в пятнадцать лет события, которые правители Невериона зовут историей и искажают так, что мы, жившие в те времена, больше не узнаём их, распорядились моей жизнью по-своему.

Дракон пал, и воспарил Орел.

Я видел, как убили отца, и слышал, как убивали мать, — а меня самого, избавив от всех ожиданий, загнали в сырые рудничные ямы. Первые недели я был сам не свой, чуть с ума не сошел. Думал, сколько способен был думать, только об одном: о побеге, но представлявшиеся мне способы разве что в сказку годились. Вечером, когда мы ужинаем наверху у бараков, прилетит дикий фальтский дракон, и когда все повалятся ниц от ужаса, я вскочу на его зеленую спину, и он унесет

меня прочь. Однажды утром, когда я поднимусь со своей грязной соломы, никто — ни раб, ни стражник, ни вольный крестьянин — не сможет взглянуть мне в глаза, налившиеся сверхъестественной силой, и я уйду безнаказанно. Работая в грязи и сырости, в зловонном от красных факелов воздухе, я уползу во тьму по узкому лазу и через несколько часов, дней, недель окажусь на чудесном лугу с прохладным по-осеннему солнцем и теплыми по-летнему звездами, в краю, где все будет наоборот и мой ошейник сочтут символом высшей свободы.

Но рабство постепенно глушило эти мечты. Во мне цепенело все, что способно воплотить мысль в слово и замысел в дело. Составить какой-то разумный план я был способен не более, чем улететь в небо, заворожить всех взглядом или уползти подземным ходом на волю. Что видели во мне стражники, десятники и другие рабы, когда миновало первое потрясение? Добродушного парня на семнадцатом году, который порой привирает, подворовывает — как же без этого — и дружелюбно относится как к рабам, так и к стражникам. Одно доброе дело — я стащил еду у жирного десятника и отдал новому пареньку, которого стража тиранила за шутки и прибаутки

— стоило мне этого шрама: стражник ударил меня киркой. Я хотел помочь тому парню, потому что он смешил меня в невеселом, мягко говоря, месте, а стража полагала, что столь непокорный дух того и гляди приведет к бунту и все, кто ему сочувствует, тоже замараны. Мне преподали урок: в неволе ни один твой поступок не должен ухудшать положение того, кому ты помогаешь — а новенького вскоре отправили в самую гибельную часть рудника. Но я всегда стремился лишь к тому, чтобы смягчить напряжение; до того был покорен, что не усматривал связи между одним мгновением и другим, не понимал, что ничего неизбежного нет, что даже со стражниками всегда можно договориться. У меня случались приступы умеренного гнева, но о бунте я даже не помышлял. Бунтаря во мне убили; все мое балагурство в руднике и в бараке было только оставшейся от прошлой жизни привычкой, подражанием живости — ничего, чем живет человек, в моей душе уже не осталось. Образцового раба, вот кого они видели, Удрог. Видели потому, что я, даже будучи вольной птицей на улицах Колхари, был уже близок к тому, во что всякая власть желает превратить своих подданных, то есть к рабу; мои хозяева внушали мне эту мысль, чтобы меня

подавлять, я внушал ее себе, чтобы выжить.

Что же изменилось потом? Не я — обстоятельства.

Примерно через год и три месяца на рудник приехали господа. А может, на полгода раньше или позже, не помню. Наверняка мне запомнилось вот что.

Из-за дождя рудник затопило, и нас оттуда вывели на час раньше. Над Фальтами громоздились тучи, сосны на склонах чернели, как осколки, оставшиеся после вырубки обсидиановых глыб, закат до крови раздирал западный небосклон. Идя через двор, я смотрелся в лужи, протянувшиеся серебряной лентой по черной земле, и тут один из стражников заорал:

«Эй ты, быстро к южным баракам! Ты тоже!»

Я, вместе с полудюжиной других, пошел куда велено.

Двое из нас были в кожаных набедренных повязках, все прочие голые, не считая ошейников — и, само собой, грязные. Ясно было, однако, что из полутораста человек нас отобрали за рост и силу. Оно и неудивительно: мы там были почитай что моложе всех.

К нам, кроме стражника, подошли четверо чужих солдат со щитами и копьями. Мы, взглянув

на них, тут же уставились в лужи — даже перешептываться боялись. Нас окружили и повели вниз по склону. Высокая мокрая трава хлестала по бедрам, размазывая грязь еще больше.

Пройдя полмили, мы увидели в роще спутанных лошадей и повозки. Солдаты вели под уздцы других лошадей. Возле кареты ставили синий шатер с бахромой. Среди множества кожаных плащей я разглядел один красный с большим количеством дорогих каменьев — в Колхари я видел такие на лицедеях, изображавших графов и баронесс.

Нам приказали остановиться, и какой-то человек крикнул нашему стражнику, о котором я совсем позабыл: «Хорошо, ты больше не нужен. Ступай обратно. — Высокий человек, темнокожий, в сандалиях, с кованым поясом. На шее у него висело с полдюжины орденов, медных и бронзовых, с плеча свисал отороченный мехом плащ. Он не делал жестов, какими лицедеи потешают чернь, изображая неверионскую знать: это был настоящий знатный вельможа. — Благодарю тебя от имени императрицы, милостивой владычицы нашей». Вельможа, весьма небрежно, коснулся лба кулаком.

«Слушаюсь, мой господин, — выпалил грузный

приземистый стражник, почти такой же грязный, как мы. На бедре он носил дубинку, которая уже пару раз прошлась по моим ногам. Он трижды отнимал у меня ужин и реготал, когда другой стражник раскроил мне лицо и я лежал весь в крови. — Как скажете. — Он треснул себя кулаком по лбу, от всей души, и босиком попятился назад, в гору. — Справедливая и великодушная владычица наша…»

«Пошли, ребята, — усмехнулся высокий, — я дам вам работу. Будете прислуживать мне, господину Анурону и графу Жью-Форси. Анурон — вон тот, в красном плаще. С нами путешествует также госпожа Эзулла — ее вы вряд ли увидите, хотя здесь находитесь как раз благодаря ей. Если она вам что-то прикажет, исполняйте мгновенно».

Он привел нас к караванщику. Тот велел одним вбивать колья и ставить шатры, другим выгружать провизию, третьим помогать с лошадьми, хотя солдат и слуг при них без того хватало. Мы очень старались, но мало что умели, и получалось у нас так себе.

Лишь годы спустя я стал понимать, с какой смесью вины и завороженности неверионские господа относились к своим рабам, хотя весь остаток того дня наблюдал ее. Но почерпнул мно-

жество мелких истин касательно аристократов, которых, будучи свободным, никогда так близко не видел. Я впервые услышал клички, которыми они называли друг друга, будто отрицая свою власть и происхождение; Анурона *в глаза* звали Пустомелей, а за глаза — Желудевой Башкой, даже обращаясь к его собственным слугам! Графа Жью-Форси именовали Жабой. А Ветерком, как я понял из разговора трех молодых господ, бегая мимо них то с сундуком, то со связкой веревок, была не иначе невидимая госпожа.

Скоро я убедился, какими капризными могут быть богатые люди: господин Анурон, колыша плащом в кругу своей стражи и слуг, пронзительно верещал: «Думаете, это вы мной распоряжаетесь? И можете делать всё что хотите? Так вот: я заменю вас рабами. Мигнуть не успеете, как заменю! Я уже вызвал семь человек с рудника. Отхлестать бы вас до полусмерти, всех до единого! Не стану терпеть! Не стану!» Выкрикнув все это, он повернулся и пошел прочь — я видел в просвет между двумя стражниками, что он чуть не плачет.

«Не обращай внимания на нашего Пустомелю, — сказал мне на ухо высокий молодой господин, напугав меня. — Скоро ты привыкнешь

к его припадкам». Не знаю, что удивило меня больше — выходка Анурона или эти слова, как будто мое мнение что-то значило!

За следующий час я из разговоров стражников, слуг, господ и шепота своих сотоварищей составил историю не менее романтичную, чем лицедейское представление.

Трое господ ехали из западной пустыни на восточное побережье. Остановившись в имении некоего барона, они узнали, что его дочь, госпожа Эзулла, собирается в ту же сторону. В те времена на дорогах шалили разбойники, и барон спросил, нельзя ли ей присоединиться к их каравану. Госпожа Эзулла недавно овдовела, хотела подыскать себе нового мужа и представляла собой хорошую партию как для господина Анурона, так и для графа Жью-Форси. Оба заявили, что почтут за честь оберегать в пути дочь барона. В течение трех дней оба соперника из кожи вон лезли, чтобы перещеголять друг друга в доблестных подвигах. Семь крепких рабов взяли с рудника как раз для того, чтобы развлечь ее милость; она же, уяснив, отчего ее спутники себя так ведут, весь вчерашний день из кареты не выходила. Не вышла и теперь; занавески в карете остались задернутыми, а ее служанки, выбегая порой, говорили,

что ее милость здорова, но не желает, чтобы ее беспокоили. Это сделало двух ее поклонников еще более раздражительными.

Мне было невдомек, как именно мы будем развлекать ее милость. Увеселение, должно быть, откладывалось из-за ее нерасположения. Я будто спектакль смотрел и не меньше всех в лагере любопытствовал, что происходит сейчас в карете с закрытыми занавесками, раскрашенной в красно-оранжевые цвета. Любопытно было и кое-что другое. Я подсмотрел, как граф Жью-Форси сидит в своей карете на сундуке нос к носу с нашим Намуком, схваченным работорговцами три года назад на одной из южных дорог. Граф пил сидр прямо из кувшина и порядком уже захмелел. «Позволь мне его потрогать. И не смей возражать, не то отрезать велю. Зачем вам такие большие, даже тем, кто не родился рабом? Работорговцы, видно, первым делом на это смотрят. Ну как, приятно тебе? Скажи “да”. Мне приятно, когда я со своим это делаю. Скажи “да” сейчас же!» Самое смешное, что Намук, как я давно заметил, не любил заниматься тем, что делают между собой лишенные женщин мужчины. Благодаря своей силе он умудрялся этого избегать (я-то даже и не пытался), но здесь сопротивляться не приходилось. Намук, разинув

рот (нескольких зубов у него не хватало), смотрел на меня в окно тупым взглядом, не выражающим ни удивления, ни ужаса, ни возмущения, ни омерзения — он просто оцепенел. Пьяный граф меня не видал. Боюсь, я ухмылялся, когда уходил, и ничуть не жалел Намука. Граф меня занимал куда больше: вот, значит, каков благородный поклонник таинственной госпожи. Всякой драме нужна комическая вставка.

Потом я подслушал разговор высокого господина в меховом плаще с его личным слугой — тот, сидя на корточках, искал что-то в открытом ларце.

«Смотреть противно, как Пустомеля с Жабой из кожи вон лезут, чтобы заслужить право называться ослами — и все из-за той тощей дуры, что заперлась у себя в карете. Впрочем, я Ветерка не виню и на ее месте сделал бы то же самое».

Я навострил уши, убежденный, что они не видят меня, но граф поманил меня к себе — столь же небрежно, как раньше подносил кулак ко лбу. «А теперь еще и с этими болванами возиться приходится. Отвратительно и совершенно не в духе ее величества, о чем эти двое прекрасно знают. Поди-ка сюда, любезный».

Я подошел, удивляясь заново.

«Ты, я вижу, с работой уже управился. Я дам тебе новую, пока липкие Жабьи ручонки тебя не сцапали. Разве что твоя рана остановит его — грязь ему не помеха».

Рубец от кирки у меня на лице, о котором я порой забывал, еще не совсем зажил и вид имел страшноватый.

Высокий поручил мне что-то еще, и я, прикидывавший, как бы самому подкатиться к Жабе, пошел исполнять, одурев не меньше Намука. Человек, так сердечно встретивший нас, прогнавший нашего стражника, преисполненный врожденного благородства, говоривший со мной как с равным, только что отнесся ко мне, как к уроду и недоумку.

Работая, я услышал, что всех рабов зовут на поляну. Опять на рудник отправят? Я потрусил куда сказано.

«Все сюда. — Господин Анурон, сняв плащ, махал широким рукавом своей красной туники. Это был настоящий медведь с курчавыми черными волосами, толстыми ручищами и мохнатыми ляжками. — Сейчас мы немного поборемся — поглядим, из чего вы сделаны. Мы запросили у рудника семь самых сильных рабов, но они, похоже, прислали нам самых молоденьких. — Сто-

ящие вокруг засмеялись. — Впрочем, не важно. Мы наблюдали за вами, пока вы работали. Поди сюда, — приказал он мне. — Ты вроде бы парень крепкий, но тут есть и покрепче. Ты! — Он указал на раба по имени Варх. — Как тебя звать?»

«Варх, господин мой».

«Готов побороться, Врах, за свою свободу?»

«Господин?..»

«Ты слышал. Сражаться будешь со мной. Если уложишь меня, я тебя выкуплю и вручу тебе твой ошейник, как приз победителя».

Я с самого прихода на рудник дал себе слово, что с Вархом и еще с полудюжиной полубезумных силачей драться не буду ни за какие коврижки. Ему было около двадцати четырех лет, десять из которых он проработал на руднике; он уже родился рабом, и сюда его продали, когда разорился его хозяин. Он весь состоял из узлов и бугров, опиравшихся на две громадных ножищи. Его бороду уже тронула проседь, но из-за грязи это было не слишком заметно. Вел он себя тихо. Я пару раз пытался с ним подружиться, но не могу сказать, что мне удалось. Он смотрел на Анурона растерянно, моргая красными от рудничной пыли глазами. К нам присоединился Намук — на него почти никто не смотрел, поскольку он силой не

выделялся. Следом появился и граф Жью-Форси.

«А если я проиграю?» — спросил Варх. Я не понимал, отчего он так оробел.

«Вернешься на рудник, вот и все. Терять тебе нечего. Ну, что скажешь?» Анурон был выше Варха и шире в плечах, но явно уступал ему в весе.

«Зачем тогда бороться? Почему сразу не отправить меня назад?»

«Но это же честный поединок! Победишь — получишь свободу! Не говори только, что ты боишься».

«Да, господин. Боюсь».

«Чего же?» — вопросил Анурон. Солдаты и челядь усмехались вокруг.

«Вы убьете меня, если я подниму на вас руку! Вы господин, а я раб. Мне не позволено драться с вами — вы убьете меня, если я посмею. — Варха одолевал ужас — как и меня, впрочем. — Вы хотите со мной сразиться, чтобы блеснуть перед госпожой. — Мы стояли на поляне перед самой ее каретой; землю кое-как очистили от камней и опавших веток, но луж здесь, как и на рудничном дворе, хватало. — Хотите, чтобы она видела вашу победу, — с чего же вам мне уступать? Если я начну одерживать верх, вы или кто-то из вашей стражи сразите меня наповал, я знаю!»

«Нет-нет-нет! — Анурон расстегнул и отшвырнул прочь пояс с мечом, стянул через голову тунику. — Смотри, я теперь гол, как и ты!»

Голый Варх, однако, остался в железном ошейнике.

«Не надо, господин! Не заставляйте меня!»

Анурон ступил вперед и дернул его за бороду.

«Ну же, дерись! Не трусь! — Он хлопнул Варха по щеке. — Защищайся. Я думал, рабы смелее!»

«Прошу вас, господин…» — бормотал Варх, отворачиваясь.

«Дерись, я сказал!» — крикнул Анурон и схватился с Врахом. Тот уцепился за него, чтобы устоять на ногах, и борьба началась. Я видел, как Варх расправляется с другими рабами в рудничных драках, но так, как сейчас, мог отбиваться разве что колхарийский купец от уличного грабителя. Драка для купца — противозаконное дело, он этого не умеет; ему неизвестно, какое оружие есть у его противника (как правило, никакого, но все может быть); неизвестно, насколько опасным может стать этот бой (обычно ничего опасного не случается, но все опять-таки может быть); он бьется так, чтобы ничего себе не повредить, и даже не защищается толком. Он старается только сдержать неприятеля, надеясь, что тот

образумится — а поскольку надежда эта пустая, всегда проигрывает: и кошелька лишается, и побои терпит. Вот так и Варх пытался сдержать наседавшего на него медведя.

Высокий господин рядом заулюлюкал. Клич подхватили слуги и стражники с мечами и копьями. Я молчал, Намук и прочие рабы тоже. Одни из крикунов подбадривали Анурона, другие Варха, но я бы не стал кричать, даже если бы нам всем обещали свободу в обмен на победу нашего силача. Я — думаю, как и все мы — поддерживал его мысленно, вместе с ним скользил в грязи, охваченный ужасом, веря, что при малейшем проявлении силы он будет убит солдатом или самим Ануроном.

Анурон с широкой усмешкой отпустил Варха. Пока тот озирался, норовя, должно быть, сбежать, противник врезался в него, и оба упали в лужу. Они катались в грязи — сверху оказывался то один, то другой, но Варх по-прежнему только сдерживал Анурона, а тот знай молотил его кулаками, локтями, коленями.

Что, собственно, значило «если уложишь меня»? Анурон продолжал драться и лежа. Раньше я смотрел на происходящее как на спектакль из жизни знатных господ, но теперь понимал, что

эти знатные господа вольны сделать с нами все, что им вздумается. Могут вызвать сюда, могут отправить назад. Могут говорить с нами как с равными, а в следующий миг обозвать болванами. Могут обласкать, а потом ударить или сделать калекой. Могут обещать нам свободу и ткнуть клинком в печень, когда мы обрадуемся. Вот что так испугало Варха и пугало нас всех. Он пытался встать, но Анурон схватил его за ногу и повалил снова. Я понимал, что при любом исходе — заслужит ли раб свободу, докажет ли господин свою доблесть в глазах избранницы — ни мне, ни другим рабам ничего хорошего ждать не следует.

Борьба продолжалось; взбаламученная лужа не отражала больше ни туч, ни деревьев.

В это мгновение дверца в карету госпожи Эзуллы открылась, и служанка, выглянув из нее, сбросила в грязь расписной куб. Кругом вопили еще пуще, но я смотрел только туда. На постамент сошла худенькая темнокожая женщина с короткими темными волосами, широко поставленными глазами, в белом платье до пят.

Анурон, увидев ее, ослабил хватку. Варх тут же отполз и встал, пошатываясь. Анурон, такой же голый и грязный, тоже поднялся, поклонился даме, снова ринулся на противника и засадил

ему между ног коленом, одновременно грохнув по его плечам кулаками.

— Угггггггггг… — замычал раб и опять повалился, держась за пах. — Угггггггггггг…

Стражники и слуги бурно рукоплескали.

5

— Вот что, видимо, значило «повалить».

«Видела? — крикнул, отдуваясь, Анурон госпоже Эзулле. — Я победил, Ветерок! Меня этому отец научил — действует безотказно! Хочешь, научу и тебя: женщине надо уметь защищать себя в наши странные и ужасные времена».

Граф Жью-Форси склонился над Вархом и взял его за плечо. Госпожа сошла со своего пьедестала, приблизилась к ним и присела рядом на корточки, испачкав свой белый подол.

Высокий господин тоже подошел к ним. Я не слышал их, но они явно жалели поверженного.

Меня это удивляло, Анурона тоже.

«Так и знал, Ветерок, что ты не усидишь в карете, когда мы начнем, — сказал он, упоенный своей победой. — Что скажешь о моем коронном приеме?»

«Пустомеля, — холодно ответила дама, — не

мог бы ты, хотя бы из уважения ко мне и моему отцу, быть не таким надоедой? Право, терпения уже нет!»

«Надоедой?!» — Анурон скроил ту же гримасу, которую корчил перед слугами, и снова зашагал к лесу; к покрывавшей его грязи примешивалась толика крови.

Господа подозвали нас шестерых, желая знать, что думаем *мы* о состоянии Варха. Не помню уж, что мы там бормотали. Госпожа Эзулла, послав за тазом и полотенцами, смывала грязь с его лица и груди. Граф, заметно протрезвев (может, он притворялся пьяным только перед Намуком), велел принести из своего шатра закупоренный бронзовый кувшинчик с сильным и даже опасным питьем, без которого он никогда не отправляется в путешествие. Оно, по крайней мере, облегчит боль. (Питье и впрямь подействовало, но лишь через полчаса.) Раненого уложили на носилки; за один конец взялся солдат, за другой сам граф. Я, сомневаясь, что это ему под силу, хотел помочь, но граф, все еще благоухающий сидром, оттолкнул меня и прекрасно справился. Высокий господин говорил с дамой, положив руку ей на плечо: они волновались за Варха и гневались на Желудевую Башку.

Госпожа Эзулла послала трех слуг составить у шатра скамейки и переложить на них Врака. Мы, привыкшие спать на соломе, смотрели во все глаза, как они тащат тюфяки, подушки и коврики. Нам пора было возвращаться назад, но господа не знали, как еще заслужить наше прощение! Решили, что мы с Намуком останемся в лагере до утра, а после отведем Варха обратно — сейчас он идти не может. Остальных проводит солдат и объяснит, почему мы трое остались. Нас не накажут, господа обо всем позаботятся. На ночь нам предложили устроиться за шатром, где лежал усыпленный Варх. Настал час ужина, и нам принесли чуть не дюжину разных блюд — некоторые мы и есть-то боялись, не зная, что это. Я так не едал не только на руднике, но и дома в Колхари.

Когда совсем стемнело, высокий господин пришел посмотреть на Варха. Он вынес свою тарелку и сел, чтобы завершить трапезу вместе с нами. Варх уже пришел в себя и мог что-то вымолвить. Господин велел принести бульону, положил его голову себе на колени и стал кормить его с ложечки. Тот впервые после боя сумел улыбнуться, и его тут же вырвало прямо на доброго господина.

Брезгливый Намук отскочил, но молодой ари-

стократ приказал только принести полотенца, чтобы обтереть себя и больного. Потом уложил его поудобнее, снова сел на его ложе и стал ужинать как ни в чем не бывало. Намук доедал на корточках, поставив тарелку наземь, я вспоминал, как ухаживала за мной в детстве мать, когда у меня рвота случалась. На руднике ни с кем так не цацкались, разве что давали больным работу полегче. Если же кто хворал тяжело, его оттаскивали подальше и предоставляли помирать с голоду — или стражник, наскучив его мольбами, приканчивал его в ту же ночь.

Высокий господин — я так и не узнал его имени и не помню, как называли его Ветерок или Жаба — стал расспрашивать нас о жизни на руднике и о том, как мы жили раньше. Он сказал, что раньше у его семьи было много рабов — в десять-двенадцать лет он видел, как они работают на полях, — но императрица рабства не одобряла; владеть рабами и торговать ими все еще считалось законным, однако его родители, перебравшись на север, распродали или освободили своих. Для всех четырех господ в караване, включая и Анурона, виденное нами сегодня было скорее детским воспоминанием. В ту ночь я впервые узнал, что, хотя государство все

еще использует рабский труд в рудниках вроде нашего, при дворе рабов нет. Интерес доброго господина к нашей жизни был не менее искренним, чем его забота о Вархе, и мы, преодолевая неловкость и недоверие, отвечали ему все более открыто и честно. Я узнал о Намуке и Вархе, обретавшем понемногу дар речи, то, чего не знал раньше, — может, просто не додумался задать им те же вопросы. И они, несомненно, тоже узнали обо мне нечто новое, а мы втроем узнали о жизни неверионских аристократов такое, что могло нам привидеться только во сне. Не все узнанное нами было приятным. Мы с Намуком вспоминали свою свободу, рассказывали, как нас взяли в рабство. Господин слушал и улыбался, но порой хмурил брови и выказывал чисто господское непонимание. Мы, трое рабов — и он тоже, — начинали подозревать, что и лесная деревня Намука, и мой дом в гавани столь ему чужды, что для него мы оба пребываем где-то на самом дне. В конце концов он, смущенно улыбаясь, признался, что не видит особой разницы между такой свободой и рабством; не понимает, чем одно состояние предпочтительнее другого, но готов, пожалуй, поверить нам на слово.

Освобожденные или взбунтовавшиеся рабы

часто говорят, что при разговоре с хозяином всегда что-то утаиваешь — всегда есть секрет, о котором ни один раб не скажет хозяину. Может, так оно и есть, когда их разделяют вражда, бунт, несправедливость, жестокость, но в целом это всего лишь сказка, которой утешают себя обездоленные. Конечно, весь этот день господа помыкали нами, как хотели, но когда один из них заговорил с нами по-человечески, что нам, скажи на милость, было скрывать? За Намука и Варха не поручусь, но у меня уж точно не осталось секретов: я лишился их, когда попал в рабство. Мы четверо, трое рабов и хозяин, говорили с полной честностью и невинностью, ничего не ведая о цепях, что держат нас вместе, и о цепях, что нас разделяют, — а небо темнело все больше, и ночь становилась все холоднее.

Затем из шатра вышел с дымящим факелом господин Анурон, отмытый дочиста, в свежей голубой тунике и таком же плаще.

«Негоже тебе сидеть с ними, — заявил он. — Мы долго говорили с Ветерком и пришли к согласию — просто гора с плеч. Вы, все трое, вели себя отвратительно и сильно меня огорчили, но после разговора с ней я стал понимать почему. Постарайся и ты меня понять. Все, что так досаждало

вам последних три дня, я делал лишь для того, чтобы вас позабавить, и не думал, что будет наоборот. Вот и все. Ветерок рабства не одобряет, и я наконец-то внял ее доводам, но именно поэтому понять не могу, отчего ты всю ночь проводишь с этими… существами в ошейниках. Ты это делаешь только для того, чтобы я почувствовал себя виноватым. А тебе, смотрю, уже полегчало, любезный? Я рад. Ты храбро сражался, хотя и потерпел поражение. Хорошо мне приложил пару раз — гордись. Вот видишь, ты улыбаешься. Но Ветерок, если на то пошло, оказалась намного великодушней. Она, по крайней мере, потратила целый час, внушая мне здравые, по ее мнению, мысли. Ты же, мой друг детства, кого я всегда уважал, на кого всегда смотрел снизу вверх, попросту уходишь, чтобы поболтать с этими несчастными и тем унизить меня… что за мелочное ребячество. Ты уже сделал для них все, что мог. Жаба тоже считает, что ты поступаешь глупо, но все мы готовы превознести тебя как раз за это, мой принц. Я говорю серьезно. Оставь их и пойдем к нам. Для меня невыносимо, что ты сидишь с ними, — и Ветерок, думаю, скажет тебе то же самое».

У меня горели щеки; я благословлял темноту и шрам на лице, скрывающие мой стыд, и не знал,

за кого стыжусь больше — за себя или за высокого господина.

Он, выслушав Анурона, достал из плаща какой-то брусочек — я не узнал эту вещь, потому что больше года ее не видел, — вложил его в скважину Вархова ошейника, повернул, снял ошейник и метнул его прямо в занавеси у входа в шатер. Я думал, что сейчас все звуки в шатре утихнут, но этого не случилось; тогда я подумал, что ошейник просто растаял перед лицом такого могущества.

Затем всесильный человек приподнял мой искореженный подбородок, слегка содрогнувшись при этом, отомкнул мой ошейник и отправил его вслед за первым. Ошейник Намука полетел туда же вместе с ключом.

«Видишь, — сказал высокий господин Анурону, и дрожь в его голосе передалась всему моему телу, избавленному от ошейника впервые за долгий срок, — я больше не беседую с существами в ошейниках. И приду к вам, когда сочту нужным — не раньше».

Анурон захлопал глазами.

«Они не поверят, когда я им расскажу! — Он явно не находил слов и выпалил наконец то самое, что госпожа Эзулла недавно сказала ему: — Какой же ты надоеда! — Он швырнул факел наземь

— желтое пламя, отразившись в луже, тут же погасло — и вернулся в шатер.

Теперь мы все что-то друг от друга утаивали — вот откуда, наверно, взялась сказка о скрытном рабе. Господин начал было с того, на чем остановился, но у него получалось плохо, и «спасти вечер», как наверняка выразились бы господа, попытался Вархх. Он рассказывал о жестоком стражнике, который уже ушел с рудника; о сестре, которая так и не успела что-то ему сказать перед тем, как ее продали; о том, как забавно он отомстил надсмотрщику, желавшему стравить двух рабов, — сегодняшний бой напомнил ему об этом.

Молол языком, как нанятый — это его, должно, от зелья так разобрало.

Господин слушал, кивал, улыбался в нужных местах — мы с Намуком так сконфузились, что ни одной улыбки из себя выдавить не могли. Наконец он встал и попросил его извинить: ему в самом деле пора вернуться к друзьям — он надеется, что мы понимаем. Думаю, что всем, даже Вархху, сразу сделалось легче.

Но он вышел снова и принес нам с Намуком коврики и подушки, чтобы мы легли прямо здесь, на холмике, где посуше.

Дождь на время перестал, ночь была ясная. Господин посмотрел на вовсю уже храпевшего Варха, наказал разбудить себя, если ему станет хуже, и показал шатер, где сам будет спать.

Все лампы в большом шатре погасли, небо вызвездилось. Мы с Намуком улеглись на свои постели. Неужели мы, избавленные от ошейников, не помышляли о бегстве? Нет… может быть, потому, что нам доверили Варха, но я так не думаю. Я, к примеру, сразу уснул.

Проснувшись среди ночи, я подумал, что вздремнул всего на пару мгновений. Варх метался и стонал так, словно Анурон только что его повалил: «Уггггггггг… Уггггггг…» А Намук храпел как ни в чем не бывало.

Я сел. В шатре высокого господина еще брезжил свет. Он велел разбудить его, если что… Я укрыл Варха одеялом — которое он тут же скинул, — постоял, пошел по траве к шатру. Может, окликнуть сначала? Посмотреть, спит ли он? Лампа вон горит… но, может, он уснул, забыв ее погасить. Не рассердится ли господин, что его потревожили? Но он сам велел…

Отодвинув входное полотнище, я заглянул внутрь. Я очень живо помню то, что увидел при свете лампы на низком столике — не знаю, сумею

ли передать это тебе, Удрог. Высокий господин стоял спиной к входу — голый, как мы с тобой — и не видел меня. Он держал что-то в руках, глядя на это как завороженный: один из наших ошейников, половина в одном кулаке, половина в другом. Мне казалось, что я уже долго так стою — а он, выходит, стоял еще дольше. Я уже знал, предвидел, что он сделает дальше — и ты тоже знал бы на моем месте. Он защелкнул железный обруч на своей шее и замер, не отводя рук, будто боялся, что больше его снять не сможет. Я ощутил плотскую подоплеку этого жеста с такой ясностью, что все мои суставы ослабли. Я уже говорил тебе, что меня ошейники возбуждали еще в раннем детстве, как, по-своему, и тебя. А говорил ли я о мгновении тишины? Это, пожалуй, самое верное, что можно сказать о желании.

В тот миг я, если и не вступил в него, то подошел вплотную.

Сказители повествуют, что человек, пылая от страсти, дрожит в то же время, будто во льду. Но желание — не огонь и не лед, а разница между ними. Его, пожалуй, стоило бы назвать промежутком, разрывом — неодолимой тишиной, грозящей разлучить двух людей и длящейся целую вечность.

Внезапно он обернулся — может быть, мое хриплое дыхание донеслось до него или холст под моей рукой дрогнул.

«Что тебе нужно?»

Испугавшись не меньше его, я взаправду тряхнул шатер (удивляюсь, как он еще нам на голову не свалился) и пролепетал: «Раб этот, Варх… он стонет, и я не знаю, что делать…»

«А мне что прикажешь делать? — рявкнул он, срывая с себя ошейник. — Ну да, я говорил, чтобы ты…» Тут он, полагаю, впервые меня разглядел.

Оба мы были нагие, оба мужчины. Я видел его, и он знал, что я видел. Теперь и он увидел меня и узнал обо мне то, что знал о нем я. Мой отклик на него он мог отрицать не больше, чем я — его отклик на рабский ошейник.

«Варх, он опять стонет, — заново начал я. — Может, вы взглянули бы…»

«Да, хорошо. — Он перевел дух. — А вам скоро идти назад на рудник — стоило бы, пожалуй, снова надеть ошейники». Он хохотнул. Шутка вышла плохая; мне очень хотелось посмеяться с ним вместе, но я не мог. Он подошел и защелкнул ошейник на моем горле. Если прежний его жест говорил о плотском желании, этот был так далек от всякого вожделения, что дальше и быть не

может. Он боязливо возвращал символ рабства рабу, которого имел глупость, пусть ненадолго и не по-настоящему, отпустить на свободу.

Я назвал разговор между нами четырьмя честным — таким он и был, но ни о чем таком у нас речь не шла. Меня, усмехавшегося про себя над тем, как Жью-Форси попользовался Намуком, поразило то, что у нас с высоким господином одно на двоих извращение.

«Пошли поглядим, как он там». — Два других ошейника лежали у него на постели. Он взял их и вышел из шатра как был, нагишом.

Варх у большого шатра свернулся клубком, подтянув колени к груди.

«Подержи-ка лампу. — Господин и на Варха надел ошейник. Тот захрипел, и я опять испугался, но господин сказал: — Все хорошо, он дышит. Укрой его». Я укрыл, а господин застегнул ошейник на спящем Намуке; тот пробормотал что-то и опять захрапел.

Господин подошел ко мне, и между нами опять пробежала искра. Мы стояли, голые, друг перед другом, как прежде Анурон с Вархом. Если б он тогда что-то вымолвил, я, даже в ошейнике, ответил бы «да». И если бы я, грязный, с рубцом на лице, жалкий и безобразный в его глазах, сказал

бы хоть слово, он, как я подозреваю теперь, ответил бы то же самое.

Но мы промолчали.

То, что мы видели — то, что узнали, — по-прежнему не умещалось в слова.

Он взял у меня лампу, еще раз взглянул на Варха.

«Утром посмотрим, как у него дела. Доброй ночи», — сказал он и ушел в свой шатер.

Но я скажу тебе вот что: теперь на мою постель улегся совсем другой парень. Теперь меня переполняли разные мысли. Может, прокрасться к нему и украсть его ключ? Но я ведь не знаю, где он его держит. Уйти прямо так, в ошейнике? Но на дорогах полно солдат и работорговцев. А если вернусь, с рудника уже не сбежишь. Если эти мысли так и остались мыслями — и в ту ночь, и в многие дни и месяцы после нее, — то лишь потому, что я боялся последствий, боялся кары. Но в тот миг, когда мы, раб и хозяин, смотрели в глаза друг другу, я стал прежним собой. Не бедный испуганный господин вернул мне себя; это сделало нечто неуловимое, вроде клубов тумана на лугу, где нам мерещится дракон, на котором мы можем улететь куда захотим.

Год спустя после утраты свободы в моей игре

появилось еще кое-что, о чем можно было мечтать. Я и раньше знал, что неверионские господа могут отмыкать мой ошейник и замыкать его снова, — не знал только, что они и на себя ошейники надевают. Теперь я возжелал свободы и власти, которые предстали мне в шатре высокого господина; отходя ко сну, я знал, что не успокоюсь, пока не обрету их; знал, что должен вернуть свободу всем неверионским рабам еще до того, как получу настоящую власть.

Утром все три господина и госпожа, в сопровождении своих слуг, пришли навестить нас. При свете дня стало видно, что мошонка и низ живота у Варха раздулись и почернели. Он мог опереться только на одну ногу, но стойко сносил боль.

Пустомеля предложил Жабе дать Варху еще толику болеутоляющего зелья. Болящего напоили, и нам ничего не оставалось, как вернуться назад: караван шел дальше своей дорогой. Мы с Намуком вели Варха, госпожа Эзулла отправила с нами двух солдат, высокий господин пожелал всего наилучшего. Никто из нас не поминал о том, что нам вернули ошейники.

Одноногого вести нелегко, даже если идти всего-то полмили. Иногда нас сменяли солдаты. Варх трижды просил ненадолго оставить его в

кустах и на третий сказал, гримасничая: «Когда отливаешь, больней всего, а течет только тонкая струйка».

Мы с Намуком сразу пошли на работу, сдав Варха стражникам. Ему позволили отлежаться — он, как-никак, пробыл там уже десять лет и всегда работал на совесть.

Вечером, за ужином, мы слышали в соседнем бараке его стоны, переходящие в крик. Моча совсем перестала течь. Убивать его не пришлось — через двое суток он умер.

Утром я видел, как его выносят, — он распух, будто покойник, месяц пролежавший без погребения.

Я часто об этом думал. Вышло бы куда красивее, если бы к мечте о собственной свободе и свободе других рабов меня подтолкнул гнев за убитого Варха. Порой я так и рассказываю — и себе, и другим. У меня, как у любого раба, в запасе много историй. Некоторые я рассказываю так часто, что сам в них уверовал. Реже всего я повествую — хотя вспоминаю снова и снова — о той ночи, когда еще никто (я уж точно) не знал, что Варх скоро умрет; когда я, подглядывая в щелку у входа в шатер, обрел себя прежнего — того, что ищет правды, то и дело заблуждаясь, поддаваясь

обману, уступая ярости или гордости. Того, что рассказывает истории.

Даже теперь, достигнув в основном своей цели, я размышляю о том, что нельзя чего-то *достичь*, если тебе нечем это что-то *достать*. В ту ночь, когда я узнал свои желания в молодом господине, мне стало ясно, что я не такой, как другие рабы, — а вслед за этим нахлынули размышления, отчего нас всех, несмотря на все наши различия, одинаково угнетают. Узнав, что я, раб, и он, хозяин, можем видеть друг в друге предмет своего желания, я повторял в уме наш ночной разговор, объединивший хозяина и рабов, и думал о тысяче сословных и имущественных различий, сделавших нас такими, а не иными.

Я желал власти, которой обладал он. Желал отчаянно. Именно это желание помогло мне вновь стать собой: власть мне требовалась, чтобы снять ошейники со всех угнетенных, включая себя. Но власть эта, по крайней мере для меня, тесно переплеталась со свободой надевать этот ошейник, когда захочется. Желая ее, я обрел — впервые с прихода на рудник, а может, впервые в жизни — того себя, в котором гнездилось это желание.

Удрог, слушавший Горжика то с любопытством, то со скукой, встрепенулся и после долгого мол-

чания отважился вымолвить:

— Этот господин, надев на себя ошейник, дал тебе свободу надеть его на…

— Ничего похожего! — вскричал Горжик. Удрог, примостившись к нему, вздохнул и зашевелил губами, словно рассказывал себе что-то другое. — Как бы он мог? Он не был свободен носить ошейник как знак своего желания ни при близких, ни при чужих. Увидев меня, он ужаснулся не меньше, чем ужаснулся бы на его месте я. Он не был свободен вернуть мне свободу; даже если бы ему пришло в голову выкупить какого-нибудь раба, то я, после того, как мы узнали друг в друге собственные желания, стал бы последним, кого он выкупил. (А ведь ошейник он снял с меня первого!) После этого взаимного узнавания я уже получил над ним столько власти, что о равенстве не могло быть и речи.

Пойми, Удрог: случай, о котором я говорю, лежит за пределами словесной цепи, связывающей нас с миром, — настолько далеко, насколько это возможно для подлинно происшедшего. Если бы кто-то вздумал меня о нем расспросить, я солгал бы — полностью понимая, что лгу, — чтобы защитить моего господина и себя самого. Думаю, что и он солгал бы, защищая себя и своего раба.

Я лгал бы не только ради защиты, а потому, что тогда не знал, как рассказать об этом. Думаю, что и он не знал.

Освободить меня?

Как мог ты, Удрог, — да и я, — даже помыслить об этом, когда он снял мой ошейник? Зато жест, которым он надел ошейник на себя самого, думая, что никто этого не видит, стал зеркалом, где отразилась — или смутно забрезжила — моя собственная свобода. Вновь замкнув ошейник на мне, он разбил это зеркало, но не в силах был отменить того, что я там увидел.

Но все это было давно. Я рассказываю тебе о том, что происходило в другом мире, Удрог. Теперь рабов больше нет, их еще в твоем детстве не стало. А такие, как мы, по крайней мере в больших городах, носят ошейники не скрываясь — потому и ты об этом говоришь так открыто.

Можешь ли ты, рожденный и живший свободным, это понять? Но раз уж ты слышал начало, дослушай меня до конца. Осталось немного. Много лет спустя, когда я…

Удрог, собравшись сказать, что больше не вытерпит, вдруг привстал на колени и вскрикнул:

— Что это?

Горжик, приподнявшись на локте, посмотрел

в ту же сторону.

— Где?

— Да вот же! Не видишь разве?

— Что не вижу? А, это?

— Но что это?

Горжик снова улегся.

— Похоже, что кот.

В глазах напугавшего Удрога существа отражался огонь.

— Что он здесь делает?

— Мало ли что может делать кот в пустом замке ночью. Ложись и слушай.

Но Удрог, сняв с себя ошейник, сказал:

— Может, лучше ты побудешь рабом? Я покажу тебе, как мне нравится — тебе тоже понравится, знаю. — Он защелкнул ошейник на Горжике.

— Тихо, мальчик. — Горжик, хоть и в ошейнике, говорил столь же властно, хотя и с улыбкой. А Удрог, снедаемый страхом, желанием, нетерпением — и любопытством тоже, — огляделся и лег рядом с рассказчиком. Кот уже ушел.

6

— Свобода пришла ко мне в двадцать один год столь же неожиданно, как рабство в пятнадцать

лет. В поле у рудника остановился другой караван — кортеж визирини. Она выкупила меня по свойственному аристократам капризу, а когда я ей надоел, отпустила на волю, выхлопотала мне офицерский чин и отправила в армию на три года.

Благодаря тому, что случилось со мной в семнадцать, на свободу вышел человек, способный желать и мечтать, — а затем я научился еще и действовать.

Однажды, в последний год службы, возвращаясь в Кхахеш, где стоял мой полк, я остановил вола на одном южном рынке. Там, у овощного ларька, расположился работорговец с шестью головами товара, такими же щуплыми и вялыми, как и он. Я купил у него всех шестерых, проделав все, чего требовал продавец: щупал им десны (рыхлые или затвердевшие), смотрел в зубы (редкие и гнилые), заглядывал в заросшие грязью уши. Поначалу я отнекивался, но охрипший, сдавленный от ярости голос меня плохо слушался. Под конец я отсчитал в грязную ладонь торговца серебро и железо, связал рабам руки за спиной по его указанию и спрятал ключ в кожаный армейский кошель на поясе. Торгаш, наверно, счел меня сумасшедшим или глухонемым. Мои руки

и ноги, с языком вместе, тоже сковал паралич: я споткнулся, связывая старуху, и уронил в пыль три монетки, когда расплачивался — на радость какому-нибудь мальчишке-варвару вроде тебя. В моей шестерке был и такой, с лишаем на голове. Что это было? Злоба на рабство, лишившее меня юности и навязавшее мне шесть этих жалких созданий? Или страх, что небеса разверзнутся и некто всесильный поразит меня молнией?

Как бы там ни было, язык мой не поворачивался, руки тряслись, ноги спотыкались. Но я кое-как справился и привязал вереницу рабов к повозке. За городом я снял с них ошейники и сказал:

«Вы свободны, ступайте».

Двое рассыпались в благодарностях, один смотрел с недоумением, еще трое — в том числе и лишайный мальчик — долго моргали, а потом повернулись и ушли — пораженные немотой, как и я, с той же покорностью, с какой раньше носили цепи.

Я сложил ошейники в повозку и поехал дальше.

В другой раз, через год после выхода в отставку, я шел по дороге и при свете порой проглядывавшей луны разглядел в пыли следы скованной вместе невольничьей партии. Потом увидел у

дороги костер и услышал голос работорговца. Это был не просто усталый пьяный торгаш, говоривший, кому куда сесть и чья очередь получить еду, — нет. Такого работорговца можно разве что на сцене увидеть. Он орал, бранился и бил дубинкой всех без разбору, и стариков и калек. Одни кричали, другие даже крикнуть боялись и тихо скулили — лицедеи такого тебе не сыграют.

При мне были меч и нож. Щеря зубы в усмешке, какой на руднике встречал равно стражников и рабов, я крался через кусты с клинком в каждой руке. Отчего я медлил? От страха? Хотел посмотреть, сколько у злодея сообщников? Выжидал, прикидывая, когда лучше напасть? Нет, Удрог. Я надеялся, что он попросту шутит так, дурака валяет.

В конце концов, его сотоварищ — всего их было трое — тоже ржал во всю глотку, глядя на окровавленную дубинку.

Что же подвигло меня к действию — желание, страх или ярость? Это было то самое чувство, что охватило меня, когда высокий господин снял мой ошейник. Назовем его свободой. Я вскочил, ринулся вперед и одним ударом меча отсек мучителю руку, а другим подрубил ему ноги.

Схватка была кровавая и донельзя шумная.

Все вопили, включая меня. Я выдернул из доски общую для всех цепь и крикнул:

«Вы свободны! Бегите!»

Послушались меня только двое. Остальные, полагаю, сочли, что их освободитель не менее безумен, чем работорговцы, — двух из злодейской троицы я убил и одного тяжко ранил. Пока я отмыкал ошейники, одна женщина порезалась о мой нож и с криком умчалась в лес, а раненый, лепеча «нет, нет», потащился туда же.

Невольников было двадцать семь человек, и я отпирал их ошейники один за другим. Во рту было солоно — я ненароком прикусил щеку.

«Ступайте же! Уходите!»

Эти два случая можно считать днем и ночью моей борьбы, но я хочу рассказать еще о вечерах и рассветах. Больше года спустя, когда закат еще озарял верхушки деревьев, а восток уже наливался густой синевой, мы, с дюжину человек, стояли в лесу. Мы ушли от тепла и уюта лагерного костра, когда выяснили, что около половины из нас, случайно собравшихся вместе путников, раньше были рабами. Сначала свою историю рассказал один, следом другая. Их рабство ожесточило ничуть не меньше меня. Я, в свой черед, шутливо поведал о столбняке, поразившем меня при

покупке рабов, и высмеял свою медлительность при ночном нападении, стоившей несчастным еще десятка ударов.

«Я тебя помню, Горжик, — сказала грузная женщина. — Была среди тех, кого ты освободил». А двое мужчин у костра сказали, что их освободила она — хотя женщина не могла вспомнить их точно так же, как я ее.

Не помню также, кто говорил следом — бывший раб или вольный варвар, распаленный нашими рассказами.

«Если мы, хотя бы вдесятером, объединимся, чтобы покончить с рабством в Неверионе, то добьемся большего, чем те же десять поодиночке. Веди нас, Горжик».

«Какой из меня вожак? — засмеялся я. — Я не отличаю страха, ярости и желания от любви к свободе. Думаю даже, что это одно и то же».

Тут подал голос чернокожий, бритоголовый, с рубцами от кнута на боках: «Но эти различия не мешают тебе — ты усмехаешься и идешь в бой. Веди же нас, Горжик».

Не зная, кто он — раб, преступник или всё вместе, — я порылся в своей котомке, достал железный ошейник, надел на себя и спросил: «Что это для вас значит?» Страх и желание сделали

мой голос хриплым — может, остальным он казался властным как раз поэтому, но я понимал, что должен подать им знак, показать, кто я.

«Хочешь сказать, что раньше ты был рабом, а теперь стал вожаком, освобождающим всех рабов? — спросил кто-то, сильно хмельной. — Мне это по нраву, Горжик. Веди нас».

Я опять засмеялся и тоже выпил. Костер разгорался все ярче, и разговор у нас теперь шел о ночных вылазках и сражениях. А на рассвете — не наутро, а месяцев восемь спустя — я вспомнил, как осматривал оружие в том лесу, как обсуждал свои планы с младшими командирами. В то утро нас было человек двадцать. Ночью мы вошли в пригород Колхари и заночевали под какой-то стеной. Из тех, у костра, со мной остались лишь двое. Моим подручным и любовником был варвар немногим старше тебя — я купил его в Элламоне и научил разным ночным уловкам.

Утром мы собирались поговорить с одним бароном-рабовладельцем и перейти к насилию, если мирными переговорами ничего не добъемся. Готовясь к этому, я ощущал знакомый зуд — смесь страха, ярости и желания. Восстание уже началось, мечта стала явью, мелкие победы перерастали в крупные.

День, ночь, вечер, утро… Но мы говорим о событиях, длившихся многие годы — много дней, ночей, вечеров и утр.

Одни вели к славным победам, другие — к поражениям.

Я бывал бит и поднимался снова, знал маленькие радости и всенародную славу, терпел личные потери и публичные неудачи.

Свершения — странная вещь, Удрог. Ты живешь ими и ради них, но, как правило, не любишь о них говорить. Ты поддерживаешь их всеми силами, а когда тебя о них спрашивают, усмехаешься, бурчишь что-то, но большей частью делаешь каменное лицо и предоставляешь расспросчикам догадываться самим.

Ярость, страх, желание, любовь к свободе — ничто из этого не располагает к пространным речам. Я часто задумывался об этом ночью в своей палатке, готовясь выступить то перед купцами, то перед крестьянами, то перед аристократами; задумывался, когда, пробравшись через дыру в заборе, говорил что-то шепотом рудничным рабам. Задумывался, когда, охрипший от крика, весь в крови, смотрел на чей-то горящий замок и не знал, доживу ли до рассвета.

Порой нас были сотни, порой я оглядывался и

видел, что сражаюсь один. Но каждый раз, даже на грани отчаяния, я вновь находил друзей: рабов и свободных, мужчин и женщин, готовых драться за меня и вместе со мной, вкладывающих в нашу борьбу пыл, который казался мне утраченным безвозвратно.

Восстание не угасало, Удрог, и никто не предавался любострастию изощреннее нас. Одни восстания ведутся в холоде и целомудрии, другие в жару и насилии, а такие, как наше, раскаляют похоть до пределов, каких добрые горожане и представить себе не могут — разве что ненадолго, когда рукоблудят. У нас были мужчины. Были мальчики. Были и женщины. Встань на четвереньки, как пес! Ползи на брюхе, как червь! Свяжи меня, избей, а я тебя окачу! Всю свою жизнь я стремился к свободе, власти и удовольствиям. Рабом я хватался за них жестоко, причиняя боль и даже увечья себе и другим. Став свободным, я понял, что власть, свобода и удовольствия, которые ждут нас с тобой в эту ночь, существует и среди отбросов общества, и в высших кругах; что они так сильны и приносят такую радость, какую раб, тайно взыскующий их, и представить себе не может. Ага, теперь тебе любопытно. Ты снова тянешься к моему ошейнику. Хочешь его

вернуть? Э, нет. Погоди. Ты улыбаешься — значит, тоже понимаешь, что отсрочка поднимает наслаждение до невообразимых высот. Ты полюбил бы наше восстание, Удрог, если б у тебя достало смелости и удачи примкнуть к нам. Беда лишь в том, что я, ложась с кем-то новым, не знал, отделает он меня до изнеможения или будет до рассвета спорить со мной. Впрочем, мне хватало и страсти, и споров. Случались дурные сны, случались и хорошие — вечерами я разбирал и те и другие. Да, порой меня тревожило, что я дурно поступаю со своими друзьями, тревожило всю ночь до рассвета. Но я не позволял этим тревогам меня останавливать. Мне посчастливилось: один мой любовник меня любил, но не верил в меня. Со временем его любовь обратилась в ненависть, и его сменил другой: этот в меня верил, но не любил меня. С годами, поняв, что нас связывали только общие мечты, он охладел ко мне и ушел. Я искал его, но после своего пришествия к власти больше его не видел.

Я благодарен им обоим за то, что они, каждый по-своему, беспристрастно меня судили. Если б судьба послала мне такого, кто и верил бы, и любил, я, скорей всего, стал бы настоящим тираном; первый любовник всегда его во мне видел,

а второй, хоть и слепой на один глаз, видел, что я могу таким стать.

Затем императрица, долгосрочная и праздная владычица наша, вызвала меня ко двору.

Министерский сан, доложу я тебе, постиг меня как чума. Первые месяцы я думал, что ночей у меня больше не будет — одни лишь дни. Сидел в своих новых покоях и чувствовал себя умирающим с голоду среди изобилия. Но потом в Авиле взбунтовались двести освобожденных рабов, и я ночью отправился к ним, потому что они соглашались говорить только со мной.

В другой раз, тоже ночью, пришла весть, что некий граф, вконец свихнувшийся от постоянных убытков, убивает без разбору рабов и свободных, объясняя это волей древних южных богов. Я повел против него войско и после целодневной битвы под проливным дождем собственноручно отрубил ему голову, напитав его кровью мокрый песок.

Ночных приключений хватало вдоволь.

Вскоре я понял, что при дворе блудят ничуть не меньше, чем за его пределами; понял также, что должен постоянно иметь дело с вельможей, люто ненавидимым мной, если хочу одержать над ним верх. То были отчаянные и отважные

времена в отчаянной и отважной стране. Меня призвали ко двору не просто так, а как человека с целью и страстью — и способы их воплощения зависели от меня одного. Так я, в семнадцать бесправный раб, в сорок семь стал достопочтенным министром; я преследовал свои цели со всем доступным мне рвением (зародившимся во мне в ту давно минувшую ночь) и восторжествовал наконец над тем, кого ныне настигла смерть: рабство в Неверионе отменялось не просто по умолчанию, а решением государственного совета и императорским указом, как подобает.

Мой недруг помалкивал и бросал на меня мрачные взгляды со своего места в совете.

Шесть лет назад ее величество подписала указ; ты, наверно, не слишком хорошо это помнишь, но в столице был праздник. Думая о человеке, к чьей похоронной процессии завтра примкну, я чаще всего вспоминаю то утро в совете, когда все смеялись и хлопали меня по плечу.

Он подошел ко мне, улыбаясь, и другие умолкли, зная, что моя победа означает его поражение.

«Поздравляю, — сказал он. — Я знаю, как упорно ты за это боролся, и уважаю твое упорство. Полагаю, что решение, к которому ты привел нас сегодня, надо как-то… отметить. Ты никогда не

делал секрета из того, что был в свое время рабом на императорских обсидиановых рудниках. Теперь они закрываются. Мне сообщают, что там осталось всего трое рабов, дюжина стражников и сколько-то наемных смотрителей. Подумать только, что раньше там трудилось триста моих… — он осекся, — триста моих людей. Вот тебе хороший способ отпраздновать свое достижение: вернуться на место былой неволи и своими руками снять ошейники с последних рабов. Твою победу отпразднуют и здесь, и в новых процветающих городах, возникших между Колхари и Элламоном, Колхари и Аргини. Все они пришлют своих представителей, чтобы посмотреть, как ты завершишь свою великую миссию. Лучшего торжества в этот памятный день не придумаешь».

Когда твой враг улыбается, ты настораживаешься, но его капитуляцию, если это была она, следовало принять достойно. Понаторев в придворных интригах, я понимал, что наши с ним игры в каменных ульях Высокого Двора далеко еще не закончены. Что я думал о его предложении? Пышных церемоний я всегда избегал, хотя и понимал их значение. Предлагаемый обряд казался мне ребяческим, даже глупым, но если за успех с меня требовали такую цену, я был готов

заплатить.

Я посмотрел на него… обдумал все с быстротой, которой от него же и научился… сказал:

«Хорошо, господин. Через неделю я отправлюсь в Фальты и исполню ваше желание». Приложил кулак ко лбу и поклонился.

Те, кто это видел, усмотрели в моем послушании знак триумфа — но тонкости и намеки в играх Высокого Двора распознать не так просто.

Я сам наблюдал за сборами моего каравана, ругаясь втайне, — это отрывало меня от более важных дел.

Гонцы скакали на юг и на север, приглашая на торжество избранных.

К отъезду я со своими помощниками умудрился приготовить для церемонии все, даже речь, которую императрица произносила в столице. Приглашения были разосланы, обещания получены, давление для получения других обещаний оказано — это означало, что сама церемония пройдет как по маслу наподобие всех прочих никому не нужных затей. Скучающие музыканты, съехавшиеся отовсюду сановники, нескончаемые речи, запоздавшее начало, некстати пошедший дождь, пир в завершение — все как на любом провинциальном празднестве.

Но я тебе хочу рассказать о том, что случилось за пределами этого пустого обряда.

В дороге я не особо беспокоился, зная, что хорошо сделал свою работу, и думал, каково будет снова увидеть двадцать шесть лет спустя рудник, бараки, поля вокруг — последние я видел разве что в спешке, путешествуя с севера на юг, с юга на север и помышляя о чем-то другом.

Я отношусь к тем, кто немедля следует путем своих мыслей. На утренней стоянке я велел караванщику оседлать мне коня и поехал вперед, желая хотя бы час провести наедине с картинами своего рабства. Вскоре оказалось, что это был верный шаг.

Крестьянин и две женщины, везшие телят в повозке с высокими грядками, заверили меня, что это и есть земли старого рудника. Я находил дороги там, где их раньше не было, кусты и деревья на месте прежних полей, видел холм и пруд, которых не помнил, видел хижины на пустом когда-то болоте. Единственная шахта, которая мне попалась, была закрыта еще тогда, а те, где мы трудились в поте лица, я вовсе не мог найти — лесом они заросли или их затопило? Не узнал я и длинную стену рабских бараков.

Навстречу мне вышла смотрительница, старая

варварка в ошейнике — одна из тех, кого мне предстояло освободить. На мое дружеское приветствие она отмолчалась, но когда я назвался, стала очень приветлива. Горжик Освободитель? Да, она знает про церемонию, которая состоится сегодня. Всю неделю тут только о ней и толкуют. Старушка, разволновавшись, стучала кулаком по лбу и восхваляла императрицу, такую-рассякую владычицу нашу. Не хочу ли я войти и познакомиться с другими рабами? А она тем временем примет моего коня, принесет мне попить и поесть, сделает все, что я пожелаю.

Нет, сказал я. Мне хотелось лишь увидеть места, где я (как ей известно) пробыл в рабстве пять лет.

Тут, должно быть, многое изменилось, сказала женщина. Сама она провела здесь пятнадцать лет, а еще один раб — целых двадцать. Даже рудокопом успел поработать. Он, правда, сейчас отлучился, а третий здешний раб — юнец двадцати двух лет, ни на что не годный, на руднике неполные десять лет. Лучше мне поговорить со старшим, когда он придет. Стража и вольные? Эти сменяются каждые два-три года, и спрашивать их — зряшный труд, зато она готова рассказать все, что знает. Мой барак, по ее словам, давно

снесли, и тот, где умер Варх, тоже. И следа не осталось. Она этого не видела, их сломали еще до нее. Может только показать, где они вроде бы стояли — вон там, на склоне, где теперь заросли шиповника и сумаха. Я не помнил, чтобы наши бараки стояли на склоне… но все может быть. А длинное строение, из которого она вышла, — самый старый рудничный барак, он и при мне тут был. Недавно его подлатали, а так ему лет шестьдесят, не меньше. В этом я с ней согласился.

Вдоль фундамента (я не помнил, чтобы у наших бараков имелись фундаменты) в камень были вделаны железные скобы, но уцелели из них только две — остальные проржавели и отломились.

«Когда я впервые сюда пришла, их сохранилось штук десять, — сказала женщина. — Мы еще дегтем их смазывали. — Ей, я видел, хотелось спросить, не приковывали ли здесь и ме- ня. — Потом-то перестали, рук не хватало. Вот они все и сгнили, а жаль. Нет, я не хочу, чтобы ими пользовались — не больше вас, господин мой, — но надо бы сохранить их, чтоб люди не забывали».

Шпеньки и дыры от скоб тянулись вдоль всего длинного здания. Став свободным, я повидал немало таких фундаментов, стен, каменных

скамей, где приковывали сотни невольников, работавших в рудниках и на полях за многие поколения до меня. Этому бараку было и впрямь больше века. Впервые я увидел эти скобы на западе и на юге, когда служил в армии, и отметил про себя, что на руднике таких не было: нас сковывали вместе только когда перегоняли куда-то — лесной пожар потушить или запрудить ручей в половодье. Может, я попал не на тот рудник? От зарослей шиповника и сумаха до этого барака не больше дюжины ярдов, а я напрочь не помню ни его, ни железных скоб!

Мой конь беспокойно переминался на месте. Я потрепал его по шее и сказал: «Тут должно быть поле, где караваны стояли. В полумиле от южных бараков, как мы их называли тогда».

«Это где церемония нынче будет? — Она была варваркой, Удрог, светлокожей, как и ты, но загорела так, что еще до освобождения походила на свободную женщину. В ненастный день ошейник под ее соломенными волосами был неотличим от кожи. — Где вы снимете с нас ошейники».

«Видимо, да».

«Это в той стороне, по дороге и налево. — Дорога? В мое время там была только тропка, сильно заросшая. — Если шагом, то всего четверть ча-

са, а галопом мигом доскачете. Оттуда и город видно».

Город? Я поблагодарил ее и повернул коня в указанную ей сторону. Неужели за это время здесь вырос город? Но время она будто бы назвала верное. Я ехал, не узнавая ни единого дерева и валуна, и скоро в самом деле оказался на двухколейной дороге, где могли бы разъехаться две повозки. Мне казалось, что поле, о котором я говорил, лежит совсем в другой стороне, а этот рудник — в сотне стадий от моего. Может, барак со скобами и верно стоял на том самом месте, но раньше его скрывал лес? Одни постройки снесли, вокруг других вырубили деревья… Или я просто не запомнил его, а скоб никогда не видел. Но чтобы скобы сохранились — а женщина сказала, что пятнадцать лет назад их было не меньше десятка, — их требовалось постояннно смазывать дегтем. Кто бы стал проделывать это с бараком, стоящем в глухом лесу? Я, как десятник, знал бы, если б кого-то отряжали на такие работы.

И тут меня озарило. Был, был такой барак в стороне от других, куда я за пять лет ни разу не заходил и даже не приближался к нему, только крышу его видел из-за кустов сумаха. А вечерами, когда мы, обессиленные, вылезали из шахты,

видел порой, как туда идет стражник с ведерком дегтя. Мне ни разу не пришло в голову спросить, для чего. Только теперь я понял, что там помещалась их казарма и рабов туда не пускали. Потому-то я и не видел скоб в его основании. А раз так, то мой конь едет правильно. Или нет? Если там была казарма и эта дорога пролегает вдоль старой тропы, то мой собственный барак стоял совсем не там, где показала женщина.

Этой ли дорогой я вел когда-то Варха вместе с Намуком и караванными стражниками? У этих ли кустов мы останавливались, когда Варх пытался слить хоть что-то из порванного мочевого пузыря? Был ли тот день таким же ненастным, как этот?

Я снова, как уже не раз за минувшие годы, вспомнил, что не знаю, где похоронен Варх. Я мог насчитать около тридцати рабов, умерших здесь естественной или насильственной смертью, но не знал, где лежат их тела.

В Колхари, если идти от гавани вверх по Рыбачьей, в полумиле за улицей Мусорщиков будет пустырь, где вместе с бесчисленными жертвами той полуночной резни в месяц крысы похоронены, как мне сказали, мои родители. Я порой прихожу туда, как и другие, потерявшие в ту ночь

своих близких. Рядом с местом, где закопали убитых, вырыта другая общая яма, куда сваливают тела нищих, найденные перед рассветом у Моста Утраченных Желаний. Но я не знаю, на каком поле или болоте зарыты сотни рабов, которым зачастую и тридцати еще не было — где зарыли бы и меня, если б с Пустомелей сразился я.

Я ехал, высматривая просвет в тучах, и думал. Мысль была не новая, но впервые такая сильная. Что было самым главным из того, чего нас лишили в рабстве? Наша история. Да, у нас были свои шутки, свои сказки, свои героические предания — мы обменивались ими шепотом перед сном, прежде чем упасть без сил на солому. Но после, в армии, я слышал от солдат точно такие же истории, приключившиеся будто бы с их друзьями. Я еще в юности понял, что с человеком может приключиться все что угодно, но рассказывать об этом он будет теми же заезженными словами, какие у лицедеев самого низкого пошиба в ходу. Истории нас лишали столь же тщательно, как и знания, где нас похоронят в конце концов, как доступа в казарму стражников, где раньше, что от нас тоже скрывали, жили рабы.

В ту давнюю ночь на караванной стоянке я — насколько это было возможно для юнца, не

знающего принятых в обществе обычаев и традиций, — заложил основы своей истории.

Со временем я понял, что подлинные, как и придуманные, истории питает не только память, но и желание.

Оставалось только гадать, узнаю ли я караванную стоянку. Рудник я каждый день видел, а ее всего с полдюжины раз за пять лет — но, хотя бы из-за того, что испытал там, думал, что должен узнать.

Передо мной поднимались горы, поросшие темными соснами. У их подножья виднелись дома, которых в мое время не было. Дорога, переходя в тропу, терялась в их гуще, высокая трава по бокам от нее качалась под ветром, как мачты в гавани.

Не могу передать, как угнетала меня эта пропадающая дорога. Если б новые поселенцы выровняли прежнюю тропинку, засыпали песком и щебенкой, замостили камнем — дело другое, но здесь явно никто месяцами не ходил и не ездил, ни раб, ни министр. Между тем для детей, народившихся после меня, эта деревня и этот луг наверняка были целым миром, а тропинка — единственной связующей нитью между тем и другим.

Я не узнавал это поле. Оно никак не могло быть

тем, что осталось у меня в памяти.

Но если это оно, то за тем пригорком слева должна пролегать большая дорога с севера на юг, по которой движутся всадники, возчики, пешеходы и караваны между Элламоном и Колхари. С которой вскоре должен свернуть мой собственный караван, чтобы разбить здесь церемониальный шатер. Что я буду делать, если увижу с пригорка лишь море травы? Если окажется, что память так жестоко мне изменила?

Но нет. Королевская дорога, Путь Дракона, нашлась там, где ей надлежало. На радостях я поворачивал коня то туда, то сюда. Если позабыть про эту нелепую деревушку, луг станет тем самым местом, где я много лет назад обрел самого себя.

Привязав коня к дереву и посмотрев вверх по склону, я понял, что стою как раз там, где стоял с другими рабами напротив высокого господина. С тех пор я свел знакомство с многими родичами госпожи Эзуллы и знал, что за Анурона она так и не вышла. А года два назад я обедал за одним столом с графом Жью-Форси. Он раздобрел с тех пор, и голова у него поседела, но прежнее прозвище, Жаба, так при нем и осталось. Я не стал поминать о нашем былом знакомстве.

Я старался не замечать ни дороги, ни деревни,

торчавшей как прыщ у подножья Фальт. Вместо этого я пытался представить, где стояла карета Ветерка, где Анурон бился с Вархом, где был большой шатер, — и усмехался, ожидая прибытия собственных повозок, разбивки собственного шатра, полного забвения прошлого.

«А не сходить ли мне в эту деревню», — внезапно подумал я. Моя тоска по былому просто смешна. Я шел по дороге, ведущей, похоже, к палатке, где господин нагишом примерял ошейник, а после к спящему Варху. От подобных воспоминаний сводит живот, сжимается горло, и за всеми зеркалами ждет пустота. Идти было долго, но я говорил себе: «Ты прибыл сюда как победитель в великой битве, это твой праздник…»

В тот миг я снова увидел перед собой лицо своего врага, могущественного министра, ныне усопшего, но тогда пребывавшего в Колхари рядом с импартрицей. Человека, по чьему повелению я оказался здесь. На миг он, словно призрак или бог здешних мест, принял облик того высокого господина. Знал ли кто-то из них муки, которым подвергала меня моя память? Мог ли намеренно двинуть меня сюда, как фигуру на игральной доске, чтобы я испытал как раз эти муки? Но нелепость этой мысли освободила меня

сразу от них обоих. Меня ждал заслуженный праздник, и я, чтобы насладиться им в полной мере, не должен был больше думать о прошлом.

У первой же глинобитной хижины на меня уставилась женщина. Знала ли она, кто я?

Я повернулся и пошел обратно на поле, с которым, так сказать, был лучше знаком.

Почти уже перейдя его и подходя к своему коню, я увидел на дороге четырех пеших.

Впереди шла моя старая варварка в бурой рубахе и железном ошейнике, за ней трое мужчин. Один пожилой, в такой же бурой рубахе и тоже в ошейнике — должно быть, раб-старожил, о котором она говорила. Второй молодой, крепко сбитый, в ошейнике и кожаной повязке на бедрах. Он шел с открытым ртом, где недоставало зубов.

Я не говорил тебе, Удрог, что у Намука была такая же привычка — разевать рот? На миг я принял этого молодого раба за Намука, которого вели ко мне старик со старухой. Иллюзия была столь сильна, что я замахал рукой и поспешил ему навстречу, ухмыляясь как недоумок, но тут же подумал: да нет же, Намук — не молодой раб, а старый! Старуха скрывала это, чтобы приятно меня удивить. Потом я, конечно, опомнился и по-

чувствовал себя полным ослом. Старуха сказала, что старик пробыл здесь двадцать лет, — значит, он пришел сюда через шесть лет после меня. Он улыбался, показывая длинные желтые зубы, я пытался улыбаться в ответ.

Старая рабыня тем временем поведала, что старика зовут Мирмид, молодого — Фейев, а ее — Хар-Ортрин. Фейев явно был туповат, но обладал красивыми светлыми глазами в обрамлении темных ресниц. Третий мужчина, без ошейника, в кожаной набедренной повязке, как и Фейев (и не менее грязный), стоял в стороне. Я с удивлением понял, что это стражник.

«А я буду Ириг, мой господин, — представился он, ударив себя в лоб кулаком. — Вольный слуга императрицы, великодушной владычицы нашей!»

Мне и теперь мерещилось, что Фейев — это Намук, а Ириг — вылитый стражник, который когда-то вел нас сюда, хотя тот мне плохо запомнился.

В честь грядущей церемонии и грядущей свободы сегодня они не работали.

«Надеюсь, вы не против, что я привела их, мой господин, — сказала Хар-Ортрин. — Вы такой добрый для великого человека, да и сюда приехали

ради нас, и с Мирмидом хотели поговорить — он ведь здесь дольше моего. А парню полезно будет послушать про место, из которого он завтра уйдет навсегда».

«Вот и славно. — Я с улыбкой показал на поваленное дерево, поперек которого лежало другое, срубленное. — Сядем и потолкуем».

Мы сели. Начиналось все хорошо.

«Хар-Ортрин сказала, что показывала вам, где был ваш бывший барак, но он был вовсе не там! — сказал Мирмид. — Он стоял по другую сторону от казармы, где раньше жили стражники, а теперь мы живем — и сгорел за год до того, как сюда пришел я. Страшенный, говорят, был пожар! Никто не знал толком, сколько рабов в нем погибло. Уцелевшие втихомолку шептались, что это недосмотр был, а то и поджог.

Поджарились люди заживо в набитом соломой хлеву. Когда меня пригнали сюда, развалины еще не совсем заросли. А там, на склоне, где показывала она, были временные постройки, поставленные после пожара — в одной из них я и жил. В то время как раз закрыли три больших штольни, где вы, должно быть, работали, и открыли другую, поменьше. Но добыча там была так себе, и решили закрыть весь рудник. Хибары

наши снесли, рабов большей частью на запад продали — осталось нас всего человек двадцать пять. Привели к нам Хар-Ортрин и еще нескольких женщин, чтоб убирали и стряпали: камень-то не добывали уже, только присматривали за шахтой. А теперь нас и вовсе трое…»

Его рассказ кое-что прояснил.

В бытность мою офицером я узнал о пожаре на руднике от жителей пустыни в тяжелых одеждах, с медной проволокой в ушах. Но это было давно и выветрилось из памяти.

Значит, мой барак и верно стоял по ту сторону от казармы — но я все равно не узнал бы этого места, ведь там теперь вырос лес.

Я все смотрел на молодого раба: вправду ли этот губошлеп, ковыряющий кору грязными пальцами, похож на Намука? По возрасту он был ближе к Варху, и все же… Спросить бы Мирмида и Хар-Ортрин — или Ирига, если на то пошло, — не знают ли они, что сталось с Намуком. Уцелел он при пожаре? Был продан? Может, кто-то из них знает даже, где хоронили рабов? Но я не решался спрашивать, как прежде не решился войти в незнакомую мне деревню.

Фейеву не нравилось мое пристальное внимание. Я перестал смотреть на него и стал расспра-

шивать, откуда они и что делали все это время на руднике. Мы потихоньку осваивались друг с другом — трое рабов, стражник и императорский министр.

Я пытался вспомнить, о чем спрашивал высокий господин нас с Намуком и Вархом, — и знаешь, они отвечали на те же вопросы с большой охотой. Даже тупица Фейев, даже надутый Ириг. Я пытался вспомнить, какие случаи из жизни высокого господина больше всего меня поразили, и рассказывал им похожие истории из своей жизни. Не про рудник, конечно, а про то, что при дворе делается. Фейев перестал ковырять кору, Мирмид, Хар-Ортрин и даже Ириг слушали как завороженные. Раньше я полагал, что в ту ночь высокий господин впервые беседовал с рабами вроде меня и Намука, но теперь вспомнил, с каким состраданием отнеслись к Варху трое господ. Возможно, та беседа была у него не первой. Возможно, он знал, о чем нужно спрашивать, чтобы мы разговорились. Возможно, знал, какие истории будут нам всего интересней. Возможно, знал, каких тем лучше избегать, чтобы не смущать нас. Я сам вел немало таких бесед и учился не у него одного. Возможно, он, как опытный игрок, рассчитывал все ходы наперед — с наилучшими

намерениями, как и я теперь.

Намерения у меня и впрямь были добрые. Я хотел, чтобы они чувствовали себя свободно, и они чувствовали. Хотел, чтобы они понимали всё, что я говорю, и они понимали. И все-таки мысль, что наш разговор на этом самом лугу тридцать лет назад был хорошо продуманной игрой, неприятно поразила меня. Мои собеседники во многом были людьми ограниченными, и я их границы хорошо знал — как же мог высокий господин не знать наших?

Рабы заговорили о скорой свободе — что они будут делать, куда пойдут. Хар-Ортрин была уверена, что вольные родичи на юге примут ее к себе, но я, слушая рассказы о ее добром дядюшке и многочисленных кузенах, вспоминал отчеты об освобожденных рабах, вернувшихся в свои семьи (мы обсуждали это на совете пять дней подряд). Семьи в большинстве своем не желали иметь никакого дела с растерянными и часто озлобленными вольноотпущенниками — а Хар-Ортрин в восторге сжимала руки, исполненная надежд и радостных ожиданий.

Бывший хозяин Мирмида, вынужденный в свое время его продать, тоже звал его к себе, когда он получит свободу: ему дадут клочок земли,

нужные орудия, он построит себе хижину и будет вольным крестьянином. Еще три дня мы на совете обсуждали случаи, когда такие же обещания оказывались пустыми словами: имения, где рабы работали прежде, пребывали в таком же упадке, как и рудники, где они работали после, а прежних хозяев зачастую и в живых не было — но Мирмид бесконечно уважал своего великого тана, который, владея сотней других рабов, обещал ему такую прекрасную жизнь.

А что намерен делать Фейев? В город пойдет. В какой? Да в любой. Там ему работу дадут. Какую? Да хоть какую. Он будет работать на совесть, купит себе дом, разбогатеет, слуг себе наймет, оденется во все новое-дорогое.

Я слушал, улыбался, помалкивал.

На совете мы обсуждали вопросы освобождения рабов без конца, но я с этими вопросами сталкивался за много лет до совета.

Если у вас возникнут какие-то трудности, сказал я трем почти уже не рабам, вы можете обратиться за помощью в такие-то и такие-то палаты, учрежденные императрицей как раз для этого. Но они, что мне было куда как знакомо, пропустили мой совет мимо ушей.

Оставалось надеяться, что в случае нужды они

его вспомнят. Я улыбался их пылкости, их наивности, их восторженным ожиданиям, зная при этом, что стать богатыми и благополучными в ближайшем будущем для них не более сбыточно, чем пробурить насквозь гору или улететь в небо. Неужели и мы с Намуком тридцать лет назад мечтали с той же наивностью о свободе — даре богов, отнятом у нас властями империи?

Я снова перечислил учреждения, куда бывшие рабы могут обратиться за помощью, но они только ласково улыбались, будто говоря: тебе, счастливцу, давно уже вольному, не понять, что значит свобода для нас.

Мне расхотелось продолжать этот разговор. Я сказал, что пройдусь и помотрю, где лучше разместить свой караван, когда он придет, — потом, мол, не до того будет. Знатные господа мигом раскусили бы этот жалкий предлог и вежливо промолчали, но Ириг разговорился не хуже Варха, одурманенного болутоляющим зельем, и стал пространно повествовать, как трудно ему приходилось с рабами. Это злобное, распутное, вороватое племя (подумать только, что ту воровку выпустили в приличное общество)! Шести стражников на трех рабов и то мало, да и стражники хороши — впрочем, имен лучше

не называть, не такой нынче день. Я и без него знаю, что творилось в подобных местах. Но рабам доверять нельзя, нет. Так и норовят что-то у тебя выпросить. Не эти трое — они хорошие, даже Фейев неплох (тот опять ковырял кору). Но те, что ему вспоминаются…

Ириг прослужил стражником двенадцать лет, здесь и еще в четырех местах, и рабов знал как облупленных, и плохих и хороших. Свободные неверионцы даже не представляют, до чего ужасны плохие. «Да вы и сами все это знаете, господин, раз боролись за их освобождение и сами были рабом».

«Я-то был из худших, приятель», — выпалил я и сразу же пожалел об этом. Но Ириг, будто не слыша, продолжал гнуть свое. Он, с моего позволения, думает, что нынешняя церемония — прекрасная вещь. Поскольку рабство отменили официально, он не желает больше отвечать за этот сброд, с которым столько намучился (не говоря о присутствующих).

Я кивал и улыбался в нужных местах. Другие не делали ни того ни другого: Фейев скучал, Хар-Ортрин и Мирмид сидели молча — притерпелись, видно, к таким высказываниям.

«Гляньте-ка!» — воскликнул вдруг Фейев, ука-

зывая на холм. С большого тракта въезжали первые повозки моего каравана.

7

— Следующие три часа прошли в суете. Ставились шатры и навесы, подъезжали гости из дюжины городов. Вся деревня, которую я не захотел посетить, явилась поглазеть, как раз когда повариха подняла крик. Где еще шестеро поварят? А поглядите на небо! Если мы хотим съесть хоть что-то, палатку с провизией надо перенести вон туда, чтоб тем ее помощникам, что в наличии, не приходилось под дождем бегать. Рабы они, что ли, по-вашему? Сейчас ее требования представляются мне разумными, но тогда казались нелепыми. Она сорвала с себя фартук и пошла прочь, а через полчаса вернулась, мрачная и надутая, и начала хлопотать.

Я метался туда-сюда. Старый Мирмид преградил мне дорогу и попросил поручить что-нибудь им троим — ведь вся эта суета из-за них поднялась, и они очень хотят помочь.

«Не путайтесь лучше под ногами до начала церемонии», — сказал я, но тут встрял Ириг: «Полно вам, господин, пусть поработают! Их ведь

не освободили пока. Да и я заодно потружусь, вон сколько еще надо сделать — никому не приходится сложа руки стоять».

Хар-Ортрин и даже Фейев смотрели на меня с полной готовностью. Тут как раз подбежал человек сказать, что доски привезли только для половины подмостей, а музыкантов всего шесть, хотя ожидали дюжину. Потом выяснилось, что это не музыканты, а недостающие поварята — ошибся писец, составлявший списки. Я послал всю четверку местных к одному из распорядителей, и тот дал им работу. Меня тем временем окружили знакомые и те, с кем меня хотели познакомить.

Я, кажется, говорил, что приехать пораньше было хорошей мыслью?

Поле утратило всякое сходство с тем, которое помнил я. Если раньше я ничего не узнавал и пребывал в замешательстве, то теперь совсем приуныл.

Церемония, как водится, началась на час позже назначенного времени, когда тучи на небе еще больше сгустились. Перед этим я размышлял, не швырнуть ли мне снятые с рабов ошейники прямо в шатер, как когда-то высокий молодой господин — я, как-никак, у него в долгу. Но когда

речи завершились, и мастер церемонии взвел на помост Мирмида, Хар-Ортрин и Фейева, и я вложил ключ а замок под курчавой бородкой Мирмида, начался дождь. Старик зажмурился и оскалил свои желтые зубы. Пришлось нам спасаться в шатер, где все кое-как и закончилось.

Через полчаса ливень ослабел, оставив на траве лужи. Я слышал кое-какие жалобы относительно пира, но повариха, по-моему, справилась как нельзя лучше. Я так и сказал ей, придя под раскаленный кухонный навес, а она, вся в поту, сияла и хваталась за щеки.

Из-за дождя гости начали разъезжаться рано, и мало кто остался на вечерние торжества — к счастью. Я уже так привык к пересекающей поле дороге, что понять не мог, отчего она раньше так пугала меня. Церемония как церемония — в ней, как по всяком публичном действе, были свои неудачи и свои возвышенные мгновения.

Гром оповещал, что дождь может снова хлынуть, притом на всю ночь (обратно в Колхари мы собирались утром). Мне поставили маленькую палатку, и я уже хотел лечь, как увидел, что к моему пристанищу идет Фейев, неся что-то в руках. Он посматривал то вправо, то влево, но назад не оглядывался, иначе бы заметил меня.

У палатки он поднял полотнище и вошел (слуга только что доложил мне, что оставил на столе зажженную лампу).

Что ему там понадобилось? Ничего ценного, кроме пары ремней, пергаментов и письменных принадлежностей, у меня не было. Может, я по глупости оставил в шкатулке под кроватью какие-то деньги? Я вошел вслед за ним. Он, стоя вполоборота ко мне, скинул свою кожаную набедренную повязку — на боку у него остался след от тесемки — и двумя руками поднес к шее полукружия железного обруча, но тут увидел меня и замер.

«Что ты тут…» — начал я.

Он уставил на меня свои серые, не замутненные мыслью глаза и опустил ошейник.

«Да вот… к тебе пришел. Они сказали, ты…»

«Что сказали?»

Фейев пожал плечами и почесался.

«Ну, говори же. Зачем ты пришел?»

«Так все ж знают. Про тебя. Про ошейник. Это твой знак был».

«Верно, Фейев — но зачем ты сюда пришел?»

«Мне сказали, что…»

«Кто сказал? Мирмид? Хар-Ортрин?»

«Нет, стражники».

«Какие стражники?»

Он снова пожал плечами: я уже понял, что у него просто такая привычка. «Известно какие. Любят помучить, вот и нанялись сюда в стражники. Я это делал с ними, и один мне сказал…»

«Ириг?»

«Нет, не он, — рассердился Фейев. — Ириг дурак, он над нами смеется. Сначала говорит, что я, мол, распутный, а потом — что хороший раб. Это у него игра такая, да мне наплевать».

Я не стал спрашивать, не Мирмид ли, по мнению Трига, «вредный», а Хар-Ортрин — «воровка». Знаем мы эти игры, где победитель издевается над проигравшими.

«Но другие стражники… они, как я сказал, любят помучить. Я это делал с ними. Как ты. Иногда они давали мне деньги — копи, говорят, на вольную жизнь. Теперь я вольный, но скопил мало. — Фейев ухмыльнулся щербатым ртом и тут же забеспокоился. — Это не они подговорили меня, я сам. Не хочу никого подводить. — Я знал теперь, что Фейев способен злиться, улыбаться и беспокоиться, но вряд ли он мог придумать что-нибудь сам. — Ты человек сильный. Мы видели… я видел, как ты на меня глядишь. И они говорили, что ты тоже такое любишь, вот я и

подумал… Вдруг ты мне поможешь потом, если тебе понравится. Денег дашь».

«Тебе-то самому хочется?»

«Я не прочь», — пожал плечами Фейев.

«А ошейник зачем?»

«Я, конечно, не так хорош собой, как другие, с которыми ты… Зубы вон выпали. Ты-то можешь получить кого хочешь. Но стражники говорят, так еще лучше, потому как я кажусь дурак дураком. Вот на плече рубец от кнута — не настоящий, но кой-кому нравится. И ты на меня смотрел…»

«Бедный ты, бедный, — сказал я. — Неправильно это. Нельзя приходить вот так и думать, что кто-то… — Хотя… что еще он мог подумать? — Ты теперь свободен. Куда пойдешь, что будешь делать?» — Тут я спохватился, что уже спрашивал об этом их всех, когда мы сидели на бревне, спрашивал многих рабов до того — и прикусил язык.

«Пойду в большой город, в Колхари. — Раньше он не так отвечал. — Мне говорили, там есть такой мост, где можно заработать таким вот путем».

«Да, есть такой. Мост Утраченных Желаний. — Что ж, уже легче. Это, по крайней мере, не пустые мечты, которые он высказывал на бревне. Но грустно после целого дня напыщенных речей

слышать, что простой парень только и думает, как бы лучше себя продать. — Я знавал многих, кто там промышлял. Может, и сам промышлял бы, если б меня не пригнали сюда. Но заработать там не так-то легко».

«Ничего, я постараюсь. — Снова эта ухмылка. — Если совсем уж туго придется, попробую обратиться, куда ты говорил».

Я думал, не взять ли его к себе в услужение. Но на что годится такой паренек, кроме как на мосту стоять? Или попользоваться им и дать ему денег. Или просто дать денег и отослать прочь. Что ни сделай, всюду какой-то подвох. Я хотел дать ему свободу, а не заботиться о его выживании.

«Дай-ка эту штуку сюда».

Он с недоумением протянул мне ошейник. «Хочешь его надеть?»

Меня это удивило, полагаю, лишь потому, что в тот миг я совсем об этом не думал.

«Нет. Сейчас не хочу». — Я держал ошейник в руках, глядя то на него, то на Фейева. А тот, как будто другого выбора попросту не было, ступил вперед и задрал подбородок.

С глубоким вздохом я защелкнул на нем ошейник. Для чего? Наверно, чтобы посмотреть, что будет потом.

Он посмотрел на меня своими светлыми глазами и медленно улыбнулся. «А меня хочешь? Да?»

Желание, обволакивавшее его, не затрагивало меня, хотя мое тело отозвалось на это, не отрицаю. Будь я помоложе, наверняка бы продолжил, но опыт подсказывал мне, что телесный позыв, столкнувшись с неприятной действительностью, сразу угаснет.

А раз желание меня не затрагивало, то я не мог разгадать, что происходит в его области — как с Фейевом, так и со мной. И эта неясность гасила всякий телесный отклик.

«Позволь рассказать тебе, как все, по-моему, было, Фейев. — Я все еще держал руки на его шее. Он слегка отвернулся, и я впервые заметил, что он намного ниже меня. — Послушай хорошенько, ибо я человек неглупый. — Кто-то — как видно, незнакомый мне стражник — надоумил тебя пойти сюда и отдаться мне. Ты уже делал это и, несомненно, будешь делать опять, потому что хочешь на этом разбогатеть. Если я дам тебе денег, стражник — который подал тебе эту мысль и ошейник наверняка ссудил — захочет, чтоб ты отдал ему половину, если не больше. Попросту ограбить меня вы с ним не решились бы: в караване много солдат. Он небось поджидает

тебя, а ты боишься вернуться к нему с пустыми руками. Ничего не поделаешь, придется сказать, что ничего у тебя не вышло. Ты, в конце концов, теперь вольный. Я хорошо понимаю, откуда к нему — или к тебе — пришла эта мысль. И ты, и стражник остались теперь без работы. Что ты на это скажешь?»

«А если и так, то что? — сказал, помолчав, Фейев. — Позабавились бы. Будь я твоим рабом, ты мог бы меня принудить, а раз я вольный, ты должен мне заплатить. Хоть немножко. Ты сам меня освободил, почему ж не хочешь?»

«Потому и не хочу, что за деньги. — Я криво усмехнулся и убрал руки. — А может, и задаром не захотел бы. Ступай прочь, Фейев».

«Не хочешь, потому что меня надоумили? Думаешь, так было дело? Так-то так, да не совсем».

«Думаю, подлинная история еще хуже. Я польщен, что ты хотел доставить мне удовольствие, и не упрекаю за то, что пришел. Тебя ждут тяжелые времена, куда тяжелей, чем ты думаешь. Может, в другой день и я сказал бы “что из того”, но сегодняшний меня утомил. — Так я сказал ему, хотя винить следовало не этот день, а другую, давнюю, ночь. — Может, мы еще встретимся с тобой в Колхари, но сейчас я хочу отдохнуть. Один».

Он поморгал, открыв рот.

«Ступай же».

«Ты правда устал?»

Я кивнул.

«Ну и ладно. — Он откинул входное полотнище. — Даром я все равно бы не стал, я ведь больше не раб. Свободные люди ничего даром не делают, так мне сказали. — Он ступил наружу и оглянулся. — Знаешь, ты прав. Моя история хуже твоей. Это в самом деле был Ириг, и он ждет, чтоб получить свою долю. Он сказал, что ты должен мне заплатить. А что я его не люблю, так это чистая правда. Это он мне зубы-то выбил — думал, я своровать что хочу, а я и не знал, что оно там лежит. Ты, мол, должен мне заплатить, а я, значит, ему. Лучше б это был другой стражник — им, по крайности, это нравится, как и тебе. А может, и не лучше. Спасибо тебе, господин. — Одни безымянные боги знают, за что он благодарил меня. — Доброй ночи».

Я смотрел, как он уходит — волоча ноги, сутулясь, под свинцово-синим небом. Сверкнула молния. Он, отражаясь в лужах на мокрой дороге, снял ошейник — сломанный замок щелкнул. Я видел у него на плече «ненастоящий» рубец от кнута. Молния сверкнула снова, сразу за ней

грянул гром. Я закрыл вход в палатку.

Набедренная повязка Фейева так и валялась на полу — я тоже носил такую на руднике. По холсту забарабанили капли. «Устал, говоришь?» — подумал я, сев на кровать. И фыркнул. Такого бы и плохой лицедей устыдился.

Я в самом деле устал, но некий зуд сводил мои мышцы и отгонял сон. Ярость? Страх? Любовь к свободе? Ириг — гнусный ослиный навоз, не хватало еще платить ему через Фейева. А Фейев непроходимый болван, если думал, что я на это пойду. Но, может, истинной причиной отказа был попросту возраст? Или страх, что я не смогу больше испытать наслаждение? Возможно, все дело в сходстве Фейева с Намуком: тот был так далек от плотских утех, что все жесты Фейева казались мне просто игрой. Сидя на постели при свете лампы и слушая дождь, я заново вспомнил все, что случилось той другой ночью. Что было бы, если б я тридцать лет назад знал, что делать, оказавшись с высоким господином наедине? Может, теперь мне давался случай выяснить это, а я снова его упустил? В последние годы я под натиском новых сил, знакомых и незнакомых, научился читать любые жесты: тот плотский, этот политический. Резкий свет власти озарял

их, не позволяя обману, лености, гневу и алчности ничего затенить. Благодаря этой ясности я стал тем, кем стал. Но здесь, облеченный полной властью и как никогда ощущая себя вельможей — вельможным освободителем, благодетелем, покровителем угнетенных, — я не находил никакой ясности ни в прошлом, ни в настоящем, ни в своих, ни в чужих мотивах. Отмена рабства и роспуск стражников стерли границу между стражником и рабом.

Подумать только, что всего три дня назад я, оторвавшись от дел, привел с улицы парня, знать не знавшего, что я министр, — как и ты не знал бы, если б я не сказал. Скажу еще, что после возвращения с рудника я устроил с тремя старыми друзьями славную оргию. Но в ту ночь, слушая шум дождя и глядя на огонек лампы, я мог думать лишь об одном: как много лет назад на этом самом поле заглянул в зеркало и унес с собой то, что увидел там. Теперь, по воле случая, мне открылось, что зеркала и отражения, которые я видел прежде, — всего лишь переплетения других отражений, других зеркал, угол и расположение которых невозможно определить, поскольку их слишком много и видимы они лишь через отражения в других зеркалах; и уж

вовсе нельзя понять, какие из них настоящие, а какие обманные.

Пойми, Удрог: окружавший меня мир не имел с моим открытием ничего общего. Это не было простой утратой иллюзий: в тот день со мной не случилось ничего помимо давно знакомого (но из чего складываются такие открытия, как не из давно знакомого?). Открытие совершил я сам, вмещающий в себя мудрость и глупость, идеализм и цинизм, иллюзии и разочарование в них — я, выхваченный из мира и всего неделю назад, после тридцатилетних усилий, сумевший вернуться туда, выиграв благодаря своей победе в зале совета игру времени и боли. Сказать, что я обрел себя и потерял на том самом поле, было бы дешевым лицедейским приемом. Я всего лишь пытался найти порядок среди различий, где то и дело терял равновесие; ты счел бы меня полным глупцом, ничему не научившимся за полвека, если б думал, что речь идет о простом перемещении от раба к вельможе или о попытке приравнять сговор Фейева с продажным стражником к бессмысленному убийству, совершенному Пустомелей…

Удрог был терпелив и хвалил себя за терпение, даже перестав слушать, но всему есть предел.

Он сел и ткнул Горжика в грудь, прервав его на словах:

— Я, видишь ли, искал…

— Ты все говоришь и говоришь. Скажи вот что: захотелось тебе после этого любви или нет?

Горжик удивленно посмотрел на него.

— Мои мысли уводили меня все дальше от желания, но это не значит, что я совсем отказался от плотских дел.

Удрогу хватило и этого.

— Я знаю, что тебе нужно. Тебе нужно, чтобы кто-то тебе приказывал и пресекал делом твою болтовню. Ты не знал, способен ли на это тот раб, Фейев, потому и не захотел его. — Удрог вскочил, и его тень упала на лежащего Горжика. — Сейчас я тебе покажу. Теперь ты, раб, наденешь ошейник! — Он пнул Горжика босой ногой в бок. — А ну повернись! Отколотить бы тебя до полусмерти, дерьмо драконье! — Удрог занес кулак, но тут за колоннами снова заухало и загрохотало, словно кто-то стучал по ним палкой. Кот пронесся по залу, вспрыгнул на живот Горжику, проскочил между ног Удрога и был таков.

— Что… что это? — вскричал варвар.

Уханье и стук переместились к концу колоннады. Потом на пол слетела та самая палка,

обмотанная с одного конца черным, а шум ушел куда-то вглубь и затих.

* * *

Горжика разобрал смех.

— Там на балконе был мальчишка… а может, девчонка. Лет десяти, насколько я разглядел. Мы его напугали, вот он и отомстил.

— Выходит, нас видели?

— Было бы что видеть, — проронил Горжик, потягиваясь.

— Нельзя заниматься такими вещами, когда за тобой подглядывают! Посторонним этого не понять. Эй ты, — крикнул Удрог, — убирайся отсюда! — За этим последовала ругань, по-новому сочетавшая женские детородные органы, мужское семя и кухонную утварь. — Как нам продолжать, когда наверху кто-то есть?

— Теперь уже нет.

— И то правда. — Удрог отвел потянувшуюся к нему руку. — Нет, все равно. Нельзя этого делать, когда рядом ошивается кто-то. Как думаешь, он вернется?

— Думаю, нет.

— А вдруг? Нет, я так не могу. — Удрог снова скинул с плеча руку Горжика. — Нечего дурака ва-

лять. И ошейник лучше сними. Не надо, чтоб тебя в нем видели, мало ли что подумают. — Теперь рука Горжика легла ему на бедро. — Знаешь про чуму в Колхари и других больших городах? Говорят, она передавалась от мужчины к мужчине, хотя одна знакомая женщина ею тоже болела…

— Как не знать.

— Вот еще почему не стоит этого делать. Вдруг ты заразишь меня или я тебя. Так, говорят, она и передается, чума.

— Говорят также, что от того, что мы, скорей всего, будем делать, заразиться нельзя.

— Да… я тоже слыхал. Иногда я об этом вовсе не думаю, а просто делаю, что хочу. (Мы уже писали, что кое в чем Удрог хорошо разбирался.)

Горжик подавил зевок и убрал руку.

Из его рассказа Удрог понял разве что половину, и в голове у него отложилось, что этот, вполне живой, человек собирается на собственные похороны. Как такое возможно? Может, он чудище какое, бог или призрак? Сначала сказал, что он министр, потом — что рабом был. У него есть меховое одеяло, ошейник он носит для забавы и говорит, что желание в нем угасло. Когда кругом ухают чудища, боги или призраки, он только смеется. И уж вовсе не понять, как он может быть

так спокоен в этом странном и ужасном чертоге. Удрогу от усталости было уже не до загадок и не до утех, хотя мужчина снова обнял его, а огонь угасал и стало уже не важно, подглядывает ли кто-то за ними. Жара сменилось прохладой, а мужчина был теплый и твердо упирался Удрогу в ягодицу, но юный варвар уже перешел из покоев желания в чертог сна и знал, что без его отклика мужчина мало что сможет.

Мужчина дышал хрипло и неровно, будто у него горло перехватило, — но Удрог, дыша легко и часто, уже уснул.

8

А теперь мы расскажем другую историю — историю знатной дамы в преддверии смерти.

Когда весть о кончине барона Кродара достигла замка отставной визирини Миргот, слуги пришли в замешательство. Сказать старой даме теперь же или потом? А может, не говорить вовсе?

В конце концов это представили на рассмотрение пожилому евнуху Яхору, тоже недомогавшему последнее время. Его увешанные гобеленами покои изобиловали лампами, птичьими клетками, пухлыми подушками; подвески люстр

постоянно позванивали от бриза, потолки были обиты дорогими тканями, курения дымились на резных столиках и подвесных полках, и всюду теснились зеркала, множество зеркал, одни с ноготок, другие как живот толстяка. Яхор, закутанный в полдюжины шалей, поднял подкрашенные глаза от своего рукоделия — он мастерил что-то из золотой проволоки, мелких ракушек и драгоценных камней.

— Умер барон Кродар? В Элламоне? И вы спрашиваете, говорить ли об этом визирине? — Он пожал плечами под своими покровами. — Почему бы и нет…

И новость полетела наверх, в маленькие голые комнаты, где кое-где стояли деревянные сундуки. В одной из них, не самой большой, лежали на столе запыленные принадлежности для письма. Здесь даже ковра не было, только камышовая циновка. Визириня прилегла отдохнуть, и добудились ее не сразу — впрочем, слуги привыкли к этому. Осмыслив услышанное, она села в своей просторной сорочке на край постели.

— Экая насмешка судьбы… орел умер среди драконьих загонов. Ничего не поделаешь, надо ехать. Говорите, процессия двинется на юг по Королевской дороге только сутки спустя? Приготовьте

карету, увешайте ее черными и пурпурными тканями, какие найдутся — больше ничего не заказывайте. Я провожу покойного собрата до Колхари, а после до Гарта.

Слуги переглянулись. Уверена ли визириня? Ведь ей нездоровится. Ее родичи и министры конечно, поймут, если… Визириня выпрямилась.

— Никогда не была неженкой и не намерена начинать. На похоронах будут люди, которых я, скорей всего, больше никогда не увижу. Кроме того, я ни за какие сокровища не пропустила бы такого события!

Не желает ли она в таком случае, чтобы ее сопровождал евнух?

— Нет, Яхор мне ни к чему — он ведь, бедняга, при смерти. Возьму только кучера и горничную. Ту новую девушку — она подходящая спутница для похорон.

«Новую девушку», сорокалетнюю женщину, звали Ларлой, и она прослужила в замке уже пять лет. Раньше она провела полгода в доме барона Ванара, как раз во время его смертельной болезни. Другая челядь находила ее странной, вспыльчивой и въедливой, но сердце у нее было доброе, и хозяйка, лично принимавшая ее на работу последней из слуг, всегда за нее заступа-

лась. Слуг огорчало и то, что визириня едет на похороны, и то, что она оставляет Яхора дома. Бесчисленные хвори евнуха сводились в основном к требованию особых снадобий, особых блюд и заботливого ухода, в то время как визириня, не признававшая никаких болезней, по два-три дня не могла ничего съесть, а засыпать и просыпаться ей становилось все трудней и трудней. Ум ее пока оставался ясным, но порой она страдала от приступов меланхолии, и память ей изменяла — тогда все в замке шло кувырком, поскольку она желала всем управлять сама. В таких-то случаях и обращались к Яхору. Порой люди видели, как хозяйка ранним утром ковыляет по коридору в старых обносках, придерживаясь за стену.

На другой день, еще до рассвета, визириню усадили в карету, укутали в меха, снабдили погребальными дарами и большим запасом провизии. Ларла влезла следом с туго набитой парчовой сумкой, кучер тронул.

Слуги, высоко подняв факелы, долго смотрели вслед. Яхор не вышел проводить; старую даму это как будто не удивило, но все не до конца понимали, в себе ли она сейчас. Временами она обращалась к кому-то, кого здесь попросту не было.

Оставалось надеяться, что новая девушка о ней позаботится.

Выехала Миргот как раз вовремя: ее карета примкнула к процесии через полчаса после прекраснейшего восхода. Траурные занавеси раскачивались, не попадая в такт медленного барабанного боя.

Барабаны, по мнению визирини, на похоронах было вынести труднее всего. Она сидела в углу, и бедру было больно, несмотря на подушку: она уже оставила попытки найти для него удобное положение. Разве она не велела новой девушке сесть в другую повозку? Ей бы хотелось побыть одной. Как видно, нет — вот она, напротив сидит. Не будь ее тут, Миргот, пожалуй, стало бы скучно, несмотря на ее красные ручищи и глупые речи — хотя о чем с ней, с другой стороны, говорить. Теперь она, не иначе, заснет, привалившись к окну головой и разинув рот.

Миргот сморгнула. Кто это сидит напротив нее? Ларла… или кто-то еще? Может, закрыть глаза ненадолго? Это всегда помогает, если хочешь разглядеть что-то. Визириня сидела очень прямо в красном траурном платье. Она очень устала, но спать не могла. Да и не до сна теперь.

— Я знала, что ты будешь здесь, — сказала она

тому, кто сидел напротив, — раб ты мой, министр и освободитель. Я только потому, Горжик, и потащилась сюда. Итак, Кродар умер. Какое облегчение для нас обоих, хотя и на разный лад. Не ты ли теперь становишься самым могущественным человеком в Неверионе? Или ты — лишь иллюзия, что может примерещиться утром на туманном лугу? Я, впрочем, из тех, чьи иллюзии, как жестокие, так и благие, составляли в свое время основу власти. Покончив с рабством, ты, Горжик, на целое сословие сократил расстояние между высшими и низшими. Мы, высшие, благодаря тебе сильно понизились. Иногда мне кажется, что это я тебя создала. Всех ли рабов ты освободил? Будь ты нашим любимым сыном, осуществившим наши мечты, мы с бароном Альдамиром поддерживали бы тебя не более рьяно.

Строже всего рабам запрещалось пить и читать. На юге им никогда не разрешали ни того, ни другого, на севере же второй запрет был ослаблен в ту постыдную ночь месяца крысы, когда моя маленькая кузина, обогатившая нас владычица, взошла на трон.

«Нет времени на суды! Всех сторонников Дракона надо убить! Мы хорошо их знаем. А дети их, вашего возраста и младше, станут рабами».

Я стояла рядом с ней в проклятущем тронном зале, когда Кродар это провозгласил. Бедняжка, ступавшая по трупам уже три дня после нашего отъезда из Гарта, искала глазами своего ражего белокурого телохранителя, прорубавшего нам дорогу на север, чтобы спрятаться за ним или подержать его за руку — и, не найдя его, выкрикнула: «Всех убить, но детей не трогать! Не трогайте детей, слышите?»

Это был ее первый указ.

Для своих пятнадцати моя кузиночка сама была сущим ребенком — оно и понятно, если учесть, что росла она в заточении. Но это мало от чего спасало ее. Тем же утром мы узнали, что белокурый телохранитель — шпион Драконов и состоит в заговоре с целью лишить жизни и ее и меня. Инельго подбежала к нему, обняла — и перерезала ему горло ножом, спрятанным в складках платья. Это платье, все в крови, оставалось на ней до самого вечера. Мы с ней, последние три года наблюдавшие куда более кровавые сцены, были во многом старые-престарые женщины.

Одни безымянные боги знают, который из императорских капитанов, скользя в крови и внутренностях, выполнял ее приказ.

Но тебя, Горжика, много раз видевшего, как

твой отец разбирает закорючки старого купеческого письма, не убили вслед за родителями, как непременно убили бы на юге.

Тебя не запирали вместе с дюжиной других там, где на стене была надпись: «Свободу получат лишь те, кто останется в этой комнате, когда остальных уведут». Тех, кто медлил уходить, поздравляли, давали им одурманивающее питье, а затем убивали.

Тебя же просто отдали в рабство, и ты стал одним из очень немногих неверионских рабов, умеющих читать и писать. Ты сам мне рассказывал в нашу первую ночь, как стал десятником — это и положило начало освобождению всех рабов. Тебе эта мысль понравится, знаю. Сколько раз я слышала, как ты объясняешь подобным образом то или это явление. Сколько раз слышала, как ты рассказываешь собственную историю, каждый раз по-новому. Я знала, что ты грамотный, когда решила выкупить тебя с рудника, но ты об этом обычно умалчиваешь, если тебя не спрашивают. И твое молчание, мой друг, мое творение, мое зеркало, как раз и доказывает, как много это для тебя значит.

Пока ты это слушаешь, улыбаясь старухе, которую прежде находил не такой уж и старой, я

только и жду, что ты подхватишь мой рассказ, переиначишь его, вывернешь наизнанку и сделаешь таким, как нужно тебе.

Любопытно, заметишь ты, что власть императрицы с самого начала была вторичной, поправляющей, упреждающей, увещевающей. Такой она, видимо, и осталась? Из своего пребывания при дворе я заключаю (продолжишь ты), что такова модель любой власти, кому бы она ни принадлежала — императрице, министру, визирине, советнику, придворному, мятежнику или богатому купцу. Вот самый трудный урок, который я затвердил при дворе (ты добавишь): нет иной власти, чем та, которой, согласно твоему описанию, обладала императрица в ту ночь. Иллюзорную модель силы, которая постепенно губит нас всех в игре власти и времени, не менее искусно, судя по твоим словам, строит и барон Кродар, решая, кого убить, а кого помиловать, кто должен встать, а кто сесть подле него: по его понятиям, власть ограничена лишь промежутком между словом и делом. Поэтому он — или его образ кровавого тирана — наш враг, и его следует подвергнуть тщательному разбору ради исправления собственных ошибок и самозащиты. Поэтому она — или ее образ испуганного ребенка

— наш друг. Вопрос лишь в том, чей образ ближе к действительности.

И ты, как всякий мужчина, ведущий беседу с женщиной, все присвоишь себе, не переставая улыбаться при этом. Как мне теперь втолковать тебе, что Кродар в ту ночь не отдавал такого приказа, а всего лишь доложил, что происходит в городе — то есть твоя модель власти еще верней, чем ты думаешь. Его власть по сравнению с другими приведенными в движение силами была столь же вторична, как и у малютки-императрицы. Его могущество — его личная власть, если хочешь — заключалось лишь в знаниях, навыках, стратегическом таланте. Из-за этого, как тебе должно быть известно, мне никогда не удавалось использовать Кродара — или его образ — так, как это делаешь ты. Потому-то, наверно, придворные истории больше не доставляют мне удовольствия.

Ты столько раз рассказывал мне свою жизнь — и каждый раз по-новому, что интересно. Помнишь, как в нашу вторую встречу ты сразу признался, что в первую многое приукрасил — или, как ты сказал, «почерпнул у других рабов»? Годы спустя, когда все больше неверионцев переходило на твою сторону, я спрашивала себя,

не в том ли причина, что ты вплетаешь в свою повесть все больше чужих и все больше людей узнают в ней себя — а кое-кто разгадывает уловку человека, вовсе не имеющего истории.

У таких отгадчиков появляется искушение самим рассказать твою повесть так, как они ее понимают. Есть свои соображения и у меня.

Помнишь последнюю нашу встречу? Как я обрадовалась и как испугалась, услышав, что тебя сделали министром. Думая, что именно мне, которая впервые привела тебя ко двору, приличествует пригласить тебя к себе в дом, чтобы ты отдохнул и набрался сил для своей многотрудной службы, я послала гонца в Колхари. К тому времени наши истории тесно переплелись, хотя жизни давно шли врозь. Я, будучи в отставке, почти совсем вышла из игры, в которую ты только вступал, и надеялась, что ты навестишь меня как старого друга, которому когда-то писал такие чудесные письма. Поначалу ты нанял писца, владевшего новомодным ульвенским письмом, передающим целые слова на пергаменте, но порой вставлял в послания старые торговые знаки, которым тебя научил отец: обозначения вещей, чувств и областей мысли, которые можно толковать так и этак. Потом ты почти перестал

пользоваться услугами писца, и в твоих письмах смешивались два стиля, старый и новый. Я заметила, что чем больше слов и чем меньше знаков-символов употребляешь ты, тем реже становятся твои письма. Когда же наша переписка окончательно прервалась, я предположила, что тебе проще справляться с отвлеченным и вещественным, чем с перлокуцией и иллокуцией.

При этом я понимала, что ты в качестве сурового обвинителя можешь предъявить мне целый список причин, по каким перестал писать. И даже надеялась, что ты будешь моим зеркалом: если я, всмотревшись в тебя, разгляжу, что ты ко мне чувствуешь, то пойму, среди своих бесчисленных двусмысленных действий, кем в конце концов стала.

Все мы слышали о твоем маленьком одноглазом любовнике. Одни говорили, что это злобное существо, прежде нижайший из рабов, разбойников и убийц, а теперь твой шут, и твоя страсть к нему объясняется тем, что благородные часто влюбляются в подлых. Другие — что он колдун и заключил с тобой договор, согласно которому ты платишь за прошлые успехи и будущие триумфы собственной кровью и унижениями; что сделка эта осуществляется в ночные часы с помощью

обрядов столь гнусных и ужасающих, что обычному человеку и вообразить невозможно. Третьи находили ваши отношения более человечными: одноглазый-де блестящий стратег, чьими советами ты пользуешься; в военном деле и политике он та же величина, какой был великий Белхэм в математике и зодчестве. Эти же люди утверждали, что твое величие — только иллюзия, что ты просто игровая фигура в руках одноглазого, символ власти, который он использует в собственных целях, не имеющих ничего общего с высокими устремлениями, провозглашаемыми тобой. Четвертые же заявляли, что никакого одноглазого вовсе нет! Это ты колдун, маскирующий благородными стремлениями глубины, где добро и зло переплетены так, что разделить их нельзя. А одноглазый демон, показывающийся на людях в ошейнике, бывшем прежде твоим отличительным знаком — иллюзия, вызванная тобой для проявления твоей мощи и воли, назвать которую несокрушимой значит ничего не сказать.

Я слишком хорошо тебя знала — или хотела думать, что знаю, — чтобы верить всем этим россказням, но именно поэтому сама хотела встретиться с твоим одноглазым. Хотела даже больше (теперь об этом можно сказать), чем

возобновить знакомство с тобой. Возможно, я подозревала, что ты нашел в этом убогом то, чего не смогла найти я, просеивая пески этого мира в поисках атрибутов величия. И свое письмо, посланное с гонцом, составила весьма тщательно: «Буду сердечно рада тебе и всем твоим домочадцам, кого ты захочешь взять». Но увы: еще до того, как ты ответил согласием, до меня дошел слух, что ко двору своего легендарного Нойеда ты не привел. Я узнала об этом от принцессы Элины, что возвращалась после твоей торжественной встречи в свой мрачный фамильный замок и остановилась по пути у меня. Все сходились на том, что человечек, деливший с тобой ложе (в роли то ли господина, то ли раба), коричневый, как наша императрица, и еще меньше ее росточком, выехал с тобой в Колхари, но исчез до начала торжественной церемонии в вихре карнавала, устроенного в твою честь. Больше его не видели.

Через неделю ты приехал ко мне один, в министерских одеждах — старше и сильнее, чем когда я в последний раз тебя видела лет шесть назад. Держа мои руки в своих, ты смеялся и просил прощения, что не взял с собой слуг и охрану. Не слишком ли хлопотно будет моим людям прислуживать и тебе? К моему восторгу примешивалась

разочарование. Погостить подольше? Очень великодушно с моей стороны, но нет.

Я, знающая гораздо лучше тебя, как все устроено при дворе, должна понимать. Ты погостишь у меня две недели, а после вернешься в Колхари. На твоих плечах еще лежала дорожная пыль, и я думала, что ты с тем же успехом мог бы явиться и голым, как в ту первую ночь двадцать лет назад. Без слуг и свиты я не могла судить о твоем достатке, что меня раздражало — слишком я привыкла делать такие прикидки, когда ко мне приезжали другие знатные гости.

«А где же Яхор?» — спросил ты, и я велела позвать нашего старого друга. Он тут же принялся кокетничать и расточать тебе комплименты — я знала, что так он ведет себя только с теми, кто его ужасает, и улыбалась, чувствуя себя огражденной стенами твоей дружбы. Я верила, что наши прошлые обиды пусть и не забыты, но прощены. Ничто меня не тревожило: ни мои прошлые дела, ни твоя будущая карьера, ни весь белый свет.

На третий день слуги рассказали мне о человеке, повествующем о чем-то на рынке в нашей деревне — народ, мол, толпой собирается у его повозки, чтобы послушать. Что ж, сказала я, если его история столь занимательна, надо послушать

и нам. Крестьянина привели в замок. Он был грязен, и от него пахло курами, которых он продавал. Его угостили сидром, хлебом с сыром и фруктами. Я сидела на одной кушетке, ты на другой.

История была следующая. В городок чуть западнее нас, откуда он начинал свой путь, пришло с дюжину оборванных, голодных мужчин и женщин. Люди эти, мирные с виду, ничего не сумели толком сказать, когда старейшины начали их расспрашивать. Но одна пожилая горожанка вспомнила прошедший здесь много лет назад караван, с которым ехали богатые купцы, мелкая знать и дети зажиточных сельских хозяев. Караван шел к границе Невериона, намереваясь ее пересечь, а древних богов путники, полагаясь на безымянных, не опасались. Нынешние явно были уцелевшими из того странствия.

На этом месте ты подался вперед с суровым лицом, казавшимся из-за шрама еще суровее.

«А не было ли среди них одноглазого? Маленького, ростом с мальчика, с веками, приросшими к правой глазнице? Нойедом зовут?»

Рассказчик признался, что видел странников только издали, поверх голов: на рыночной площади, где торговали индюшачьими яйцами, тыквами и козьим молоком, было много народу.

И говорить он с ними не говорил.

Тогда ты впервые упомянул о своем одноглазом спутнике. Мне подумалось, что если бы я первая спросила о нем, все было бы намного проще, но теперь стало поздно. Я больше не могла заговорить о нем, потому что заговорил ты.

С тех пор одноглазый поселился в моем замке, как неотвязный сон, не желающий уходить поутру. Я только о том и думала, кто он был, куда девался и с чего ты взял, что он мог вернуться в Неверион с этими полоумными?

Еще три дня спустя на наш двор въехала карета моего родича, одного из многочисленных принцев; он давно отказался от своего титула и стал Мастером в столичной школе, где обучал молодежь. Он просился переночевать, и я, конечно же, его приняла. Мне не терпелось вас познакомить — я так гордилась вами обоими. Нам подали сидр, салат, горячее печенье и нежнейшее мясо.

Мастер, как всякий ученый муж, был польщен знакомством с представителем власти и даже растерялся немного, что сильному человеку всегда приятно. Он соперничал с Яхором в расточаемых тебе похвалах, ты же был сдержан, но я видела, что тебя это радует. Тогда я и вспомнила о том, что рассказывал давешний селянин: не слышал

ли Мастер о людях, что вернулись в Неверион из своего загадочного похода?

Да, он только что проехал через тот городок — но это не те путешественники. Он нарочно задержался там, чтобы вникнуть в это дело, и заверял нас, что это не отважные, исполненные идеалов первопроходцы. Просто горсточка сумасшедших, которые случайно сошлись вместе и бредут по стране, бормоча несусветное.

Ты снова нахмурил брови.

«Вы говорите, что видели их вблизи? Не было ли там одноглазого человечка по имени Нойед? Я ищу его!»

Мастер, изумленный твоей горячностью, признался, что самих странников не видал, а лишь беседовал о них с городскими старейшинами, но если бы среди них было столь приметное существо, о нем наверняка бы сказали. Отсюда Мастер мог заключить, что одноглазого не было.

Я, однако, видела — как, несомненно, и Мастер (он знал, конечно, о ком ты спрашиваешь, но не желал об этом говорить, как и я), — что тебя это не убедило. Любовь тобой двигала или желание отомстить? На твоем лице всегда было трудно прочесть что-либо.

Назавтра Мастер уехал. Я смотрела из окна, как

ты гуляешь в саду, и гадала, какие бездны в твоей душе доступны лишь взору кривого.

Еще через три дня летнее солнце уступило дождю. Слуги доложили, что рыжая сказительница, иногда заезжавшая в замок, снова здесь и спрашивает, не хочу ли я послушать ее в этот ненастный день. Ну еще бы! Зовите ее. И мы с тобой снова спустились в нижний чертог, ты не менее охотно, чем я.

Оказалось, что и ты знаешь эту бродячую сказочницу — мельком, как многих этих полуколдуний, которых то и дело встречаешь в пути. Это походило на встречу старых друзей, одна из которых собиралась поведать о чем-то новом и завлекательном.

Сидра, пива, вина? Я велела подать все что есть — случай был подходящий, — а после нам накрыли роскошный стол. Даже Яхор спустился из своих покоев послушать. Кухонные мальчишки и девушки, убиравшие со стола, тоже норовили задержаться и ловили каждое слово. Что за сказки она рассказывала в тот день! Старые, хорошо нам знакомые и пробуждающие давно забытые чувства — тем верней, чем лучше они нам запомнились, — и новые, побуждающие искать различие и сходство со старыми. Умные

— и потешные, от которых мы за бока хватались. Возвышенные и чувствительные — слушая их, мы поглядывали, не заснул ли другой. Искусно придуманные истории сочетались со свежими сплетнями. Дождь стучал по крыше, а мы блаженствовали.

Потом ты заговорил о том, что стало для меня и навязчивым, и запретным.

«А не расскажешь ли чего о пришельцах из…» — сказал ты и назвал тот городок.

Как же, без запинки ответила сказительница, я вот только там побывала. Услышав о странных бродягах, она, пользуясь своей репутацией женщины умной и сведущей, попросила пустить ее в хижину, где их держали, и подробно их расспросила. Говорили ведь, что они побывали в далеких землях и все лишились рассудка — авось расскажут что-нибудь, что пригодится ей в собственных сочинениях.

«Ты видела их вблизи, а не через людную площадь? Говорила с ними сама, а не через третьи руки?»

Видела, и говорила, и слышала. Сидела с ними весь вечер, ела с ними, спала тут же, бок о бок, а утром ушла. Она совершенно уверена, что это не жители Невериона, покинувшие страну, а потом

вернувшиеся. И совсем они не безумны, как ее уверяли. На ее взгляд, это чужеземцы, говорящие на другом языке и имеющие другие обычаи, отчего и кажутся сумасшедшими. Они проделали долгий путь и перенесли много страданий. Нет, она не знает, откуда они. Сама она уроженка Ульвенских островов и бывала как на севере, так и на юге, но их язык и повадки ей незнакомы. Люди они мирные, по-своему цивилизованные, и у них есть свои сказания. Она долго слушала одного мужчину, утешавшего других какой-то историей. Ничего, конечно, не поняла, но язык красивый, напевный. Будто листья шелестят на ветру или ручей журчит.

Ты вперил в сказочницу свой темный взор. Я уже знала, какой вопрос вот-вот сорвется у тебя с языка, будто сам одноглазый стоял здесь, положив руку тебе на плечо, и ждал ответа.

«Скажи: не было ли среди них маленького одноглазого человечка по имени Нойед?»

Нет, ответила она, опешив не меньше двух предыдущих. Такого она не видела. Была там хромая женщина, не сказавшая и двух слов, был толстяк с одышкой; все они так или иначе пострадали во время своего путешествия, но одноглазого коротышки не было. Расставшись с

ними, она предложила старейшинам дать путникам отдохнуть и снова отправить их в дорогу с запасом провизии. Те заявили, что сами об этом думали и поступят именно так: им, видно, порядком надоело возиться с этими чужаками.

Рассказы возобновились. Иногда я поглядывала на тебя — и видела одноглазого, сидевшего, обняв колени, у тебя на кушетке; он слушал внимательно, как и мы, повернув голову так, чтобы лучше видеть сказительницу своим единственным глазом. Он не желал оставить меня в покое.

Я упросила сказительницу заночевать в замке, велела принести ей подушки и одеяла. Дождь перестал, и полная луна светила сквозь легкий туман.

Ты встал, потянулся и сказал, что пойдешь прогуляться — не хотим ли и мы пойти?

Сказительница, сославшись на усталость, не захотела, я же была попросту слишком стара, чтобы гулять в ночи по сырой траве. Яхор пытался отговорить тебя, говоря, что сырость вредна для легких и печени, но ты только посмеялся и вышел. Я поднялась к себе и открыла ставни.

Замок плавал в лунном тумане — я не могла различить ни единого деревца. Ну что ж… привезя с собой своего настырного пропавшего друга,

ты, похоже, наконец-то увел его. Не видя тебя, я впервые со дня твоего приезда ощутила покой. О чем ты мог говорить с этим бесенком, преследовавшим тебя как дурной сон? За минувшие годы я заключила, что это была какая-то тайна, лежавшая в основе всего твоего существа, начало и конец, между которыми лежало все, в чем ты отчаялся и на что ты надеялся. Предположив, что у тебя есть такая тайна, я и обрела той ночью покой. Чувствуя, что у тебя она есть, я могла полагать, что и у меня есть нечто похожее.

Наутро сказительница, щедро вознагражденная нами, уехала, а вскоре и ты отправился назад в Колхари. Неужели я просто женщина, думающая, что любовь, даже столь демоническая, как твоя, лежит в основе всего? Но я часто с тех пор спрашивала себя — не решаясь спросить тебя: если бы ты когда-нибудь рассказал свою историю заново, со всеми подробностями, стали бы секреты, которыми ты и твой одноглазый — чудище, бог или призрак — обменивались в ту ночь, ее сердцевиной? Или просто мелькнули бы где-то с краю, как примечание, которое можно и опустить, поскольку вся история есть только пересечение разных крайностей?

Может быть, твоя подлинная история, осво-

бодитель мой, восходящий из низов до самых вершин, попросту продолжается, как все жизненные истории, давая лишь смутные представления о своих фигурах и формах? И ты лишь, на разные лады, повторяешься? Быть может, это мы не можем усмотреть тему в твоих вариациях. Это мы не можем постичь стратегию твоих отклонений — и не есть ли два этих упущения в самом деле одно? Или твоя история нас так поражает, что мы, каждый со своей позиции, просим тебя ее повторить? А ты, пораженный такими просьбами, рассказываешь, как нам представляется каждый раз, какую-то другую историю. Что ж, некоторые истории вовсе нельзя рассказывать в нашей странной и ужасной земле — и повесть о мятежнике, познавшем потери, победы и славу, безусловно из них. Как и повесть о женщине, которая долгие годы давала советы другой, будучи старше и опытнее — речь обо мне и императрице, мудрой и успешной (хотя бы благодаря тебе, Горжик) владычице нашей.

Я, как визириня, и ты, как Освободитель, прожили каждый свою историю, но даже мы в наши варварские времена затрудняемся их рассказать: мы были слишком заняты, проживая их, чтобы озаботиться стройным их изложением. И

никто из нас не додумался нанять лицедея или сказителя, который пересказывал бы их нам и всем остальным, придав им гладкость и единообразие.

Удовольствуемся же неопределенными фразами, положившись на талант и выдумку другого, будущего, рассказчика.

Дождемся ли мы его? Сомневаюсь. Я никогда не услышу свою историю из чужих уст, и ты, полагаю, тоже. Какими бы похвальными ни были наши деяния, ни та, ни другая не будет полезна власть предержащим.

Я всегда старалась брать пример с сильных мужчин и женщин Невериона. Сама я больше не сильная, но это не пугает меня и даже не огорчает. Во мне еще достаточно сил для встречи со смертью, но, уезжая из дома, я всякий раз сомневаюсь, вернусь ли туда. Скоро мой замок опустеет и станет одной из многих развалин, раскиданных по этой, пока еще нашей, стране.

Барабанный бой сначала усыпил Ларлу, потом разбудил. Занавеска свалилась с окна, и солнце падало прямо на визириню. Ее белые косы отливали серебром, складки красного платья походили на кровавые волны. Она спала, уткнувшись головой в угол, приоткрыв увядшие губы.

Точно ли спит? Ну да. Это не просто тряска — она шевелится и бормочет что-то во сне. Ларла поправила занавеску. Визириня хоть и путает одно с другим, но ум у нее ясный (Ларла чувствовала это, как всякая женщина). Жаль только, что Яхор не поехал с ними. Он и сам умен, и визирине умеет потрафить, и может быть веселым попутчиком, когда в настроении — хотя настроение, как шепчутся в замке, бывает у него все реже и реже. Последнее время он все больше молчит и о чем-то думает. Не достать ли что из сумки, время-то к завтраку? Может, чуть погодя. Надо же, и к барабанам привыкнуть можно. Ларла еще раз удостоверилась, что ее хозяйка спокойно спит, и расположилась поудобнее.

9

Горжик проснулся, откашлялся, сплюнул прямо в мех, поднял голову. В верхние окна проникал свет, процеженный сквозь листву. Огонь в очаге погас. Рядом никого не было.

Плечо и нога затекли. Теперь это случалось каждое утро — скоро пройдет. Главное, чтобы мокрота не задушила во сне. Отошел Удрог куда-то или, что вероятней, сбежал? Горжик провел

рукой по груди, по шее, нахмурился, сел. Куда девался ошейник?

На полу валялся погасший факел, сброшенный ночью сверху, но ошейника не было. Горжик приподнял мех там и сям — тоже нет. Варваренок оказался воришкой.

Перекинув одеяло через плечо, он поднялся по лестнице. Доски, загораживающие дверь башни, стояли точно так, как он их оставил. Бросив мех, он осторожно убрал одну и другую. Остальные с грохотом повалились сами. Горжик вошел, огляделся. Шлем, поножи, меч, котомка, голый остов кровати.

Ни варвару, ни ночному лазутчику не пришло в голову подняться сюда — он хорошо выбрал комнату. Притом здесь было прохладно и пахло утренней свежестью. За ставнями шелестели листья.

— Удрог! — трижды крикнул Горжик в лестничный пролет и дважды в окно. В заросшем пруду неподвижно стояла вода. Заржала кобыла, оставленная им на цепи в уцелевшем садовом сарае. Ключ так и лежал на дне котомки, но Удрог и ошейник исчезли.

Горжик сел на край кровати. Птицы щебетали, тени листьев двигались по стене. Посидев немно-

го, он достал из котомки то, что собирался надеть сегодня (мочевой пузырь о себе напомнил). Натянул исподнее, запихнул все остальное обратно в мешок и вышел.

Все еще высматривая мальчишку, он усмехнулся расхождению между действительностью (ясно же, что тот улепетнул) и желанием (может, варваренок найдется, если его поискать?)

Он помочился у гнилой дощатой стенки сарая. В этом году он заметил, что чем сильнее нужда, тем слабее струя. Ни дня теперь не проходит без огорчений. Размышляя об этом, он облачился в доспехи и мантию, опоясался широким кушаком с медальонами. Одеваясь, и то вспотел.

Лошадь дернула шелковистым боком, сгоняя муху, и Горжик вспомнил, как приоткрыл на рассвете глаза, увидел варваренка, стоявшего на коленях спиной к нему, повернулся на другой бок и снова заснул.

Застегивая наплечный ремень, он рассмеялся вслух. Кобыла затопталась на месте. Он думал, что это какое-то давнее воспоминание, а было это нынешним утром! Он видел, как Удрог собирается уходить. Отчего так трудно собрать настоящее в пучок так, чтобы пара нитей не ушла в прошлое?

Пряжка застегнута, теперь лошадь покормить надо — ну, это уж внизу, в городе. Он закинул котомку, ставшую куда легче, на спину кобылы; доспехи тяжелили теперь его бедра. Ничего не поделаешь, всегда приходится рядиться на официальные церемонии вроде рождений и похорон.

Собравшись уже отомкнуть цепь, он выпрямился опять, постоял под деревьями, оглянулся на замок. Ему представилось, как кусты, уже заполонившие двор, подступают все ближе и здание, обросшее ими, становится неотличимым от лесных валунов.

Горжик подкинул ключ вверх, поймал, усмехнулся — хотя ему, по правде сказать, было не до усмешек.

Чтобы история получилась хорошей, надо заимствовать что-то из других — он всегда добавлял в свои какой-нибудь смешной случай и в последние годы, похоже, перегибал. Но то, что мальчишка стащил у него ошейник, не смешило его, а злило.

Горжик так долго противостоял покойному, что после его смерти ему казалось, что он свалил наконец гору, на которую налегал; что после долгого бега по равнине он поднялся на утес и взмыл

в воздух, хлопая крыльями; что он очнулся от злых чар, принесших столько вреда, что ущерб и оценить трудно.

Когда старые понятия уходят, мы шарим вокруг в поисках новых, думал он.

К примеру: что я такое?

И кто такой «я», задающий этот вопрос?

Эти два вопроса норовили слиться в один, но проговорить их значило обнаружить разрыв между ними — между мистическим вопрошающим и историческим вопрошаемым, между непознаваемым, слышащим их, и поддающимся определению задающим. Вывод, к которому в конце концов пришел Горжик, был примитивнее некуда: какое бы то ни было «я» появляется лишь тогда, когда среди разнообразных ответов на разнообразие мира открывается такой вот разрыв.

Но где искать это «я» нынче утром, как поймать его, как удержать? Где искать модель, зеркало, образ вопрошающего, желающего познать самого себя? У покойника, к чьей свите он скоро примкнет? Или у похотливого юнца, сбежавшего ночью? В вечно живой природе или в недолговечных рукотворных изделиях из металла и камня? В собственном теле, которое, хоть и помнит все удовольствия ума, сердца и плоти, с каждым

днем его предает; которое становится все глуше к плотским утехам и все чувствительней к боли; которое, каким бы плохим ни казалось, всегда скрывает, как ему плохо на самом деле?

Дорогу с севера на юг отсюда не видно, и непонятно, когда появится эта процессия. Надо ехать, дождаться ее и занять в ней свое место.

Экая досада, что ошейник пропал! Он всю дорогу думал, не надеть ли его сегодня, как символ прошлого, или будущего, или того, что их разделяет. Белокурый воришка все решил за него. Горжик, скорей всего, ошейник все равно не надел бы, но хотелось бы самому выбрать.

Несмотря на эту досаду, а может быть благодаря ей, все кусты, камни, почва, птицы и насекомые казались невероятно живыми — но видел он их не зачарованным взором юноши, а глазами пожившего человека, осторожно петляющего между болью и удовольствием. Не прошло и получаса, а ему снова нужно отлить! Боль, как и удовольствие, — признак жизни. Скоро и он, в числе других живых, поедет за мертвецом под мерный бой барабанов, и все будут притворяться, что в животе у них не урчит, что на языке не держится вкус утренней айвы с медом, что кишки не пучит от газов, что тень, скользнувшая по голой

ноге, не напоминает о желании самым стойким — такова дань, воздаваемая смерти.

Внизу на склоне виднелись деревенские хижины. Справа от Горжика ветерок шевелил листву, слева носился чибис. На горизонте воздвигся целый облачный город — если прищуриться, не разберешь, из тумана он или из камня. На одной руке лежала теплая ладонь солнца, другую холодила тень, пот под доспехами и парчой просыхал. Стар он уже для таких мальчишек. Скорей бы вернуться к людям. Рука снова потянулась к шее, нащупывая символ минувшего, не нужный, казалось бы, человеку в таких прекрасных доспехах.

Но на шее ничего не было, и Горжик вернулся к лошади.

10

— А я была в замке! — Девочка-свинарка с котом в руках стояла перед ткачихой, сидевшей на корточках у станка. — Ночью, стемнело уже! И котик со мной. Я взяла факел, но он не пригодился — луна светила. Большие мальчики еще зимой оставили в очаге дрова. Тогда поленья были сырые, и огонь не зажегся, а теперь они высохли, и я его зажгла без труда. Я погасила факел

и поднялась на балкон… — Девочка помолчала, почесывая кота за ухом.

Старуха продела челнок со светлой пряжей до половины ряда и взяла другой, темный.

— И никого там не было, даже ночью, ведь так?

— Я играла в знатных дам и господ. Господин Анурон, госпожа Эзулла — они там жили когда-нибудь?

Старуха впервые за утро подняла глаза от станка.

— Нет, наших звали не так. Никого там не было… — Она произнесла это не как вопрос, но нахмурилась. — Раньше, как только работать села, я видела парнишку-варвара с бороденкой — ночевал, видать, в замке. А больше никого. Ты-то его видала? Он уж точно не тот, про кого она говорила вчера, на хорошей лошади и в богатых доспехах.

— Нет, таких я не видела. — Девочка прижала кота к себе. — Там были дамы и господа в красивых нарядах. Они заставляли рабов бороться со свободными, и если раб побеждал, с него снимали ошейник и отдавали ему как приз. Там был праздник, и музыканты, и красивый шатер в саду, и пир с яствами, каких мы и в праздник не

видывали!

Старуха нахмурилась еще пуще.

— Еще чего выдумаешь!

— Потом прилетел дракон, — продолжала девочка, качая кота. — Он ревел там наверху и стучал по колоннам. Я сбросила факел вниз — он все равно не горел, — и все испугались и убежали. Но после я пробралась назад… Не думаю, чтоб там кто-то был.

— Вот и я не думаю. — Старуха снова принялась за работу.

Во двор вошла высокая женщина. Она прислоняла к бедру блюдо с сушеными грушами и абрикосами, держа в другой руке пустую корзинку.

— Ну что, тот всадник уже уехал на похороны? Он должен проехать прямо тут, на большую дорогу иначе не попадешь. Даже ты бы заметила.

— Никого я не видела и не хочу видеть. Говорила же, нет там никого. Вот девчонка там была ночью и тоже никого не видала.

— Ну-ну.

Девочка уделяла все внимание кошачьим ушам, не глядя на женщин. Может, старуха признается хотя бы, что видела варвара? Непохоже что-то.

Кот блаженно мурлыкал.

— Доброе утро. О чем это вы сплетничаете в начале буднего дня? — со смехом спросил мужчина — плотный, не такой высокий, как женщина, и коричневый, как маленькая свинарка. Последние несколько лет он был мужем высокой женщины и приходился сродни всем трем, хотя не все они это знали. Девятилетним мальчиком он больше года прожил в доме старухи (которая тогда еще не была так стара) и даже матерью ее называл, но теперь ни он, ни она об этом не поминали. А в годы своей бурной юности, лет десять назад, он вполне мог стать отцом девочки, но ни она, ни высокая женщина не подозревали об этом. Мать девочки, несчастная глупая женщина, уже умерла, но в годы своей бурной юности провела немало ночей за старухиной хижиной, поэтому у старухи как раз подозрения были. Этот упитанный крепыш всегда предпочитал женщин ростом выше себя, за что другие парни, когда он был моложе и стройней, постоянно его дразнили. Женившись, он, однако, остепенился и стал образцовым тружеником.

— Видел одного авильца на рынке — он говорит, что похоронная процессия дойдет сюда не позже чем через час. Что это у тебя?

— Да, — подхватила высокая женщина, хотя при муже она обычно молчала, — что это за пакость такая?

Кот вырвался, убежал, и всем стало видно, что девочка под ним прятала.

— Не знаю… я это в замке нашла.

— Дай-ка сюда. — Мужчина протянул руку. Сломанный замок лязгнул, железные полукружья распались.

— Видишь, оно сломалось, — сказала девочка.

— Где ты это взяла?

— Говорю же, в замке. Я там играла.

— Ничего такого там нет.

Старуха закончила ряд и подбила основу.

— Оттуда все подчистую вынесли, еще когда я мальчонкой был. Все как есть: сломанные рабские ошейники, диковинные двойные мечи, целые мешки детских мячиков, астролябии с незнакомыми звездами. Мы, взрослые и дети, всё прочесали, от подземелий до башен, крышу и ту осмотрели. Вынесли подальше и выкинули — в замке ты эту штуку найти никак не могла.

— Может, вы проглядели что, а она нашла, — не поднимая глаз от работы, сказала старуха. — С вас бы сталось.

— Нет, — твердо сказал мужчина. — Ничего мы

не проглядели, всё вынесли. Ты, девочка, такие вещи не трогай. Они опасные, еще беду на тебя навлекут.

— Так он же сломанный, — не уступала девочка. — Ни на что не годится.

— Вот-вот. Думаешь, что они ни на что не годные, безобидные, и как раз беду наживешь. — Мужчина размахнулся и зашвырнул ошейник в кусты. Листья зашелестели от налетевшего ветра, девочка вздрогнула.

— Он правду говорит, — сказала высокая женщина. — Это тебе не игрушки, иди-ка и поработай…

Послышался стук копыт, и на тропе показалась статная кобылица в сбруе из плетеной кожи и кованой меди. Всадник был не простой офицер — таких доспехов местные жители еще не видали. За седлом у него висела кожаная котомка, плащ украшала богатая вышивка, из-под шлема виднелось лицо со шрамом. Мужчина и высокая женщина, оторопев, поднесли кулаки ко лбу и попятились — женщине, с блюдом и корзинкой, это было не просто.

Старуха продолжала ткать как ни в чем не бывало.

Девочка, не касаясь лба кулаком — ее этому

не учили, — думала, как бы достать из кустов ошейник, чтоб никто не заметил.

Всадник ехал к Королевской дороге — эта тропка соединялась с ней через три четверти мили.

— Ну что, видали? Говорила я вам! — прошипела высокая женщина, пользуясь тем, что муж ее побежал вслед за всадником.

— Что видали-то? — спросила старуха.

— Да ладно тебе! — Женщина от возмущения чуть не рассыпала свои сушеные фрукты, но тут же и засмеялась, поняв, что старая шутит. — Это тот самый, про кого я вам говорила. Который был в замке. А теперь он едет на похороны, как я и сказала.

— Слышите, барабаны… — крикнул издали ее муж, но барабаны пока что били только в его воображении.

Челнок, мелькая между нитями, закончил еще один пестрый ряд.

— Ну что ж, — с удовлетворенной улыбкой сказала ткачиха, взяв бёрдо, — теперь в замке никого нет.

Повесть о сплетне и желании

...отражение – это структура и процесс операции, которая помимо воспроизводства зеркалом какого-либо объекта позволяет зеркалу отражаться в себе самом. Это минимальное определение не только вызывает формальные проблемы, но и вряд ли может объяснить различные теории отражения в истории философии, хотя они и разделяют общую оптическую метафору, доминирующую в концепции отражения.

Родольф Гаше Амальгама зеркала

«Повесть о сплетне и желании» в неверионской серии хронологически следует за «Неверионой, или Повестью о знаках и городах», предшествуя «Повести о тумане и граните». Заинтересованным читателям рекомендуем заглянуть в предисловие к первому тому.

0.1 трупы на столах пересыпаны листьями красный свет лампы в руке вошедшего упал на лицо служителя.

— С вами ваш друг, господин?

лужица света между потолочными стропилами. Мужчина кивнул и прошел вперед лужица переместилась.

0.2 на Мосту Утраченных Желаний он

0.3 высокие шесты по обе стороны от двери таверны красные с синим тенты террасы у пруда под желтеющим облаком

1. Он был добродушней большинства тех, кто идет той же дорогой — предсказуемой в целом, хоть и с причудливыми поворотами.

Жизнь его не была счастливой.

Детство Клодон провел в деревне, изрезанной уходящими в пустыню оврагами, и почти всегда голодал. Он часто говорил (привирая), что самым счастливым его днем, три года спустя после смерти матери (ему тогда оставался месяц до шестнадцати лет), стал тот, когда он украл жареную козлятину — и бочонок рома, и кожаный кошель с девятью железными монетами, — со двора сборщика налогов, только что назначенного императорским таможенником. Его и трех его дружков поймали в оазисе под чахлыми пальмами, когда первые звезды проткнули небо, как ножи синюю ткань — к тому времени они упи-

лись до рвоты. А монеты остались в целости: где он их мог потратить в деревне, не выдав себя?

Пристав, его родич, привязал Клодона за руки к железному кольцу в углу житницы, и он стоял там — а порой и висел — три дня и три ночи. На четвертое утро пристав вернулся и, на глазах у кучки пришедшей поглазеть ребятни, отмерил ему шесть кнутов. Рубцы вздулись на спине и боках, как ужи. Отвязанный Клодон упал на закапанный кровью земляной пол, стиснув зубы от боли, ярости и полной потери сил. Мальчишки убежали, только две сопливые девчонки издали таращились на него.

На следующей неделе он то и дело принимался плакать, когда кто-то из мальчишек пялился на него. Больше всего его задевало то, что наказали его одного, а трех других отпустили; старейшины, не слушая его оправданий, чуть ли не вопреки деревенским обычаям припомнили ему все, что он творил раньше. Припомнили, что он много раз брал почитай что силой полоумную девку с заячьей губой, жившую на околице с теткой — эта потаскушка как раз родила то ли от него, то ли от кого-то еще, — и приписали ему с десяток краж, в одной из которых он точно был не повинен. Ее совершил Имрог, кузнечный подмастерье,

и промолчал, когда все в деревне подумали на Клодона. А он-то думал, что никто про его прегрешения знать не знает.

Он хвастал перед друзьями, что скоро сбежит в стольный город Колхари, где много приключений и всяких-разных чудес. Друзья находили, что это хорошая мысль, но с ним идти никто не хотел. В ту ночь Клодон вылез из-под соломы и старой кожи, где спал, посмотрел на месяц, блуждающий в облаках и листве, и отправился в путь — но сначала завернул к дому пристава, швырнул поленом в стену и был таков.

«Ну и дурак, — думал он на ходу. — Он же сразу поймет, что это я был, поймет, что я ушел».

Несколько часов спустя Клодон сидел у дороги. Небо между деревьями наливалось дымчатой медью. Ему хотелось плакать, но он стиснул зубы и сдержал слезы.

Через неделю он пришел в Колхари. Город не полюбился ему.

Заметим себе, вставил бы тут придирчивый наблюдатель: парень то и дело попадал в какие-то мелкие передряги — то удирал от сердитого возницы, с чьей телеги стащил капустный кочан, то дрался с другим юнцом из-за плода, упавшего с рыночного лотка, — но влипнуть в большую

беду ему было бы затруднительно. Столичные приставы и стражники были слишком заняты серьезными преступлениями, порожденными голодом, хитроумием и гневом против порядков, где у одних есть все, а у других ничего. Им было не до мелких воришек.

Клодон начинал тосковать по дому, где на него обращали куда больше внимания, когда он валялся пьяный на улице, орал ночью песни и кидался черепками в соседские ставни.

Более сострадательный наблюдатель, пожалуй, не противоречил бы нам и рассказал его историю точно так же.

Через три месяца Клодон уехал с рыночным возницей в другую деревню. Жизнь там была проще, люди доверчивей, чем в столице, — они не так тряслись над своим добром и порой оставляли его без присмотра, а двери часто не запирались. Впрочем, и там он долго не задержался.

Надо сказать, что со временем Клодон убедил себя, будто прожил в Колхари не три месяца, а целый год. Порой, рассказывая байки деревенскому простаку или городскому пьянице, он говорил даже о проведенных в столице «годах» своей молодости.

Со времени его бегства в Колхари прошло уже

больше двадцати лет. Последние пять недель Клодон жил в деревне под названием Нарнис, за пятьдесят миль от той, где родился. В западной ее стороне рос сосновый бор, горная тропа приводила через час к водопаду.

Прежний стройный юноша отяжелел и страдал постоянной жаждой и несварением.

2. Клодону снились шесты, пруд, мост… еще что-то… черное щупальце преобразилось в фитилек лампы. Он повернулся на бок, к плечу пристала солома. В шалаше жужжали мухи. Он попытался разглядеть… и открыл глаза. Солнечные лучи, как ножи, протыкали крышу.

3. Одуревший со сна Клодон не сразу сообразил, где он. Во сне не было голосов, красок, лиц, действий — ничего такого, что можно вытащить из черной реки сновидений на дневной свете, улыбнуться их нелепости, подивиться их красоте, понять, что из этого было навеяно прошлым опытом, а что — надеждой на будущее, между тем как все забывается с каждым мгновением. Этот сон был серой, туманной накипью воспоминания и фантазии на грани сознания, не желающей переходить в явь. Клодон не сразу сообразил, что колючая солома, лучи и запах нагретого трост-

ника — это действительность, а не осадок сна. Сходным образом он по утрам то и дело путал деревню, где пробыл всего пять недель, с родной, где прожил шестнадцать лет; не будь одна на краю пустыни, а другая в горах, их бы и вовсе не отличить. Те же крытые шкурами и тростником хижины, те же каменные дома у дороги (один из них тоже принадлежал таможеннику). Вслед за банальнейшим вопросом «Где это я?» приходило сознание, что он не в родной деревне, но Клодон не сразу вспоминал, почему это так.

4. — Эй! — Что-то пощекотало Клодону бок. — Просыпайся, старый разбойник!

— Чего… Кто тут… — Клодон выпустил скопившиеся в животе газы. — Здорово, Фуниг.

— Эй! — засмеялся Фуниг и кинул в стенку еще пригоршню гальки. — Не хочешь поработать сегодня?

Клодон сел, потирая лоб.

— Работать не хочу, а заработать бы не мешало. — Он почесал бок со знакомыми рубцами. Одного пальца недоставало — он потерял его десять лет назад, работая камнеломом. — Опять, что ли, Терену канавы копать? И он десятником меня сделает? — Клодон вылез из шалаша, щурясь на свет. — Опять я перепил вчера, да? Вроде бы нет…

а жаль. Лучше уж проснуться с похмелья, чем после дурного сна. С похмелья тебе хоть и худо, а голова ничего, работает.

— Когда ты напился в последний раз, то два дня провалялся в собственной моче и блевотине. Свинья ты, старик.

— На себя посмотри, — плюнул Клодон.

Фуниг был кособокий, один глаз у него не глядел, и рука с той стороны плохо действовала. Он не знал точно, сколько ему — девятнадцать, двадцать или двадцать один.

— Если опять напьешься, я тебя, вонючего, будить не приду. Я, к примеру, не выхожу из дому, пока не просплюсь как следует.

— Честный труженик вправе встать после честной выпивки. Для Нарниса это не менее верно, чем для любой другой деревушки. — Клодон отошел отлить к дубу. — Когда это я так разжирел, Клодон? Раньше был такой же тощий, как ты.

— Да что в тебе честного-то, старый ворюга?

Струя Клодона ударила в ствол, стекла наземь, растеклась на мелкие ручейки. Он снова почесал бок. На старые рубцы от порки в шестнадцать наложились новые лет восемь назад, когда его взяли близ Сарнесса за разбой. Вполне могли и к смерти приговорить: он, промышляя на просел-

ках с ножами, дубинками и мечами под кожаным верхом повозки, убил нескольких мужчин и не меньше трех женщин. Но судьи в Сарнессе были ничуть не умней старейшин родной деревни. Его, как и тогда, взяли пьяным — он слова не мог вымолвить и плохо понимал, что творится вокруг, — но на этот раз судьи решили, что он совершил не больше, а меньше того, в чем его обвиняли. Поэтому он отделался только кнутом и теперь носил на себе дюжину рубцов. К ним добавилось с полдюжины других шрамов, о которых он даже не вспоминал — один на нижней губе, один через бровь.

Пять недель назад он пришел в эту горную деревушку, высматривая местного изгоя или дурака, с кем мог подружиться, и в первый же день встретил Фунига. Выпивая с ним при луне у мусорной кучи, Клодон поведал ему о своих несчастьях и предостерег от преступной стези: не то, мол, и тебя вот так разукрасят.

Разве может человек, дающий такие советы, быть отъявленным злодеем?

Сам Терен, когда они утром пришли к нему наниматься, поскреб бороду и сказал:

— Рубцы означают лишь то, что ты полностью расплатился за содеянное. Трудись, Клодон, и

никто слова не скажет против тебя.

Клодон уже слышал такие слова и цену им знал, а вот парень проникся. Он успел приобрести в своей деревне прочную репутацию пьяницы и бездельника, но кнута пока что не нюхал. Клодон быстро провернул вместе с ним то небольшое количество краж, которое в Нарнисе могло сойти незамеченным. Половину из них Фуниг мог бы и сам совершить, проделывая это чуть реже, но другая половина заставила его ахать и дивиться собственной лихости. Ему стоило труда не похвастаться этим перед односельчанами.

— О таких делах лучше не вспоминать, Фуниг, — наставлял его Клодон. — Ты забыл — значит, все забыли.

Да что толку. У парня накопилось слишком много обид, и он не желал держать язык за зубами. Клодон понимал, что его сообщник годится разве что в попрошайки — но Фуниг, услышав, как повезло Клодону в Сарнессе, помнил только те рубцы, которые тот получил за разбой. И странное дело: сам Клодон, показывая их спьяну такому же пьяному дураку, больше негодовал на то, что над ним учинили в юности, чем на вторую расправу. Что до других метин — наплевать и забыть.

Пора, пожалуй, уходить из этой дыры и возвращаться к более доходной, хотя и опасной, жизни.

— Пошли, пошли, — настаивал Фуниг. — Терен вечером сказал у таверны, что возьмет столько людей, сколько с утра будут трезвые. Давай скорей. Он сказал, что уйдет рано и ждать никого не будет.

— Стало быть, ушел уже? Чего ж ты тогда меня разбудил?

— Да нет же, он еще на дворе…

— Ну придем мы туда, а он скажет: «Зачем ты, Фуниг, с Клодоном водишься? Ты хоть и дурак, да честный, а он дурной человек и доведет тебя до беды. Все здесь только и ждут, когда он уйдет».

Терен, вслед за сентенцией о расплате за содеянное, произнес и это, когда Клодон с Фунигом явились пьяные, на час опоздав с обеда.

— А я скажу ему: с кем хочу, с тем и дружу!

Они зашагали по истоптанной траве мимо трех заброшенных хижин, куда натащили столько хлама, что для ночлега места уже не осталось.

— Так и скажу! — Голова у кособокого Фунига при ходьбе моталась туда-сюда. За деревянным забором начинались обитаемые дома. — Вот увидишь. Я и раньше ему говорил. Да, у него есть деньги, и он строит себе новый каменный дом…

— Не он, а мы ему строим!

— …но не его дело говорить мне, с кем дружить, а с кем нет. Нашел себе честного дурака! Мы могли бы кое-что ему рассказать насчет этого, правда?

— Не рассказал ли уже, случаем? Ты и верно дурак, что со мной водишься, знаешь?

— Думаешь, ты первый мне говоришь это? Ну, пусть дурак.

— Есть хочу. Сорви-ка мне яблочко — ты длинный, достанешь.

Фуниг подпрыгнул, запустил руку в листья на низкой ветке и сорвал красный с зеленым плод.

— Держи, старый свин.

— А то не дурак. Как бы ты жил, если б тебе не говорили, что надо делать?

— Да так и жил бы. — Фуниг хотел снова подпрыгнуть, но передумал и с жадностью уставился на яблоко в руке Клодона. Тот смачно надкусил, и они двинулись дальше.

— Если Терен уже ушел, может, Яра даст нам поесть. — Яра, сестра Фунига, толстая и вечно надутая, работала в таверне.

— То есть ты знал, что зря меня будишь? Если не получим сегодня работу, я тебе кнута всыплю! — Клодон хотел дать Фунигу подзатыльник,

но тот увернулся.

— Ну, еду-то мы всяко добудем.

— Ты, может, и да, а меня Яра кормить не станет. — На первых порах она выносила им кое-что в заднюю дверь, но потом стала заявлять, что у нее ничего не осталось.

— Значит, поделимся. Она мне не указ, с кем делиться.

— Тот тебе не указ, эта не указ. В том-то и беда, что указ.

Это было для Фунига слишком сложно, и он промолчал.

— Знаешь, вчера в таверне, когда ты ушел… — Клодон, собственно, повздорил с хозяином, Кратором, и тот его выставил, отчего он и лег спать трезвым. Не повезло ему: Терен вчера вечером, не спеша возвращаться в свою старую хижину, щедро поил пивом своих рабочих. — Был там один человек из Миногры, с женщиной. Она раньше у лицедеев играла, а теперь уже нет…

— Миногра, говоришь? — Клодон побывал в этой деревне до прихода в Нарнис и даже вспоминать о ней не хотел, как о многом и многом в своей жизни. Легче было вспоминать о несправедливости, постигшей его двадцать два года назад, чем о том, что случилось в Миногре.

— Он, — продолжал Фуниг, — говорил про этого Горжика, который освобождает всех неверионских рабов…

— Что говорил-то?

— Да что всегда говорят. То он будто бы разгромил рабские загоны на востоке, то его видели на западе с отрядом освобожденных сподвижников. Димит сказал, что он великий человек, а Пирин — что он с-смутьян и его надо в т-т-тюрьму посадить. — Фунигу выпала удача: мало над кем из односельчан он мог посмеяться. — А, вот еще: Горжику, мол, помогает варвар, и они вместе освобождают рабов.

— Варвары — ленивые, грязные скоты. Хорошо, что у нас тут их нет — хотя в Колхари я знавал кой-кого из них, попадались и приличные люди. Они-то и есть рабы, во всяком разе на юге. Но у нас и рабов нет, хвала безымянным богам, так что освободители нам ни к чему. Мало ли что болтают в таверне.

— Угу. Будь они у нас, я бы точно в рабство попал. Знаешь, что я еще слыхал?

Клодон отгрыз еще кусок яблока.

— Что?

— Говорят, он сам носит рабский ошейник, хотя давно уж не раб. И не снимет его, пока свою

задачу не выполнит.

— Не снимет, говоришь? — засмеялся Клодон. — Ну да, я и таких встречал в городе. Может, среди них и освободители попадаются, хотя и сомнительно.

— Это ты про кого?

— Чтоб понять, надо год прожить в большом городе. Тут таких нет — а если и есть, то их не видать.

— Каких это?

— Есть в Колхари такой мост, и там… нет, не понять тебе. Твое счастье, Фуниг, что ты дурак.

— Он смелый, этот Горжик. Большой человек. Все про него говорят. Если кто в таверне рассказывает о нем, все слушают. Даже в Нарнисе. Может, и выдумывают что, вот хоть про варвара этого. Что они освобождают рабов, наказывают рабовладельцев, делают что хотят. Все равно как городские грабители или разбойники на большой дороге. Только в городе особо не дадут гадить — придут и велят убрать за собой. Хорошая жизнь, как по-твоему?

— Дурь ты городишь, как и всегда.

— Почему? Мы могли бы уйти из Нарниса и промышлять на дороге, как ты в свое время.

— Я делал это в свое время и опять буду, толь-

ко не с таким дураком, как ты. Выбрось это из головы, парень — я о тебе же забочусь. Ты там и месяца не протянешь: для такой жизни мозги нужны, а с ними-то у тебя и нехватка. — Клодон доел яблоко и зажал в кулаке огрызок. — Таким, как ты, лучше честно жить — да и мне тоже, хотя бы на время. Ну, где они, люди Терена? Мы покажем им, как надо копать!

Но Кратор во дворе таверны сказал им, что артель ушла час назад. И выплеснул помои так, чтоб попало им на ноги.

— Идите на стройку сами, — сказал он. — Небось знаете, где это.

— Так ушли, говоришь? — в третий раз переспросил Фуниг. А Клодон обозвал дурака разными словами за то, что зря его разбудил.

— Если пойдете, он, может, вас и возьмет, — сказал Кратор. — А может, скажет: раз вы так любите дрыхнуть допоздна, то и без еды обойдетесь, а значит, и деньги вам ни к чему. — Он ушел за кожаную завесу и крикнул оттуда: — А к Яре, Фуниг, не ходи больше, у нее и без тебя дел полно.

— Фуниг, — сказал Клодон, — на кой ты меня сюда притащил? Что у тебя за башка такая? Знал ведь, что поздно уже!

— Ну, раз он нас не дождался, займемся чем-то

другим, правда ведь? — отвечал тот.

— Ох и дурак же ты, Фуниг!

— Шли бы вы отсюда, — крикнул изнутри Кратор.

Тут-то Клодон и увидел ту лицедейку.

Она подошла к окну. Кожа как темная груша, радужки черные как ночь, белки как два миндальных ядрышка. Женщина улыбалась, радуясь хорошему утру и забавной перебранке между мужчинами, а ставни она откинула с грацией качнувшейся ветки. Облокотившись на подоконник, она смотрела прямо на Клодона. Ногти у нее были чистые и ухоженные. Когда и он уставился на нее, ее улыбка перешла в смех; он онемел, сам расплылся в улыбке и осторожно кивнул. Пусть он толстый, грязный, облитый помоями, с огрызком яблока в кулаке, но она ведь на него смотрит?

5. Шестнадцатилетний Клодон в Колхари выживал как мог: болтался по рынку и по мосту, спал под лестницами, выискивал местные праздники, где можно было поесть и выпить задаром. Ходил по городу, настороженный и попросту одуревший — стройный парень, исполосованный кнутом провинциального пристава.

Очень скоро он узнал, как можно заработать

на Мосту Утраченных Желаний, — но делать с мужчинами то же самое, к чему они с друзьями принуждали самых слабых и трусливых ребят, казалось ему позорным, и на мосту он пока не стоял. Милостыню ему тоже просить не хотелось, но врал он, выпрашивая монетку или еду у прохожих, без зазрения совести.

Однажды его сверстник, варвар, живший на улице, как и он, сказал ему:

— Ступай в переулок, что за рынком. Там, у второго по счету амбара, всегда стоит один торговец зерном. Он ищет контрабандистов возить его товары на юг. Могу поспорить, что тебя он возьмет.

— А сам чего ж не идешь?

Варвар, ухмыляясь щербатым ртом, запустил руку в рыжие волосы.

— Цвет у меня не тот. Ему нужны возницы приличного вида. Тебя он возьмет, если помоешься и рубаху наденешь.

Клодон, не сделав ни того ни другого, пошел взглянуть на торговца. Тот в самом деле стоял у второго амбара и говорил с писцом, весь в коже и тканях — под седеющими волосами у него на лбу проступал пот. Писец ушел, а Клодон все медлил на углу, думая, с чего бы начать. Наконец он подошел, встал перед купцом и сказал:

— Ты ищешь людей, чтоб возить грузы на юг? Я это могу и против запретных товаров тоже ничего не имею.

Купец, оторопев, смотрел на него, молчание затягивалось. Клодона подмывало выругаться, плюнуть и уйти. Может, это не тот купец? Но тоже как-то неловко.

— Ты мне не подойдешь, — сказал наконец торговец.

— Почему? — На ляжке у Клодона выступила какая-то сыпь, но видно ее было только вблизи и на солнце. — Я умею с мулами обходиться. С волами тоже. — В этот раз он говорил правду.

— Вот из-за этого. — Купец показал на его бок. — Ты уже влип во что-то в той дыре, откуда ты родом. Знаю-знаю, можешь не говорить: с тобой поступили несправедливо. Твоих оправданий никто не слушал, потому как судьи затаили на тебя злобу еще за год до того, как поймали, — вот и влепили тебе кнута. Поэтому ты пришел в Колхари, где честный человек может найти свое счастье. Я все это уже слыхал, но для такой работы ты не годишься. Не могу я взять парня с разукрашенной спиной, которая так в глаза и бросается.

Клодон вспомнил совет варвара насчет рубахи.

— Не будь этого, ты б подошел, — продолжал

купец, — с виду ты простой деревенский паренек. Может, через полгода, коли надо будет законное что возить, я и найму тебя. Все, недосуг мне. — За углом ошивались двое туповатых парней, дожидаясь, когда Клодон уйдет.

— Что ж, ладно. — И Клодон, даже не ругнувшись ни разу, вернулся на мост.

Он сидел на перилах, упершись пятками в камень, а локтями в колени. Мимо шли женщины, носильщики с корзинами, прикрепленными лямкой ко лбу, мальчишка тащил волокушу с музыкальными инструментами. Клодон понял теперь, что из-за рубцов кажется всем рабом — или варваром.

Тут как раз, попивая пиво из меха, подошел тот варвар, что сказал ему про купца.

Клодон отвернулся, удерживаясь от просьбы дать глотнуть и ему.

— Ты что-то угрюм, — сказал ему какой-то мужчина.

— С чего бы? — огрызнулся Клодон.

На незнакомце была бурая туника и пояс с железной пряжкой — состоятельный, видать, человек.

— Тебе лучше знать. Что ты делаешь на мосту? — И сандалии, и браслет на руке.

— Заработать хочу. — «Может, удастся стащить у него кошелек, — думал Клодон, — до того, как они начнут, а если не выйдет, то после».

— Думаю, тебе это будет нетрудно, если ты не слишком разборчив.

Клодон как раз был разборчив, но спросил, не хочет ли незнакомец пойти позабавиться.

— Не сейчас. Может, другим разом.

— Все так говорят, — буркнул Клодон.

— Я только поговорить хочу, — засмеялся мужчина. — Тут есть таверна — если будешь со мной, твои рубцы нареканий не вызовут. — Клодон не знал, что на это сказать, но дядька был вроде не злой. — Посидим, выпьем.

— И поедим?

— И поедим, если ты голодный.

— Но миловаться не будем?

— Я же сказал, что нет. Я уже побыл с мужчиной на прошлой неделе и снова побуду дня через три — юнцы мне, как правило, ни к чему. Ты задаешь слишком много вопросов для мальчишки с моста — договоримся сразу, что спрашивать буду я. Так как, пойдем?

— Ясное дело, если только поговорить.

Клодон уже знал, что пойти куда-то с новым знакомым значит открыть для себя новые улицы,

новые кварталы — целые скрытые в Колхари города. После прогулок с варваром он думал, что они и теперь придут в какую-нибудь грязную харчевню, где подают приправленную корицей похлебку или горячую колбасу, — но они шли по богатой улице, где ездили кареты и стояли дома с садами. Незнакомец привел его к зданию с резными шестами у входа; в прихожей висели красные с синим ковры. Человек, одетый как вельможа, но вроде бы подавальщик, проводил их в зал с колоннами, где среди белого дня горели лампы на столиках, а за столиками сидело много мужчин и несколько женщин. Дальше была терраса, тоже со столиками и растениями в кадках, а за ней пруд с фонтанами и выступающими из воды изваяниями разных зверей. Подавальщик, выслушав незнакомца, кивнул и задернул зеленовато-синюю занавеску на кольцах, отгородив пришедших от всех остальных. Теперь Клодон видел только желтые облака и их отражения в пенной воде. Другой прислужник принес кувшин пива, третий — сидр; следом явились колбасы, фрукты и хлеб; спутник Клодона объяснил, что все это подается вместе с напитками, а обещанная еда еще впереди.

Сидр Клодону не пришелся по вкусу — пиво

дело иное. Держа в одной руке кусок хлеба с колбасой, в другой кружку, он спросил с набитым ртом:

— Занавеска-то… это чтоб моих рубцов никто не видал? — Клодон упомянул о них впервые за прошедший после наказания месяц.

Незнакомец поднял кружку и вскинул бровь.

— Опять вопросы… ну что ж. Подумай сам: ты приходишь сюда в обрывке кожи на чреслах и со знаками, обличающими тебя как деревенского вора. Здешние клиенты носят все больше туники и тоги. Ты, видно, не понял пока почему, но если бы по прихоти некоего безымянного бога мы все оказались голыми, ты удивился бы метинам на наших телах. И ты, думаю, уже знаешь, что самых больших злодеев можно опознать как раз по отсутствию таких метин.

Клодон ухмыльнулся, представив, что все эти люди за столиками прячут под одеждой такие же, как у него, рубцы.

— Это, конечно, шутка, — Клодону стало приятно, что незнакомец с ним шутит, — но доля правды в ней есть. Ты пей, а есть будешь после, иначе не распробуешь как следует пиво. Пора уже это знать. И рассказывай, как получил это свое украшение.

На второй кружке Клодон рассказал про козлятину и про ром (умолчав о деньгах, поскольку все еще имел виды на кошелек незнакомца), про девку с заячьей губой, про родича-пристава и глазевшую на них ребятню. Есть ему почему-то расхотелось, и когда незнакомец расплачивался за три неспешных кувшина, Клодон, зевая и потягиваясь, не напомнил ему про еду. Засмотревшись на красные закатные облака и синеву восточного неба, он так и не понял, где незнакомец прячет свой кошелек. Увидел только, как последняя монетка переходит из его руки в руку прислужника, но не разглядел, золотая она или железная.

— Хочешь, пойдем ко мне? — Зал со столиками почти опустел. — Летом солнце подолгу задерживается на небе и дурачит нас. Скоро уже стемнеет. У меня спать удобней, чем под мостом.

— Если хочешь чего-то такого, — Клодон пытался говорить воинственно, но, к досаде своей, никакой воинственности в себе не находил, — то дай мне денег. Я не из тех, кого можно иметь за еду и питье. Мне это дело не нравится, так что…

— Тогда постараемся заняться тем, что тебе по душе. — Незнакомец положил руку ему на плечо и вывел наружу, заглушая смехом громкие

речи Клодона. — Я живу в родительском доме, с матерью, сестрой и отцом. Есть еще слуги и стража. Если б я хотел сделать «что-то такое», не приглашал бы тебя к себе. Утром, когда будешь уходить, могу дать тебе пару монет, а то и больше. Хочешь ночевать под мостом — дело твое, — («Ты, я погляжу, тоже сильно подвыпил», — подумал Клодон), — но если тебе улыбается поспать на мягкой постели, притом одному, то идем. И помни, что ничего мне не должен.

Небо между их выходом из таверны и нестойким шествием по улице и впрямь налилось темнотой.

— А выпить у тебя дома найдется? — Клодону было хорошо, и он хотел продлить это блаженное состояние.

— Уж получше, чем там, — кивнул через плечо его спутник.

— Тогда пошли. — Клодон зашагал вдоль по улице, но спутник, смеясь, показал в другую сторону.

— Нам туда.

Переход от моста к той таверне стал для Клодона прыжком в роскошную жизнь, о которой он только догадывался. Он думал, что переход к дому этого человека будет таким же прыжком, но

скоро засомневался. Ему, то ли из-за выпитого, то ли впотьмах, казалось, что улицы и дома стали беднее прежних. Дом, на который наконец указал провожатый, был вылитый амбар, у которого Клодон говорил сегодня с купцом, только стены из желтого камня вечером стали голубовато-серыми.

— Внизу наше заведение, — объяснил провожатый, — а живем мы наверху. Это черный ход — я всегда им пользуюсь, тебя это задевать не должно. — Он отвел кожаную завесу, и Клодон вошел вслед за ним в деревянную прихожую с пятью лампами на полке — две из них горели, три нет. — Не сказать, чтоб у нас все было по моде, зато просторно. Мать все очень удобно устроила. — Клодон попятился, увидев на стене в красном свете ламп три черепа в глиняной рамке, а незнакомец вынул из стены доску и взял одну лампу. — Теперь вниз, тут шесть ступенек. — Клодон не знал, идти за ним или бежать, пока можно. — Идем же. Ты что, боишься?

— Что это за место такое? — Клодон шагнул в темноту и чуть не упал.

— Осторожно! Это наше похоронное заведение. Моя семья владела им, когда я еще не родился.

— Значит, тут мертвецы? — Клодон ухватился

за плечо идущего впереди владельца покойницкой; тот шагнул вниз, Клодону тоже пришлось.

— И мы благодаря им неплохо живем.

В подвале гуляло эхо. Не видя впереди ничего, кроме огонька в руке хозяина и его освещенного уха, Клодон посмотрел вверх. Стропила лежали не вкривь и вкось, как в рыночных складах, а пересекались через равные промежутки, заполненные расписной плиткой.

— Я то и дело грожусь отцу, что займусь торговлей или недвижимостью, но годы идут, а я все утешаю скорбящих вдов да заплаканных дядюшек. Не будь это так выгодно, давно бы ушел.

Запах, который Клодон учуял еще в прихожей, разгонял опьянение. Удушливый, густой, сладкий запах, будто кто-то раздавил и разложил толстым слоем кучу цветов и фруктов. К нему примешивался другой, уксусно-резкий.

Недалеко от них на треноге плясал голубой огонь, вдали виднелся такой же. Вокруг виднелось что-то вроде столов.

— Так они тут? Мертвецы? — спросил Клодон.

— Есть мертвецы, есть и вполне живые.

Подступившая справа тень превратилась в служителя — плечистого, с грубо вытесанным лицом.

— А, это вы, господин. Хорошо. И друга с собой привели?

— Да. Мы поднимемся наверх поздороваться с матушкой.

Пятнышко света на стропилах перемещалось за ними.

— Я сейчас. Подержи-ка.

Глиняная лампа грела руку в прохладном — но не холодном — мраке.

Хозяин сгреб со стола груду листьев и ягод, приподнял ткань.

Зная уже, что это за место, Клодон все равно подумал, что женщина с красиво уложенными волосами, с ожерельем на шее, просто спит, — но в следующий миг чуть не уронил лампу. Красное пламя заколебалось, и он напомнил себе, что губы у женщины не шевелятся, глаза под веками не движутся и плоские груди не вздымаются от дыхания — это лампа дрожит у него в руке.

Хозяин забрал у него лампу и сказал в темноту:

— Да, теперь вид у нее куда лучше. Так и оставим.

Они перешли к другому столу, и Клодон подумал: «Да это не человек, уж очень огромен…» Но под тканью открылось черное раздувшееся лицо и железный обруч на лбу, объемистая грудь,

бочкообразный живот.

— А с этим ничего уже не поделаешь. Смотри, чтоб к восходу его тут не было! С толстяками даже наше искусство не помогает. Мы избавляемся от них как можно скорее.

Запах, эхо и хмель кружили голову — теперь Клодону чудилось движение на каждом столе.

— Сюда. — Хозяин снова взял его за плечо. — Нет, теперь наверх. Просто удивительно, как разрослось наше дело при моей жизни. Отец в твоем возрасте был подмастерьем у бальзамировщика, который занимался только знатными господами. Когда мастер умер, он подумал, что на этом его карьере конец. Всех прочих городских покойников сразу свозили на поле за Рыбачьей и там закапывали. Но богатые купцы из Саллезе тоже понемногу начали пользоваться услугами человека, прошедшего обучение при дворе. — Листья шуршали под босыми ногами Клодона и хрустели под сандалиями хозяина. — Теперь даже варвары зовут нас выпотрошить покойника, положить в него соли и дубильную золу, осыпать ароматическими травами.

Запах вызывал тошноту. Вот еще один на столе, тоже здоровенный. Что это с ним рядом, никак оружие? Служитель вынул пару досок из

дверного проема. На вершине темной лестницы брезжил свет.

— Ступай вперед. Без этих ароматов тебе сразу полегчает, к ним надо привыкнуть.

Клодон стал подниматься, держась за стену.

— Видишь, сколько народу нас охраняет, — говорил позади хозяин, — и живые, и мертвые. Все справляются на славу, если кто задумает что дурное.

— Я ничего такого не думал! — заверил Клодон, оглянувшись назад.

— Знаю, что не думал, — скроил гримасу хозяин.

«С кошельком лучше погодить, пока не очухаюсь», — мелькнуло в голове Клодона.

Сквозь занавес из кожаных полосок с разноцветными бусинами они прошли в верхнюю комнату. Здесь было намного свежее, хотя отголоски обоих запахов, сладкого и уксусного, долетали и сюда.

— Сколько ж у тебя там покойников? — Комната походила на ту, которую Клодон видел сквозь ставни в доме сборщика налогов: сундук, стол и стулья, статуи на постаментах в углах. Что-то чудно́е на стенах, лепнина над полукруглой дверью и на потолке, пол из красных плиток, на нем

ковры. И дюжина желтых огоньков в чашах, не считая висящей в середке лампы.

— Как раз столько, чтоб никто не захотел их тревожить.

Столов-то никак не меньше десятка?

Хозяин поставил свою лампу на лакированную полку и направил Клодона к другой двери.

За ней… светила луна! И крыши над головой не было. По обе стороны мощеной дорожки росли кусты — выходит, из подвала они снова вышли на землю? Или это висячий садик на крыше?

Здесь и пруд был — меньше, чем в таверне, но был. Луна освещала его восточную половину.

— Знаешь, — продолжал хозяин, — в давние времена, когда в городе только и было, что рынок, замок да горстка рыбачьих хижин, знать хоронила своих покойников в подземном Чертоге Смерти. Находился он в самом сердце теперешнего Колхари, и поверх него много чего настроили. Но ходит слух, что недавно его откопали и пользуются им в весьма странных целях. Говорят, там сверху теперь таверна. Мне, учитывая мое ремесло, полагалось бы пойти посмотреть, хотя бы из любопытства, но я ни разу там не был. Как будто это не в моем городе. Я здесь родился и вырос, но не видел многого из того, на что ходят поглазеть

все приезжие. Забавно, правда?

Клодон снова замер: из-под сводчатой галереи, окружающей сад, вышла закутанная в покрывало фигура.

— Матушка? Ты еще не спишь? — окликнул хозяин.

— Хотела тебя дождаться — да ты, смотрю, не один? — Клодон уловил неодобрительные нотки в голосе пожилой женщины. — Тогда пожелаю вам доброй ночи.

Подвальные миазмы, при всей своей мерзости, немного протрезвили Клодона.

— Ну что ж. За этот день мы сполна насладились беседой. — Мужчина говорил теперь приветливее, чем раньше. — Я получил представление о том, каков ты теперь, каким был в детстве, каким мужчиной ты станешь. — Обойдя пруд, они подошли к еще одной двери. — Вот мои комнаты. Сегодня ты чуть ли не первым делом сказал, что не прочь заработать, и я хочу кое-что тебе предложить.

6. Отголоски этого юношеского приключения вошли в недавний сон Клодона, но вряд ли он мог его запомнить в таких подробностях. Скажем лучше — пока он стоит во дворе деревенской таверны и пялится на лицедейку в окне, — что

он предпочел забыть те незрелые отклонения от центра своих желаний. Можно ли сказать, что два случая, тот и этот, равны и противоположны? Равенства между ними нет. Противоположность? Гм-м… Но в той степени, в какой они отражают друг друга, можно предугадать, что будет дальше, если рассмотреть соотношение между похотью и желанием в жизни Клодона. О первой мы не упоминали вообще, второе лишь слегка обозначили.

7. В то время, когда механическое воспроизводство еще не ввело стандартов на красоту, вкусы Клодона в отношении женщин были обычны для мужчины его эпохи, класса и положения. Он, как и большинство мужчин Невериона, предпочитал молодых. Как и большинство мужчин Невериона, предпочитал физически крепких. Многие мужчины хотели, чтобы женщина при этом была покорной, но некоторые надеялись, что кой-какой огонек в ней все-таки будет. Друзья последних часто смеялись и заявляли, что им самим только такие, с огоньком, и нужны — если при этом женщина все же подчиняется мужским указаниям. Чувства Клодона в отношении покорности и огонька были такими же двойственными.

Но кое-какие черты в его идеале женщины делали его, как он был уверен, не таким, как все. Он не мог, например, сказать, откуда у него взялась одержимость женскими пальцами — да не просто пальцами, а ногтями. Не забывайте, что в то далекое время даже те, кого мы назвали бы средним классом, работали в сельском хозяйстве и длинные ногти вряд ли могли отпустить, — но Клодона с детства завораживали даже чуть-чуть отросшие. Первым предметом его молчаливого обожания стала жена родича-пристава — застенчивая, хрупкая и болезненная. Клодон был строптивый мальчишка, но соседи стали замечать, что ее просьбы он выполняет, в отличие от просьб и приказов прочей родни. Одним из самых дорогих воспоминаний Клодона было, как он, шести-семи лет, сидит у нее на коленях в тени дерева и касается кончиков ее пальцев кончиками своих; она рассказывает ему что-то о безымянных богах, но он не слушает, он и без того счастлив. Когда же к одиннадцати годам в нем пробудились гормоны (этого слова в Неверионе не знали), страсть распространилась еще и на ноги. Тут уж ногти были ни при чем.

У девчонки с заячьей губой была тетка — с нее-то и началось. Клодон сидел на песчаном склоне

за деревней, а она прошла мимо босая, держа на бедре корзину с какой-то лузгой. Ему бросились в глаза ее щиколотки, ее необычайно узкие пыльные ступни. Длинные пальцы на каждом шагу растопыривались, будто нащупывая в земле нечто тайное, не отражающееся на ее коричневом лице под жесткими черными волосами.

Клодон посмотрел на ее руки с короткими топорными пальцами. Откуда у женщины с такими руками такие ноги?

Когда она ушла, он, в третий раз на дню, начал мастурбировать, воображая себе женщину молодую, сильную, с огоньком (но умеренным), с руками как у жены пристава и ногами как у этой… Результат его поразил!

С тех пор он поделил всех деревенских женщин на две категории. У одной, куда входили примерно две трети, ноги интереса не представляли, зато другая, чья численность приятно удивила его… Этим привилегированным особам он улыбался, норовил пройтись с ними рядом; в его фантазиях они оборачивались к нему и касались его чьими-то чужими — большей частью — руками. Если бы кто спросил (но никто не спрашивал — ни скорые на упрек старейшины, ни лоботрясы вроде него), он бы горько пожаловался, что ноги жены приста-

ва совсем не подходят к ее прекрасным рукам.

В Колхари Клодон усовершенствовал, углубил, расширил свои желания. На первых порах его поразило, что примерно четверть городских женщин ходят в башмаках — и зажиточные, и бедные тоже. Целое сословие, чьи подъемы и пальцы скрывает гнусная кожа или парча (для него не менее гнусная). Примерно столько же носили сандалии, жестоко его дразня своими ремешками и пряжками. Пришлось поневоле ограничиться босоногими, которые, и мужчины и женщины, здесь водились в подавляющем большинстве. Пробыв неделю в большом городе, он сделал удручающий вывод, ускользавший от него дома: красивые руки бывают в основном у богатых женщин, которые как раз и ходят обутые.

Впрочем, усовершенстование, углубление и расширение, о которых мы говорили, не имели отношения к женским рукам и ногам. Это касалось… глаз! Он открыл их для себя в свой первый месяц, шатаясь по Мосту Утраченных Желаний.

Женщины и девчонки — и некоторые мужчины, — промышлявшие на мосту, подкрашивали глаза, рисуя вокруг них темные крылья. Поначалу это не столько возбуждало его, сколько указывало на место, занимаемое ими в бесконечной цепочке

купли-продажи, на мосту не менее оживленной, чем на соседнем рынке. Казалось бы, что мужественность, столь ценимая Клодоном, несмотря на однополые сношения, в которые ему, вопреки природным наклонностям, иногда приходилось вступать, никаких особых знаков не требует. Но мужчины с моста, обычно немолодые, пародировали ее, надевая поверх лохмотьев латные пояса, грубя клиентам и ругаясь куда грязнее, чем было здесь принято. Вдобавок они подкрашивали только один свой глаз, и знак женственности, поделенный надвое, становился мужским.

Глядя на них, Клодон находил, что и он не хуже. Он тоже всегда старался вооружиться, хотя бы камень в набедренную повязку заткнуть; и кожаный браслет носил выше локтя, хотя у них в деревне не было такого обычая; и язык его в деревне не одобряли.

Несколько раз он и глаз подводил, поступаясь своей неприметностью — краску ему одалживала девушка, державшая кусочек синего воска у себя в кушаке, — это помогало ему почувствовать себя настоящим мужчиной. Перестав это делать по примеру большинства парней на мосту, он испытал чувство утраты, будто стал ближе к той самой двусмысленности, которая так удручала

его в этом переходном периоде.

Под мостом, на ближнем к рынку конце, бывало не менее оживленно, чем на самом мосту: лестницы с обеих его сторон вели к отхожим канавам.

Мальчишки шмыгали вверх и вниз, девчонки снизу кричали что-то подружкам, оставшимся наверху.

Однажды Клодон, разыскивая своего варвара, спустился туда. Наверху говорили, что утром из воды выловили тело аристократа. В те варварские времена в речку то и дело бросали трупы, обычно солдат и нищих, но этот увезли еще до того, как Клодон пришел. Ему вздумалось выйти по камням на середину Кхоры. Зеленая вода пенилась, омывая тележные колеса, битые горшки, рваные сети, застрявшую фруктовую кожуру и куклу без головы и одной руки.

Одна женщина ругалась с солдатом, другая смеялась. Клодон не видел их, хотя из-за эха казалось, что они где-то рядом. Он перешел на другой камень посмотреть, откуда доносятся голоса.

Еще какая-то женщина преклонила колени на гранитной глыбе недалеко от него, отставив босую ногу назад. Судя по лодыжке и мокрой подошве, пальцы тоже многое обещали. Женщины думают, что ты смотришь только на их груди и

задницы. Груди и задницы нравились Клодону не меньше, чем всем остальным, но раз женщины не думают, что ты смотришь на что-то еще, он полагал себя вправе подойти к ней поближе.

Кто она — из этих, с моста? Он не узнавал ее. Она повернулась к нему мокрым умытым лицом и улыбнулась ласково, но с легкой тревогой. Краску небось с глаз смывала, подумал он, но тут же и усомнился.

Она передвинула ногу вперед, и он увидел, что глаза — вернее, веки — у нее темные, и эти теневые кольца придают радужке цвет корицы, а белку — оттенок слоновой кости. Длинные пальцы ступни упирались в камень, и такой изящной ножки он еще не видал. Овальные ногти рук завершались дочиста отмытыми полумесяцами цвета очищенных тыквенных семечек. Просто дух от таких захватывало, но самым красивым в ней все-таки были глаза — Клодон понимал это ясно и бесповоротно. И чтобы глаза так действовали, губы под ними должны улыбаться или смеяться.

Он понимал все это без слов и даже без мыслей, хотя сведенные плечи и натянувшиеся подколенные связки сами по себе были мыслями.

Понял он также, чего пытались достичь жен-

щины с моста, крася себе глаза; от этой картины мускулы у него в паху сжались — сейчас он, донельзя счастливый, упадет в обморок…

Но он не упал.

Клодон, вор, грубиян, задира, в рубцах от кнута — он украсится новыми за разбой, когда будет почти вдвое старше — улыбнулся.

Когда тебе улыбаются, нужно улыбнуться в ответ, иначе другой человек нахмурится, загрустит или отвернется — а ему хотелось, чтобы эта женщина продолжала улыбаться ему, пока безымянные боги, перекраивая мир, не затопят пустыню морем.

8. Улыбаясь, он неожиданно, впервые за долгое время, вспомнил девчонку с заячьей губой, которую много раз принуждал ему отдаваться. У нее были такие же глаза!

Больше она ничем не могла похвалиться — ни руками, как у жены пристава, ни ногами, как у своей родной тетки.

Он обратил на нее внимание лишь потому, что Имрог, кузнечный подмастерье, иногда спал с ней.

Клодон стал ходить за ней по пятам и как-то вечером, когда она, усталая, позволила ему обнять себя за плечи, попросту ее повалил. Его дружок

караулил, а Клодон, делая свое дело, думал о ее тетке и о жене пристава. Это, как он и полагал, взбесило Имрога, здоровенного парня старше Клодона и ничуть не лучше его — но к нему, поскольку он был работящий, цеплялись втрое меньше, чем к Клодону.

Но глаза у нее были такие же, это да — а он и не замечал их из-за ее дурацкой губы и еще потому, что она ему ни разу не улыбнулась.

Он впервые ощутил нечто вроде вины за то, что ее насиловал, и больше ничего такого не совершал. Позвольте вам напомнить, что речь у нас идет о желании.

А вы думали, что о похоти?

И не можете найти упоминаний о желании в предыдущем рассказе? Перечитайте и увидите на каждой странице, как оно росло и развивалось в сознании Клодона. Оно было в нем еще до того, как он украл жареную козлятину. Мелькало в его мыслях, когда он висел в углу житницы, ожидая наказания. Он думал о нем, подкрадываясь в ночь своего бегства к хижине родича-пристава, и на рассвете следующего дня, когда сидел у дороги и чуть не плакал. Думал, сидя на перилах моста перед тем, как к нему подошел хозяин мертвецкой. Желание таится в каждой паузе, между всеми

предложениями предыдущей истории и продолжит это делать в последующей.

Какие бы материальные силы и неведомые ему экономические мотивы ни влияли на Клодона, желание всегда лениво ждало впереди, чтобы тащить его в нужную сторону. Какая бы выгода или каприз ни манили его, желание всегда маниакально толкало сзади. Если оно до сих пор не проглядывало в нашем рассказе, то лишь потому, что его можно уподобить прорехе на месте выбившейся из ткани нити: опытный ткач сразу поймет, что за нить там была, по расположению соседних.

Не странно ли, как быстро Клодон понял, что желание и похоть, по крайней мере в его случае, вместе не ходят? У себя в деревне он никогда не искал утех с женщинами, воплощавшими его идеал, понимая, что идеала на самом деле не существует. Он сам состряпал его на манер деревенского певца, берущего строчку из одной песни, припев из другой, куплет из третьей, слышанной от проезжего возницы, — а поколение спустя вся деревня уверена, что в балладе этой говорится о действительном случае с чьей-то прабабкой.

В Колхари ему порой виделся этот идеал или часть его (хотя полностью и так близко пред-

стал лишь в тот день под мостом), но Клодон не приближался к нему по причине, упрощенно называемой страхом отказа.

9. Клодон, стоя напротив женщины у разделявшего их потока, смотрел. Улыбался. Думал. Не дышал.

Женщина, возможно, сказала что-то, сделала какой-то жест, просто моргнула пару раз… а может, и нет.

На счет двадцать Клодона зашатало, на счет сорок у него потемнело в глазах. Он ступил по колено в воду, рассадил обо что-то ногу, влез на другой камень, вернулся к опоре, столкнулся на лестнице с грузным мужчиной, обругавшим его, вышел на мост, облокотился на перила, дыша со свистом; потом закрыл глаза, присел и прижался к камню щекой. На смену полнейшему ужасу, наполнявшему звоном все тело, пришел страх, что кто-то его увидит и все поймет. Но ему было уже все равно.

Чуть позже он поднялся на дрожащие ноги и огляделся.

Трижды попытался сосчитать до десяти, каждый раз сбиваясь, спустился до половины лестницы, заглянул под мост. Солнце бросало мерцающие блики под арку.

Женщины не было.

Вернувшись на мост, он впервые заметил, что его правая нога оставляет на камне кровавые следы. Постоял, прислонясь к перилам, и снова спустился вниз.

Левая нога еще немного дрожала.

Женщина, должно быть, поднялась по лестнице с другой стороны. Он искал ее три дня. Ходил по мосту из конца в конец — не оттого ли мост получил свое имя? Клодон считал себя сильным парнем. Слабость, ужас, помутнение рассудка, овладевшие им при виде той женщины, столкнувшие его в воду, разбившие ногу в кровь, казались ему чем-то неправильным. Более близким к безумию, чем к влечению. Теперь он высматривал ее на Старом Рынке и в переулках, ведущих в торговый квартал.

Как-то вечером, три недели спустя, когда луна взошла рано и задержалась на небе допоздна, он вдруг увидел ее с какими-то молодыми людьми — состоятельными, судя по туникам и сандалиям (уж верно состоятельней, чем она). В серебристом лунном свете ее глаза казались густо накрашенными, и ни рук ее, ни ног он не видел. Но это была она. Юноши, смеясь и болтая — Клодон замер, не дыша — шли, похоже, на мост вместе с ней.

Она прошла мимо, не видя его.

Вид у нее был счастливый.

Его колотящееся сердце мало-помалу затихло.

Больше он ее не видал.

Искать ее снова (а он уж было начал искать, не ее, так похожую) противоречило здравому смыслу.

Потеть над какой-нибудь девкой (или над мужиком, обещавшим за это пару монет), зажмурившись и вызывая в памяти руку, ногу или глаза прохожей незнакомки, было куда безопасней.

И еще: с того мгновения под мостом его всегда слегка возбуждали накрашенные глаза ленивых (или куда как суетливых) продажных женщин. Зная, что заменяет краска, он откликался на нее, как на памятный знак.

10. Но прежде чем вернуться к Клодону во дворе таверны, улыбающемуся женщине в окне как когда-то той, под мостом, мы должны рассмотреть еще одно течение, проложившее по его жизни не менее извилистый путь: похоть.

Мы уже говорили, что Клодон отделил ее от желания на удивление быстро — пусть не в сознании, но в повседневных поступках. Он, как большинство неверионских мужчин, пришел к выводу, что похоть — явление чисто телесное, а

желание — духовное; желание может вызывать похоть, но подавить ее довольно легко.

В случае с Имрогом Клодон пользовался похотью как оружием, а когда мастурбировал — чтобы успокоиться, побаловать себя, за что-то вознаградить.

В Колхари Клодон умудрился поиметь трех уличных женщин. С одной они вместе пили, и она дала ему в закоулке за какой-то таверной; ей он не заплатил. В другой раз он тоже попытался сбежать, но был избит здоровенным мужланом, невесть откуда взявшимся. В третий раз заплатил сколько условились из кошелька, украденного у лысого ротозея на рынке; эта, сидя на ступеньке, вычищала грязь между пальцами ног, и ее руки, ноги, глаза походили на те, которые он искал.

Оказалось, что он ошибся во всех трех отношениях: даже краска вокруг ее глаз лежала аляповато (сам он перестал краситься только вчера).

Все три его возбуждали, но то была не звериная страсть, которая нас превращает в детей, а детей ужасает.

Мы разобрались, как сочетались похоть и желание в шестнадцатилетнем Клодоне.

Теперь посмотрим на него в двадцать шесть,

десять лет спустя после Колхари.

Он жил тогда в шалаше за деревней на краю пустыни, чьи различия с его собственной он замечал каждый раз, видя, как одна женщина ткет у себя во дворе, а другая тянет вола под уздцы; как мужчина обтесывает соху или купается с трехлетним сынком в канаве у дома.

Клодон уже не был стройным юношей, но пока что не разжирел. В первый свой день он, проходя по деревне, высматривал, что бы такое стащить, чтоб не сразу хватились, или спрашивал местных жителей, не найдется ли для него работы — авось рубцы от кнута не всех отпугнут. В последний день высматривал добычу покрупнее, чтоб унести ноги вместе с ней, в промежутке же ходил по вечерам к женщине лет на десять старше его, некрасивой и малость тронутой, жившей в развалюхе у самой околицы. Клодон приносил кувшин пива, они сидели у ее хижины, и он спрашивал:

— Знаешь, что это?

— Да никак грязь…

— Нет. Столичные женщины этим глаза подводят. Сама попробуй, тебе пойдет.

— Что, прямо в глаза вот это совать?

— Нет, намажь вокруг глаз. Дай покажу…

— Уйди, не хочу я!

— Да ты попробуй, это ж не больно.

— Вот сам и мажься.

— Да, мужчины тоже иногда это делают, но по-другому. Вреда от этого никакого, слово даю. Убери руку! Смирно сиди! Вот так. Теперь ты ни дать ни взять благородная столичная дама!

— Ты-то видишь, что намазал, а я не вижу.

— Настоящая дама. Красавица. Давай еще выпьем.

— Сам пей.

— С большим удовольствием. — Он поднимал кувшин; солнце грело снаружи, пиво изнутри. Потом он что-то рассказывал ей, она смеялась, а он смотрел на нее с дурацкой улыбкой. Потом они ложились, то в хижине, то прямо здесь, на земле.

Иногда она вдруг принималась плакать.

— С чего это ты?

— Не знаю…

Пару раз он старался ее рассмешить, потом ему надоело. Однажды он просто ушел, спугнув трех ребятишек — они прятались за валуном и подглядывали.

Но обычно все у них шло как по маслу. Порой, когда он засыпал, женщина садилась, водила пальцем по рубцам у него на боку и пыталась вспомнить, почему с такими вот разукрашенны-

ми нельзя говорить, нельзя даже смотреть на них. А уж если тебя кто увидит с ним, особенно дети…

Таких мужчин, как Клодон, у нее, по правде сказать, еще не было.

Особенно если накраситься и улыбаться ему.

Перейдем к тридцатишестилетнему Клодону.

Тогда он промышлял вместе с двумя другими ворами.

Младший, ленивый и злобный, исполосованный побольше его, не выносил одиночества и цеплялся за двух других, но при этом воровал у них, врал им и временами лез с ними в драку.

Старший кнута избежал. Клодон считал его трусом, несмотря на все рассказы о воровских подвигах, но вожака он, как правило, слушался.

Они уже месяц жили втроем в грязной хижине в миле от Винелета — ее владелец, бывший товарищ младшего, плохо кончил. Некоторые замечания последнего, как пьяного, так и трезвого, вызвали у Клодона подозрение, что парень-то его и убил.

Сам Клодон стал куда толще, громогласней и забулдыжнее, чем был десять лет назад. И похоти у него поубавилось — без выпивки он уже ничего не мог. Да, он часто вспоминал ту женщину под мостом, но мы сейчас говорим не о желании, а о

похоти. Беда в том, что он и перепив ничего не мог; грань была узкая, и ему все реже представлялся случай ее соблюсти.

Три раза из пяти последних, когда Клодон был с женщиной, плакал он — но так и не понял, почему плакала та, придурковатая, десять лет назад.

Но как-то утром, когда снаружи переругивались две сойки, младший просунул голову за рваную входную завесу и прокричал:

— Эй вы, поднимайтесь! Я вам двух баб привел — горячие обе, на все горазды. Я с ними со вчерашнего колочусь и чуть не поджарился. — Снаружи донесся смех. — У меня и пиво есть, позабавимся.

И в хижину вошли женщины.

— Уйди с дороги, — сказала одна — маленькая, пухлая, с пронзительным голосом. — Дай поглядеть, что за разбойничий притон у вас тут. — Другая, высокая, больше помалкивала, только с первой шепталась. И смеялись они по-разному: пухлая хохотала и махала рукой, длинная зажимала рот, и у нее тряслись плечи.

Бабы, значит? Клодон сел. Им и двадцати пяти еще не было, а он достиг возраста, когда всех, кто моложе тебя, считаешь детьми. Длинная опять зашептала что-то на ухо пухлой, показывая на Клодона.

— Так и есть! Твоя правда! — взвизгнула та.

Ей отозвались сойки.

Клодон не успел оглянуться, как уже обнимал их обеих. И смеялся, невольно думая, что десять лет назад это порадовало бы его куда больше.

— Эй, — взмолился он, маясь с похмелья, — дайте сперва попить.

Тут прочухался другой вор, без рубцов.

— Смотрите-ка, кого дружок нам привел! Экие лакомые кусочки, в самый раз мне на завтрак!

— Так вас только двое? — бросила длинная. — Я думала, добрый десяток!

— Дайте попить, и я вам за десятерых отработаю, — пообещал Клодон.

Казалось бы, им полагалось предпочесть старшего, хоть он и трус: он был выше, говорил правильнее, соблюдал чистоту больше и пил меньше, чем двое других. Клодон знал, что для женщин все это важно, но этим двум явно больше нравились он и молодой парень — особенно он.

Оргия длилась три дня — а может, четыре?

Клодону запомнились лишь самые яркие картины: как он швырнул пустой пивной кувшин в лицо молодому, разбив и кувшин и лицо, а после добавил ручкой с оставшимся черепком, так что парень к стене отлетел.

— Чтоб больше не смел так делать! Чтоб больше…

— Да я ж так… дурака валял… — бормотал, утираясь, парень.

Клодон саданул ему опять и порезал себе пальцы разломившейся ручкой.

Запомнилось — или это была та же картина? — как он подал длинной руку, чтобы помочь ей встать, а она увидела его пальцы и отшатнулась. Он постоял, не зная, что делать дальше, и попытался вспомнить, что же такое сотворил молодой.

Но убил парня не пивной кувшин, нет. Клодон помнил, что было дальше. Он проснулся. На стене лежало полдневное солнце. Парень с искромсанной мордой трудился над пухлой. Сонный Клодон смотрел, как дергаются ее груди под натиском молодого. Значит, это было уже после кувшина — если он, конечно, не во сне это видел.

Еще картина — то ли в начале оргии, то ли в конце. Они с пухлой сидели под деревьями, и она прошептала, прильнув к нему:

— Ты такой страшный с этими твоими рубцами. И с женщинами, наверно, страшное делаешь, да?

Он фыркнул и погладил ее по голове.

— Ну же, — она поцеловала его, — расскажи,

что ты делаешь. А может, покажешь?

— Любишь, когда грубо, да?

— Да-а! — И началось. Клодон завязал ей глаза какой-то дерюгой и то бил по лицу тонкой веткой, то просто проводил листьями по щеке; задавал ей дурацкие вопросы, заставлял ее ласкать его ртом и лизал ее сам. Она повизгивала, совершенно счастливая. Пришел старый и тоже вступил в игру. Потом выполз молодой, опираясь на плечо длинной. Он тоже захотел поиграть и, конечно, перестарался — хотя пухлая выразила недовольство только раз, когда он слишком сильно стиснул ей грудь. Завязалась ссора, в основном между старым и молодым. На этом картинка погасла.

Была ли тогда у парня рожа изрезана? Этого Клодон почему-то вспомнить не мог.

Потом они с длинной вроде бы поехали в город за пивом. (Он хотел пухлую взять, но она не захотела, а длинная сама вызвалась.) Он все спрашивал ее:

— Уверена, что хочешь вернуться? Я тебя высажу, где скажешь, и скажу, что ты так хотела.

Но она мотала головой и заявляла, что хочет с ним, а так все больше молчала. Дала лишь понять, что у пухлой крупные неприятности в

Винелете, отчего та и отказалась ехать туда. Они обе собираются в Колхари.

— Да ну? — сказал Клодон. — Я там жил почти год, когда молодой был. Там и научился глаза завязывать.

Тогда длинная рассказала ему про предательницу-соседку и предателя-хахаля; рассказала, что пухлая раньше служила нянькой в доме владельца рыболовной флотилии. Жизнь у обеих женщин была достаточно сложная, и безумства последних дней ошеломляли их, как видно, не меньше, чем его самого.

Через час они вернулись, и парень тут же возопил, заглянув в телегу:

— О безымянные боги, что ж так мало-то привезли?

— На тебя не угодишь, — сказал старый. — То много тебе, то мало.

Тогда молодой точно был целехонек, не считая рубцов на спине.

Клодон помнил, что ему было по-настоящему хорошо и с пухлой, и длинной, но не помнил подробностей. Полное удовлетворение, как видно, ограничивается мгновением и в памяти не сохраняется.

В последний день Клодон так упился и вымо-

тался, что лишь притворялся, будто кончает. Его товарищи пыхтели поблизости — хотел бы он знать, как дела у них.

К этому времени относилась, однако, самая приятная из картин.

Отлепившись от пухлой, он вышел к задней двери отлить. Его подташнивало — того и гляди снова вырвет.

Он долго стоял под прохладной луной и дышал глубоко, успокаивая желудок, а когда немного полегчало, вернулся в дом.

В окно светила луна.

Обе подружки сидели рядом. Недавно длинная нашла Клодонову краску и подвела себе глаза, хотя он даже и не просил. Это не столько соблазняло, сколько очаровывало его. Как будто совсем юная девушка накрасилась, чтобы казаться старше и опытнее. Женщины, все в поту, касались друг друга то пальцами, то губами.

Клодону они представлялись красавицами. Его не заботило, какие у них руки, ноги, глаза — он знал, что дорисует все это в воображении, если понадобится.

Парень сидел в углу, головой в колени, и бормотал:

— На кой нам две, двух нам мало…

Следующую картину непременно следовало запомнить.

Раннее утро? Вечер? Старый вор стоял в дверях, наполовину высунувшись из хижины, и ворчал:

— Свинья он, балуется сразу с двумя. Да и ты не лучше. Убью его, если хоть слово скажет. Убью!

— Ладно тебе, — сказал Клодон. — Он молодой, ублажит хоть сколько. Ты разве не такой был в его годы? Я был. Слушай: когда я в другой раз лягу с толстушкой, то отойду и позову тебя, а ты действуй.

Клодон уже сделал так один раз ради сохранения мира и не хотел повторять — а может, и не повторил вовсе. Ему помнилось, как пухлая подползла к нему по полу, дыша словно загнанный зверь, и прижалась, наполнив мягкими грудями его твердые пальцы; оба они слишком устали, чтобы продолжать, но она все равно шептала:

— Да, вот так! Да!

Не потому ли, когда они проснулись на четвертый — или на пятый — день, женщины исчезли, а с ними мул и тележка?

— Они увели, кто ж еще, свиная ты задница! — орал молодой.

Не тогда ли они со стариком и сцепились? Клодон тоже орал, но попутно смотрел, не осталось

ли у них пива.

Первый-то начал молодой, как всегда, но Клодон никак не мог вспомнить, что было дальше. Он помнил, что хотел выйти, а старик его не пускал.

— Нет уж, останься! Хоть зарыть его помоги! Что мне с ним делать? Нельзя так просто взять и уйти…

— Почему нельзя? — Клодон отпихнул его, только теперь осознав, что молодой мертв, — раньше он думал, что только ранен. — Ты напачкал, тебе и прибирать.

Кожаную покрышку телеги женщины не взяли. Клодон накинул ее на плечи и завязал тесемки, думая: может, он и сам пару раз вломил парню? Все произошло в хижине, это точно. Так вломил или нет?

Нет, это старик — с чего бы он иначе так себя вел? Клодон поплелся к дороге. Под каким-то толстым деревом его долго рвало, наизнанку вывернуло. Он лег, завернувшись в свой кожаный плащ, и долго так пролежал — а когда оклемался, ничего не мог толком вспомнить. Ножом, что ли, молодого пырнули? Или избили? Он бросил ему в морду пустой кувшин… Нет, парень со старым подрался, вот как все было. Но если бы сейчас Клодона поставили перед судом и ему

грозила смертная казнь, он бы все равно не смог сказать, кто убийца, и как совершилось убийство, и почему.

Он сидел у дороги, дожидаясь попутного возницы, и думал: может, похоть — не так уж она и плоха, когда желание недоступно — сама перетекла от красоты той лунной ночи к не вмещающемуся в памяти злу?

Раньше Клодон уже убивал, сознательно, хладнокровно — там, на глухих проселках, где трещат сверчки, хвоя поглощает все звуки и кровь впитывается в палые листья. Может, и теперь придется, думал он в ожидании. Но ничто не тревожило его так, как смерть ленивого, сварливого парня, напоминавшего Клодону самого себя в молодости. Его неуверенность в том, что убил он, лишь усиливало иронию. Он чувствовал себя дураком и грустил.

Лучше, решил он, обходиться собственной правой рукой и памятью о желании.

Повтори хоть сто раз, что парень сам напросился, все равно не поможет. Слишком все запутано, слишком опасно.

Мы рассказали о встречах Клодона с похотью, но ничего не написали об эмоциональной подоплеке его аппетитов. Каким бы он ни был

любовником — а мы уже сказали, что неплохим — с женщинами он вел себя хуже некуда. Он успел уже зачать трех детей, которых в глаза не видел, — он думал, что четырех, но четвертый был не его, — и у каждой из матерей что-нибудь да украл: деньги, еду, горшок, нож.

Мы рассмотрели разницу между желанием и похотью и сумели показать, как первое сдерживает вторую даже в разгаре пьяной оргии. Но вот вопрос: может ли похоть сдержать желание?

Десять лет назад, когда Клодон покинул обитательницу граничащей с пустыней деревни, темноглазая обитательница его фантазий смеялась потому, что была слегка не в себе. После описанного нами убийственного разгула она смеялась потому, что задумала некий план выше разумения Клодона, но готова была и его посвятить.

Мы рассказали об отношении Клодона к похоти в его шестнадцать, двадцать шесть, тридцать шесть. Вы наверняка спросите, как обстоит дело теперь, по прошествии всего нескольких лет?

В те пять недель, что он пробыл в Нарнисе, похоть ограничивалась смутными прикидками насчет сестры Фунига, Яры. Будет ли она покорна, как женщина с края пустыни? Или хмель зажжет

в ней огонек, отличавший женщин из Винелета? (Мы с вами пользовались бы другими терминами, но Клодон мыслил именно так.) Ответ, к которому он приближался, гласил: так или этак, возиться не стоит.

Мир вокруг Клодона к этому времени изменился. Одно правительство пало, к власти пришло другое, некий мятежник восстал против рабства, на котором держалась примерно треть экономики Невериона, сам Клодон сильно прибавил в весе. Но его все это не беспокоило, поэтому и мы не останавливались на этом. Пока он стоял вместе с Фунигом во дворе таверны и смотрел на женщину, улыбавшуюся ему из окна, нужно было поговорить о других вещах.

Сейчас мы вплетем в наш рассказ еще одну нить из прошлого, чтобы завершить узор настоящего.

11. — Что предложить? — Они обогнули пруд и прошли за дверную завесу.

В первое мгновение Клодон подумал, что здесь пожар. Потолочные лампы висели не только посреди комнаты, но и во всех четырех углах. У каждой стены горели треножники. Везде стояли резные стулья, пол устилали толстые ковры, на большой кровати громоздились подушки. На

низких столиках тоже горели лампы.

— Сейчас покажу. Видел такое когда-нибудь? — Хозяин показал на окно в красивой раме, выходящее, наверно, в другую комнату: за ним тоже горели огни. — Это зеркало. Ты, может быть, видел маленькие, какими торгуют в провинции: кусочки полированного металла, в которые можно смотреться, пока они не потускнеют. Но зеркала такой величины встречаются редко. Если станешь перед ним, увидишь себя яснее, чем в лесном пруду или уличной луже. Посмотри сам.

Твердый металл вдруг как будто растаял, и в нем появился человек… видимо, Клодон. Потом к первой фигуре присоединилась другая, с лицом хозяина, и Клодон понял, что первая — и впрямь он. Широко поставленные глаза, полные, чуть приоткрытые губы, широкие плечи…

— Остается добавить еще одну мелочь. — Хозяин защелкнул на шее Клодона что-то холодное и тяжелое. Клодон хотел это снять, но хозяин удержал его руку. — Рабский ошейник. Не надо, не трогай его. — Голос хозяина звучал властно, да и подвальные пары еще не совсем рассеялись. Замок там сломан — можешь снять, когда хочешь. Разнимешь две половинки, и все.

Клодон взялся за ошейник двумя руками, и тот

в самом деле распался надвое, но хозяин тут же снова его закрыл. Человек в зеркале — и рядом с Клодоном — улыбался.

— Посмотри на себя теперь. Повернись вправо, влево. Ну? Что ты видишь?

— О чем ты? — Клодона удивляло, что он слышит только один голос: губы в зеркале шевелились тоже.

— Кто на тебя смотрит с той стороны? В железном ошейнике, в рубцах от кнута — уж точно не деревенский паренек, спьяну укравший ужин местного сборщика налогов. Посмотри как следует. Что ты видишь?

— Ничего я не вижу!

— Разве ты не видишь раба? И не просто раба, а буйного, непокорного, восставшего против своего господина и расписанного за это в назидание всем остальным. Эти письмена, понятные всем, говорят о неуважении к власти, о презрении ко всем человеческим законам и к установленному безымянными богами порядку — он первый смеется надо всем этим желчным, презрительным смехом!

Клодон отвернулся от зеркала.

— Я не раб!

— Знаю, что не раб, — засмеялся хозяин дома

— теперь он говорил обычным голосом, без распева. — Но в тебе, между нами говоря, есть все, из чего он складывается. И такой, сложенный искусственно, раб может быть ценнее того, кто порожден случайностями судьбы. За него дадут куда больше.

— И что же я должен делать? Я говорил уже, что не хочу…

— Скажи, тебе доводилось на кого-то мочиться?

— Чего?

— Ты на кого-нибудь ссал?

— Нет… с чего бы?

— А ты подумай. Вспомни. Жизнь у тебя не такая уж длинная — напряги память.

— Ну, было один раз, — нахмурился Клодон. — Шатался по деревне старый попрошайка, пришлый, всегда пьяный. Как-то он валялся за кузницей, Имрог меня и подговорил. Думал, я не сдюжу, а я сдюжил. Тогда Имрог тоже поссал. Так, для смеху — прямо в его грязную бороденку…

— Теперь скажи: принуждал ли ты кого-нибудь делать то, что он не хотел?

— Чего…

— Не понимаешь, о чем я спрашиваю? — Мужчина ступил вперед и уперся Клодону в горло

согнутой в локте рукой. — Сделаешь, что я тебе велю? Сделаешь!

Клодон отшатнулся к стене.

— Эй!

— Молчать! — Свободной рукой он хлопнул Клодона по щеке. — Сделаешь? — Новая пощечина.

— Эй, ты что… — Клодон поднял руку, но мужчина отбил ее в сторону и снова ударил его по щеке.

— Сделаешь, не отвертишься. — Рука ниже подбородка пригвоздила Клодона к стене.

— Ладно, ладно! Пусти!

Пощечины вызывали страх, и гнев не спешил на выручку.

Мужчина отступил. Клодон только теперь заметил, что они стоят живот к животу и звенья чужого пояса впиваются в его тело.

— Так вот: принуждал ли ты кого-то младше и слабее тебя делать то, что тот добровольно ни за что бы не сделал?

— Зачем ты так…

— Только чтобы показать тебе, что я имею в виду — и помочь тебе вспомнить.

— Больно же! — Клодон потер ушибленную руку.

— Не слишком. Дам тебе лишнюю монетку, если к утру не пройдет. Теперь отвечай.

— Ну да… с малышней. Они ж вечно доказывают, какие они большие и страшные, вот и приходится иногда. Если тебе от них что-то надо, а они не дают…

— Так я и думал. Теперь спрошу вот о чем: мучил ли ты кого-то, кто не мог дать тебе сдачи? Может быть, связывал. Загонял в угол. Щекотал. Бил веревкой или ремнем, не обязательно сильно. Помнится, ты рассказывал про какого-то мальчика, которого ты…

— Так это ж шутейно! — Клодон не помнил уже, о ком он рассказывал. — При чем тут…

— Шутейно? Очень хорошо. Следующий мой вопрос тоже о шутейном… а впрочем, я уже знаю ответ. Обзывал ли ты кого-то уничижительными и оскорбительными словами? Я слышал, как ты выражаешься обыкновенно, — думаю, что в приступе гнева твой язык еще красочнее. Назови меня, к примеру… червивым ослиным дерьмом!

Клодон отошел от стены.

— Вон чего тебе надо… Ослиное дерьмо ты и есть.

— Видишь? — Мужчина извлек еще монету, опять-таки непонятно откуда. — Я хотел только

сказать, что все, о чем тебя могут попросить, ты и так уже делал, притом по собственной воле. Шутейно, как ты говоришь. Вот тебе для начала. — Он подкинул монетку в воздух. Клодон хотел ее поймать, но промахнулся, и она упала на ковер у него под ногами.

— Если ты правда хочешь чего-то такого, то придется побольше выложить.

— Не со мной. Во всяком случае, не сейчас. Зато другие отсыплют тебе столько, сколько ты даже и не мечтал. Вот что я тебе предлагаю: побудь здесь, а утром возвращайся на мост в ошейнике и не снимай его… ну, хотя бы неделю. Ни днем, ни ночью. Тогда на тебя будут смотреть совсем по-другому, не так, как теперь. И заработки твои пойдут в гору.

— Но ведь все подумают, что я раб…

— Парень в рабском ошейнике и с рубцами бунтаря на Мосту Утраченных Желаний? — засмеялся мужчина. — К тебе будет подходить многие, одни сами в ошейниках, другие без. Очень сомневаюсь, что тебя примут за подлинного раба, — но будь ты им, у тебя был бы хозяин, верно? И за тебя отвечал бы он. Тогда к тебе никто бы и близко не подошел.

— А что будешь делать ты?

— Я предлагаю тебе поносить этот ошейник семь дней. Поработай в нем на мосту, заработай сколько удастся — уверяю тебя, что заработаешь ты немало. Через неделю я приду к тебе. Если ты все еще будешь в ошейнике, дам сколько попросишь. Если снимешь его, улыбнусь, пройду мимо и найду кого-то еще. Больше мы говорить об этом не будем и вряд ли еще увидимся.

— Но сейчас тебе от меня ничего не надо? — Все это начинало забавлять Клодона. — Может, испытаешь меня, посмотришь, на что я гожусь?

— Многие любят новеньких, пусть тебя испытывают они. Мне, знаю по опыту, ты понравишься куда больше через неделю.

— А если они захотят того, чего я не хочу? Мужчины, они…

— Мой деревенский друг, первыми к тебе наверняка подойдут мужчины, но в этом богатом городе немало и женщин, готовых воспользоваться твоими услугами. Работай на совесть, вкладывай в это все доступное тебе мастерство, и еще до исхода недели молва о тебе разлетится далеко за пределы моста. Скоро сам начнешь выбирать, кого хочешь. А если тебя попросят сделать то, что тебе не по нраву, ответ, думаю, ясен: ты попросту скажешь «нет». Все те знаки, о кото-

рых мы говорили, дают понять, что хозяин здесь ты. — Мужчина достал из шкафчика две чаши. — А теперь запьем этот трудный разговор. — Пили они сидр, не пиво, и Клодон, возможно после всего уже выпитого, не возражал. Из услышанного его больше всего занимали женщины.

— Говоришь, женщины тоже будут — пусть не сперва, а потом?

— Непременно будут. — Они полулежали в подушках друг против друга. — Сейчас для тебя это большая разница, но со временем она будет становиться все меньше — если ты, конечно, окажешься на высоте. Допустим, ты завяжешь клиенту глаза, и он захочет, чтобы ты постегал его по срамным частям, а ты бей по лицу. Легонько, если он хочет сильно, и сильно, если он хочет легонько. Задавай им вопросы и отзывайся на их ответы гневно или одобрительно, как пожелаешь. В большинстве случаев это действует куда сильней, чем обычные цепи и плети. И всегда договаривайся о слове или жесте, дающих понять, что игра окончена. Знак, поданный ими — или тобой, — покажет, что пора остановиться, убрать игрушки, расплатиться и идти по домам. Не позволяй себе увлекаться. Ты парень видный, даже красивый на свой деревенский лад. Да и неглуп.

Если приложишь мозги, то одними ремнем и веревкой доставишь своим клиентам — и мужчинам, и женщинам — наслаждение, недоступное владельцам целых пыточных камер. Ремесло, к которому ты приступаешь, достойно иметь собственного безымянного бога, но за неимением оного ему покровительствуют простые смертные вроде нас с тобой. — Так они беседовали всю ночь при свете ламп, гаснущих одна за другой. — И помни, — добавил, зевнув, хозяин, — не делай ничего противного натуре, которую довольно подробно мне описал.

— Да-а, — сказал Клодон. — У меня дома такому бы не поверили. Вот оно, значит, как в большом городе. Вот как ты заставляешь людей что-то для тебя делать. И часто ты это проделывал до меня?

— Дай подумать… я, кажется, купил девять сломанных ошейников у той старой ведьмы на рынке. Осталось два. Стало быть, ты будешь седьмым за три года.

— И как оно? — ухмыльнулся Клодон.

— Я, собственно, никого из вас больше не видел. Через неделю я непременно приду на мост, но тебя там не будет. Или окажется, что ошейник ты уже выкинул или продал. Так подсказывает мне опыт, однако я продолжаю и не брошу свою

затею, пока не добьюсь успеха или не раздам все ошейники. Нет, один-то я оставлю себе — авось пойму когда-нибудь, отчего терплю неудачу за неудачей, хотя это скорей всего невозможно понять. Может быть, такова природа желания?

Это насмешило Клодона больше всего. Он не помнил, на чем прервалась их беседа и как он уснул. Какое-то время спустя хозяин потряс его за плечо и сказал:

— Извини, тебе пора уходить.

Клодон открыл глаза. В комнате было сумрачно. Все лампы погасли, кроме одной, да и та догорала. Клодон приподнял голову, и его затошнило.

— Вставай, — говорил хозяин. — Я дам тебе денег, и ты уйдешь. Прошу, не медли. Отец вернулся из поездки много раньше, чем я ожидал, и скоро поднимется сюда. Он смотрит на такие дела далеко не столь терпимо, как матушка. Поднимайся же! — Он чуть ли не силой поставил Клодона на ноги.

— Ладно-ладно, ухожу! Не трогай меня…

— Вот, держи.

В кожаном кошельке нащупывалось не так много денег, но больше, чем Клодон держал в руках за все свое время в Колхари.

— Теперь уходи. Нет, постой… — Хозяин вы-

глянул за дверную завесу. — Он еще внизу. Идем. — Он взял Клодона за плечо. Тот, спотыкаясь о подушки, уловил какое-то движение слева, но это был он сам в зеркале.

Плиты под ногами были мокрые — то ли дождь прошел, то ли пруд вышел из берегов. Хозяин пропихнул Клодона за другую завесу.

— Эй, только с лестницы меня не столкни!

— Тихо ты! Не столкну, уходи только!

Клодон стал спускаться, зажав кошелек в кулаке.

— Шевелись! — говорил ему вслед хозяин. — Говорю же, отец вернулся. Я его так рано не ждал. Там снаружи его повозки — впрочем, это не твое дело. — За стеной в самом деле гремели колеса и перекликались возницы. — Тебе туда, вниз. Повернешь налево и через семь-восемь кварталов выйдешь на перекресток. Иди на восход и скоро будешь на Мостовой, а там и мост близко. Иди же! Я не шучу!

— Ладно… — Клодон заковылял вниз.

— Через неделю увидимся на мосту.

Тут Клодон кое-что вспомнил.

— Мне опять через мертвецов идти, что ли?

— Пошел! — прошипел хозяин.

Внизу Клодон уронил кошелек, подобрал его и

вышел прямо на улицу. Она тоже была мокрая, но не сплошь. Может, ночью был не дождь, а туман. Он снова услышал возниц и подумал, не посмотреть ли. Но его сильно мутило, и он повернул налево.

Утро было ненастное, но восток на перекрестке он все-таки различил и пошел в ту сторону. На вопрос, как пройти на Старый Рынок, женщина с кувшином указала ему переулок, который, как ему подумалось, вел обратно к дому с мертвецами, но вскоре он увидел знакомый вход на мост. Где-то на середине Клодон вспомнил про ошейник, который так и остался на нем. А ну как замок не сломан? Он в панике ухватился за железные полукружья…

— Эй!

Он уже видел здесь эту сдобную варварку с черными треугольниками на лбу — они тянулись через ее светлые брови к вискам.

— Там один старик, — она кивнула через плечо, — хочет побаловаться с нами обоими. Деньги у него есть, место тоже. Он надежный, я с ним была много раз.

Клодон посмотрел туда. Там стояло несколько мужчин, и он не знал, о ком она говорит. Его поразило, что шашни на мосту начинаются не

вечером и даже не в полдень, как он думал, а ранним утром.

— Он велел мне поговорить с тобой, спросить, сколько ты берешь, — продолжала варварка. Поверх пестрой ткани, обматывающей ее толстый живот, висели груди с большими ареолами и маленькими, как у мужчины, сосками. — Ты не бойся, он человек порядочный.

— А что ему надо? — спросил Клодон.

Она подошла поближе и понизила голос, хотя вокруг не было никого.

— Нет уж, — сказал он. — На это я не согласен.

— Почему? Он хорошо заплатит.

— Нет. Ты скажи ему, что у меня встреча с другим, вот и все.

— Ладно, скажу.

Она зашлепала по мосту своими широкими непривлекательными ногами, а Клодон пошел к рынку.

Вот один клиент уже есть, а он даже и не старался. Да еще в паре с женщиной. Варварки ему вообще-то не нравились, ни толстые, ни худые. Мужчины, которым они нравились, а таких здесь хватало, казались ему чудаками.

Еще до конца моста на него навалилась усталость — с похмелья, что ли. Он прислонился к

перилам и снова поднял руки к ошейнику, не касаясь его. Он мог бы его снять хоть сейчас, спрятать где-нибудь, а через неделю снова надеть. Может, хоть тогда удастся стащить у мертвятника кошелек.

Но кошелек у Клодона уже был — он заткнул его за повязку на бедрах. Можно прокормиться пару дней, если не обжираться.

А за ошейник можно не беспокоиться, он же открылся вечером.

Спрашивая дорогу у женщины с кувшином, Клодон и не вспомнил о нем! И она ему ответила как ни в чем не бывало.

Может, это как с рубцами? Нельзя ведь всю жизнь ни с кем не говорить и никуда не ходить, боясь, что кто-нибудь что-то скажет. Большей частью на тебя просто не обращают внимания.

Может, наказанный раб — хотя бы здесь, на мосту — лучше вора?

Рубцы останутся при нем навсегда — так, может, и ошейник оставить?

Мимо ехала телега с зеленовато-серыми дынями впереди и желтыми тыквами сзади. Рядом, ведя под уздцы пару волов, шел возница, здоровенный как медведь бородач.

Клодон поймал на себе его взгляд. Они смотре-

ли друг на друга три мига, четыре, пять. Обычно такие здоровяки Клодона вовсе не замечали. Сейчас он отвернется, и телега поедет дальше.

Но возчик, на добрых две головы выше Клодона, остановил свою упряжку и подошел.

— Слушай, — сказал он как давнему знакомому, которого с месяц не видел, — у меня тут неподалеку есть комната. — Клодон даже усомнился, что тот хочет заняться чем-то развратным. — Вот разгружусь, и пойдем. Сколько возьмешь за часок?

— Смотря что ты хочешь, — сказал Клодон.

— Известно что. Как всегда.

— Я всегдашним не занимаюсь.

— Так и я тоже, потому и спрашиваю: сколько возьмешь?

Клодон подумал и сказал:

— Нет, что-то не хочется. Не сегодня.

— Ладно, тогда другим разом, — улыбнулся бородач и показал на ошейник. — Где такой купить можно?

Клодон удивленно пожал плечами.

— А ты свой где взял?

— Тебе-то что?

Бородач снова взялся за повод и погнал волов дальше.

«Это какой-то другой город», — подумал Клодон.

Может, и глаз накрасить? Раньше он так рано на мосту не бывал — сдается, теперь тут самое бойкое время. Обычно целый день стоишь или ходишь, и заговорят с тобой разве трое-четверо, а тут сразу двое за четверть часа.

Не будь ему так худо… теперь еще и голова разболелась. Скоро ли он скажет «да»?

Не прошло и часа, как к нему подкатился третий, женоподобный толстяк.

— Вы только посмотрите, какой красавец! — заверещал он, сложив руки перед собой. — Надеюсь, ты не просто так здесь сидишь? Скажи, во сколько мне обойдется…

Клодон, не особо вслушиваясь, прервал:

— Я детскими играми не занимаюсь, мне бы что посерьезнее.

— Вот как? Пожалуй, для меня ты слишком серьезен. — Толстяк прикусил губу. — Я хорошо заплачу, но хотелось бы все же знать, что ты имеешь в виду.

— Нет. Убирайся.

Толстяк удалился с легким поклоном. Клодон не знал, долго ли так продержится, но в этом была своя прелесть. Как совместить новый город, в который его ввел мертвятник, с прежним, знакомым Колхари? Кто еще в нем живет? Может, сидя

здесь, он познакомится со всем его населением? Мертвятник сказал, что тут и женщины есть…

Вдруг ему встретится молодая, сильная, темноглазая, с красивыми руками-ногами? Но скоро Клодон проголодался и решил посмотреть, сколько тот человек ему дал.

В кошельке лежали девять железных монет.

Клодон проносил ошейник три дня.

Все это время он почти ничего не ел.

Не мылся, хотя и раньше не был чистюлей.

И первые двое суток не уходил с моста.

Испытывая себя на прочность, он даже и не смотрел, открывается ли ошейник. Знал, что если снимет его, то уже насовсем. Пока что ему хотелось побыть не деревенским воришкой, а кем-то другим.

Как-то он увидел своего друга варвара, но тот с ним больше не заговаривал.

Заговаривали другие — он не переставал удивляться изобилию их причудливых нужд.

Ошейник словно поймал его в западню и в то же время открыл ему ворота нового мира — позволил, во всяком разе, постоять с краю и заглянуть вглубь.

Всем, кто к нему подходил, он отказывал.

К исходу второго дня ему стало казаться, что

отвергнутые что-то у него отнимают. С каждым «нет, этого я делать не буду» он терял все больше и больше. Эту ночь он проспал под мостом.

На третий день он побрел прочь, как в тумане, — удивляясь, что никакие преграды не удерживают его там, где ошейник вкупе с рубцами означает нечто особенное.

Он пришел на какой-то двор, сел на обод колодца. Мимо прошел мальчишка, не глядя на него, — потом прошел еще пару раз, теперь уже явно глядя.

Да пусть его.

Потом Клодон сидел уже на земле, прислонившись к стенке колодца, и вроде бы задремал. Прилег у пустого амбара, поспал как следует. Встал, потянулся, размял затекшую ногу, захромал обратно к колодцу. Прошли две женщины с ребенком, и тот мальчишка вроде бы в переулке маячил. Все опять изменилось — то ли потому, что он выспался, то ли из-за судороги в ноге, то ли потому, что он ушел с моста и к нему долго не приставали. Был уже вечер, взошла луна, небо пересекали легкие облака. Клодон поднял руки к ошейнику, разомкнул его, наполнив синевой разъятые половинки — и бросил в колодец.

Всплеск он услышал позже, чем ожидал, и эха

не последовало. Вода стояла на большой глубине.

Когда в Колхари бросаешь что-то в колодец, какая-нибудь старушонка непременно прицепится: «Мы отсюда пьем, знаешь ли!» Но тут старух не было.

Мимо, кажется, опять прошел тот мальчишка — а может, другой уже. Клодону было не до него. Он впервые за три дня подсчитал, сколько народу на мосту ходит в рабских ошейниках. Раньше он думал, что это правда рабы, идущие на рынок что-то купить, — ну не дурак ли? Перед самым уходом он видел одного, тоже деревенского, немногим старше себя — в ошейнике и с девятью рубцами от кнута на спине.

На Клодона он обратил не больше внимания, чем Клодон бы раньше обратил на него.

Вспомнить бы свое отражение в зеркале — так ведь нет, не выходит.

Клодон посидел еще немного и вернулся на мост.

Чуть позже туда явилась компания молодежи в туниках и сандалиях. Он узнал среди них темноглазую женщину, которую видел под мостом три недели назад, и, не дыша, прирос к месту…

Мы не задавались целью отобразить здесь всю

его жизнь. Бальзамировщика он видел еще пару раз, но они не разговаривали и старались не смотреть друг на друга. Мы предлагаем лишь несколько отрывков, чем-то между собой связанных. Расскажем еще об одном, прежде чем перенестись во двор нарнисской таверны двадцать два года спустя.

Покинув Колхари, Клодон, как мы уже говорили, имел весьма смутное понятие о времени, которое там провел. А во время загула с винелетскими женщинами почти через двадцать лет не мог вспомнить, когда ударил молодого вора пивным кувшином — до поездки с длинной в город или потом? Предшествовало это убийству или было очередной дракой? Опять-таки, он очень живо помнил как встречу с темноглазой женщиной под мостом, так и визит к бальзамировщику, но не мог припомнить, что было раньше, а что позже и которое из этих событий побудило его уйти.

Его это донимало не меньше, чем смерть молодого вора.

Мы это, к счастью, знаем — хотя относительно убийства пребываем в таком же неведении.

Это важно для понимания того, что случилось двадцать два года спустя.

12. Глаза. Руки.

— Вот она! — сказал Фуниг, не заботясь, что женщина его прекрасно видит и слышит. — Та, про которую я тебе говорил. Лицедейка, что была с мужчиной из…

Клодон ткнул его локтем в бок.

— Иди поищи сестру.

«Не может быть, чтобы и ноги тоже…» — думал он улыбаясь.

Фуниг ушел за угол. Клодон улыбался и не дышал.

Немного придя в себя, он зашвырнул яблочный огрызок в кусты, зашел в траву и стал тереть одну ногу другой, счищая помои Кратора. Эти глаза… эти руки… о безымянные боги. Но теперь он хотя бы снова начал дышать.

Может, он потому еще здесь, что ее ног не видел? Потому только и не сбежал со двора?

И тут она сказала:

— Может, подойдешь ближе?

Клодон втянул в себя воздух. И улыбнулся.

— Ну пожалуйста, — сказала она, облокотившись на подоконник. — Подойди ненадолго.

Он пошел к дому, боясь, что сейчас упадет. Сойка, осколок вечера среди дня, промелькнула между ним и окном.

Дыхание, как ни странно, не изменяло ему. Осмелится ли он, стоя рядом, заглянуть внутрь и посмотреть на ее ноги? Осмелится ли?

Высунувшись немного наружу, она потрогала его ухо… своими чудесными пальцами.

— Что это у тебя?

— Да это… мужчины в Меньятском ущелье такое носят. Знаешь, где это?

— Слышала.

— Это… — Он знал, что у этой штуки есть название, но язык не повиновался ему. В ухе у него торчал резной колышек твердого дерева с желобком посередине. Где-то между двадцатью и двадцатью пятью годами, разбойничая у подножья Меньята, он попросил приятеля и ему такой вставить. Колышки делал молчаливый искусник с тремя такими же в одном ухе, пятью в другом, с густо татуированными щеками и коленями. Чтобы вдеть такое украшение, мочку не иглой прокалывают, а шилом и три недели проталкивают колышек все дальше и дальше; месяц тебе больно и второй не сказать чтобы хорошо.

Но теперь Клодон даже не вспоминал об этом, если кто-то не любопытствовал.

— Так это не нарнисская работа? — спросила она.

Он покачал головой.

— А я думала, что ты здешний. — Ее улыбка угасла.

— Знамо дело, здешний, — пустился во все тяжкие Клодон. — Родился тут и вырос, тут, видать, и умру. — Клодон, будто впервые, потрогал растянутую мочку и кусок дерева в ней. — Когда молодой был, уходил, это да. Прожил год в большом городе.

— В Колхари? — Улыбка вернулась.

— Да, только это было давно, сама понимаешь. Потом путешествовал. Это мне в Меньяте поставили. — Он снова потрогал колышек. — Потом был в… — он отважился назвать родную деревню, — и ничего хорошего там не видал. Людишки там мелочные, в Нарнисе куда лучше. Никому не посоветую соваться туда.

— О ней я раньше не слышала. — Улыбка снова померкла. — И вряд ли там буду, если моя труппа не захочет там представлять. Я с ними встречаюсь в Йенле.

— Твое счастье, что не слышала. Йенла куда как лучше. Я и на юге бывал, в Енохе, в Адами. И на севере, в Элламоне, в Кхахеше. — Ну не диво ли, что она говорит и слушает, как любая другая женщина? — А теперь вот вернулся восвояси, где

каждый камушек знаю, каждое дерево и каждую веточку…

— Погоди-ка чуток. — Она ушла внутрь, и оконная рама опустела, будто и она, и весь разговор ему только привиделись.

Он встал на цыпочки, заглянул в окно. Он уже раза три был в той таверне, но этого помещения не узнал. Ну, ничего. За пять недель он изучил Нарнис достаточно, чтобы отвечать на ее вопросы.

Старая кожа хрустнула, и женщина, откинув завесу, ступила в пыль своими узкими босыми ногами. Он уже миновал ту черту, у которой перехватывает дыхание. Она шла к нему, и пальцы ее ног вытягивались, как маленькие отдельные существа, а его сердце гремело в ушах, и левое — то, с колышком, к которому она прикоснулась — болело. Он не перестал дышать, но дух от благоговения все-таки захватило.

— Как по-твоему, сможешь ты…

Он отважился поднять глаза.

Она улыбалась.

Он улыбнулся в ответ, перевел дух, сказал:

— Все, что хочешь.

— Но, может быть, тебе надо работать…

— Чего? — выпалил он. Привычная воин-

ственность, с которой он отвечал на все, что его раздражало или вызывало недоумение, подняла было голову — и сникла. — Скажи, чего ты хочешь, и я все сделаю.

— Спасибо, — немного удивленно сказала она. — Я, видишь ли, слышала про ваше ущелье… Говорят, там очень красиво. — Клодон тупо кивнул и вытер заслезившиеся глаза. — Мой спутник отлучился, я и подумала: дай попрошу кого-нибудь показать мне дорогу, а может быть, и проводить меня туда за пару монет.

— Я провожу, — сказал Клодон. — И денег с тебя не возьму. Как не посмотреть на такое диво.

За свое пребывание здесь Клодон частенько слыхал о знаменитом ущелье со скалами и водопадами — даже знал примерно, в какой оно стороне, но сам там не удосужился побывать. Этот заядлый путешественник достопримечательности не рвался осматривать. Зачем ходить туда, где тебе не нальют?

— Сейчас и пойдем, — сказал он. — Это недалеко.

— Ты уверен, что больше ничем не занят? — Темные круги у ее сосков были того же цвета, что и кожа вокруг глаз, поэтому ее груди тоже его восхитили. — Может, ты просто покажешь…

— Нет. Пойдем вместе. Ничем я не занят. — Не сбегать ли за Фунигом, он-то точно дорогу знает? Нет, Фуниг тоже с ними увяжется и непременно выдаст его. — Пошли. Нам сюда.

— Хорошо, идем…

Он зашагал через двор, она следом.

— Далеко это?

— Не слишком. Час, может, два…

— Вечером мне сказали, не больше часа.

— Так ведь это как идти, — ухмыльнулся он, — дамские ножки не то что наши…

— Не беспокойся, я хороший ходок. Как тебя зовут?

— Меня-то? Клодон.

— Меня Альхарид.

Имя было чужеземное, трудное, и он тут же его забыл, хотя миг назад был уверен, что будет помнить до смертного часа.

— Что за имя такое?

— Имя как имя…

— Красивое. Не повторишь ли?

— Альхарид. Многим оно трудно дается, но тем крепче запоминается — это полезно, когда на театре играешь. Повтори теперь ты.

— Аль… Нет. Еще ошибусь, и ты надо мной посмеешься. — Впрочем, он не возражал: пусть себе

смеется сколько угодно. — Аллари…

— Альхарид.

— Ульрик…

— Альхарид.

— Клодон!

— Да ты нарочно, — засмеялась она.

— Нет, я правда не могу выговорить. Оно вроде бы чужеземное.

— Вовсе нет. Самое обычное в наших краях.

Клодон осмотрелся, прикидывая, куда идти дальше. Они отошли футов на пятьдесят от таверны, поднявшись немного в гору. В тени каменного амбара сидел Фуниг и ел что-то из миски. Выпросил завтрак и уминает его в одиночку! Увидев, что Клодон на него смотрит, он привстал, собираясь улепетнуть.

— Приятель мой, — объяснил Клодон. Альхарид хотела помахать парню, но он сказал: — Не надо, оставь. У него как раз есть работа.

Если Фуниг побежит следом и предложит поделиться, он скажет, что обойдется. Но Фуниг не побежал. Вот как понимают дружбу в этих мелочных деревушках.

— Аль…Альхарид?

— Да?

— Я хотел спросить про мужчину, который с

тобой был.

— Он из Миногры.

— Там я никогда не бывал. Говорят, она в трех-четырех днях пути?

— Я сама там только день провела. Это кучка домишек на крутом склоне.

— Ты с ним живешь?

— С ним-то? — расхохоталась она. — Нет. Он достойный поселянин, владелец плодовых садов. У него одна, а может, все три любовницы и унылая жена, которую не отличишь от рабыни, так он ею помыкает. И восемь взрослых детей, хотя он, по-моему, моложе тебя.

Клодон хотел сказать, что у него тоже есть дети, но передумал.

— Он скорей бы перенес на собственную спину твои рубцы, чем переспал с женщиной, играющей на подмостках — сегодня императрицу, завтра шлюху, послезавтра злую колдунью. Он любезно предложил подвезти меня до Нарниса и следующей деревни, но у него свои дела, у меня свои. Он мое имя тоже с трудом произносит.

— Императрица, шлюха, колдунья? Ты слишком молода, чтобы всех их сыграть.

— Как мило! Сколько же мне, по-твоему, лет?

— Семнадцать? Восемнадцать? — Женщине под

мостом он дал бы около двадцати.

— А вот это уже не мило. Ты просто лжешь.

Клодон, думая, что разоблачен, состроил глупую мину.

— Мне куда ближе к тридцати, чем к двадцати, притом с другой стороны.

Клодон опешил. Он искренне думал, что ей двадцать или немногим больше.

— Знаешь, в мои годы вся молодежь на одно лицо.

— Молодежь? Нет, ты все-таки милый. Семнадцать? Когда я даже и не накрашена? Но я уже далеко не девочка, хотя и польщена, что ты подумал иначе.

Они уже подходили к околице, и часовая прогулка неизвестно куда начинала тревожить Клодона.

У одной хижины, чуть ли не самой бедной в деревне, он приметил мальчишку, которого уже видел. Мальчишка, по словам Фунига, был хуже некуда. Родители его умерли, жил он с дедом и ни на какой работе не задерживался надолго. Говорили, что если он будет продолжать в том же духе, то через год получит кнута.

— Погоди немного, — сказал Клодон своей спутнице и устремился к нему. — Эй! Эй, по-

слушай! — Он подошел и спросил, понизив голос: — Как мне в ущелье пройти?

— Чего?

— В ущелье. Не говори только, что не знаешь. В какой оно стороне?

— Зачем тебе?

— Вон та дама хочет его увидеть. Ну?

Мальчишка наморщил лоб, будто решая, говорить или нет.

— Что из тебя, клещами тащить?

— Вы не туда идете.

Клодон хлопнул себя по ляжке.

— А куда надо-то?

— На большую тропу, она прямо к нему ведет.

— Что за тропа такая?

— Большая. Вон там. На развилке сверните туда, — он показал налево. — Придете прямо к Лестнице Венн.

— А дальше?

— Там оно, ущелье, и начинается. — Парнишка смотрел на Клодона выжидательно, но тот цыкнул зубом и вернулся к Альхарид, вспомнив почему-то женщину с кувшином, которая когда-то в Колхари показала ему дорогу. Как ни ругай городскую жизнь, дорогу тебе всегда укажут без лишних вопросов.

— О чем это вы? — спросила Альхарид.

— Так, дело было к нему. — Клодону не хотелось идти дальше, пока парень смотрит, но тот все стоял и смотрел.

Что ж, она недалеко вроде, эта самая большая тропа.

— Я не подслушивала, — сказала женщина на ходу, — но он, кажется, туда показал? — И кивнула в ту сторону.

— Там поворот будет, мы до него еще не дошли. — Они поднимались в гору. — Знаешь, все эти местные чудеса… всю жизнь с ними живешь и никогда их не видишь. Веришь, нет — я в ущелье последний раз был в его возрасте. И подзабыл, как идти. Тут новую дорогу проложить собирались, для приезжих вроде тебя, да так, кажись, и не проложили. Про нее я и спрашивал.

— Ну-ну.

Он не знал, поверила она ему или нет.

Еще немного, и они вышли на широкий проселок — здесь, если пройти немного назад, Терен строил свой новый дом.

— Не пропустить бы развилку, — сказал Клодон.

— Постараемся. Хорошо, что денек погожий.

— Ага. Ты из Колхари будешь?

— Я почти всю жизнь в нем живу, но родилась не там, как и половина столичных жителей. Как будто все городки и деревни Невериона вывалили в большой котел и перемешали.

Клодон, боясь, что она начнет расспрашивать о его жизни в столице, сказал:

— Человек, который тебя привез… мне сказали, что вчера в таверне он говорил про Горжика Освободителя, и были большие споры.

— В самом деле? Пока мы ехали, я его разговорить никак не могла, хотя и пыталась. Женщины по его понятиям должны, как видно, молчать. Горжик Освободитель? Да, мой садовод, похоже, от него претерпел, что не редкость среди сельских хозяев.

— Разговор шел о нем и его друге варваре. Я знавал варваров в Колхари — друзья из них не слишком надежные.

— С какой же стати им с нами дружить?

Клодон промычал что-то, не поняв ее.

— Варвар, надо же! — продолжала она. — Его уж год как не стало. Будь садовод поразговорчивее, у него появились бы новости посвежее для рассказов в таверне. Сама я рано ушла спать — и заспалась допоздна.

— А тебе что про это известно?

— Варвара при нем больше нет. Они расстались.

— Вот, я ж и говорю: ненадежный это народ.

— Теперь у него в подручных одноглазый коротышка. Одни говорят, он колдун, другие — мудрый советчик.

— Ты его когда-нибудь видела?

— Которого из них?

— Их обоих.

— Когда мы играем на старом колхарском рынке, он проходит иногда через площадь…

— С Моста Утраченных Желаний?

— Да, мы ставим свои подмостки ближе к мосту. Может, и ты нас видел?

— Я там жил двадцать лет назад, моя девочка! — Он лицедеев никогда не видал, ему о них только рассказывали.

— Да, меня ты точно видеть не мог. Я начала лет в тринадцать, в семнадцать вышла замуж за человека, который мой талант в грош не ставил, в двадцать с триумфом вернулась на сцену — не спрашивай, что стало с детьми, не то я запла́чу.

— Ты про моих не спрашиваешь, я про твоих, — засмеялся Клодон, но она осталась серьезной.

— Видно, не такая уж мы милая парочка.

— Так что насчет Освободителя? — нахмурил-

ся он.

— Великий Горжик? Он театр не любит, никогда не остановится посмотреть, только мимо проходит. Мне его раз двадцать показывали, я его раз двадцать показывала другим. Он человек заметный, есть на что посмотреть — и есть что послушать, как говорят; сама я его не слышала, но мне передавали, что он желает освободить всех угнетенных в Неверионе.

— Знаю я, чего он желает.

— Ну да, так ведь он из этого секрета не делает.

— Какой уж тут секрет, если он открыто носит ошейник.

— А я вот думаю: почему он ни разу не остановился на нас посмотреть? Недосуг, видно. Мы ведь и его представляем — то как героя, то как злодея, смотря по времени. Вот она, слава. Я б на его месте захотела узнать, какой меня люди видят. Но ему не до того, он человек суровый — не человек даже, а великан. Идет себе мимо в своем железном ошейнике…

— С рубцами мятежного раба на спине?

— Нет, — нахмурилась Альхарид, — у него только на лице шрам, на том же месте, что у тебя, только больше. Тебя с ним никак не спутаешь.

На развилке Клодон свернул налево с уверен-

ностью человека, который весь свой век тут ходил, — но тропа почему-то вела не в гору, а вниз.

— Он сам был когда-то рабом, ты же знаешь. — Клодон не знал и нашел это очень странным. — Поэтому мы верим, что он искренне желает свободы другим. Но кнутом его не наказывали; одни порицают его за это, другие хвалят. Рубцов на нем нет — уж это я бы запомнила.

— С чего тебе это помнить?

— Не скажу почему, — ее улыбка стала загадочной, — но меня завораживают мятежники, подвергшиеся за свой бунтарский нрав бичеванию. Ну, не дура ли я?

Клодон на этот раз забыл улыбнуться.

— Как это — завораживают?

— Не знаешь, как можно заворожить женщину? Я даже замужем за таким побывала: восемнадцать рубцов после трех бичеваний в трех разных городах. Я не про того подлеца, за которого в семнадцать лет выскочила, — вот бы кого отхлестать! Это было в Сарнессе, куда позже, и продлилось недолго — его забрали прямо из-под меня, мои руки еще долго пахли его пóтом. Мне бы драться, кричать, не давать его, хотя это ничему бы не помогло, а я просто стояла и смотрела,

как его уводят. Вот и вся моя завороженность. Может, будь мы просто друзьями, как ты и я…

Клодона снова постигла одышка.

— А меня… — выговорил он, — завораживают женщины… — Она смотрела на него со всей серьезностью, без улыбки, и он понимал, что должен высказаться до конца, потому что другого случая у него не будет. — Женщины с глазами… как у тебя. С руками, как у тебя. — Он смотрел на дорогу, не видя ее. — Которые ступают по земле… твоими ногами. — Он закрыл лицо мозолистыми ладонями, протер глаза, пошел дальше. — И это может меня убить еще до исхода дня. Ты чувствовала что-то похожее? — Голос изменил ему — он хрипел и задыхался.

Она молчала, и он снова — как в тот миг, когда она отошла от окна — усомнился, живая ли это женщина, не мерещится ли она ему на старости лет.

— Я старик, — сказал он. — Грязный, скверный старик. Такие, как я, часто говорят меж собой, обсуждая чужие выходки: «Это потому, что у него давно женщины не было». Да только врут они всё, дурачье. У меня женщин было в избытке, но, увидев тебя… — Он отнял от глаз свои руки, свои уродливые лапы без одного пальца на правой,

сморгнул слезы.

Она тронула его за плечо. Тронула своими прекрасными пальцами, и они сказали ему, что она рядом, что она слушает, хотя он не в силах на нее посмотреть.

— Увидев тебя, я понял, что у меня сроду не было женщин. Таких, как ты. Ни с одной я не был так близок и ни с одной уж точно не говорил. Я грязный скверный старик, никогда не имевший женщины, подобной тебе. С чего мне вздумалось это брякнуть? Так жестоко безымянные боги еще не поступали со мной. Брякнуть тебе такое! Выставить себя таким дураком!

Некоторое время они шли молча. Где-то слышался рокот.

— Зачем же ты это сделал? — спросила она — не сердито, по крайней мере. — На что надеялся, говоря это?

— Не знаю! Ни на что!

Воздух вокруг насыщался влагой.

— Нет, — промолвила она, заставив его взглянуть на нее, — моя завороженность была совсем не такой.

Впереди, обрамленный деревьями, гремел водопад.

— Среди моих мужчин, — улыбка вернулась

к ней, — встречались и не слишком благонадежные. Ты, думаю, малость приукрашиваешь, говоря, что у тебя не было таких, как я, женщин. — Он свирепо замотал головой. — Хотя, быть может, и нет. Быть может, мое пристрастие к покрытым рубцами телам немного сродни твоему, но в основном они совсем разные. Надеюсь, однако, что тебе стало легче, когда ты выговорился.

Он перевел дух.

— И дураком я тебя совсем не считаю. Кто же назовет дураком человека, который признаётся, что от тебя без ума? Не обижайся только…

— Что ты! И в мыслях нет!

— Так вот. Знаешь, почему я тебя позвала? Скажу честно. Оба мы люди пожилые, и ты мне по нраву. Надеюсь, это не очень тебя огорчит. Ты уж точно лучше моего садовода, но знаешь, не верю я, что ты в твои годы не встретил ни одной женщины, которую не заворожили бы твой мятежный дух, твои странствия и — скажем прямо — твои рубцы.

— Я встретил ее сейчас, но то, что это ты, застало меня врасплох. Жаль, что выпить нам нечего.

Она засмеялась, как путник, в сотый раз слышащий местную поговорку, — теперь хотя бы понятно, в каком краю ты находишься.

— Раз нечего, будем вести себя, как благородные господа. Не хочешь ли взять меня за руку?

Ее? Своей укороченной пятерней? Но она уже сама взяла его руку в свою — так легко, что он почти не почувствовал, — и они вышли к самому водопаду.

Последний водопад, высотой пятнадцать-двадцать футов, Клодон видел три года назад — с этим он сравниться не мог. Этот низвергался с невиданной высоты, омывая валуны и скальные выступы; а утесы за ним, расступившись на четверть, а то и на полмили, вздымались еще выше, и деревья на их вершинах казались порослью вроде мха.

— Ущелье, — прошептала Альхарид.

Стало быть, это оно; раньше Клодон не был в этом уверен.

— Тут можно повыше подняться, — сказал он.

Скальный карниз переходил в ведущие вверх ступени, образуя кое-где крытые галереи с колоннами по бокам.

— Это, должно быть, и есть Лестница Венн.

Она много знала об этом месте, не то что он.

Лестница, чем дальше, становилась все уже и наконец совсем сливалась с утесом.

— Насколько она высокая? — Альхарид отпу-

стила его руку и начала подниматься, он за ней.

— Давно я здесь не бывал, не помню. Думаю, довольно высокая.

Не взять ли ее снова за руку?

— Если по правде, я здесь впервые.

Она обернулась с этой своей особенной улыбкой и сжала его руку выше запястья.

— Я так и думала.

Он ответил неуклюжим пожатием.

Это даже хорошо, что они перестали держаться за руки: теперь он мог всласть любоваться и правой и левой — одна на ее обтянутом тканью бедре, другая на мшистом камне.

После недолгого подъема за низкой стенкой открылась пропасть с пенистым зеленым потоком на дне. Напротив уходила вдаль красная с бурым скала. Карнизы на ней казались совершенно неприступными, пока ты не вспоминал о переходящих в колоннады ступенях, по которым сейчас шли они.

За плавным, почти незаметным поворотом картина полностью изменилась. Им снова предстал водопад, раза в полтора выше первого; ветер швырялся клочьями белой пены.

— Здесь вроде бы ступеньки кончаются, — сказал Клодон.

В большой водопад вливалось множество мелких, в большое ущелье — множество узких. Нет, ступени не кончились: они просто свернули в сторону и перешли на стену одного такого ущельица.

Противоположная стена была теперь всего в двадцати футах от них, небо виднелось сорока футами выше, стеклянный поток на дне, казалось, вовсе не двигался. Клодон и Альхарис шли дальше, глядя то вверх, то вниз. Ступени чередовались с природными выступами.

Свет внезапно померк — и тут же вернулся.

— Что это было? — спросила Альхарид, и Клодон почувствовал, насколько здесь тише — в большом ущелье он не слышал ее. — Просто глазам не верю, — в который раз повторила она.

Сам Клодон уже немного пресытился видами, но радовался, что ее они по-прежнему восторгают.

— Представь только: Нарнис, деревушка, где даже замка нет, вырубила такую лестницу в камне. На постройку ушло, наверно, лет сто!

Клодон даже и не пытался это представить.

— Как думаешь, это птица? Тень, которая упала на нас?

— Великовато для птицы.

— Может, облако?

— Слишком быстро.

Карниз, по которому они шли, позволял идти рядом. Вода, окаймленная чертой мха, струилась десятью футами ниже, стена напротив была много ниже, чем эта. За следующим поворотом обнаружился деревянный мост, когда-то, видимо, крепкий — он явно отмечал конец лестницы.

— В Нарнисе и людей столько нет, чтобы поддерживать все это в должном порядке! — Альхарид облекла в слова то, что смутно беспокоило Клодона. Он поставил ногу на мост.

— Вроде держится. — Он топнул; мост даже не дрогнул, и Клодон ступил на него. Альхарид, затаив дыхание, последовала за ним.

На той стороне начиналась самая обыкновенная дорога, уводящая от воды в лес.

Свет, проходя сквозь желтеющие листья, отливал золотом. Выйдя из леса, они увидели, что ущелье с водопадами лежит теперь позади.

— Знаешь, что тогда пролетело над нами? — сказал Клодон.

— И что же, по-твоему?

— Дракон, вот что.

— Глупости! Нарнис намного западней Элламона.

— Ты же видела здешние ущелья и скалы. Драконам тут раздолье.

— Они водятся только в Элламоне и больше нигде. Да и там в неволе живут.

— А ты понюхай.

Она втянула в себя воздух.

— Так не драконы пахнут, а кипарисы, когда с них падают шишки.

— Да, но под кипарисовым прячется другой запах.

— Я ничего не чувствую.

— Ты хоть знаешь, как пахнут драконы?

— Не то чтобы… кто ж к ним станет принюхиваться. А ты знаешь?

— Постой. — В кустах у дороги скрывался обрыв. Клодон припал на колено и заглянул туда. За широким белокаменным выступом виднелись только облака и дальние скалы. На выступе лежала кучка зеленоватых овалов величиной с крупное яблоко. — Иди сюда, посмотри.

— Ты где? — Альхарид раздвинула ветки.

— Тут.

Она встала рядом с ним.

— На что смотреть-то? Я ничего не вижу…

— Вон там, видишь? Это драконьи яйца. Говорил я, что чую их. Когда они собираются вместе,

смердят будь здоров, куда кипарисам.

Она касалась его рукой и бедром — в кустах было тесно.

— Ты правда думаешь… — с искренним удивлением сказала она и улыбнулась. — Да нет же, это не настоящие яйца.

— А что тогда?

— Плоды такие. Драконьи яблоки.

— Драконьи яблоки так не воняют.

— Яйца тоже.

— Воняют сами драконы, которые тут гнездятся.

— Я видела драконьи яблони, когда сюда ехала. Дети собирают эти яблоки, сушат, чтоб они сморщились, и выдают за драконьи яйца.

— Но здесь-то никаких яблонь нет. И кто бы стал раскладывать яблоки там внизу?

— Деревенские мальчишки, с них станется. Тот угрюмый, у кого ты дорогу спрашивал, мог забежать вперед и скатить их туда, чтобы тебя обдурить.

— Стал бы он так трудиться.

— А сколько трудов положили те, кто вырубал эту лестницу? Скажи еще, что и мы зря трудились, идя сюда. — Серьезную речь снова смягчила улыбка. — Но вот пришли же.

— Надо было выпить сначала, — пробормотал он.

Ее пальцы прошлись по его бороде, тронули нижнюю губу.

— Давай-ка выберемся из этих кустов.

На дорогу они, однако, не вышли. Клодон, обломав кусты, расчистил небольшую полянку, и они легли на палые листья. Он поцеловал ее руку. Поцеловал ноги. Вытянулся рядом и поцеловал ее в щеку.

Она поцеловала его в ответ.

— О-о, — простонал он, думая, что сейчас умрет, но тут же забыл о смерти, как о мелком шраме на своем теле.

— Вот видишь, — сказала она, — незачем тебе пить.

— О-о, — сказал он.

13.1. Клодону снился сон.

Длинный и сложный, с голосами, лицами, красками, действиями. «Похоть сделала меня рабом, а желание освободило», — сказал один голос. «Свобода оставила мне похоть, но я раб желания», — сказал другой.

13.2. То ли из тумана, то ли из облака выступила фигура, освещенная будто тысячью ламп: громадный человек, великан, но не страшный,

вопреки ожиданиям.

Может быть, даже добрый.

На нем был железный рабский ошейник, на грузных боках, вопреки всем рассказам о нем, виднелись рубцы. Его подвергли бичеванию, как убийцу, как разбойника, как преступника, поправшего все законы и презревшего порядки безымянных богов.

Осталось только неясным, который голос принадлежит ему, а который Клодону.

Рабство… похоть… свобода… желание?

Клодон хоть убей не помнил, которое из этих слов прозвучало первым.

13.3. «Желание сделало меня рабом, а похоть освободила», — сказал один голос.

«Я раб свободы, а желание — раб похоти», — сказал другой.

14. Он проснулся оттого, что листья хлестали его по лицу, Альхарид трясла и что-то ревело — то ли буря, то ли стадо ослов.

— Пойдем, пойдем скорей! — шептала она. Он ухватился за нее, встал, начал продираться через кусты. Листья на деревьях шумели, как водопады, ветки раскачивались. Альхарид тянула его за руку. Сейчас они выйдут на край обрыва и рухнут

в бездну…

Но нет, они выбрались на дорогу. Клодон припустил было по ней и оглянулся. Альхарид смотрела назад.

Деревья качались только там, позади, и рев, исторгаемый не иначе парой легких с буйвола каждое, медленно затихал вдали.

— Идем! — крикнул он. Они перебежали мост и пошли вдоль ущелья, глядя то на небо, то вниз, на свои отражения в тихой воде.

Впереди пенился водопад.

— Постой! — Она придержала его за плечо, тяжело дыша. — За поворотом не будет никакого укрытия.

— Вот тебе и драконьи яблочки!

— Когда мы выйдем в большое ущелье, он упадет сверху и схватит нас!

— Вряд ли… Они так не делают.

— Может, переждем все-таки?

— Нет, пошли.

— Ну, ты отчаянный!

— Драконьи яблочки, — ухмыльнулся он.

Они вышли за поворот. Их тянуло сесть прямо на мокрый камень, но они спешили, сбавляя шаг только в крытых проходах под защитой замшелых колонн.

— Чудо, да и только, — вымолвила она час спустя, когда они, держась за руки, сошли с последних ступеней к бегущей по долине реке. — Я даже в Элламоне драконов не видела, только слышала о них. — Позади, громче любого чудища, ревел водопад. — И не говори снова «драконьи яблочки».

Остановились они только на дороге, под сводом деревьев.

— Мне сон там приснился, — сказал Клодон.

— Да? Я тоже спала, и так сладко, пока это диво не начало рушить лес вокруг нас.

— Это просто дракон.

— Их там было с десяток, и они дрались насмерть.

— Ты это видела?

— Нет, слава безымянным богам.

— Я тоже не видел, но вонь почуял. Не очень вроде большой.

— Мне всегда говорили, что драконы не строят гнезд, просто откладывают яйца где-нибудь на скале и летят себе дальше. Детенышей им высиживают солнце и звезды.

— Ну, этот вернулся. Я его чуял.

— Я тоже — когда он нас разбудил.

Они повернули к деревне. Медный свет косо

падал сквозь ветви.

— Мне снился… — снова начал Клодон. — Снился Освободитель. То есть я так думаю. Может, потому, что мы о нем говорили. — Но как рассказать такой сон? — Ты сказала, что варвара при нем больше нет, а есть одноглазый? Расскажу про это в таверне, то-то все уши развесят. Кто-нибудь скажет, конечно: «Ты-то откуда знаешь? Ты у нас горазд привирать».

— А ты скажи, что слышал от человека сведущего. Тем более что это правда. Я слежу за делами Освободителя, как многие в наши дни. Говорят, его скоро министром сделают.

— Ну, если я отмочу в таверне такое, все точно подумают, что я вру.

— В деревне всегда так. Одного слушают и до небес превозносят, на другого плюют — а кто из них говорит правду, дело десятое.

— Был один человек, давно, — сказал Клодон. — Когда я жил в Колхари.

— Ты правда там жил? Про Сарнесс я еще верю, но Колхари?

— Правда-правда. Целый год прожил. — Он уже и сам не понимал, что это вранье. — Сын похоронных дел мастера. Он тоже носил бы ошейник, как Освободитель, если б осмелился. Мы встре-

тились на Мосту Утраченных Желаний. Я думал, он в самом деле хочет что-то мне показать, дать работу, ремеслу какому-то обучить. Работник из меня, конечно, был аховый, но я верил, что он и впрямь хочет обратить все плохое во мне к благой цели — как он ее понимал, — чтобы другие могли получать от меня удовольствие. И сказал, что из этого никогда ничего не выходит. Тогда мне было невдомек почему, а теперь ясней ясного. Я просто не такой, как они, хотя тот парень думал, видимо, что такой. Натура у нас совсем разная. — Он не знал, понимает ли его Альхарид, не знал, зачем говорит об этом. — Я хочу, чтоб было так, как у нас с тобой, — ну, разве еще кувшинчик пивка впридачу.

— Да, кувшинчик не помешал бы, — кивнула она. — Но представь, каково тащить его по этим ступеням, а потом вниз с ним бежать!

— Хорошо тем, кто знает себя, кто смотрит в зеркало и видит, кто они есть. Но даже когда точно знаешь, чего ты хочешь, это кажется чересчур…

— Простым? — подсказала она.

— Несбыточным, что ли, — хмыкнул он.

— Я вот что хотела сказать, — осторожно произнесла она. — Знаешь ли ты, что человек ты хороший? Мне ведь встречалось немало таких,

как ты. Я и подумала: дай скажу — может, это тебя порадует.

— Это я-то хороший? Ха! Иногда мне, правда, хочется стать получше.

— Но это же так легко — во всяком случае, на мой взгляд. Останься в этой деревне. Работай. Напивайся раз в месяц, не чаще. Заведи себе привычку говорить правду и отучись от привычки врать. Будь добрым с детьми и животными. Если сделаешь женщине ребенка — а с тобой, и пьяным и трезвым, это будет случаться, — не убегай от нее. Позаботься о ней, как заботился обо мне; когда дракон бьет крыльями и ревет, обними ее и скажи: «Не бойся, все будет хорошо».

— Так их, драконов, и не надо бояться, — сказал Клодон. — Шуму и вони много, а так ничего. Да и не так их много осталось.

— Вот видишь? Что-то полезное ты все же узнал в своих странствиях.

— Слишком уж много спросу с такого, как я.

— Это не спрос, а ответы. Но ответ мало что значит, если ты не слышишь собственного вопроса.

— Там впереди, за поворотом, Терен строит себе новый дом. Они и сейчас там канавы роют, чтоб заложить основание. Будь у него голова на плечах, поставил бы меня десятником — я бы

все сделал в два раза быстрей, чем эти ленивые олухи. Я уже занимался такой работой и смыслю в ней куда больше его. А что они, по-твоему, подумают, увидев меня с тобой?

— Знаешь, — приостановилась она, — я лучше пойду вперед, а ты подожди немного и ступай следом. И так уж, поди, сплетни пошли — не меньше двух человек видело, как мы уходили, хватит и этого. Но все-таки лучше, чтоб нас больше никто не видел.

— А, ну да…

— Как мне до таверны дойти?

— Иди прямо. Увидишь рабочих — значит, дорога скоро повернет и приведет тебя к самой передней двери, мы-то задами шли.

— Пережди, стало быть, с четверть часа и тоже иди. — Альхарид чмокнула его в щеку и ушла.

Глядя ей вслед, Клодон испытал чувство незавершенности. Останется ли она в таверне на эту ночь? Увидит ли он ее еще, сможет ли попрощаться? Желание, как мы знаем, всегда существовало где-то вдали от него. Он мог быть собственником и ревнивцем не меньше кого другого, но требовалось куда больше одного дня, чтобы он ощутил какое-то право на то, что случилось над тем обрывом.

Не так уж и плох этот Нарнис, думал он, пока ждал. Тут рядом ущелье с драконами! И разные путешественники приезжают на него посмотреть. Он спас изумительную женщину от ревущего зверя! Притом он не молодеет. Что плохого, если он каждый день будет ходить к Терену на стройку? Работать он, конечно, не любит, но и не боится работы.

Глядишь, она и вернется когда-нибудь. Сама сказала, что ей нравятся такие, как он. Вернется, а у него уже свой домишко, он пригласит ее в гости и пива нальет — или сидра там, или рома…

Четверть часа уже точно прошло, да и пить страсть как хочется. Может, Терен выставит ребятам пива после работы, а тут и Клодон мимо идет…

Он зашагал по дороге.

Вон они — роются, как кроты.

Терен стоял сбоку и почесывал свою черную бороденку, а из канавы, с ведром в здоровой руке, вылезал Фуниг! Не прогнали его, выходит.

— Эй! — окликнул его Клодон. Парень ухмыльнулся и закивал.

Клодон прошел между кучами земли, переступил через оглобли перевернутой тачки, сказал Терену:

— Вижу, он все-таки на что-то сгодился. Думал, он сюда вовсе не доползет.

— Все, больше там не копай, — бросил Терен кому-то в яме и отошел.

— Я, Терен, чего сказать-то хотел: что завтра приду на работу.

— С чего ты взял, что мне нужен? — Терен нагнулся поднять кирку, лежащую вверх острием, и юбка у него съехала, показав ложбинку между ягодицами.

Клодон подтянул собственную набедренную повязку.

— С того, что тебе нужно как можно больше людей, особенно знающих, как надо работать. Ты сам говорил. Вон как дело-то споро движется.

— Не приходи завтра, Клодон, — сказал Терен, прислонив кирку к земляной куче.

— Парня ты взял, хотя он пришел среди дня.

— Его взял, а тебя не возьму.

— Потому, что я день прогулял? Ну, бывает такое, когда выпью лишнего. Со всеми случается, эка новость.

Видно, пошли уже слухи про него и про женщину, еще более чужую для Нарниса, чем он сам. Если б он с Ярой куда ушел, еще бы понятно.

— Клодон, придешь в таверну после работы? —

спросил Фуниг, забыв уже про свою подлость с завтраком. — Мы б с тобой…

— Никуда ты с Клодоном не пойдешь, — сказал Терен. — Увижу тебя с ним — побью, и ни у меня, ни у кого другого ты работать больше не будешь. А там и кнута получишь. Я не шучу.

— Да мы только поговорим… — залепетал Фуниг.

— Не о чем тебе с ним говорить, понял? — Терен разозлился — того и гляди ударит. Фуниг посмотрел на него, на Клодона и пошел прочь.

— Какая муха тебя укусила? — наполовину дружески, наполовину воинственно спросил Клодон.

Терен опустил тяжелую руку ему на плечо.

— Поговорим напоследок — после ты ни слова от меня не услышишь. — Он довел Клодона до самой дороги и спросил: — Ты когда был в Миногре?

Клодон похолодел.

— Какая еще Миногра? Где это? Не знаю я ни про какую Миногру.

— Тут в таверне остановился человек из Миногры. С дамой, которая только что мимо прошла. Не видел ее, случаем, на дороге?

— Что за человек? Что за дама?

Глупо, конечно. Мальчишка, показавший ему дорогу, видел, что они вместе шли, а малец этот, хоть и дурной славой пользуется, Терену родственник. Проболтался уже небось.

— Человек этот сюда приходил. Сказал, что полтора месяца тому был в Миногре один чужак, тоже пузатый и тоже поротый. Двенадцать рубцов на спине — хочешь, твои посчитаю?

— И что с того?

— Его поймали на воровстве. Которым вы тут с Фунигом занимались.

— Мало ли что Фуниг болтает. Он дурак, а не вор.

— О тебе речь, а не о нем! Ты целый день просидел под замком, но умудрился сбежать, не то еще порцию получил бы!

— Сплетни это! С чужих слов говоришь! Почем он знает, что это я? — Целый день, как же. И часу не прошло, как он дал стрекача. Здоровы врать эти миногряне. — Мало ли кто там был, а ты швыряешь такое обвинение человеку, работавшему на тебя в поте лица! Нехорошо это, Терен. Я к Миногре и близко не подходил, да и не слыхал о ней вовсе. Веришь его слову против моего только потому, что я меченый? Мои рубцы говорят, что я свой долг выплатил. Это написано на шкуре

каждого наказанного кнутом!

— Выходит, не выплатил, раз от новой порки сбежал.

Клодон дернулся, но Терен крепко держал его за плечо.

— У того, из Миногры, тоже меньятский колышек в ухе. И пальца нет на правой руке. И шрамы на лбу и нижней губе. Я человек не злой, Клодон, но если завтра сюда притащишься, следом явится пристав. Вздумаешь вечером морочить Фунига или Яру, пристав тебя в таверне возьмет. А если на счет три еще будешь здесь, прямо сейчас за ним и пошлю! Ступай по этой дороге до большака. Больше ни с кем в этой деревне тебе говорить не надо. Уйдешь добром — может, погони за тобой и не будет.

Клодон вырвался и пошел куда велено.

Не забежать ли в таверну рассказать обо всем Альхарид? Но она ведь с тем, из Миногры. И сказала, что ее завороженность простирается не столь далеко.

Он свернул в лес.

Деревенским людишкам вроде Терена нельзя доверять, коль они судьями себя возомнили.

Нечестно это — прогонять его из глухой деревушки всего через пять недель.

Хотя это лучше того, что было в Миногре.

Он с утра только яблоко съел. И пива нет, чтоб погреться. Уж пива-то Фуниг ему бы добыл, если б не Терен.

— Не придется тебе, Фуниг, больше слушать мои опасные речи, — бормотал он, пробираясь между стволами. — В таверне тебе расскажут возвышенные байки про Освободителя, устаревшие на год, хоть ты их по дурости все равно не поймешь.

Он перелез через поваленное дерево. За кого Терен его считает? Будь Клодон моложе — или выпей чуток, — получил бы он в рыло, славно бы распрощались.

Поедешь ты как-нибудь, Терен, вечерком по проселку. Там у нас с тобой будет другой разговор, а потом суну я тебе нож под горло и проткну твою черепушку насквозь. Ненадолго заживешься в каменном доме. Ну, а пока лучше убраться подобру-поздорову. Через лес скорей дойдешь до большой дороги. Чем скорей, тем лучше, если хочешь попасть… (вы знаете, как читать эту паузу)… хоть куда.